Серия
«Еврейские тайны»

Александр Воронель

ТАЙНА АСАССИНОВ

Ростов-на-Дону *Краснодар*
Феникс Неоглори
2008

УДК
ББК
КТК
В

Серия «Еврейские тайны»
основана в 2008 году

Воронель А.

В Тайна асассинов / А. Воронель. — Ростов н/Д : Феникс ; Краснодар : Неоглори, 2008. — 315, [5] с. — (Еврейские тайны).

ISBN (ООО «Феникс»)
ISBN (ООО «Неоглори»)

С

УДК
ББК

ISBN
(ООО «Феникс»)
ISBN
(ООО «Неоглори»)

© Воронель А., 2008
© Оформление.
ООО «Неоглори», 2008

1. КОНФЛИКТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

СТО ЛЕТ НЕПРИЗНАНИЯ

Часто именно ложные идеи поддерживают людей, а иной раз и обеспечивают им победу. Если бы большевики с самого начала не были одержимы утопической мечтой, они просто-напросто проиграли бы гражданскую войну и никакой советской власти в России бы не было. Если бы руководство Израиля в 1947 г. не было, в основном, просоветским, СССР не позволил бы ООН проголосовать за признание еврейского государства, и, возможно, его бы тоже не было. Если бы политика этого государства в течение долгих лет не опиралась на вдохновляющие мечты о мире с арабскими соседями, Израиль не смог бы вырасти в десять раз за 50 лет. Таким образом, жесткая политическая реальность зачастую строится на неверных и расплывчатых иллюзиях.

Именно с этой точки зрения я попробую проанализировать се годняшнюю ситуацию в израильско-палестинском конфликте. Мне придется отказаться от политкорректности и согласия со многими общепринятыми стереотипами. Сами эти стереотипы, сложившиеся в результате прошлых удач, стали теперь в значительной степени причиной (или, по крайней мере, стимулами) сегодняшнего конфликта. Мне не обойтись без краткой истории вопроса.

С конца XIX века по множеству причин, которые сегодня нет смысла разбирать, наметился заметный приток евреев (и еврейских капиталов) в Палестину, тогда еще заброшенную провинцию отсталой Оттоманской империи.

Насколько она была заброшена, видно из того факта, что когда после неудачной войны из России бежали черкесы, турецкое правительство не нашло более пустого места для их расселения, чем Палестина. Они и сейчас здесь живут и служат в израильской армии...

Идеи отцов сионизма были основаны на оценке ситуации того времени, включавшей почти пустую землю и редкое неразвитое население, для которого возведение еврейских поселении представляло несомненное (материальное) благо.

Международная пресса старательно умалчивает, что в течение примерно ста лет Еврейский фонд — «Керен кайемет» — соби рал деньги со всех евреев мира и скупал неиспользованные земли в Палестине для еврейских поселений. Моя собственная бабушка в Харькове тайком показывала мне (60 лет скрывавшийся ею) сертификат, выданный ей «KK» в 1912 г. на что-то около половины квадратного метра земли в Палестине, купленной на ее трудовые деньги.

В результате связанного с еврейским поселением оживления экономики возникла также и усиленная тяга в Палестину окрестного арабского населения из Египта и Сирии, открывшего для себя новые возможности заработка. Этот поток резко усилился после Первой мировой войны при британском управлении и до самого 1947 г. возрастал пропорционально притоку евреев. Жизненный уровень арабского населения Палестины отставал от еврейского, но был выше, чем в других арабских странах.

С самого начала понимание между лидерами двух групп было исключено из-за их разного положения в мире. Еврейское руководство было выборным и зависело от общественного мнения в Европе и разных идейных течений, а арабское — наследственным (хотя в угоду англичанам случались формальные выборы) и зависимым от поддержки родственных кланов (в том числе и из соседних стран).

Еврейская политика по отношению к арабам в течение десяти летий исходила из мифических интересов

«арабских трудящихся» (Бен-Гурион: «Только в узких кругах арабской верхушки есть эгоистические причины бояться еврейской иммиграции... Могут ли быть сомнения, что только помощь еврейских рабочих приведет к развитию арабского рабочего класса?»), ставила своей целью сомнительное «взаимовыгодное сосуществование» и стремилась юридически обосновать свои достижения. То есть старательно закрывала глаза на качественное отличие арабского, феодального общества от европейских стереотипов. Этим она скорее импонировала британской администрации.

Арабская политика, направляемая трезвыми и проницательны ми аристократами, напротив, исключала всякий долговременный компромисс, отрицала законность договорных сделок с евреями и периодически (в 1920-1921, 1929 и 1936-1938) инициировала кровавые стычки (чтобы не сказать погромы). К тому же главный муфтий Иерусалима Хадж Амин Аль-Хусейни и военный лидер палестинских арабов Аль-Каукджи были открытыми сторонниками Гитлера и не скрывали своей враждебности к Британской империи. Хотя это не могло нравиться администрации, но внушало ей скорее страх, чем отвращение.

Британское правительство, избрав знакомую нам политику «уми ротворения», которая позже нашла свое завершение в Мюнхенском соглашении с Гитлером, почти полностью потеряло контроль над обеими сторонами и, после Второй мировой войны, предпочло отказаться от управления Палестиной.

Решение 1947 г. разделить Палестину на два государства от разило не столько стремление членов ООН к справедливости, сколько их полное равнодушие к судьбам обоих народов. Никто не спросил, смогут ли эти государства существовать вообще и, в частности, в намеченных границах. Зная немного характер одного из участников этого судьбоносного решения, я подозреваю, что именно он и запланировал эту вечную войну, которая позволила бы СССР, наконец, протянуть свои руки

прямо на Ближний Восток и в Средиземноморье, минуя турецкий барьер.

Легкость образования новых нестабильных государств на Ближ нем Востоке после падения Оттоманской империи создала благоприятную атмосферу для авантюризма вождей. Любой достаточно смелый офицер или предводитель небольшой шайки имел шанс возглавить новое государство. В такой атмосфере и пришлось Израилю вести свою Войну за Независимость, в которой каждая из соседних арабских стран призывала население Палестины к общеарабской священной войне, а каждый полевой командир видел себя будущим президентом. Так как никакого арабского государства из этого не получилось, главарям, которым пришлось с боями уводить свои ополчения в соседние страны, осталось только винить в этом коварный Израиль. Так возник «многострадальный палестинский народ» и неразрешимая проблема «беженцев».

Несмотря на постоянную враждебность арабского мира, гос подствующим стремлением еврейского истеблишмента на протяжении последующих десятилетий было «укрепление еврейско-арабской дружбы». В этом отношении израильское леволиберальное крыло вполне унаследовало британское политическое лицемерие. Всячески превознося «еврейско-арабскую дружбу», все израильские правительства, однако, в течение более 30 лет укрепляли пограничные поселения и стратегические опорные пункты.

Я не хочу, чтобы у читателя возникло впечатление, что я или кто-нибудь другой в Израиле против еврейско-арабской дружбы. Я только решительно против распространения заведомо ложного утверждения, что такая дружба гденибудь в заметных масштабах существует. К сожалению, иллюзия, что если не называть беду по имени, она, быть может, и минует, укоренена в человеческом сознании, и мы сами скрываем от себя неприятную правду.

Многолетние попытки отрицать несовместимость арабских и еврейских интересов *в* Палестине разру-

шили единство еврейского народа в Израиле. Этот раскол впервые обнаружился еще в 30-х годах в сионистском движении и привел к отделению либеральной партии В.Жаботинского от социалистических партий. Впоследствии наследники Жаботинского превратились в израильскую парламентскую оппозицию, которой впервые удалось почувствовать вкус власти только в 1977 г. — через тридцать лет после решения о независимости. У правой оппозиции, кроме политического чутья Жаботинского, была еще, по крайней мере одна, причина для скептического отношения к арабскому миролюбию. По социальным причинам оппозиция включила гораздо большее число выходцев из арабских стран, для которых арабская культура вовсе не была закрытой книгой.

Политический парадокс заключается в том, что первый шаг к миру удалось сделать именно правому правительству Бегина, а не миролюбивому правительству Рабочей партии. Воинственная риторика правых, может быть, и раздражает арабские правительства, но остается им вполне понятной. Мирные предложения левых ставят арабов в тупик из-за невозможности уловить, в чем же их обманывают («В *чем наебка?»)*...

Наконец, благодаря безмерной щедрости предложений израильского премье ра Эхуда Барака, Арафат понял суть дела: *евреи просто хотят забыть навсегда о нем и о его претензиях.* Этого не вынесла его душа, и он начал «интифаду Аль-Акса».

Я сильно забежал вперед в своем изложении, но в этом шут ливом преувеличении содержится зерно всей проблемы. Еврейское государство может обойтись и без палестинцев, и без поселений (и, возможно, даже без Аль-Аксы, хотя это уже почти святотатство), а вот Палестинское государство самодостаточно существовать не может. Это было очевидно еще в 1947 г. арабским соседям, которые оккупировали его территорию, пока мания ве личия (и безответственная поддержка СССР)

не толкнула Г.А.Насера на Шестидневную войну. Это было очевидно и всем американским и европейским экспертам по международным делам, которые зачастили в Израиль с 80-х, когда уже стало ясно, что ни Египет, ни Иордания получить обратно палестинские территории не захотят. Однако впоследствии и США, и Европейское сообщество изменили своей реалистической позиции в угоду арабским режимам, для которых престижные соображения, связанные с торжеством ислама, важнее благосостояния их народов и каких либо фактических достижений.

За годы «израильской оккупации» простые палестинцы нашли для себя более выгодным работать в Израиле или продавать туда свою примитивную продукцию, чем развивать собственное хозяйство. Напротив, их самозваные политические руководители занялись последовательным разрушением этих налаживающихся экономических связей. Они не согласились ни на минуту приостановить террор, потому что якобы мысль о существовании незаконных поселений израильтян на палестинской земле жжет им душу.

При слове «незаконные поселения» сердце современного человека вздрагивает сочувствием к согнанным с родных мест туземцам, разоренным жилищам, потоптанным пятой оккупанта полям...

Реальная картина разочарует романтика. Незаконные поселения — это израильские поселения, не получившие от правительства разрешения (и соответствующей охраны) занять пустующую землю на территории автономии, которую поселенцы считают своей.

Вожди Палестинской автономии старательно внушают миру, что палестинский народ — или по крайней мере его заметная часть — живет в мире рыцарской гордости и героических иллюзий и ему чужды заботы о хлебе насущном. Это впрочем не значит, что они забывают требовать от всего мира гуманитарной помощи. Что толку, что история не знает ни кто были древние **филистимляне**, ни

куда они бесследно исчезли. Одно это имя (слово), которое знакомо европейцам только из Книги, которую они называют Ветхим Заветом, дает вождям палестинских арабов предлог вписаться в ту историю, в которой раньше из-за еврейского эгоизма и христианской односторонности не было им места. Их поразительная щедрость в растрате жизней и средств своего народа на бесполезную и бессмысленную борьбу находит свое объяснение не только в злонамеренной поддержке арабских стран и щедрых пожертвованиях Европейского Сообщества, но и в их детской «игре ради славы и чести». Израильские политики часто горько сетуют, что «у них нет партнера по мирным переговорам».

А у доблестного палестинского руководства нет подходящего партнера по игре в поддавки, в которой выигрывает тот, кто пожертвует жизнью большего числа собственных сограждан.

Спустя тридцать лет после решения ООН стало ясно, что для образования нового государства в современном мире недостаточно одного лишь энтузиазма и честолюбия вождей. Требуется еще многое: в частности, солидар ный интерес достаточно большой группы предприимчивых, квалифицированных людей, готовых тратить свои силы и средства на организацию основной инфраструктуры (дороги, водопровод, связь, электричество, продуктивные отрасли хозяйства, здравоохранение, образование), а не только на пропаганду и вооружение... Восемь палестинских университетов (фактически колледжей) были основаны за время «израильской оккупации» при активном содействии израильских властей, но вместо центров будущей образованности они, в результате «академической неприкосновенности», превратились в склады оружия палестинских боевиков.

Все демократии оказываются слабы по отношению к террору, но Израиль имеет столетний опыт успешной борьбы с терроризмом. Этот опыт, однако, требует беспощадной уверенности в своей правоте. Это

то единственное, чего Израилю постоянно недостает. Я уже упоминал, что в результате завышенных оценок перспектив мирного сосуществования израильский народ на время потерял ощущение своего единства перед лицом смертельной опасности. Многим людям стало казаться, что стоит нам отказаться от «каких-то там поселений», и — войне конец.

На самом деле тогда-то только мы и увидим настоящее нача ло. Терроризм — это норма, с которой Ближний Восток жил веками, и единственное изменение, которое внес XX век, состоит в

усовершенствовании орудий убийства. Израильская политика в отношении арабов вообще, и арабов Палестины в частности, так долго питалась ложными представлениями об «общечеловеческих ценностях», внушенными европейским воспитанием, что и сейчас не все израильтяне освободились от этой слепоты.

При «правительстве национального единства» все него дование наших прозревших граждан было направлено на «коварство» Арафата, не желавшего мира, но, по существу, скорее напротив, израильский истеблишмент и европейское общественное мнение в течение длительного времени невольно вводили арабов в заблуждение. Соглашение в Осло, Нобелевские премии и широкое сочувствие «справедливой палестинской борьбе» создали у них ложное впечатление, что их победа близка. Свою победу они, конечно, представляли себе совсем не так, как израильские и европейские «миротворцы.»

Они представляют ее примерно так же, как афганские талибы. То есть как конец еврейского государства, их безраздельное господство на всей территории Израиля и передел имущества в соответствии с их представлением о справедливости. Возможные при таком исходе кровавые жертвы сами собой разумеются, как оправданное возмездие евреям за их высокомерие. Воображение европейских либералов почему-то останавливается перед неизбежны-

ми последствиями победы того «справедливого дела»*, которому они так искренне сочувствуют.

Горячие прения в Кнессете и бес численные демонстрации борцов за мир арабы интерпретируют как предвестники новой серии уступок.

Еще чуть-чуть припугнуть жалких евреев, нажать на амери канцев, и Израиль в их руках! Фундаментальная разница в ментальности неустранима в политике. Рациональные, словесные объяснения на уровне народов неприменимы. Сэмюэль Хантингтон не выдумал проблему массового взаим ного непонимания цивилизаций. Как добросовестный ученый он ее только обозначил.

Расширение кругозора рядового человека и глобализация сыг рали с западной цивилизацией злую шутку. До тех пор пока мусульманский мир пребывал в глубоком сне, Европа могла безнаказанно отождествлять свою победоносную историю с историей человечества. Прогресс в известной нам со школьных лет истории — это развитие и экспансия Европы. Великими географическими открытиями мы называем заморские плавания европейцев. В центре истории средних веков у нас стоит борьба пап и императоров, а не история халифата. Для всего этого есть свои причины. Но мусульманин видит это как свою вековую обиду...

Европейское образование и масс-медиа разбудили в широких кругах мусульман дремлющую амбицию. Они не хотят привыкнуть к своему положению на обочине. Каждый народ хочет быть в центре истории. Против Запада стали выступать отнюдь не бедные и невежественные, а скорее богатые и образованные. Точнее — амбициозные.

---

* Вспомним, что и русские интеллигенты всей душой жаж дали «победы революции». То, что произошло в 1917 году, было воспринято ими как неожиданность. Но русские аристократы, которые организовали «белое» движение, лучше знали свой народ, знали также, чего от него можно ожидать, и не заблуждались.

Вся изобретательность интеллектуальных элит мусульманских народов, вся их немалая предприимчивость и творческая потенция сосредоточились на компенсации их комплекса неполноценности, на мести европейцам за их историческое превосходство. Само это превосходство, полное невнимание европейских народов к мусульманскому миру они воспринимают как проявление злой воли и величайшую несправедливость. Так ребенок мстит родителям за невнимание. Он готов затеять пожар, чтобы родители, наконец, испугались и сосредоточились на его персоне.

Израиль в этом конфликте лишь второстепенный персонаж, выбранный как мишень для ненависти из-за своей относительно большей доступности — «слабое звено».

Претензии палестинских лидеров направлены не по адресу. Палестинцы живут не хуже жителей других арабских стран. Израиль не мог бы взять их за руку, благополучно провести через все лабиринты их собственной истории, пронести над омутами и без потерь посадить на сухое место меж молочных рек. Израиль не может «дать» им государство. Бюджет своего государства и свою инфраструктуру они должны обеспечить себе сами. Никакие наши уступки не скомпенсируют палестинцам фундаментального культурного отставания, на которое обрекла их собственная история.

Однако террор является как раз тем полем, на котором они вполне конкурентоспособны и могут приковать к себе внимание всего мира. Это и есть тот единственный товар, который их вожди выносят на международный рынок. Разбойничья удаль во многих (особенно молодых и бедных) обществах более распространенная черта, чем интеллект и трудолюбие. Война, таким образом, становится тем простейшим средством конкуренции цивилизаций, которое в первую очередь привлекает внимание амбициозных лидеров. Поэтому творческие способности мусульманских народов сосредоточились в основном в военно-политической сфере, позволяющей напомнить о себе наиболее действенным образом.

Война — не худшее из человеческих занятий и имеет за собой многотысячелетнюю престижную традицию. Культура войны в большом почете у мусульманских народов. Военная профессия к тому же единственная массовая техническая профессия во многих мусульманских странах, обеспечивающая вполне современный уровень специалистов. Народные массы очень ценят своих военных героев. Духовные лидеры ислама поощряют это настроение. Причины для войны всегда находятся, и почетное поражение совсем не позорит погибших. Эта культурная ситуация поощряет все новые и новые темпераментные группы во всех мусульманских странах пытать свое счастье.

Взбудораженный и подбодренный силой нефти арабский мир переживает сейчас кризис самоопределения. Их харизматические вожди психологически подошли приблизительно к уровню, на котором в начале прошлого века находились Россия или Германия, хотя сами народы, в основном, не перешли еще и через грань Просвещения. У честолюбивых людей в их мире всегда находится место подвигу. Все современные арабские диктаторы начинали как супермены-воители, сильной рукой и террором захватившие власть в своих странах.

В этом еще не окончательно сложившемся мире существует и подспудная тяга к национальному единству. Г. А. Насер был первый, кто откровенно претендовал на роль всеарабского лидера. М.Каддафи и Х.Асад остались непризнанными кандидатами. Широкие массы охотно участвуют, как пушечное мясо, в войнах диктаторов за престиж. Саддам Хусейн затеял войну с Ираном, а потом и против США не из-за объявленных им нелепых причин, а в своей личной борьбе за общенациональную популярность. Сотни тысяч граждан Ирака погибли, но зато среди оставшихся в живых его авторитет непреклонного вождя неизмеримо вырос. Жажда сосредоточить на себе внимание сильнее в выдающихся людях, чем в мелких. Ричард Львиное Сердце или Наполеон тоже воевали не за благополучие своих подданных.

Арафат годами умудрялся приковывать внимание арабской ауди тории. Сначала он прославился своими успешными террористическими операциями. Затем, сумев под страхом смерти обложить палестинских выходцев всего мира налогом в свою пользу, он показал себя также выдающимся организатором. Наконец, связавшись с КГБ, он сумел развернуть такую успешную пропагандистскую кампанию вокруг «палестинского дела», что популярность его на Западе сравнялась с популярностью Фиделя Кастро и Че Гевары. (Собственно, это и справедливо, поскольку те двое ничем не лучше его.) В ходе этой кампании «палестинское дело» каким-то образом включило и мировую «антиколониальную революцию».

Из года в год посещая одни и те же университеты в Германии и США, я мог судить об уровне популярности «палестинского дела» по площади, занимаемой им на студенческих досках объявлений. Меня поражало, что до самого конца существования СССР борьба за права палестинцев уверенно опережала даже борьбу за права гомосексуалистов. Похоже, не было в мире более угнетенных народов. В начале 90-х палестинцы совершенно исчезли с доски объявлений...

В ходе Перестройки в СССР Арафат лишился поддержки и стал стремительно падать в финансовую пропасть. В 1987 г. он начал «интифаду» (восстание), заставшую тогдашнее израильское правительство врасплох (все события в демократических странах застают их правительства врасплох). Экономические связи «оккупированных территорий» с Израилем прервались, палестинцы резко обеднели и пришли в ярость, международное общественное мнение было возмущено. Не без внутренней борьбы израильское правительство протянуло тонущему Арафату руку для заключения мирного соглашения.

Здесь-то и сказался его выдающийся стратегический и дипломатический талант, совершенно таинственным образом давший ему возможность завоевать беспрецедент-

ное доверие большой части израильского политического бомонда.

В Осло ему удалось невероятное: соглашение с Израилем пре дусматривало «территории в обмен на мир»! Такую формулу мог придумать только человек (кто бы это первоначально ни был), готовый полностью пренебречь тысячелетней западной логической культурой. Материальную вещь (территорию) невозможно обменять на расплывчатое, абстрактное понятие (мир). Что такое территории, знают все (хотя позже выяснилось, что сколько и какие именно территории, тоже осталось не до конца ясным), а что такое «мир» разные люди и народы понимают в корне по-разному. Можно думать, что имелись в виду только разговоры о мире. Тогда следует считать, что у нас и сейчас мир; ведь сегодня в военных действиях участвуют не разом все 40 тысяч палестинских бойцов, а то одни, то другие. В промежутках между терактами еще остается время для переговоров.

В результате такого мира Арафат безопасно переселился из Туниса на палестинскую территорию вместе с основным составом своих боевиков и тут столкнулся с по-настоящему трудной проблемой создания государства на пустом месте. Некоторое время он перебивался за счет западных пожертвований на мирный процесс, продолжая громко разоблачать Израиль, который по-прежнему не отдает ему поселений (что бы он делал с поселениями, если бы их получил?). Когда эта карта была уже отыграна, а деньги на развитие разворованы соратниками, Арафат стал все больше склоняться к защите общих мусульманских святынь и разжигать «священную войну», чтобы получить поддержку от фундаменталистов и вызвать действенные симпатии всего мусульманского мира. В сентябре 2000 года он начал «интифаду Аль-Акса» за «святые места», которым, впрочем, ничто не угрожало.

Трудно сказать, знал ли он заранее о надвигающейся акции 11 сентября и поспешил выскочить вперед, или просто чутье политического авантюриста подсказало

ему более надежную опору, чем европейские гуманисты. Между прочим, он мог и располагать информацией, так как, конечно, в «Аль-Каэде» есть палестинцы.

После 11 сентября 2001 весь мир переменился. В первую оче редь арабский мир. Бен Ладен сразу затенил всех претендентов на первенство и превратился в неформального лидера, права которого неоспоримы. Ни Арафат, ни Саддам уже не смогли бы претендовать на большее, чем стать его последователями. К тому же, в отличие от них, он настоящий мусульманин и не запятнан предательствами и политиканством. Как бы ни кончилось сегодняшнее сражение против терроризма, Бен Ладену обеспечено тайное поклонение и благоговейная память десятков миллионов мусульман. Их внимание останавливается не на ужасе напрасно пролитой крови, а на престижном балансе, который теперь якобы уравнивает их с американцами. Подобно этому и палестинцам кажется, что, убив десяток случайных прохожих в Израиле, они как-то повышают свой статус («заставили с собой считаться!»).

Но мир переменился и для Запада. Урок, который Бин Ладен ему преподнес, ткнув пальцем в его солнечное сплетение, по своему сокрушительному смыслу напоминает нападение японцев на Пирл-Харбор или бомбардировки английской территории ракетами У-2 из Германии.

Пирл-Харбор кончился для Японии атомной бомбой, Германия была разгромлена и разделена на 45 лет...

Такова природа демо кратических обществ. Патологическая трусость и уступчивость в мюнхенских переговорах (пока еще была надежда войны избежать) довершилась целеустремленной жестокостью в войне, когда она оказалась неизбежна.

Психологическая слабость нашего правительства, которое раз решило десяткам тысяч профессиональных боевиков высадиться на территории Палестины (и сесть на шею ее населению) в надежде заключить мир, характеризовала тогда не местную израильскую ситуацию, а общую тенденцию Запада по возможности уклоняться от

военного конфликта. Но с годами стало очевидно, что местная ситуация не оставляет такой возможности. А миролюбие западного гуманиста в Израиле истощилось уже почти до того последнего предела, за которым начинаются ковровые бомбардировки.

Наша страна сейчас находится на пороге болезненных важ ных решений. Антитеррористическая война означает для демократического общества серьезное изменение стиля жизни и поведения. Она означает также нарушение многих заповедей привычного нам гуманизма. Ничего хорошего от такой войны не только врагам, но и нам самим не следует ожидать. Однако не исключено, что всему свободному миру этой войны не избежать. И нам в Израиле тоже рано или поздно не обойтись одними булавочными уколами. Мы можем дождаться американской инициативы в смене курса всей антитеррористической коалиции или сами стать ее инициаторами. Все равно в обоих случаях именно нас будут винить в зверствах против «мирного» населения и нарушениях прав человека. Желательно, конечно, проявить максимум осторожности в этом исключительно деликатном и одновременно «грязном» деле, но только не за счет увеличения количества жертв с нашей стороны. Боюсь, что с чувством абсолютной правоты, которое так согревало сердца первых поселенцев, израильтянину придется распрощаться.

НЕОЖИДАННОСТЬ, КОТОРУЮ СЛЕДОВАЛО ОЖИДАТЬ

Весь июнь 2000 г. за ланчем мы сидели втроем: Ханан — израильтянин из Техниона, я — бывший москвич из Тель-Авива и Джон — профессор университета в Сиэттле, пригласившего нас обоих на несколько месяцев для совместной работы.

Ханан кипятился по поводу переговоров в Кэмп-Дэвиде и пугал Джона приближающейся войной. Джон, как

всякий американский еврей, при всем сочувствии Израилю упивался надеждами на мирное урегулирование. Американцу трудно поверить, что компромисс порой может быть опаснее, чем конфронтация. Это противоречит его мировоззрению. Идеальный американец живет утопией, основанной на идее об общественном договоре. Нарушение договоров он воспринимает не как злонамеренное желание использовать против него сам принцип, а как неизбежное отклонение человеческих существ от чаемого совершенства.

Я пытался подсластить Джону горькие пилюли, на которые был так щедр Ханан. Но это давалось мне с трудом. Во-первых, потому что я и сам чувствовал себя израильтянином. Во-вторых, мое жестокое российское прошлое подсказывало мне то же самое, что Ханану — его израильское. Ханан в молодости служил в разведке и составлял себе представление о намерениях противника не по газетам:

«Чем больше уступает Барак, тем труднее положение Арафата. Поэтому он формулирует свои требования в расчете на их невыполнимость. Ведь после подписания мирного соглашения он останется один на один с голодным народом, которому ему нечего предложить. Его планы и амбиции не имеют никакого отношения к благосостоянию этих людей. Сейчас он — одна из самых влиятельных фигур в международной политике, соучастник планирования будущих судеб арабского мира, человек, способный сконцентрировать на себе внимание миллиарда мусульман и, может быть, направить его в новое русло. Ширак и Клинтон пытаются его задобрить (за наш счет) и даже готовы на финансовые жертвы в надежде, что, став главой своего государства, он мигом потеряет все это влияние и превратится в ординарного иждивенца европейских наций. Но он не собирается так продешевить. Как личность он неизмеримо крупнее своих партнеров по переговорам».

Бедный Джон никак не мог это переварить. Его демократическое сознание не вмещало такого цинизма.

То, что говорил Ханан, так не вязалось со всей мировой прессой!

«— Не могут же все лгать.

— Лгать, может быть, слишком сильное выражение, но потакать обывательским взглядам большинство журналистов весьма склонны.

— Но разве мир не лучше войны?

— Смотря для кого. Для нас, конечно, лучше, если это действительно мир, то есть если он обязывает обе стороны. Но если для Арафата и его окружения это всего лишь промежуточная фаза в многолетней войне против нас, нам нужно осознать это и реагировать соответственно. Зачем нам обманывать свой народ и мировое общественное мнение, называя наши уступки мирным процессом, а рейды террористов случайными эксцессами? Арафат сумел собрать вокруг себя тысячи людей, для которых война — это профессия, и мир для них — конец их привилегий. Они могут согласиться на него только в очень крайнем случае. Может быть, они и согласились бы получить взамен что-нибудь действительно впечатляющее, но, во всяком случае, не государственную независимость, которая будет означать для них всего лишь перманентную нищету. Это верно, что такую войну нельзя выиграть одними военными средствами. Но прекратить ее одними уступками тем более невероятно!

— Но если наступит мир, палестинцы опять смогут найти работу в Израиле и проблема их благосостояния будет решена. Постепенно они научатся основам демократической жизни и смогут жить, как все богатые, цивилизованные народы.

— А тогда зачем им нужно палестинское государство? Работать на израильтян можно и без государства. Суть дела в том, что пока они научатся основам демократической жизни, пройдет два или три поколения. А их вожди и военная верхушка хотят уже сегодня жить, как в богатых странах, и с помощью войны это им удается. Они, впрочем, не прочь присваивать и гуманитарную помощь,

которую посылают на всех. Пока они не научились демократической жизни, это даже не кажется им преступлением.

— Но все-таки должен же Арафат считаться с интересами своего народа! Десятки тысяч палестинцев работали в Израиле или привозили продукцию своих огородов и садов, а военные действия приводят к их обнищанию.

— Зато тысячам других палестинцев — молодых и амбициозных — война дает смысл и средства существования. Арафат живет в мире большой политики, лавирует между американским президентом и саудовским королем, никому не дает отчета в своих делах и финансах и не собирается заниматься обеспечением пропитания для палестинских работяг. Но у него хватает средств для содержания палестинских головорезов, которых он называет полицией. Если бы Арафат подписал мирный договор с Израилем, ему пришлось бы заняться бюджетом своего карликового государства, найти новые источники существования для своего неквалифицированного населения и придумать новые причины для жалкого положения своей страны. В мирном сосуществовании с Израилем его население неконкурентоспособно, а военное счастье, как известно, переменчиво. К тому же вечная демократическая грызня в Израиле поддерживает у арабов иллюзию, что они не сегодня завтра, вот-вот победят...

— Но зачем тогда Арафат пошел на соглашение в Осло?

— Во-первых, у него просто не было выхода. Он лишился поддержки СССР и стремительно падал в финансовую пропасть. Ни одно арабское правительство не радовала перспектива держать у себя его боевиков. Израильское правительство предложило ему отдать часть территорий и содержать этих бандитов в качестве полиции будущей автономии в обмен на мир. Он быстро понял, что слово «территории» содержит нечто конкретное, а в слово «мир» разные люди вкладывают разный смысл. (К тому же в арабском языке есть два разных

слова, обозначающих мир, — «салям», означающее окончательный мир — спокойствие, и «сульх», означающее перемирие, прекращение военных действий, перерыв. Во-вторых, за эти реальные уступки от него требовалось немногое, всего лишь символические действия — формальная отмена Палестинской хартии, включавшей требование уничтожения Израиля, и обещание воздерживаться от террора. Такие действия, в сущности, не ограничивают палестинское руководство (не больше, чем другие арабские правительства), которое хорошо научилось водить за нос европейское общественное мнение. В своей же среде у них не было и нет необходимости стесняться. Вот, например, высказывание одного из главных соратников Арафата, Набиля Шаата (1996 г.): «Пока израильтяне движутся в нужном нам направлении, мы готовы с ними сотрудничать. Но в ту секунду, когда они скажут, что запас уступок исчерпан, мы возьмемся за оружие. Разница только в том, что тогда у нас будет 30 тысяч обученных и вооруженных бойцов в освобожденных районах». Примерно то же говорил много раз и Арафат, хотя в более осторожной форме. Барак резко приблизил столкновение с Арафатом, попытавшись перескочить к постоянному урегулированию, поскольку Арафат предпочитал схему сменяющих друг друга промежуточных соглашений, в рамках которых израильтяне уступают ему свою территорию, а он празднует якобы свою очередную победу.

— Почему же тогда израильское руководство пошло на это соглашение?

— Потому что в Израиле, как и во всякой другой демократической стране, есть большая часть населения, которая верит, что уступки агрессору предотвратят войну. Потому что мирная жизнь в этой стране так привлекательна, что провоцирует забыть о далеких опасностях, которые произойдут (а вдруг не произойдут?) от сокращения территорий и приближения границ. Потому что и Гитлер в свое время, не стесняясь, говорил, чего он

хочет, а демократические лидеры упорно внушали своим народам, что все это пустые слова, а на самом деле с ним можно договориться. Потому что и в странах диаспоры половина евреев и сейчас верит, что если они будут хорошо себя вести, антисемитизм сам собой исчезнет. Способность человека верить в то, что его успокаивает, облегчает жизнь. Оптимисты живут дольше...

— Какое же решение вы предлагаете?

— Мы, физики, хорошо знаем, что не все задачи имеют решение. Конфликт отцов и детей неразрешим. Сытый голодного не понимает. Демократии поражены коррупцией... Тем не менее жизнь продолжается. И в тех же демократиях даже происходит некоторый прогресс. Уровень безопасности израильского гражданина сейчас среди самых высоких в мире. Он не повысится оттого, что Арафат подпишет с нами еще одно соглашение. Наша безопасность определяется не его намерениями, а нашей способностью себя защитить. И так будет еще десятки лет, пока мы, как и весь западный мир, подвергаемся агрессии со стороны бедных и неустроенных народов, которые не знают других способов улучшения своей жизни, кроме войны. Очень глупо облегчать им эту агрессию, вместо того чтобы наглядно продемонстрировать им гибельность этого пути. В будущем, возможно, произойдут изменения, которые смягчат эту конфронтацию.

— Каков же ваш сценарий будущего развития?

— Арафат будет ужесточать свои требования в расчете поднять уровень конфликта. Его задача — создать впечатление, что проблема носит глобальный характер. Все мусульмане должны быть заинтересованы в палестинском вопросе — и для этого ему нужна Аль-Акса. Он всячески постарается и христиан впутать в свои дела. Только палестинцы — истинные хозяева — якобы могут обеспечить надежную сохранность святых мест всех религий (кроме, конечно, еврейской, которая известна своими заблуждениями). Чем больше уступит Барак, тем больше Арафат будет подчеркивать недостаточность ус-

тупок и, в конце концов, он будет якобы вынужден к военному конфликту. Он, конечно, не сможет победить, но его политическое значение во всем мире и, особенно, роль защитника всех верующих от безбожных сионистов значительно вырастет. По ходу дела погибнет еще и несколько сотен самых темпераментных палестинцев, которые могли бы составить угрозу его личной диктатуре. А то, что ему было обещано в ходе переговоров, уже как бы само собой рано или поздно приплывет ему в руки, по мере того как евреи будут привыкать к этим требованиям.»

По дороге в лабораторию Джон с кроткой улыбкой осуждал буйную политическую фантазию Ханана, а я с ужасом думал: «А что будет, если Арафат все-таки согласится на мирное соглашение? Ведь тогда они начнут стрелять в нас и подкладывать бомбы уже не из Газы, а прямо из Иерусалима...»

Прошло три месяца. Мы с Хананом вернулись соучаствовать в его сценарии. Джон остался мучиться своими сомнениями в Сиэттле. Мир удивлялся или негодовал. В Европе спалили несколько синагог. Отчасти это было сюрпризом. Но не исключено, что тамошние евреи просто плохо себя вели?

Знакомая канадская киножурналистка рассказала моей жене, что примерно тогда же, когда мы с Джоном спорили в Сиэттле, она снимала свой репортаж в Газе и общалась с местными интеллектуалами. Все они в один голос уверяли ее, что из этих переговоров ничего не выйдет, но так же единогласно уклонялись от съемок. Таким образом сказать, будто никто не мог предвидеть того, что случилось, нельзя. По обе стороны линии фронта были люди, которые знали, что вскоре произойдет. Вопрос, почему это оказалось сюрпризом для мирового общественного мнения. Разве то, что всегда было известно нам с Хананом (а также жителям Газы), не могло стать известным всем?

Вопрос этот не так прост. И он не исчерпывается обвинением тележурналистов в необъективности. Трудность,

которая равно не дается большинству журналистов и читателей, состоит в том, чтобы представить себе иную культуру и соответствующую ей психологию. Одни и те же поступки в разных культурах оцениваются по-разному.

Читая «Илиаду» Гомера, человек, принадлежащий иудео-христианской цивилизации, сочувствует побежденному Гектору, храбро защищавшему свою родину. А текст воспевает славу агрессору — жестокому убийце Ахиллесу, чья храбрость не подверглась испытанию, поскольку он был неуязвим и знал это. Норвежский парламент присудил премию миротворцам Рабину, Пересу и Арафату за их готовность заключить соглашение, а десятки миллионов мусульман (и с ними Владимир Жириновский) рукоплещут Саддаму Хусейну за его неуступчивость американскому империализму. Родители убитых палестинцами израильских солдат едут на встречу с Арафатом, умоляя его остановить кровопролитие, а семилетняя палестинская девочка в ответ на вопрос журналиста, чего она хочет в новом году, наивно отвечает: «Чтобы убили всех евреев». Эта разница культур не определяется государственными границами. В той же самой стране одни люди проклинают С. Милошевича за то, что он навлек беду и позор на Югославию, а другие смотрят на него как на рыцаря славянской чести.

Арафат сложился в совершенно чуждой нам культуре, однако вынужден был жить и действовать в постоянном контакте с европейцами. Он в совершенстве овладел европейскими клише, но совершенно не поддался европейскому влиянию. Подобно Фиделю Кастро, он оказался гораздо более жизнеспособным последователем советской политической культуры, чем сам СССР. Отличие и удача его движения в сравнении с европейскими террористами, поддержанными Москвой, например, бандой Баадер-Майнхоф, состояло в том, что европейцы действовали против своей гуманно-христианской традиции, а Арафат действовал в мусульманской среде, как бы естественно. Если вопрос о соотношении цели и средств несколько

отягощал европейцев, в случае Арафата средства были совершенно адекватны его цели и находились в согласии с народной мечтой о победе над неверными. Европейцы как бы жертвовали собой, брали грех на душу ради великой цели, а члены ФАТХа, напротив, выполняли почетный долг всякого правоверного и пользовались одобрением своих родных и религиозных авторитетов.

Глубокомысленный советник израильского премьер-министра Гилад Шер сказал: «Все мы стоим перед загадкой, имя которой — Арафат... Он должен выбрать для себя определенную роль: политика или мечтателя-революционера, жаждущего остаться в истории этаким Саладином (Салах ад-Дин — полководец, разгромивший крестоносцев в Палестине). Выбрав роль исламского воителя, он удовлетворит экстремистов, но не сможет обеспечить конкретные нужды своего народа».

Жаль, что израильтяне не во всех подробностях знают российскую историю. Высказывание Шера по своей наивности идентично словам члена Временного правительства (кажется, Чхеидзе), сказавшего в 1917 в присутствии Ленина, что «нет такой партии в России, которая могла бы единолично взять и удержать власть». Большевики долго потом смеялись над его простотой (пока их самих не начали расстреливать).

У Арафата есть и более близкие примеры для подражания, чем Саладин и Тамерлан. Он, конечно, лучше Шера знает, кого ему надо удовлетворить в первую очередь и как. Его герои — Саддам Хусейн и Муамар Каддафи, которые не очень-то церемонятся со своими молчаливыми народами. Судьба не дала ему нефти, но и с помощью всего лишь бедного рассеянного палестинского народа он сумел сколотить личный счет, превышающий десять миллиардов долларов, и армию соратников. Он любезно согласился принять Нобелевскую премию мира, но, конечно, и не подумал прекратить жуткую антиизраильскую пропаганду на предоставленной ему территории. Все беды, которые теперь посещают палестинцев, начиная от

пищевых отравлений после еды немытыми руками вплоть до СПИДа, подхваченного в европейских притонах, идут от происков сионизма. В школе их дети изучают тысячелетнюю историю доблестного палестинского народа, которого невесть откуда взявшиеся коварные сионисты обманом лишили Родины. По ходу военных столкновений регулярно появляются невинные дети (см. выше), убиенные израильскими извергами. Стрельба по евреям производится не просто откуда удобно, а из монастырей и христианских домов в расчете на израильскую реакцию, которая вызовет ожидаемый конфликт и с христианами. Арафат смело требует передать ему также и христианские святыни... Реакция христиан проявляется в повальном бегстве из палестинской автономии. Вифлеем перестает быть христианским городом. Европа негодует. Мирный процесс идет.

Пишут ли об этом в газетах? Показывают ли по телевизору? Итальянский корреспондент, заснявший на пленку зверское убийство двух израильских резервистов в Рамалле, еле унес ноги от справедливого гнева палестинского народа. Кадры эти были показаны в Европе и в Америке. Изменило ли это что-нибудь?

«Ах, как это ужасно! Вы должны скорей договориться, чтобы этого больше не было».

Подскажите, с кем договориться.

МАЛЕНЬКИЙ ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК

Сегодня, 7 февраля 1999, около 11 утра Иорданское правительство объявило о смерти короля Хусейна, вернувшегося на родину после безуспешной попытки лечения в США. На похороны главы этого маленького, бедного государства спешат сегодняшний президент Соединенных Штатов и еще четыре бывших американских президента, министры всех стран Европы и премьер-министр Японии. Чем вызвано такое внимание? Король Хусейн несомненно представлял собою исключительное

явление, но понять это явление вне его исторического контекста невозможно.

Хусейн стал королем в 1952 г. после того, как на его глазах в иерусалимской мечети его дед — король Абдалла — был убит палестинским террористом за то, что накануне встретился с Голдой Меир для мирных переговоров. Хусейн царствовал 47 лет, поставив своеобразный рекорд долголетия на троне (дольше его царствовала только английская королева Елизавета), несмотря на десять покушений и серьезную попытку гражданской войны, предпринятые его палестинскими подданными. В течение многих лет Хусейн вел тайные переговоры с правительством Израиля, которые в 1994 г. завершились мирным договором.

В том карточном домике, который представляла собой система марионеточных государств Ближнего Востока, сложившаяся в результате лихорадочного дележа наследия Оттоманской Империи между Англией и Францией, Иордания попала на самое дно пирамиды. Спустя три четверти века, благодаря умной, компромиссной политике Абдаллы и Хусейна, Иордания, не имевшая первоначально шанса на выживание, превратилась в самостоятельное государство, определяющее будущее развитие мира на Ближнем Востоке. Вся пирамида взаимоотношений будет потрясена до основания, если эту карту выдернуть из середины...

Однако, помимо политических расчетов, экономических опасений, военной стратегии есть еще в образе «маленького короля» неотразимое обаяние рыцарства. Романтическая верность обязательствам, мужественная поза воина, по своей воле выбравшего мир для своего народа и поставившего свою жизнь на эту карту. В конце века, который превратил бесчестье почти в общую норму, эта несовременная поза маленького короля сделала его великим человеком.

Чувства израильтян по поводу смерти короля Хусейна не так просто описать. Наша жизнь слишком сильно

зависит от всего, что творится рядом. Государственные границы — слишком тонкие перегородки, чтобы мы могли чувствовать себя в безопасности в связи со сменой власти в Иордании. Арабские государства — слишком недавние и нестабильные образования, чтобы можно было рассчитывать на здравый смысл обывателей или какие-нибудь устоявшиеся национальные традиции.

Тому, кто хочет понять, что происходит на Ближнем Востоке, нужно забыть на время европейские мерки, марксистскую догматику и русскую литературу. На Ближнем Востоке, бывшем в давние времена цветущим садом, а за полторы тысячи лет религиозных войн и турецкого господства превратившемся в поросшую колючками пустыню, немногие помнят, что «человек по природе добр», что «история человечества — это история борьбы классов» и, что «глас народа — глас Божий».

После Первой мировой войны Британское правительство получило мандат Лиги Наций на Палестину, 300 лет бывшую глухой провинцией Оттоманской Империи. Хотя в основе решения Лиги Наций содержалась мысль о создании в Палестине «Еврейского национального очага», первым делом англичан тогда было расплатиться с вождями арабских племен за их поддержку в войне против Турции. Больше двух третей Палестины было выделено бедуинскому роду Хашимитов из Хиджаза (Аравия) под эмират, который чиновники Британского Министерства Колоний, не долго думая, нарекли Трансиорданией («Заиорданье»).

К племени хашимитов принадлежал сам пророк Мохаммад и для всего мусульманского мира такая принадлежность очень много значила. Значит и сейчас. Хотя бедуины говорят на арабском языке и в русской литературе их не отличают от «арабов», они сами думают про себя совершенно иначе и оскорбляются, если их путают с другими. Именно бедуины, пришедшие из соседней Аравии, составили военную и бюрократическую верхушку вновьсозданного государства, которому англичане оказа-

ли всемерную, многолетнюю помощь. Эта верхушка и сейчас составляет господствующее национальное меньшинство в Иордании, которому принадлежит решающая роль во всех делах.

Король Абдалла — дед Хусейна — проявил выдающиеся качества политика и сумел не только в течение многих лет продержаться на своем шатком троне, но и с большим умом использовать английскую поддержку. Он превратил своих бедуинов в лучшую в регионе армию, ввел у себя разумные законы и наладил экономику, благодаря чему его государство осталось на плаву даже после ухода англичан.

В 1947 г. ООН большинством голосов (при поддержке СССР) принял решение разделить и оставшуюся треть Палестины еще на два государства: еврейское и арабское. Абдалла немедленно воспользовался этим и оккупировал ту часть, которая должна была составить арабское государство (кроме сектора Газы, оккупированного Египтом). Конечно, все заинтересованные лица в то время понимали, что никакого арабского государства не может быть за отсутствием инфраструктуры, но дипломаты Британской Империи надеялись таким образом усилить свои позиции, предложив двум своим тогдашним вассалам — Трансиордании и Египту — округлить их владения.

С тех пор Трансиордания стала называться Иорданией, а арабы Западного берега Иордана на двадцать лет оказались подданными ее короля.

Однако, начиная с этого момента, из географии исчезло столь значимое в истории слово — Палестина. Остались только Израиль и Иордания. Причем, Израиль был определен как еврейское государство, а Иордания, как бедуинское, хотя бесправное большинство в нем составляли арабы. Спустя тридцать лет после Первой мировой войны это были уже не те арабы, что безропотно подчинялись кому попало, а арабы, привыкшие к британской палестинской администрации, которая всячески поощряла в них зачатки самоуправления. Таким

образом открылась вакансия для нового, «палестинского» народа...

Существует в философии лингвистическое направление, которое утверждает абсолютный приоритет словесных формул в сознании (а следовательно и в исторически реализуемой активности) людей. Не берусь судить категорически, но мне кажется, что победа Ленина в революции была предопределена его выбором названия для своей малочисленной партии — БОЛЬШЕВИКИ. Партия меньшевиков не смогла бы победить в России независимо от ее программы и качеств вождей, просто потому что «меньшее» в массовом сознании неизбежно уступает «большему».

Примерно такой же уровень интуитивного политического дальновидения проявил и Ясер Арафат, назвавши свое движение «палестинским». Палестинцами теперь можно называть и большинство населения Иордании, и израильских арабов, и жителей Палестинской автономии на Западном берегу Иордана, и многочисленных беженцев из районов военных действий 1947-1948 гг., рассеянных по всему свету. («Кто это палестинцы?» — недоумевала Голда Меир: «я — палестинка.») Это имя, основанное на христианском названии местности, придало локальной проблеме статуса Западного берега неожиданно глобальное значение, от которого зависит и стабильное существование двух государств — Израиля и Иордании — и престиж двух мировых религий.

Культурная наполненность слова «Палестина» настраивает любую европейскую аудиторию на высокий, мечтательный лад («Скажи мне ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела...») и исключает мысль о зле и насилии.

Хусейн стал королем после того, как на его глазах король Абдалла был убит палестинским боевиком за то, что накануне встретился с Голдой Меир для мирных переговоров. Конечно, Абдалла встречался с Голдой не из необъяснимой любви к евреям, а исходя из трезвой оцен-

ки перспектив и интересов своего народа. Но... если бы террористические организации состояли из трезвых людей, вся история человечества, возможно, пошла бы другим путем.

Следует также заметить, что террор является пока единственной действенной формой оппозиции во всем арабском мире от Индийского океана до Атлантического, и Иордания не была исключением.

Вступив на должность в 1952 г., Хусейн правил 47 лет. Во всех арабских странах за это время успели произойти государственные перевороты. В некоторых — не по одному разу.

Решение Лиги Арабских стран в 1967 г. толкнуло и его (вместе с Египтом и Сирией) на участие в агрессии против Израиля, которая была впоследствии названа Шестидневной войной. В результате Иордания лишилась Западного берега и Восточного Иерусалима и в нее хлынул поток обозленных (и вооруженных) «беженцев», которые воспринимали это поражение как историческое недоразумение. Теперь уже, в отличие от 1947 г., эти люди были объединены общей бедой и вдохновляющей идеологией «палестинской революции», которая каким-то чудесным образом освободит все угнетенные колонизаторами народы. Нет нужды объяснять, что они были также вооружены советским оружием и отчасти советской фразеологией. В течение нескольких лет они сумели совершить десять покушений лично на короля Хусейна, а также множество убийств его министров и членов семьи.

Наконец, в 1970 г. они начали гражданскую войну против короля и призвали себе на помощь Сирию. 1 сентября газета ФАТХа — самой крупной организации палестинцев — призвала к свержению короля Хусейна. 17 сентября палестинцы обстреляли столицу Иордании — Амман. 21 сентября две сирийские бронетанковые бригады вторглись в страну и заняли второй по величине город Ирбид. В ответ иорданская армия перешла в наступление, разгромила базы ФАТХа по всей стране и нанесла поражение

сирийской танковой колонне. Более 8000 палестинских боевиков были убиты и десятки тысяч ранены. (По другим сведениям убито было 20 000 палестинцев.) Большая часть бойцов ФАТХ, спасая свою жизнь, вброд перешли Иордан и сдались израильским войскам. Какая-то часть сумела бежать в Ливан. Сентябрь 1970 г. вошел в историю палестинского движения, как «черный сентябрь».

Повидимому, именно этот сентябрь (или американская финансовая помощь) окончательно убедил Хусейна в необходимости мира с Израилем. Хотя Иордания еще со времен Абдаллы проводила регулярные тайные консультации с изральскими дипломатами, в октябре 1970, впервые после смерти старого короля, такая встреча состоялась на высшем уровне.

Трудно назвать короля Хусейна «голубем» в общепринятом европейском смысле, но в его лице Израиль впервые обрел партнера по переговорам. Как сказал один поэт: «Пошли нам, Боже, честного врага!» До переговоров с Хашимитским домом Израиль встречался в арабском мире только со слепой ненавистью, не принимающей в расчет никаких резонов. Король Хусейн вел переговоры, чтобы договориться. Вопреки всем теориям воля одного человека в истории значит очень много.

Во всех арабских странах сегодня существуют авторитарные режимы разной степени жесткости. Эта авторитарность в какой-то степени соответствует феодальной, по-существу, структуре арабских обществ и отсутствию национальной солидарности.

Лет двадцать назад, проходя резервную службу, я вместе с другими солдатами охранял строительный объект вблизи Шхема (арабское название — Наблус). Строительные рабочие-палестинцы — веселые, двадцатилетние мальчишки — дружелюбно приглашали нас к своему костру. Они объясняли, что предпочитают работать на израильских объектах не только потому что израильтяне лучше платят, но еще и потому что спесивые арабские шейхи-работодатели не признают их за равных себе

людей и всячески подчеркивают свое превосходство. Эти ребята уже поучились в вестернизованной школе, и идея наследственного сословного неравенства стала им чужда. Их очень заинтересовало мое происхождение и они расспрашивали о жизни в России. Один из вопросов меня поразил: «Как Россия устроена? Там — свобода, как у нас, или диктатура, как в Иордании?» Т. е. двадцать лет назад на «оккупированных территориях» жили еще палестинцы, которые воспринимали Израиль, как свой дом.

Конечно, Иордания — абсолютная монархия, в которой парламент предназначен для выслушивания и безоговорочного одобрения воли короля. За 47 лет царствования Хусейна сменилось полсотни премьер-министров. Воля хашимитских королей все полвека была направлена на вестернизацию и модернизацию их страны. Тот факт, что вестернизация входит в противоречие с отсутствием свободы, должен напомнить российскому читателю пример Петра Великого, который модернизовал Россию вопреки ее воле. Подобно Петру, Хусейн в узком кругу также умел вести себя предельно просто. Бывший премьер-министр Израиля Шимон Перес рассказал, как десять лет назад он тайно встретился с королем в доме мэра Лондона. Чтобы сохранить тайну, мэр отпустил всех слуг, и его жене пришлось самой подавать к столу. После обеда король вызвался помыть посуду...

Заключив мир в 1994 г. Хусейн лично облетел Израиль на своем самолете и, полюбовавшись им с воздуха, признал, что израильтяне очень украсили свою землю. По-видимому, им владела мысль превратить в сад и свою пустынную страну.

Мирная идиллия прерывалась несколько раз, но королю удавалось побороть сомнения в мирных намерениях Иордании. 13 марта 1997 г. иорданский солдат открыл автоматный огонь по группе девочек-восьмиклассниц, приехавших на экскурсию в Иорданию и убил семерых. Король совершил беспрецедентный шаг, лично посетив семьи убитых и присоединившись к их трауру. Ничто

не сможет заменить родителям убитых детей, но израильтяне оценили воистину королевский жест Хусейна, ставшего на колени в доме осиротевшей семьи убитой девочки...

В одном из своих интервью бывший советский диссидент и нынешний израильский министр Натан Щаранский сказал, что мир с арабскими соседями сам собой наступит у нас, когда они, наконец, придут к демократии. Специалисты по международным делам, однако, утверждают, что дело обстоит прямо противоположным образом. Пока окружающие нас народы подчиняются своим вождям, есть еще шанс установить мир, ибо вожди способны вести стратегическую политику, включающую, в частности, и мирные отношения. Если же вместе с демократизацией выплеснутся наружу буйные инстинкты и религиозные страсти, никакого шанса на мир уже не будет десятки лет.

В январе этого года Хусейн внезапно назначил своим наследником сына Абдаллу, родившегося от жены-англичанки. 37-летний Абдалла не готовился унаследовать корону, учился военному делу в Вашингтоне, служил в танковых войсках, а затем в авиации. В последнее время он командовал элитными войсками безопасности и пользовался большой популярностью в армейских частях. Возможно, это и явилось причиной его назначения, так как преданность армии является важнейшим фактором стабильности власти во всех арабских странах.

Король Хусейн знал, какое трудное наследство он оставляет. Международная блокада иракского диктатора Саддама Хусейна подорвала традиционную торговлю Иордании с Ираком. Безработица в стране приближается к 40 процентам. Иракские газеты плачут крокодиловыми слезами о бедном иорданском народе, который живет под страшной опасностью сионистской агрессии. Палестинские организации затихли, но не забыли «черный сентябрь». Вожди бедуинских племен непрочь вы-

ставить своих более удобных кандидатов на престол. Сирия в любой момент готова «оказать братскую помощь» и «защитить Иорданию», как она уже «защитила» Ливан. В такой ситуации армейское прошлое принца Абдаллы может очень пригодиться. Как в свое время пригодились преданные бедуинские войска самому Хусейну.

На похоронах короля, встретились главы государств и организаций почти из всех стран мира. Чего искали эти циничные, закаленные политикой люди в столице маленького, бедного государства?

Я думаю, прежде всего они искали встречи. Невероятная ситуация, при которой могут встретиться (и даже пожать друг другу руки) президент Израиля, Эзер Вейцман и отпетый глава террористов Наеф Хаватме, президент США Клинтон и диктатор Ливии Кадаффи, таит в себе много возможностей для людей такой профессии. То, что Хусейн сумел при жизни завязать отношения со всеми этими людьми, показывает, что он был безусловно выдающейся личностью, обладающей большим обаянием. Он также сумел при этом остаться независимым, вопреки людоедскому принципу «кто не с нами, тот против нас». Но то, что эти люди бросили все свои неотложные дела, чтобы слететься в Амман на светские похороны, означает также, что существует реальная опасность нарушения международной системы равновесия сил в мире из-за падения с чашки весов маленькой иорданской гирьки. Одни из них боятся этого нарушения, иные жаждут его, но другого повода взглянуть в глаза друг другу и поразмыслить об увиденном у них не будет.

Зная о своей близкой смерти король напоследок проявил редкое самообладание и уладил дела спокойно, как заканчивает или передает дела добросовестный работник перед уходом в отпуск. С его лица не сходила доброжелательная улыбка, долженствующая ободрить и утешить его подданых. Он несколько раз публично подтвердил свою приверженность делу мира с Израилем, чтобы исключить кривотолки после своей смерти.

Принц Абдалла поклялся, что выполнит волю покойного. Похоже, что ему понадобится для этого не меньше выдержки и мужества, чем понадобилось Хусейну.

Идея, что мир не «раскололся на два лагеря» и необязательно принадлежать к одному из них, чтобы прожить жизнь достойно, все еще нова на Ближнем Востоке. Король Хусейн своей жизнью создал впечатляющий прецедент, который внушает надежду, но мы еще в самом начале пути.

В ПРЕДДВЕРИИ ОЧЕРЕДНОЙ ВОЙНЫ

В грандиозном сценарии, который сто лет назад набросал Владимир Соловьев для XX1 века, евреям и Израилю выпало играть пионерскую роль в тотальной войне с мировым Злом (Вл.Соловьев,«Три разговора»,1900г.). Президент Буш (конечно, какой-нибудь из его советников), судя по его реторике, внимательно читал этого русского философа. Мы действительно приближаемся к тотальной войне, и, боюсь, нам не удастся уклониться от своей пионерской роли в этом деле. Но приблизиться — еще не значит неизбежно вступить в войну. Третья мировая война завтра не начнется.

Палестинский террор выступает по классической схеме уличного ограбления. В темном переулке к вам подходит мальчик и издевательски жалобным голосом канючит: «Дядя, мне холодно, отдай пальто.» Вы грубо ему отвечаете, и мальчик цепляет вас каким-нибудь проволочным крючком. Вы даете ему по уху, и тут из-за угла выходят трое с ножами и говорят: «Ты зачем обижаешь маленького?! А ну, отдай ему, что он просит!»

Арафат просит, ни много ни мало, отдать ему пол-Иерусалима вместе со Стеной Плача, право бесконтрольно ввозить оружие и вселить к нам миллионы людей со всего света, которых он назовет беженцами.

В противном случае... Что в противном случае?

Палестинский народ прийдет в отчаяние и станет мстить еврейским оккупантам, самоубийственно взрываясь то тут, то там. Собственно, его отчаяние даже предшествует этим требованиям, поскольку разница в образе жизни угнетенного палестинского народа и захватчиков-евреев бросается в глаза. Палестинцы как бы дошли до края: «Чем такая жизнь!..» Спросим себя: в чем тут дело?

Неужели благосостояние евреев происходит от захвата Стены Плача и поселений в Иудее и Самарии? А до этого захвата в 1967г. палестинцы были счастливы и мы жили в мире и согласии?

Неужто нищета палестинцев связана с лишением их возможности ввозить оружие? И они приходят в отчаяние от невозможности пригласить на свою нищету родственников из богатых стран? А если они беспрепятственно ввезут оружие и увеличат плотность своего населения, они успокоятся?

Мысль о том, что палестинский народ угнетен именно своим собственным поджигательским руководством, не находит поддержки в широких кругах. Европа и Америка, потеряв счет убитых ими в Афганистане и в Африке, не устают, однако, давать нам уроки гуманизма. Мы, оказывается, должны повсеместно и неуклонно уважать права человека. И не мешать им улаживать их собственные дела с правами афганского, иракского, сомалийского, югославского и многих иных свободолюбивых народов.

Да и в самом израильском обществе, хотя и шокированном новым размахом арабского террора, дискуссии о возможности компромисса с террористами (и с собственной совестью) не утихают. Может ли полицейский немедленно стрелять, если он видит преступника? Или он должен предупредить его об опасности выстрелом в воздух? Пропускать ли машины с оружием, если на них написано «Скорая помощь»? Морально ли отказываться от резервной службы в армии? Может быть такой отказ означает преданность делу мира? Следует ли позволять

антиизраильскую пропаганду арабам-членам Кнессета? Не следует ли различать террористов, которые убивают женщин и детей и тех, кто покушается только на солдат?.. А что, если палестинцы правы? Может, отдать им все, что они хотят? Почему бы, в самом деле, нам не попробовать?

Дискуссиям нет конца. Израиль давно превратился в экспериментальную площадку, на которой практически опробуются все западные социальные идеи.

Арабский мир, наблюдая это противостояние из-за угла, наматывает на ус и решает, работает ли такая стратегия в борьбе с неверными. Для арабского (и, возможно, для всего мусульманского) мира это вопрос экзистенциальный.

Если можно вырвать у людей Западной цивилизации уступки, подрывающие самую основу их существования, всего лишь ценою жизни нескольких сотен оголтелых недорослей, стоит ли менять свои вековые привычки? То есть, стоит ли производить у себя реформы, угрожающие их авторитарным режимам, вводить европейское образование, плодящее диссидентов, позволять беспрепятственное распространение сведений, ослабляющих веру и подрывающих незыблемый до сих пор авторитет властей?

Здесь не место шуткам. Речь идет об образе жизни сотен миллионов людей, большинство из которых не привыкло к западной идее свободного выбора. Вернее привыкло, что их выбор только между жизнью и смертью.

Свободный выбор в арабских странах, впрочем, есть у их правительств, поскольку они не ограничены своими парламентами. Они свободны вести свои народы по пути медленного и необеспеченного прогресса, и один Бог знает, сколько еще препятствий встретится им на этом пути в будущем. Но они могут также склониться к покровительству (и попустительству) новым движениям, руководимым яркими, одаренными личностями вроде Бин Ладена. Есть сегодня в мусульманском мире эти на-

родные герои, готовые победить или умереть, обещающие скорое торжество веры, новый порядок и всеобщее братство правоверных. Что с того, что во всех европейских странах библиотеки завалены книгами, из которых ясно, что никакой «новый порядок» не принесет счастья, и братству вовеки не бывать — кто там станет эти фолианты перелистывать! Всегда найдутся тьмы молодых сторонников у решительного человека с идеей. Даже и в «Аль Каэде» есть уже какие-то отморозки европейского происхождения.

Между тем, в Израиле каждый день раздается один или два взрыва, то в клубе, то в ресторане, или какой-нибудь очередной герой-мученик кидается с автоматом на толпу. Террористы стали разъезжать по территориям на машинах «Скорой помощи». Министр Рехавам Зееви («Ганди»), отказавшийся от охраны из принципа («У себя в стране мне не нужна защита!») убит на улице. Другому министру (Дани Наве) уже пообещали убить его детей. Пока я это писал, телевизор сообщил, что в Ариеле взорван отель. Ранено 15 христианских паломников, приехавших демонстрировать евреям свою солидарность...

Эта тактика, в общем, себя оправдывает. Люди стали меньше ездить в автобусах, реже ходить в рестораны. Коалиционное правительство («лебедь, рак и щука») явно топчется в замешательстве. Распределение голосов в Кнессете не соответствует сегодняшнему настроению общества. Стране сейчас не до выборов. Оппозиция для поднятия престижа резко преувеличивает меру своего влияния на избирателей. Появившиеся экономические трудности обостряют трудовые и социальные конфликты.

Одиночные ответные акции Израиля не могут помешать будущим мученикам ислама. Понемногу разрушаются и основы мирной жизни по обе стороны фронта. Люди звереют. Террориста, стрелявшего в праздничную толпу на свадьбе, забили пивными бутылками. После

взрыва в тельавивской молодежной дискотеке уличная толпа бросилась на арабов, собравшихся молиться в мечети поблизости. Я, впрочем, не поручусь, что никто из молящихся там не выразил открыто своей радости по поводу гибели девочек в дискотеке...

Очевидно, что это должно кончиться массированным вторжением израильской армии на территорию «автономии» и сплошной «зачисткой». Кажется, если верить радио, в последние дни она уже началась. При зачистке в «лагере беженцев» Балата (попросту в поселке потомков лиц, перемещенных в ходе войны 1948г.) арестованы десятки людей, замешанных в убийствах, обнаружены склады оружия, ракет, мин и взрывчатых веществ, десятки поясов со взрывчаткой для потенциальных кандидатов в рай. В Туль-Кареме сдались несколько сот вооруженных террористов. Палестинцы, в доме которых они прятались, забыв опасения, взмолились: «Да, уберите вы, наконец, от нас этого Арафата, чтобы мы могли жить спокойно.»

Означает ли такое вторжение «большую» войну? Об этом трудно судить категорически, но можно оценить примерно.

Для «войны цивилизаций», предсказанной Хантингтоном, время еще не пришло. Общие культурные симпатии мусульман далеко еще не дошли до уровня общего «национального интереса». Все ближайшие соседи Арафата заинтересованы, пока что, скорее в его поражении, чем в победе (это особенно верно в Иордании!).

Единственное правительство, которое сейчас могло бы найти для себя выгодным вмешаться в пользу Арафата, это режим Саддама Хусейна. Вместо того чтобы маяться самим в ожидании нападения США, Ирак мог бы выступить первым в качестве спасителя, готового защитить «палестинских братьев» от «агрессора» и таким образом несколько по-иному расставить акценты в предстоящем общем конфликте. Мощь арабских стран все еще, в ос-

новном, потенциальная, психологическая и финансовая, но не военная. Максимум, на что они могут рассчитывать, это неочевидное поражение. Поэтому такая война, если она начнется, будет для мусульманского мира только пробой сил. Но от исхода этой пробы зависит развитие всего цивилизационного конфликта.

Подобная же проба сил произошла в свое время в Европе в конфликте демократических стран с Германией из-за Чехословакии. Вот, что показал на Нюрнбергском процессе начальник Германского генерального штаба ген. Гальдер:

«В 1938 мы решили избавиться от Гитлера. Душой нашего заговора был генерал Бек... Мы составили прокламацию к германскому народу, в которой провозгласили, что фюрер вовлекает Германию в гибельную войну и долг генералов предотвратить это развитие событий. Наше тайное совещание еще продолжалось, когда радио сообщило о приезде Чемберлена к Гитлеру в Мюнхен... Престиж Гитлера после Мюнхенского соглашения настолько вырос, что подходящий случай больше уже не представился...»

Чемберлен, таким образом, думая спасти мир, спас Гитлера... Показания ген. Гальдера дополнил ген. Йодль: «Если бы Даладье и Чемберлен не пошли на компромисс в Мюнхене, мы ни в коем случае не выступили бы с военной силой. Мы просто не смогли бы этого сделать. У нас не было средств прорвать чешскую линию обороны и не было достаточного количества войск на Западе...»

Их обоих удачно дополняет высказывание самого Гитлера: «Наши враги — мелкая сошка. Я понял это в Мюнхене.»

Будущее развитие событий — быть Третьей мировой войне или не быть — зависит от энергии отпора, которую ощутит будущий потенциальный противник. Война в Афганистане безусловно отрезвила многие горячие головы.

Но у нас в Израиле ситуация пока не прояснилась. Поддержка Арафата из Европы и осторожные, уклончивые заявления правительства США все еще оставляют ему надежду на признание его террора законным средством политической борьбы. Половинчатые антитеррористические меры израильского правительства до сих пор только вдохновляли его на продолжение этой войны на истощение. Израильское общество никак не привыкнет к мысли, что противник не собирается считаться с потерями и совершенно равнодушен к жертвам, которые несет его собственный народ. Еще меньше оно готово к пересмотру своих гуманных принципов.Это проблема гуманизма как целого. Он судит о противнике по себе.

Столкновение с негуманистической цивилизацией ставит либерального человека перед неразрешимой проблемой. Соблюдая свои принципы, он находит себя (а, главное, своих близких) на краю гибели. Нарушая свои принципы,

он не может отделаться от чувства вины.

Принципы гуманизма недоказуемы, потому что они скроены по мерке человека. Но оказалось, что люди разных цивилизаций имеют об этой мерке разное представление. И наша мерка не универсальная, а европейская. Навязать свои принципы противнику, который не принимает наших (а, может быть, и никаких?) правил игры, мы можем только силой. Об этом, как раз, и напоминает нам Нюрнбергский Процесс над нацистскими преступниками. Не надо льстить себе, называя решения этого Суда справедливыми. Военные преступники на этом Процессе сидели не только на скамье подсудимых, но и среди судей. Это была справедливость одной (победившей)стороны.

Однако, послегитлеровская Германия обязана своим сегодняшним демократизмом именно такому нарушению юридической правомочности. Также и расцвет Японии произошел благодаря страшному военному разгрому и последующей многолетней оккупации. В общем, и немецкий,

и японский народ, как бы их отдельные представители ни расценивали события прошлого, неизмеримо выиграли от того, что подверглись в свое время жестокому насилию.

Не будем себя обманывать — никакого другого пути к демократии у них не было.

Наша конфронтация с Палестинским руководством поставила нас вплотную к краю пропасти не потому что мы слабее их. Не при чем тут и либеральная болтовня, что «партизанскую войну нельзя выиграть военными средствами». Все войны в мире выиграны именно военными средствами.

Но речь идет о нас самих: партизанскую войну нельзя выиграть, оставшись в прежних пределах либеральных принципов. Эту войну нам не удастся выиграть, оставшись в той же очаровательной атмосфере богемной анархии, постоянной грызни «за справедливость», непрекращающейся «борьбы за права», которая когда-то делала израильскую интеллигенцию столь обаятельно беспечной, в сущности фанатически демократичной, нон-конформистской. Живя до сих пор в пределах своих «западных» представлений, мы в Израиле приучили себя к мысли о «войне без ненависти» и «судебной процедуре без ожесточения». И упоенно разоблачали свои прошлые войны, своих генералов и политиков, свою разведку и юриспруденцию в грязных трюках и подменах. Но не бывает «чистой» войны. Как нет и не будет жизни без греха.

Мы тешили себя мыслью, что и посреди войны нам удастся сохранить «человеческое лицо». Однако, это, как раз, и есть бесчеловечность, ибо война и убийство — человеческое дело, которое диктуется страстью, и потому маска ненависти более приличествует им, чем лицемерное бесстрастие. Много прав есть у человека, если верить идеалистам. Но его главное право — право на жизнь — вне прочной государственной структуры не обеспечено.

В Израиле жил писатель Юлий Марголин. Как израильский (палестинский о ту пору) гражданин он

11 лет просидел в Гулаге и был освобожден только в начале 50-х годов. В своей замечательной книжке «В стране З/К» он описал одно свое столкновение с обитателем этой «страны».Этот человек попытался вырвать у него хлебную пайку. Марголин ударил его кулаком в лицо и свалил под нары. Дальше писатель пишет: «Я понял, что ненавижу этого человека. Я ненавижу его не за то, что он хотел отобрать у меня пайку, а за то, что он вынудил меня, интеллигента с тонким вкусом, читавшего Вольтера и Канта, своим кулаком расквасить человеческое лицо.»

Вот, это приблизительно то, к чему подвела нас конфронтация с арабским миром и о чем нам ежедневно напоминает лицо Ясира Арафата.

Третьей мировой войны пока не будет, но наш мир станет хуже, жестче. И мы станем черствее.

ЛЮДИ НА ВОЙНЕ

В обыденной жизни от множества мелких забот и незначительных разговоров мы обалдеваем и теряем ощущение смысла и цели, перестаем различать высокое и низкое, важное и пренебрежимое. Хорошая книжка может встряхнуть и напомнить... Прошло уже много лет с тех пор, как множество людей покинуло СССР. Некоторые из них прижились в Израиле настолько, что способны писать о жизни здесь, о нашей жизни, не о невозвратном прошлом. Такой человек пишет о жизни, которая нас окружает, но в его тексте невольно присутствует сравнение: он знал и другую жизнь, он не может забыть, даже если хочет. Это неявное сравнение наполняет его наблюдения особым смыслом, придает его описаниям оттенок тайного знания. Его внимание невольно выхватывает из беспорядочной картины реальности то, что он менее всего ожидает увидеть. Это хорошая позиция, обостряющая взгляд писателя, дающая творческому слову новые смысловые оттенки. Зря эмигранты жалуются. Впрочем, они

жалуются не зря. Они жалуются на то, что вместо чисто словесной работы, к которой они привыкли с детства, им приходится проделывать новую работу по осмыслению незнакомой действительности, труд, от которого они с детства отвыкли.

Удачи на этом пути редки. Они приходят к тем, кто погружается в эту действительность целиком (или не погружается в нее совсем). Об одной из таких удач я хочу рассказать на последующих страницах, но, хотя это желание возникло у меня в связи с книгой, речь пойдет, скорее, о жизни, которая за этой книгой стоит. О драматическом эпизоде этой жизни. О войне в Ливане …

Командир инструктирует солдат перед боем: «Одна из наших главных задач — вернуться домой целыми!» Такое замечание, может быть, не остановило бы внимания писателя-американца. «Поэтому делайте то, что вам говорят, и никуда не лезьте без команды!» — здесь содержится новое для русского выходца обоснование воинской дисциплины.

С этого, в сущности, начинается книга Владимира Лазариса «Моя первая война». Этим, в сущности, она и кончается: «Побеждает тот, кто остается в живых. А каждый знает, что в живых остаться можно только, если воевать, а не бежать». Это слова из интервью, которые В. Лазарис взял у молодого десантника, родом из Вильнюса, историка по специальности. Действительно ли каждый знает, что бегство не спасает? Или, может быть, только историки по специальности?

Книга Лазариса представляет собой короткий военный дневник и 22 интервью, взятых на поле боя у солдат — выходцев из СССР. Автор проявил чуткость к своему материалу: дневник его, не заслоняя картину, вводит читателя в обстановку ливанской войны. Тон дневника подготавливает читателя к шуму разных голосов в интервью и потому намеренно негромкий.

Прочтение книги провоцирует мысль, что, быть может, война, или еще конкретнее, армия сплачивает нас

вернее, чем прожитые в стране годы, успехи по службе и знание языка. Мы вместе живем и вместе воюем, значит, мы — один народ. Это не столько силлогизм, сколько чувство. Как всякое чувство, оно сильнее разума. Это чувство господствует во всей книге. Разум же подсказывает каждому интервьюируемому свои собственные пируэты вокруг этого стержня. Большинство из них — молодые ребята, так что они, в сущности, уже не «русские», а израильтяне. Это очень заметно по свободе, с которой они признаются в своих страхах, а также по свободе, с которой они рассуждают о войне и политике. Но сказанное выше об особой двойственности оценок бывшего выходца из СССР остается верным и для них. Во-первых, потому, что кое-что они все же помнят, а во-вторых, потому, что направляет разговор воля автора, и характер его вопросов определяет, конечно, круг их внимания.

«Меня поставили за дерево, прикрывать ребят... Первый пробежал благополучно. Прямо за ним, фонтанчиками по земле, шла очередь... И рядом со мной пули из «Калашникова» шлепались Ц «панг, панг». Я только думал: ради мамы пусть со мной ничего не случится».

Это интервью разведчика. А вот голос шофера:

«Мне до Ливана дела нет, я туда пришел, потому что там кто-то был, кто мне мешал... Я себя чувствую, как маляр, которого попросили покрасить дом. Прийти, покрасить и уйти. Как в России говорили: «Надо, Федя!»... С правой стороны виднеется Бейрут, а слева — наша артиллерия. Вот она и начала долбать. А мы — на дороге. Снаряды летят над головой. Едешь и сам себя уговариваешь: «Не в тебя, не в тебя! Это — наши!» Но снаряды-то летят. И террористы отвечать начали. Мы оказались посередине. Говорят, если слышишь снаряд, он уже не опасен. Не знаю. Чувствую, в кабине сильно воняет. Оказывается, напарник, когда «катюши» стреляли, в штаны наложил. Мы остановились, но я как-то ничего не

чувствовал. Дело еще в том было, что, когда мы перед въездом в Бейрут ждали пропуска, я с ребятами бутылку водки распил. В общем, когда этот парень меня за руку схватил, я затормозил. Вылазит он, значит, из машины и говорит: «Вы меня, ребята, извините. Желудок не выдержал». С каждым может случиться. Вообще лучше не думать, что ты можешь вот так запросто помереть, потому что, чем больше думаешь, тем больше вероятность, что так оно и будет».

Ну, кто способен не думать, тот не думает. Но вот танкист думает все время:

«Если на узкой горной дороге стоит автомашина, ты же не станешь останавливать колонну в сотню танков, чтобы эту машину оттащить. Представляете: на легковушку наползает полсотни тонн железа... Никто, конечно, не хотел специально вредить и портить, но, если честно сказать, мне было даже забавно. Потому что в такую минуту особенно ощущаешь, какой махиной ты правишь... У командира голос стал немного истерическим. Когда сильное напряжение — всегда крики. Потом параллельный пулемет вышел из строя, и я должен был вылезть наружу, чтобы заменить его другим. Тогда я почувствовал беспредельный страх...»

Хотя жанр этот довольно обычен для англоязычной или ивритской литературы, такие книги никогда еще не появлялись на русском языке. Русскоязычный читатель может найти здесь впервые не только некую правду об Израиле, но и некую новую для себя правду о жизни вообще. Так как это непохоже на обычную для него сионистскую пропаганду, недавний советский гражданин может задать законный вопрос: «На чью мельницу льет воду господин Лазарис?» Здесь обнаруживается привычная нам по прошлому опыту аналогия между правдой и водой.

Что такое правда? Прежде всего, забудем, что в СССР нас учили, будто бывает правда «наша» и «не наша». Правда — одна. Иногда — неприятная. Затем придется также отказаться и от внушенной всей русской литературой, от Толстого до Солженицына, мысли, что главная правда проста. Как ни смотри, всегда оказывается — с одной стороны... с другой стороны. Простоты никак не получится, если мы не готовы для этого сжить со света половину человечества. Как и вода, правда протекает сквозь пальцы, если надеешься ее зачерпнуть голой рукой. Но может утолять жажду...

Правда жизни состоит в том, что люди ее не знают. И те, которые ищут ее, оказываются значительнее и правее, чем те, которым она безразлична. И книга Лазариса поражает, прежде всего, ощущением значительности жизни, которую она описывает.

Многие талантливые писатели замечали, что жизнь человека на земле — это трагедия. Но современный писатель, будучи верен правде, которую он видит, описывает все, как есть, и получается фарс, суета вокруг мелочей, водевиль с убийством... Потому что человек ведет себя в этой трагедии, как комедиант. Это только у Шекспира он предлагает за коня полцарства, и понимаешь, что жизнь его стоит царства. В литературе, верной реальной жизни, человек ищет коня подешевле. Эта скидка сразу снижает и цену его собственной жизни. Какая уж тут трагедия — просто бизнес: кому повезет, а кому и нет. Биржа. Поэтому современная литература ищет пограничных сюжетов из жизни гангстеров и сутенеров, в надежде, что их опасное существование и привычка расплачиваться крупными купюрами сами по себе сообщат эту крупность и повествованию. Однако незначительность мотивов снижает также и литературную значительность преступлений, а чем больше мы узнаем о преступном мире, тем менее серьезным в смысле крупных чувств он выглядит.

Война — это не только смерть и разрушение. Это еще и опыт. Это жизнь. Даже если это и «преступление», за

этим преступлением стоят значительные мотивы. Книга о войне всегда имеет шанс на значительность. Реализация этого шанса зависит от тех, кто в войне участвует, какой правдой они руководствуются, к каким купюрам привыкли...

Из двадцати двух израильских солдат, бывших выходцев из СССР, все двадцать два вынуждены были проверить свое представление о правде в той пограничной ситуации между жизнью и смертью, когда вторичные мотивы отступают. Конечно, когда в родительском доме разливают чай, каждый признает, что доброта лучше ненависти. Но когда нас, пятнадцатилетних мальчишек, гнали этапом из пересылки в лагерь и я протянул руку за какой-то съедобной ягодой, а мой сверстник выхватил ее у меня, он не постеснялся сослаться на школьный учебник, проповедовавший выживание сильнейших в жизненной борьбе. С тех пор я столько раз наблюдал практическое применение этого социального дарвинизма, что начал сомневаться в универсальной применимости принципа преимущества добра над злом. Никакие книги, сеющие разумное, доброе, вечное, не могут научить молодого человека быть человеком, пока он сам не побывает между молотом и наковальней, пока он не узнает настоящего страха и не определит для себя собственную меру доброты, доверчивости и способности к риску.

В Израиле нет романтизации войны и военных подвигов. Но я знаю, что пацифисты у нас в Израиле совершенно другие, чем в иных странах. Как правило, это люди повышенной храбрости. Может быть, от легкомыслия, но они явно не опасаются за свою жизнь. Многие из них служат в самых отчаянных боевых частях. Когда одни требуют немедленного мира, они имеют в виду свою готовность рискнуть жизнью, проявив максимум доверия к арабским противникам, а не свою готовность бежать с поля боя. Вот голос десантника:

«Я не крайний левый, хотя с самого начала был против этой войны. Раньше всегда чувствовалось единство, мы всегда знали, ради чего воюем. В первый раз в нашей части произошел такой глубокий раскол. Когда пошли слухи что нас пошлют к Бейруту, некоторые ребята, включая наших офицеров, заявили, что они готовы сесть в тюрьму, но на Бейрут не пойдут. В другой ситуации они никогда бы себя так не вели. Я того мнения, что приказ нужно выполнять, если только он не заставляет меня совершать что-то бесчеловечное. Конечно, когда предстоит боевая операция, у наших людей есть готовность идти на самый страшный риск...»

Это прямо противоположно тому, что характеризует пацифистов в Европе: «Лучше быть красным, чем мертвым! Лучше заниматься любовью, чем войной!» Эти готовы бежать и бегут...

Десантнику, готовому на самый крайний риск, отвечает десантник осторожный:

«Был приказ стрелять только по тем, кто стреляет в нас. Но мы стреляли и тогда, когда замечали что-нибудь подозрительное. Я хотел, чтобы там было как можно меньше людей — неважно, террористов или нет, потому что я вообще не хочу ни стрелять, ни убивать. Конечно, если уж приходиться... С кем мы сражались? С арабами. Я их никак не разделяю. Любой араб — это враг...

Таким образом, различие между правым и левым, между голубями и ястребами определяется мерой доверия, мерой риска, который ты готов на себя взять. У каждого эта мера — своя, и определить ее теоретически невозможно:

«Вбегаю в дом — на полу сидит парнишка, рядом оружие лежит. Он руки поднял. Ну, раз так, думаю, сдается парень. Наклонился оружие поднять. Даже не поду-

мал, что парень может мне что-то сделать> никак еще не вбил в голову, что это — война, что один другого должен убить. Спокойно так нагибаюсь. А он, видно, понял, что я один, и как прыгнет мне на спину! Ухватил за цепочку с жетоном и давай душить. Парень молодой, но я — тоже не инвалид. Напрягся, порвал цепочку... автомат уже не стал поднимать... Когда он упал, я ему еще ботинком поддал. Разозлился я на него сильно. Скажу вам прямо: первый раз убить человека тяжело».

И второй раз тоже:

«Что я чувствовал? Что мне приходится стрелять в ребенка. Я был готов убивать, но я не знал, что придется иметь дело и с детьми... Нам дали приказ — ни женщин, ни детей, ни стариков не трогать. Не сказали только, что эти самые дети будут стреять в нас... Настоящие убийцы! Ребенок, как овца. Куда пастух, туда и он. Перевоспитывать их надо...»

Не все относятся к этому так спокойно. Во всяком случае во время боя:

«В ту минуту, хоть и страшно, но в тебе поднимается злоба против тех, кто в тебя стреляет, и хочется их убить. Я стрелял по живым людям, но для меня они были только мишенями... И было только одно желание: заставить их замолчать. Навсегда... Некоторые сдавались. Нам было приказано не стрелять, если человек бросает оружие. Я совру, если скажу, что у меня не было желания этот приказ нарушить... Жена и дети очень обрадовались, когда я вернулся. Я им ничего не рассказывал. Я не хочу, чтобы мои дети ненавидели арабов только потому, что они Ц арабы».

Какой вывод из всего этого? Ведь эти свидетельства не только противоречат друг другу, но и каждое в себе

заключает противоречия. И каждое имеет право на существование, потому что за каждым стоит человек, который живет и рискует своей жизнью с этим багажом. И израильский читатель знает, что это не воспоминания после войны, которые уже ни к чему не обязывают, для внуков, так сказать. Нет, через несколько лет или месяцев придется опять идти на войну и опять решать, как поступить с собой и другими. Как замечательно заметил 20-летний танкист: «Чувствуешь, какой махиной ты правишь...» Все ли люди на земле чувствуют, какая махина ответственности катится вместе с ними по земле, и как значительны, на самом деле, их поступки? Вернее, как они незначительны в подавляющем большинстве случаев. Как мало продуманы их мотивации, как мелки принимаемые во внимание обстоятельства. Какое вопиющее несоответствие между причинами и следствиями. Мы живем в таком месте и в такое время, что всякий невольно задумается. Может быть, в этом и состоит наша правда. Задуматься.

В конце концов, многие ли из нас стали бы думать о жизни и смерти, если бы этот вопрос не висел над нами, как налоговое бремя? Дает ли этот опыт молодому человеку что-нибудь такое, ради чего стоит рискнуть жизнью?

«Когда сидишь в танке, не так страшно... потом уже я понял, что каждый должен преодолеть какой-то барьер страха. Я преодолел в тот момент, когда мы покинули подбитый танк... Представляете, какая в горящем танке температура! Я удивляюсь, как те парни, которые вытащили командира, вообще смогли приблизиться. В днище танка есть несколько дырок, через которые спускают масло, так через эти дырки вытекли все алюминиевые части из мотора. На земле лужа застывшего алюминия».

Ради этого мы привезли сюда своих детей? Ответа, я думаю, следует искать у самих детей. Тех, кто еще не ищет тихой пристани. Кого жизнь еще не придавила или контузила. Тот же 20-летний танкист говорит:

«Мы выскочили (из подбитого танка) через верхний люк и очутились на совершенно открытом месте... Подъехал бронетранспортер, чтобы нас забрать. Там была дикая теснота... Вначале я был немного в шоке, хотелось забиться в какой-нибудь угол. Наверху двое парней стреляли из пулеметов, там было еще свободное место. У бронетранспортера стены, как бумага, — уж лучше стоять наверху. Я взял автомат и поднялся...»

Он, как и наш историк-десантник, откуда-то знает, что спрятаться — не поможет. Жизнь и смерть достанут и тех, кто забьется в самый тихий угол: «у бронетранспортера стены, как бумага...» К тому же в тихих углах — «дикая теснота». Это такое знание, которое 20-летний парень не вычитал бы в книгах.

Ведь стены, как бумага, и у наших домов. И цивилизация наша, нормы жизни, к которым мы привыкли, отделены от варварства не более, чем бумажными стенами. Как ни странно, наибольшее чувство безопасности испытывают жители Советского Союза. Если они не диссиденты, конечно. Это тем более странно для евреев. Во время мировой войны в Советской армии служило 550 тысяч евреев (вдвое больше, чем в израильской армии при полной мобилизации), и более 200 тысяч из них сложили головы в боях. Чтобы достичь такой цифры потерь, нам пришлось бы здесь воевать еще триста пятьдесят лет или провести 60 войн подряд. Ну, скажут мне, это было так давно... И, наверно, не повторится... Такое утверждение прозвучит так же смешно, как надежда, что у нас в Израиле больше не будет войны. Мы привыкли, что живем в очень опасном месте. Возможно, это наше преимущество. Мы окружены всего лишь врагами. Нас отделяют от них государственные границы. Множество талантливых генералов заботится о нашей безопасности. А кто заботится о безопасности, допустим, Берлина? В Европе нет войны уже сорок лет, но сорок лет назад Европа была самым опасным местом на земле. Что же, это навсегда кончилось? Трудно поверить.

Ощущение безопасности в СССР рождалось из представления о чудовищной мощи советских военных и карательных органов. Ничего подобного нет в демократических обществах. Все они находятся в состоянии необъявленной войны с асоциальными элементами у себя дома и за границей и ведут эту войну с переменным успехом. То, что эта война не объявлена, только осложняет ситуацию.

Профессор Дельбрюк, автор классического труда «История войн и военного искусства», замечает, что при обсуждении причин падения Римской империи (а это означало, и Римской цивилизации) упускают обычно ту единственную причину, которая ему, как специалисту, кажется по-настоящему важной. В Римской империи военная профессия потеряла свой престиж, и римляне разучились воевать. Просто мирная жизнь стала для них так привлекательна, что только варвары и асоциальные элементы соглашались служить в армии. И варварские орды, разрушившие Империю, встречали на поле боя «римлян», которые отличались от них самих только тем, что воевали неохотно. Кстати, он также подчеркивает, что представление о том, будто на Рим нападали несметные полчища, возникло только как оправдание честолюбия римских полководцев. Варварские орды никогда не превышали римские войска численно, они просто состояли из храбрых людей, подогреваемых неутоленной жаждой наживы.

Армии и полиции западных стран состоят, в основном, из слабых людей, не выдержавших конкуренции в свободном обществе и выбравших легкий путь. Не удивительно, что им так трудно бороться с противником, одушевляемым мечтой «кто был ничем, тот станет всем». Они, может, и сами бы не прочь...

Необъявленная война идет не только между правительствами и террористами, добивающимися невесть чего. Она идет и на каждой улице между цивилизованными людьми и варварами, которые хотят взять «своею

собственной рукой» то, что они не заработали. В общем, они добиваются своего.

К известному русскому поэту Н. Коржавину, живущему в Бостоне, заходит по субботам сосед-негр и требует три доллара на выпивку. (Мои сведения многолетней давности, в прошлом году в Нью-Йорке мне сказали, что с собой теперь надо носить двадцать долларов, а то грабитель может рассердиться и выстрелить. Но он может рассердиться и по другой причине.) Коржавин не знает, как отразился бы на его здоровье отказ выполнить просьбу соседа. Однажды соседу понадобилось взломать дверь и унести телевизор... В общем, Коржавин бы не возражал, чтобы его от соседа отделяла государственная граница. Но в полицию он обращаться не пробовал. Журналист Г. Рыскин очнулся от забытья у самых рельс нью-йоркского метро. Ему удалось припомнить, что кто-то ударил его по голове незадолго до этого. Журналист Рыскин больше в метро не ездит. Он купил автомобиль. Писатель М. Гиршин в Нью-Йорке просто никуда не ходит после пяти вечера. Математик В. Рабинов получил несколько пуль в живот в Сан-Хозе, Калифорния, в ресторане, где он ежедневно обедал, потому что не разобрал по-английски команду: «Руки вверх! Лицом к стене!» Не лучше ли было бы ему слушать раз в году команды израильского командира? Каждый защищает свою жизнь и свободу, как может. Как он хочет. Способ, которым это делают израильтяне, — не худший на свете. И приводит не к большим жертвам.

Мы живем, возможно, в самом опасном месте на земле, но мы чувствуем себя в абсолютной безопасности у себя дома и на улицах. К тому же мы знаем, как защититься. Половина израильтян владеет оружием.

Если верно, что всякий мужчина рано или поздно в жизни встретит смертельную опасность, то не лучше ли к такому случаю подготовиться? И не лучше ли встретить опасность в кругу товарищей, чувствуя за собой всю мощь государственной поддержки, чем одному, в темном переулке?

Каково содержание той жизни, которую израильтяне защищают? Каково их отношение к своим целям и задачам в Ливане? Как они себя чувствуют после этой войны? Танкист:

«Когда смотришь на разрушенный дом — душа болит. А тут еще дети вокруг, которые в этом доме жили... Но если спрашиваешь себя, почему разрушен, ответ ясен. У всего есть своя цена. Те, кто нападает, платят свою цену, и те, кто защищается, свою... Ливанцы заплатили за свою глупость, что дали террористам хозяйничать... когда ты стреляешь, в тебя стреляют — все поровну. Начинаешь относиться к этому, как к работе. Работу надо сделать, вот и все».

Артиллерист:

«Враг врагом, но разрушать страну из-за того, что он там обосновался, тоже не дело. У каждого есть мать с отцом, жена, дети. Конечно, если поставить его детей против наших, я буду думать не о его детях, а о наших. Я о них там все время и думал. Для того и воевал. Вначале мне даже хотелось воевать. Но потом я стал думать: цели мы своей добились, сорок, или сколько там, километров очистили, чего нам еще? Хотя мы знаем, что защищаем наших, многим людям в Ливане мы мешаем... Мы много спорили. Нельзя нам больше тут оставаться».

Пехотинец:

«Я человек верующий, а на войне это имеет большое значение... Я сразу заметил, что террористы стреляют в воздух, и прекратил огонь. Зачем зря человека убивать?.. Вся эта война была справедливая».

Связист:

«Приказы в армии не обсуждаются... Хотя в моем бронетранспортере был командир дивизионной разведки, и я с ним горячо поспорил о приказе. В конце концов, я ему

сказал: «Йоси, я знаю, что мне его придется выполнить, но этот приказ дубовый!» А он: «Ну, может быть. Но армия есть армия!» Вряд ли в какой другой армии можно было бы так спорить, тем более рядовому с майором... Когда видишь невероятное количество оружия, которое они запасли в Ливане, и знаешь, что оно было приготовлено, чтобы убивать израильтян, начинаешь понимать, что жертвы, которые были и еще будут, не напрасны. Наверно, в каждом из нас есть вера. В гражданской жизни этого не замечаешь. Там ты полагаешься, в основном, на себя, и нет необходимости обращаться... я даже не знаю, как это сказать... к помощи извне, свыше... пока нет необходимости, я думаю, но вот, война напомнила: наверно, в каждом из нас есть вера».

Есть ли какой-нибудь общий знаменатель, который объединил бы все эти противоположно направленные убеждения, ощущения, веры? Или в сумме все эти силы дают полный и окончательный нуль, погашая друг друга?

Я уверен, что сумма не равна нулю. Мы не случайно самое сильное государство в нашем районе, несмотря на нашу немногочисленность. Отсутствие навязанного единства взглядов только подчеркивает готовность к реальному единству действий. Еще точнее — к единству образа действий, который коренным образом отличается от образа действий несвободных людей. «Я того мнения, что приказ надо выполнять», — говорит десантник, наиболее радикальный противник войны в Ливане. Это единство впервые пошатнулось именно в результате односторонней попытки манипулирования, предпринятой Шароном.

Ливанская война постепенно превращается у нас в наш Вьетнам. Как и тогда, в США, все большее число людей склоняется к желанию поскорее этот Ливан покинуть. Как и тогда, в США, за своими внутриполитическими проблемами мы все позабыли, собственно, о Ливане. И как тогда, не о чем, в сущности, и помнить,

потому что наибольшую безответственность проявляют сами ливанцы, что народ, что правительство. Так было и с Вьетнамом. И уже наперед ясно, что, как и во Вьетнаме, это кончится грандиозной резней. Чувство вины за события во Вьетнаме, случившиеся после их ухода, настигло американцев только много лет спустя. У нас это чувство охватывает многих противников войны уже сейчас, и, быть может, это будет единственной причиной, которая удержит нас от американского пути. И от ливанских беженцев.

Все интервью объединяет то чувство свободы как ответственности, которое так редко ощущалось нами в СССР и отсутствует, в большинстве, и у советских эмигрантов в других странах. Все интервьюируемые, высказывая свое мнение, понимают, что их мнения не безразличны к политической ситуации и м о г у т и з м е н и т ь счетет. Все они думают не о пустяках. Так или иначе, они понимают, что участвуют в Истории. Техник-связист:

«Вообще я доволен. Даже чувствую гордость, что на этот раз сам участвовал в войне. Мне всегда казалось, что все важные события проходят мимо меня. А теперь, вот, довелось самому делать историю».

И бывалый шофер говорит, что рад, что был на этой войне:

«Получается, что и я как бы немного своей крови отдал. А то ведь приехал в Израиль на все готовое. Вот и представился мне случай себя показать. Живу, мол, не зря, даром свой хлеб не ем!»

Зачем это им нужно, — возможно, спросит кто-нибудь. Я не уверен, что это нужно всем. Но я уверен, что это нужно очень многим людям, в том числе и таким, которых в этом не заподозришь. Человек вообще не может жить только мыслями о материальном, даже если он и

ведет себя соответствующим образом. Человек — существо историческое и продолжает оставаться таким даже в XX веке.

Вот что говорит сапер:

«Нам, израильтянам, эта война ничего не дала. Слишком много погибших... Ну, навяжем мы мир этим ливанцам... Надо их видеть, этих ливанцев. Отглаженные, одеколоном... каждый, наверно, литр одеколона на себя вылил. Грязную работу делать не будет. Все может продать и купить. За бронежилет готов отдать свой «Калашников». А за меховой комбинезон ему и родной сестры не жалко... Уверен, что они и мир этот продадут при первом случае... Работа у меня тяжелая. Минировать поля. Когда прорываешь землю... если в Синае, то не так страшно, потому что — песок, а на Голанах земля комковатая. Бросаешь комок и думаешь: моя или не моя? Каждый шаг — как будто приближаешься к вечности, потому что никогда не знаешь, где и когда взорвется. Начинаешь верить в Бога. Вера очень помогает... Всегда есть молитва к Нему. Даже не молитва, одно-единственное слово: «Боже!»... Мы не намного лучше их. Иногда мы даже хуже... Раз я нас считаю людьми, значит и они — люди... Дикое чувство от безысходности. Ведь после войны Судного дня думали, что это была последняя война. А сейчас видно, что и эта тоже не последняя... Израиль очень напоминает мне огромный военный лагерь. В средние века были такие государства, которые все время вели войны и этим жили. Вот и я живу в такой стране. А остаюсь здесь потому, что очень ленив и никуда отсюда не поеду...

Все же мне кажется, что сапер-философ немного слукавил, говоря, будто не бросает наш военный лагерь только потому, что ленив. Слишком тонкое историческое чувство он обнаруживает в своем интервью, чтобы поменять его на какой-нибудь «джоб».

Заметив, что Израиль напоминает одно из средневековых государств, живших войной, сапер не упомянул, что в те времена это были единственные государства свободных людей. Все остальные были населены рабами. И хотя эти воинственные государства были несправедливы к побежденным, внутри себя именно они создавали представления о чести и справедливости, которые унаследовала от них Европа. От разбойничьих норманнских королевств, от поставлявших всему миру наемных солдат швейцарских кантонов, от пиратских итальянских республик, а не от мирных деспотий получила Европа зачатки демократии. От викингов и бондов, от рыцарей и йоменов, ландскнехтов и кондотьеров, а не от смердов и крепостных, составлявших подавляющее большинство остальных богоспасаемых королевств, свободных от военной службы, как и от всех остальных гражданских прав. Собственно, главным признаком, отличавшим свободного от раба в средние века, было ношение оружия и владение им.

На много веков раньше евреи унаследовали свои библейские заветы от толпы испуганных рабов, за сорок лет в пустыне превратившейся в военную орду. И у нас, так же, как у этих скитальцев, то, что тяжелым выбором было для отцов Ц горшки с мясом в Египте или вечные войны в Пустыне, Ц превратилось в однозначное и естественное для сыновей. Они стали свободными членами опасного, воинственного племени и, как всякие свободные люди, немного обленились, чтобы вернуться на службу к фараону или кому-нибудь еще. Они привыкли служить только себе самим и, как бы жестоки они ни были с врагами, они установили такие нормы взаимоотношений друг с другом, что их идеалы и сейчас остаются недостижимым образцом для половины человечества.

Гораздо поразительнее, однако, чем внешнее сходство Израиля с военной ордой, оказывается то фундаментальное отличие, которое бросается в глаза во всех высказываниях участников войны. Они не похожи на варваров. Несмотря на то, что Израиль уже пережил пять войн и

каждый израильтянин, в среднем, участвовал в друх-трех войнах, несмотря на то, что каждый израильтянин 30-60 дней в году проводит в армии, мы не видим никаких признаков огрубления души у наших ландскнехтов. Я специально употребляю этот средневековый термин, чтобы показать, насколько он не подходит для характеристики наших солдат с человеческой стороны. Все интервью сходятся в своем человеческом отношении к мирному населению и даже к побежденному врагу. Пожалуй, это единственный пункт, где достигается всеобщее согласие. «Сначала он человек, а уже потом террорист». «Зачем зря человека убивать?» Что бы ни выдумывали западные журналисты о «бесчинствах израильской военщины» в Ливане, отчего же не пришло им в голову сообщить хотя бы о нескольких случаях грабежа или насилия? Было бы больше похоже на международный опыт и существующую практику всех остальных армий.

Все интервью сходятся в отвержении войны, в презрении к жестокости и жажде мести, которые мы встречаем в окружающем мире: «Фалангисты так говорят: отомстил через 80 лет Ц рано отомстил. Такая у них культура, такое воспитание...» И это после 35 лет непрерывного напряжения, заполненного угрозами (и попытками, время от времени) вырезать все население Израиля или «сбросить его в море...»

Кое-что, как видно, прибавилось к Ветхому завету за эти тысячелетия...

ОРУЖИЕ АСАССИНОВ

Тот, кто утверждал, что в споре рождается истина, явно преувеличивал. В лучшем случае в споре рождается понимание несовместимости позиций сторон, исходящих из разных посылок.

В своей полемике с сегодняшней экуменической позицией либерального российского культуролога Григория Померанца еврейский ортодокс Эдуард Бормашенко сфор-

мулировал («22», № 103) фундаментальное (не путать с фундаменталистским!) требование к любому содержательному диалогу, которое выглядит особенно очевидным для математиков: «Когда два математика произносят два одинаковых утверждения, они имеют в виду одно и то же». Это следовало бы назвать **нулевой аксиомой математики**, ибо только после принятия такого предположения (а это именно предположение!) приобретают смысл все остальные определения и аксиомы (вроде того, что «прямая линия — кратчайшее расстояние между точками» и т. п.).

Если уж проблема неадекватного понимания дает о себе знать в математике, она тем более присутствует во всех остальных человеческих коммуникациях. Особенно, если иметь в виду коммуникации между представителями разных цивилизаций.

Языки цивилизаций могут вести людей к согласию, только если обеспечено предварительное согласие в нулевой аксиоме. Даже два человека, говорящие одно и то же на одном (общем) языке, должны быть предварительно уверены, что они в самом деле стремятся к согласию. Ибо, если цель одного из них — уничтожить другого, этому другому лучше прекратить разговор и подумать о спасении.

Для разных народов, тем более для разных культур, стратегическая оценка возможных намерений оппонента просто входит в обязанность правительств. Никакого общего языка, тем более общего принципа, между Западом с его либеральными ценностями и его радикальными противниками в сегодняшнем мире никогда не было. На какой же основе вести переговоры? Что выбрать за нулевую аксиому?

Западная политическая мысль сегодня бессильно цепляется за «права человека» в надежде обрести в них такую общечеловеческую идею, на которой можно было бы построить основу международной солидарности. Я думаю, эта попытка бесперспективна.

«Права человека» — идея модернистская, секулярная, чисто западная, и уже потому совершенно не подходит для большинства человечества. Она, вдобавок, несет в себе внутренние противоречия, которые проясняются по мере того, как ее перенимают неофиты, принадлежащие к иному культурному кругу.

Одно из фундаментальных «прав человека», к примеру, состоит в «праве получать и распространять информацию», т. е. в свободе коммуникаций. Однако эта свобода сама имеет тенденцию превратиться в нарушение прав, потому что в понятие свободы не входит обязательство распространять только «правдивую» информацию или информацию, «не нарушающую нравственность». Ни строгого определения «правдивой информации», ни общепринятого представления о нравственности не существует. Описание дарвиновской теории эволюции или библейской истории евреев в умах десятков миллионов людей подпадает под определение ложной информации. Игривые карикатуры Эффеля (не говоря уж о датских карикатурах на Мохаммеда) оскорбляют нравственность многих искренне верующих. А информация, распространяемая мусульманскими СМИ, превосходит все допустимые в Западном мире стандарты недостоверности, вовсе не нуждаясь в правдоподобии. **Возможно, что и восприятие материальной действительности в разных культурных кругах тоже в чем-то различно**. Кто знает, «что есть истина»?..

Вплоть до XX в. Западная цивилизация не нуждалась ни в каком одобрении со стороны остальных и приводила другие народы к согласию силой. Во многих исторических случаях (например, побежденные Германия и Япония) это привело к отличным результатам. Такое «согласие», однако, включало и усвоение множества западных либеральных идей (в том числе и идеи «прав человека»), которые неизбежно вступали в противоречие с насильственным способом их внедрения.

Российские выходцы, хорошо понимают эту проблему на примере насильственного внедрения европейских порядков Петром 1-ым. С тех пор прошло 300 лет, но и сейчас не перевелись еще там убежденные сторонники допетровского уклада. Основатель современной «Евразийской партии» и горячий поклонник теорий Льва Гумилева, Александр Дугин, определил свое видение чаемого будущего «евразийской» цивилизации в России, как «Цивилизации пространства», в отличие от беспокойной «Атлантической цивилизации времени»*.

Не только согласие, но даже и обсуждение подобных вопросов, не может быть обеспечено без принятия какого-нибудь общего принципа, который смог бы послужить начальной аксиомой для обществ, ориентирующихся на столь различные ценности.

Есть, однако, в Библии призыв, который внятен почти всем вариантам послебиблейских конфессий и, в первом приближении, мог бы рассматриваться как нулевая аксиома для всех:

«Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло… Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие...

Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое…» (Втор. 30, 19.)

Мир Библии асимметричен. Жизнь лучше смерти. Свет лучше тьмы. Материя лучше пустоты…

Природа не знает этих противопоставлений. Наше сознание (и познание) невольно детерминировано нашими глубинными интересами. Сама эта концептуальная двойственность отражает нашу страстную заинтересованность в одной из сторон. Мы знаем только жизнь.

---

* Хотя многие «атлантисты» вовсе не спешат звать нас в свою компанию, весь «евразийский» мир совершенно уверен, что Израиль с головой принадлежит к этой «цивилизации времени». Конечно, при сопоставлении с допетровской «цивилизацией пространства», это выглядит правдоподобно.

А смерть для нас остается предметом пугающих спекуляций. Даже не минусом, а сплошным вопросительным знаком...**

Предпочтение жизни для всех жизнелюбивых народов еще недавно казалось чуть ли не само собой разумеющимся. Если люди хотят жить, можно попытаться найти такую общую формулу, которая позволила бы им примирение перед лицом неминуемой смерти. Даже и «джихад» — неудержимая тяга к преодолению — категорический императив, культивируемый Исламом, предусматривал такой компромисс для крайних случаев — «сульх» — перемирие.

Однако библейская жизнеутверждающая асимметрия, превращаясь в господствующее мировоззрение, порождает и свою внутренную оппозицию. Сосуществование в видимом мире контрастов и различий, света и тени, богатства и нищеты соблазняет изощренный человеческий разум к мысли о возможной вражде между ними. Иногда даже в форме непримиримой космической борьбы между Добром и Злом.

Влияние такой мысли, впервые укрепившейся в древнем Иране благодаря зороастризму, проникло во все варианты монотеистической религии еще в античные времена (ессеи в иудаизме, множество сект гностиков, манихеев, катаров в христианстве и исмаилитов в исламе) и иногда направляло мысли людей и судьбы народов в течение веков.

Во всех послебиблейских религиях сложились с тех пор, так называемые, «гностические» ереси и толки, склонявшие своих последователей переменить направление асимметрии на противоположное и представлять

** Мир китайских представлений, развитый отрешенными мудрецами, более нейтрален и включает на равных «Инь» и «Ян».

Так же отчасти сбалансированы мировые тенденции и в цивилизации индусов. Поэтому и время в этих культурных группах, не имеет определенного направления, а ведет их по кругу, сообщая характеру их обществ некоторую избыточную пассивность.

торжество жизни на земле как победу зла, небытие как более высокое состояние и материю как грязь, засоряющую сияющую пустоту.

Это неизменно приводило к мрачным, мироотрицающим идеям и даже к культу смерти и несуществования. Для членов такой секты предпочтительность жизни не очевидна, и упомянутый выше общий принцип не может вести к взаимопониманию.

Христианство систематически боролось с этими ересями, порою словом, а чаще, огнем и мечом. Против альбигойцев (катаров), населявших Прованс и Лангедок, римский папа даже организовал целый Крестовый поход. Когда благочестивые рыцари обратились к духовному авторитету с вопросом, как отличить еретика от честного католика, он ответил исчерпывающе: «Убивайте всех. На том свете Господь распознает своих.» Война продолжалась 30 лет. Целые области Франции были опустошены... С тех пор история Франции пережила такие бури, что этот эпизод затерялся во мгле веков. Поэтому в христианской культуре почти не осталось наследников гностических учений.

Иначе обстоит дело в Исламе. Возникновение и распространение Ислама совпало с возникновением и расширением мусульманского государства, и вопрос о вере всегда переплетался у них с вопросом о власти. Три из первых четырех («праведных») халифов были убиты на почве якобы религиозных разногласий. Убийство халифа Али (из рода пророка Мохаммеда) узурпатором Муавией (из рода Омейя) послужило причиной первого, фундаментального раскола Ислама на две ветви — шиитов (сторонников Али) и суннитов — всех остальных.

Прецедент несправедливого отстранения от власти халифа — всемирного главы верующих — впоследствии повторялся много раз, и едва ли не каждый раз это приводило к образованию новой секты последователей обиженного или замученного «праведника». Члены отделившейся секты затем развивали Ислам, как им казалось, в

духе заветов Пророка, но уже с поправками, внесенными их временем и обстановкой.

В одной из больших шиитских гностических сект «исмаилитов» к концу IX в. оформилось сильное радикальное крыло, «низариты», — от имени Низар — очередного неудовлетворенного претендента на халифат — впоследствии печально прославившееся в Европе под именем «асассинов» (гашишников). Тайное, мистическое учение низаритов позволяло им не только явно накуриваться гашишем, но и аллегорически толковать Коран, включая истовую веру в переселение душ и презрение к наличной, материальной жизни вплоть до прямой тяги к смерти. Одержимые посланцы секты — асассины — проникали повсюду и демонстративно открыто убивали своих врагов, не заботясь о собственной судьбе.

В конце XI в. низариты овладели несколькими крепостями в Иране и Сирии и создали централизованную структуру (орден — государство в государстве), оказавшуюся способной более 150 лет противопоставлять себя всему окружающему миру. Их мощь основывалась не столько на их военной силе, сколько на систематической практике политических убийств. Множество вождей крестоносцев, сельджукских сановников и египетских мамелюков погибло от рук бестрепетных асассинов-смертников, посланных Горным Старцем из Аламута (так назывались глава секты и их крепость в северо-западном Иране близ Каспийского моря).

Правление Старцев, наводившее ужас на все соседние страны, было прервано только нашествием монголов, которые, будучи еще варварами-язычниками, не вникли в вероисповедные тонкости мусульман, сравняли с землей Аламут и перебили все его население (т. е. они поступили, как крестоносцы во Франции поступали с катарами). Мамелюки воспользовались замешательством и сделали то же самое с опорными пунктами низаритов в Сирии.

Низариты, как единая политическая сила, рассеялись, но не исчезли. В отличие от альбигойцев, они навсегда

остались в памяти народов, как устрашающий прецедент. Во всех европейских языках слово «асассин» с тех пор означает «убийца». Хотя с точки зрения ортодоксального Ислама, все они были несомненные еретики, их былая пугающая слава способна и сейчас подавать вдохновляющий пример мусульманским экстремистам. Число их открытых последователей в разных районах Азии достигает теперь нескольких миллионов человек.

Поскольку гностические секты (и катары в Европе, и исмаилиты в Азии) веками подвергались гонениям, в их среде выработались привычные способы маскировки под ортодоксию, которые получили арабское название «такыйя» — мысленная оговорка. Член такой секты может (и часто даже должен) скрывать свою религиозную принадлежность и расхождение с общепринятой догматикой, внешне выполняя все правила общины, в которой он живет. При такой тактике никто не может знать наверняка, сколько из правоверных принадлежит к этой секте.*** Более того, уровень знания своих первоисточников у мусульманских (да и у всех прочих) масс сегодня таков, что отличить ересь от ортодоксии в своей вере они могут не более, чем могли крестоносные рыцари в XIII в.

Никто из мусульманских священнослужителей не гарантирован от мести тайных асассинов, если он публично попытается протестовать против их практики использования понятия «джихад» в политических целях, которое в последние годы стало чуть ли не нормой. Не скрывается ли за идеологией шахидов, которая в столь короткое время распространилась по всему мусульманскому миру, несмотря на очевидное противоречие с Кораном, влияние тайной секты, сильной своей древней верой и хранящей опыт тотальной войны против всего мира?

*** Приняв в расчет эту практику, мы поймем, что недоуменные вопросы крестоносцев к папе о катарах, возможно, происходили не только от их простодушия.

Представители крайних мусульманских организаций уже не раз открыто заявляли, что «западный мир обречен, потому что они слишком любят жизнь, а мы любим смерть». Это совсем не согласуется с буквой Корана. Однако исламские священнослужители, по-видимому, тоже «слишком любят жизнь», чтобы обратить внимание своих верующих на то, что это еретическое исповедание асассинов.

Пожалуй, не стоит гадать о неизвестном. Достаточно того, что мы достоверно знаем. Многочисленные представители **мусульманского мира** (ортодоксальны они или нет) **в своем демонстративном противостоянии западной цивилизации успешно освоили новый вид оружия и застали западное общество врасплох на полдороге к торжеству пацифизма. Введение в практику боя самоуправляемого, самомаскирующегося и самокорректирующегося снаряда с неограниченным радиусом действия, которым становится снаряженный и обученный шахид, меняет все сегодняшние тактические правила войны** на земле, на море и в воздухе, и отчасти уравнивает шансы.

В западном мире нанесение ущерба противнику всегда сопоставлялось с риском возможных потерь для себя. И предполагаемые действия противника до сих пор оценивались по той же рациональной схеме.

Современное оборонительное оружие было рассчитано на врага, которому есть, что терять, и он не ищет гибели. При тактической игре в поддавки упрощенная партизанская доктрина самоубийственных террористических атак оказывается вполне конкурентноспособной с суперсложными системами, призванными обеспечить безопасность западного человека. Это нововведение меняет понятие о войне...

Изменение понятия о войне меняет и понятие о мире. Точнее, меняет наше представление о возможности заключения мира.

Принимая общебиблейский принцип — «**Избери жизнь!**» — мы все еще остаемся на одной почве с противником. И мы можем с ним торговаться, но можем и уступить, допустив существование у нас общих интересов и, возможно, общего будущего.

Отвергая этот общий принцип, противник не оставляет нам выбора.

Западный человек под страхом смерти оказывается вынужден принять тотальный способ ведения войны варваров-монголов (или варваров-крестоносцев), от которого он уже давно, в принципе, отказался.

Американский президент вынужден выслушивать упреки в нарушении «прав человека» от представителей стран, где об этих правах знают только из американской пропаганды. Внутри западного либерального общества принять решение о тотальной войне почти столь же трудно, как и принять решение о тотальной капитуляции, и наши постоянные уступки террористическому противнику всегда рассчитаны лишь на оттягивание решающей конфронтации.

Внутри мусульманских обществ любая уступка агрессивной еретической идеологии означает замедление в их общественном развитии, которое и так слишком медленно, чтобы предотвратить их неуклонное сползание в нищету.

Библейская жизнеутверждающая асимметрия небезразлична к благосостоянию обществ. Время у пост-библейских народов однозначно течет от прошлого к будущему. Оно движется от создания мира к его концу. И это направление многозначительно для нас совпадает с направлением времени в каждой индивидуальной жизни. Совпадение это невозможно переоценить. Именно оно порождает концепцию Истории и Прогресса.**** Оно по-

**** Впрочем, во всех религиях сохраняется, как не обязывающая, пессимистическая тенденция ссылаться на прошлые, более счастливые времена, когда уровень благочестия якобы стоял выше, а идеализм и добродетель процветали.

рождает иллюзию Цели и Смысла и направление стрелы времени в нашем сознании. Совпадение это заложено в самом основании Западной цивилизации***** и сообщает также и Исламу его наступательный характер.

Оно придает неосознанной природной активности человека онтологически положительную оценку и благословляет его на дальнейшие свершения. Западное общество не остановится. Оно развивается не по воле отдельных лиц. Инерция его развития далеко еще не исчерпана.

Однако, и террор мусульманских (хотя бы и еретических, квази-мусульманских) экстремистов-фанатиков не может остановиться. Он психологически необходим всему мусульманскому сообществу в целом, как открыто не признаваемое ободрение, как скрытая моральная компенсация за их историческое отставание. Как допинг отстающему спортсмену. Как лекарство от многолетнего комплекса неполноценности...

К счастью отдельные преуспевающие группы и организации в мусульманском мире совершенно не нуждаются в таком допинге. Более того, террор, осуществляемый от имени всего мусульманства, разрушает их благосостояние и преуспеяние...

Однако до сих пор еще влиятельные мусульманские круги не выступили с открытым осуждением еретического характера идеологии террора. Скорее всего потому, что этот террор угрожает им самим в первую очередь, и в их обществах нет эффективных средств защиты. Однако, пожалуй, только на существовании этих немногих преуспевающих мусульман и основаны все надежды Запада на достижение мира. Они и есть та чрезвычайно

***** «Только цель, вынесенная вперед, превращает путь в железно-дорожную колею, аккуратно разбитую на километры. На этой модели времени (которое считают как деньги) основана вся современная экономика и техника.» (Г.Померанц, «Синтаксис», № 15)

тонкая нить, на которой подвешена судьба человечества в XXI веке.

КОНФЛИКТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Взрыв в дискотеке «Дольфи» прозвучал 1 июня, в Международный День Защиты Детей. Вряд ли в мусульманском мире даже помнят эти европейские выдумки. Установление таких дней, всяких международных правил и основание соответствующих организаций — чисто европейская игра и способ принимать желаемое за действительное.

Большинство убитых на этот раз оказались детьми репатриантов, потому что «Дольфи» — «русская» дискотека. Почти все жертвы — девочки от 14 до 19 лет, потому что дискотека в рекламных целях сделала для девочек бесплатный вход. Многие оказались ученицами одной «русской» («математической») школы. Откуда у школьниц деньги...

Глядя на милые любительские фотографии убитых девочек, на их еще не оформившиеся, смешные и трогательные мордашки, трудно отделаться от сложного чувства близости, родства и какой-то неясной вины за их внезапную смерть, такую нелепую и незаслуженную. Хочется обратиться с упреком к кому-то власть имеющему, хоть бы к той же Организации Защиты Детей: «Ну, что ж это такое!? Девчонкам уже и потанцевать нельзя? Пусть бы подросли. Хоть успели бы провиниться, что ли...»

Впрочем, и лицо террориста-самоубийцы оказалось довольно симпатичным и чуть ли не интеллигентным. Ему было уже 22 года. Год или два он провел на учебе в Италии. Отец его, вполне благополучный с виду джентльмен, сказал по телевидению, что гордится своим сыном, и если бы у него было двадцать сыновей, то двадцать дискотек уже взлетели бы в воздух, радуя его доброе, старое сердце.

Тут наступает разрыв в понимании. Мы принадлежим к разным цивилизациям. Конечно, мы помним вынужденный, из-под палки, энтузиазм советской пропаганды, но все же одного страха наказания и там было бы мало, чтобы на другой день после смерти сына произнести такую фразу. Объяснить европейскому гуманисту это отсутствие симметрии в нашем противостоянии едва ли возможно. На то он и гуманист, что всегда видит сразу две стороны.

Их действительно две. С одной стороны с полгода назад родители израильских жертв палестинского террора поехали на торжественную встречу с Арафатом, умоляя его остановить кровопролитие. И Арафат, конечно, отечески им улыбался.

С другой стороны 7-летняя палестинская девочка в Вифлееме в ответ на рождественский вопрос тележурналиста, чего она хочет в Новом году, наивно ответила: «Чтобы убили всех евреев».

Чтобы понять эту загадку, следует отвлечься от эмоций и обратиться к тому, что многие люди считают абстракциями.

В 1993 году Самуэль Хантингтон, директор Гарвардского Института Стратегических Исследований, опубликовал программную статью, которая называлась «Столкновение цивилизаций?» (именно, с вопросительным знаком) и рассматривала варианты возможных будущих конфликтов, угрожающих миру во всем мире. В присущей ученому гипотетической форме он писал: «Я предполагаю, что теперь основной источник конфликтов в современном мире будет лежать не в идеологии или экономике. Фундаментальные расхождения в человечестве и причины конфликтов будут носить скорее культурный характер. …Столкновение цивилизаций определит мировую политику. Границы между цивилизациями превратятся в линии будущих битв. …

В классовых или идеологических конфликтах прошлого ключевым вопросом было «Ты на чьей стороне?», и человек мог выбрать сторону или даже перебежать на другую. В конфликте цивилизаций вопрос ставится иначе: «Ты кто?» — и человек больше не волен в ответе. Между тем, неблагоприятный ответ, как мы знаем из опыта Чечни, Боснии или Судана, может означать пулю в лоб». (Здесь не помешало бы ему вспомнить, что именно такая ситуация уже осуществилась на пятьдесят лет раньше для евреев Европы)...

Хантингтон констатирует наличие непреодолимого разрыва в понятиях между большими культурными общностями, как Ислам и Христианство, Китай (Конфуцианство) и Индия, Япония и США и предсказывает возможность перерождения этих различий в глобальные конфликты при будущем дележе ресурсов. Он предлагает различать «Западную», Конфуцианскую, Исламскую, Индуистскую, Славяно-Православную и другие цивилизации. Из них только Славяно-Православная обнаруживает время от времени склонность (очень нестойкую, впрочем) отчасти солидаризоваться с технологически и психологически доминирующим Западным обществом, остальные, так или иначе, становятся ему все более враждебны.

Западные люди часто склонны рассматривать свою цивилизацию, как универсальную, наиболее соответствующую чаяниям всего человечества. Такое впечатление и впрямь может возникнуть при виде того, как охотно люди во всех странах перенимают западные технические усовершенствования и бытовые удобства. Такое впечатление очень многим казалось верным и в СССР в первые годы Перестройки. Однако, на более глубоком уровне включаются мощные механизмы отчуждения, которых западный человек, как правило, не понимает и недооценивает. Коренные западные идеи персонализма, свободы и ответственности, равенства возможностей, демократии и свободного рынка, власти закона и человеческих прав, объективности и «честной игры», благодаря которым

достигнуто западное техническое превосходство, очень редко вызывают широкие симпатии в мусульманском или конфуцианском мирах.

Так называемая, глобализация и увеличение интенсивности международных контактов, не столько смягчает существующие конфликты, сколько повышает вероятность возникновения новых. В частности, внедрение элементов западной демократии в исламских странах пока что чаще всего приводит только к усилению антизападных, фундаменталистских движений.

Хотя глобальное развитие цивилизационного конфликта остается пока не больше, чем весьма вероятной гипотезой, для нас в Израиле этот конфликт уже в разгаре. Наиболее пугающей чертой наличного противостояния является разное восприятие сторонами самой концепции мирного сосуществования. Равенство возможностей, открытость и безопасность, рассматриваемые как само собой разумеющиеся условия сосуществования на западе и в Израиле, в мусульманском мире представляются просто условиями западного доминирования… При наличных обстоятельствах, отчасти, так оно и есть. Мирные отношения выгодны, прежде всего, нам.

Хотим мы этого или не хотим, прочное мирное соглашение, каким бы оно ни было, надолго закрепит отсутствие равенства в положении Израиля и палестинского общества в политике, экономике и культуре. Никакие наши уступки не скомпенсируют арабам их фундаментального культурного отставания, приводящего к неконкурентоспособности. Преодолеть этот разрыв могла бы только глубокая, всесторонняя ассимиляция, вряд ли возможная даже при условии горячей и разделенной любви. Этот вариант в прошлом вдохновлял романтиков. Но реальная ситуация разочаровала и их. Ниже приведена наша беседа пятилетней давности с известным израильским писателем Йорамом Канюком, много сил (и лет) потратившим на борьбу за мир с арабами:

А.В.: *Вы писали, что большинство молодых арабских интеллектуалов обращаются к мусульманскому фундаментализму. Что с ними происходит?*

Й.К.: *70 процентов арабских студентов, учившихся в элитарных университетах, как Оксфорд, Гарвард, Гейдельберг или Йейл по возвращении на родину становятся фундаменталистами. Лучшие становятся худшими. Представители арабской интеллектуальной элиты выбирают фундаментализм, потому что они не в силах соответствовать требованиям современного технологического общества. Во всех областях сегодняшней жизни они оказываются людьми второго сорта, неспособными выдержать конкуренцию. Им обидно, что Израиль при этом занимает третье место среди стран, развивающих высокую технологию. Чтобы вернуть себе потерянное в Европе и Америке самоуважение, они возвращаются к своей архаичной культуре и древней религии, которыми они могут гордиться. Этой культурой они защищаются от притязаний современного конкурентного общества, в котором они потерпели поражение. То, что евреи опередили их настолько, просто сводит их с ума. И они напоминают себе, что когда-то, давным-давно, у них тоже были достижения — в философии, в поэзии и даже в математике. ... Это проблема не отдельных личностей, а целых суверенных государств, Ливана, Сирии, Египта. Все, кто возвращается туда после учебы, люди второго сорта. Мало-мальски стоющие не возвращаются вовсе. И у нас в Израиле они не хотят получать какие бы то ни было преимущества из наших рук. Им оскорбительна мысль, что мы — их покровители. ...Само наше присутствие в центре арабского мира им невыносимо — мы для них инородное тело.*

А, между тем, военный конфликт в любой своей стадии утверждает некоторое (конечно, только кажущееся)

равенство сторон (и даже, как будто, преимущество палестинских радикалов, которые меньше нас заинтересованы в мирном соглашении).

Это мнимое равенство является очень сильным психологическим фактором в этнической консолидации и отчасти компенсирует палестинцам материальные потери, которые несет им война. Ординарное западное (и еврейское) сознание, которое не знает ничего дороже жизни, с трудом осваивает мысль, что постоянное соседство смерти вовсе не пугает мусульманских фундаменталистов. Оно не пугает также и очень многих откровенных честолюбцев и обыкновенных искателей приключений. Солдатское мужество во многих (особенно, молодых и бедных) обществах более распространенная добродетель, чем интеллект и трудолюбие. И война становится тем простейшим средством конкуренции цивилизаций, которое в первую очередь привлекает внимание амбициозных лидеров.

Оба участника нашей локальной конфронтации (Израиль и Палестинская Автономия) не представляют собой чистые случаи Западной либо Мусульманской цивилизации. Но наши доминирующие тенденции уже сейчас находятся в непримиримом конфликте. Если еврейское общество, так или иначе, озабочено в первую очередь жизнью и безопасностью своих граждан, внимание противостоящего ему арабо-мусульманского единства (в той степени, в какой оно — единство) направлено на защиту коллективных ценностей, вроде престижа, торжества идеологии или национальной гордости…

Продолжим разговор с нашим интеллигентным, чувствительным соотечественником, всей душой сочувствующим людям чуждой цивилизации:

А.В.: *За что же вы, израильские интеллигенты, боролись вместе с арабами?*

Й.К.: За то, чтобы израильское правительство признало Арафата представителем палестинского

народа и вступило с ним в переговоры о создании палестинского государства. Именно, когда мы добились осуществления этой мечты, арабская интеллигенция прервала с нами всякие отношения.

А.В.: Что же, они вас обманывали?

Й.К.: Нет, нет, это мы обманывали себя. Они просто использовали нас. ... Ситуация трагическая: арабские интеллектуалы не хотят мира с нами. И выражают истинное желание арабского народа уничтожить Израиль.

А.В.: Но, если это правда, то не логично ли предположить, что весь этот, так называемый, «мирный процесс» был ошибкой? Почему вы так отчаянно боретесь... неизвестно за что?

Й.К: Потому что я чувствую, что должен сделать все, чтобы у арабов было свое государство. Это государство нужно мне, чтобы я мог чувствовать себя человеком. Мы перед ними в долгу, а главное — этого требует историческая справедливость.

А.В.: Что такое историческая справедливость? Может быть сама идея одинаковой справедливости для всех порочна?

Й.К.: Очень может быть, но я хочу быть прав внутри себя. ... Все эти замыслы, все мечты о мире родились в умах израильских интеллектуалов, писателей, поэтов, людей искусства. И мы призвали арабскую интеллигенцию вместе бороться за эти идеи.

А.В.: Но они, возможно, никогда не разделяли ваших идей.

Й.К.: Надо предоставить им государство, и мы будем знать, что поступили правильно...

Слова Йорама Канюка обнаруживают его преданность идеализированной иудео-христианской («западной») системе индивидуального поведения, основанной на чувстве вины («больной совести») по отношению к слабому и обделенному. (На таком же чувстве основа-

ны и все начинания типа «Дня защиты детей»). Такая психологическая установка требует искать причину социального или политического неустройства мира прежде всего в себе и пытаться усовершенствовать свой образ действий. Влияние этой установки на отношения между людьми частично и в самом деле привело к смягчению психологической атмосферы внутри Западных стран и их сегодняшнему относительному социальному благополучию. Однако, еще никто в истории (в том числе и на Западе) не опробовал эту систему на массовом, международном (или межгосударственном) уровне. Взаимоотношения народов в истории всегда поражали воображение своим откровенным цинизмом (достаточно вспомнить заявление Де Голля: «У Франции нет друзей, у Франции есть только интересы»). Мир, по-видимому, именно на евреях собирается проверить, возможно ли установить прецедент нравственных взаимоотношений между народами (особенно, принадлежащими разным цивилизациям).

«Это государство нужно мне, чтобы я мог чувствовать себя человеком» — в этой фразе не хватает прилагательного — «чтобы я мог чувствовать себя «***западным***» человеком». Йорам Канюк понимает (и допускает) взаимоотношения людей, только как отношения личностей, и только в той специфической форме, в какой они согласуются с обычно подразумеваемыми идеалами привычной нам цивилизации. В реальных же конфликтах участвуют народы, большинство членов которых индивидуально далеки от всех и всяческих идеалов, в том числе и тех, что приписываются их цивилизациям.

В конфликтах участвуют народы, но переговоры ведут только узкие группы (а то и единственный человек!). От того, кому была вручена судьба переговоров и каков был механизм этого выбора, зависит будущее обоих народов. Больная совесть редко отягощает души политических лидеров, но, несомненно, что, по крайней мере с нашей

стороны, они учитывают влияние поэтов и писателей на голоса избирателей.

Два миллиона палестинцев были отданы в руки Ясира Арафата, чтобы у израильских интеллектуалов была чистая совесть, чтобы «мы знали, что поступили правильно».

А не могло ли случиться, что даже «поступая правильно» наши политики сделали при этом неправильный выбор? В конце концов, когда борьба наших интеллектуалов еще только начиналась, Арафат был не единственной возможной кандидатурой. Может быть если бы выбор партнера для переговоров меньше зависел от «писателей, поэтов и людей искусства», удалось бы обойтись меньшим количеством жертв с обеих сторон? Нечто подобное ведь произошло и на Кубе:«Родина или смерть!», «Куба — да! Янки — нет!». Сколько поэтов вложили свою душу в это затянувшееся бедствие «острова свободы»? Честолюбие таких людей, как Кастро или Арафат (также и Саддам Хусейн, Кадаффи) не ограничивается локальной задачей возглавить «свое» государство. Не будучи в силах обеспечить своему основному населению сносное существование, они зато дарят неискушенной молодежи вдохновляющую романтику вечной, «справедливой» борьбы и используют свое государство, просто как инструмент мировой политики. Сотни кубинцев зазря сложили кости в странах Африки и Латинской Америки, и палестинцам предстоит такая же почетная миссия в мусульманском мире.

Подобно Фиделю Кастро, Арафат очень многому научился у бывшей «Империи зла», повидимому, главным образом в отделе дезинформации КГБ. Отличие и удача его движения в сравнении с европейскими террористами (например, германской бандой Баадер-Майнгоф или итальянскими «Красными бригадами»), так же как и он поддержанными (или созданными?) КГБ, состояло в том, что европейцы принадлежали к той же западной цивилизации, с которой боролись, и потому действовали про-

тив своей гуманно-христианской традиции. Арафат же действовал в согласии со своей мусульманской средой, которая не знала гуманизма и не нуждалась в оправдании насильственных действий. Если вопрос о соотношении цели и средств иногда отягощал совесть европейских авантюристов («Можно ли строить храм всеобщего благополучия на слезинке одного ребенка?»), то террористические средства Арафата всегда остаются в гармоническом соответствии с его целью и поддерживают вековую народную мечту о сокрушительной победе над неверными. Европейские террористы как бы жертвовали собой, брали грех на душу и порывали с моралью и обществом ради великой, всеобщей цели. А члены ФАТХа, напротив, выполняют почетный долг всякого правоверного, забытый за повседневными заботами о хлебе насущном, и пользуются одобрением своих родных и религиозных авторитетов.

Новый элемент, который Арафат внес в движение, состоял в умелом использовании европейских формул: «палестинский народ», «беженцы», «израильская оккупация», «неоколониализм», «право на возвращение», «мирные усилия», которые располагают к нему сердца западных обывателей. Все эти слова-клише по разному не соответствуют своему исходному, западному смыслу, но **в сочетании создают в сознании европейца (в том числе и еврея) какое-то подобие** недовыполненных обязательств по отношению к несчастному палестинскому населению. Нечто вроде нечистой совести, которая просыпается у всякого здорового человека при виде чужой безысходной нищеты и болезней. Как будто палестинцы живут хуже жителей других арабских стран, или будто мы могли бы взять их за руку, благополучно провести сквозь все омуты и лабиринты их собственной истории и без потерь вывести на сухое место.

На этом иллюзорном базисе основывает свою продуманную политику Арафат. Его клика, продолжая тратить международные пожертвования на свои роскошные

виллы, не устает регулярно и бессмысленно обстреливать Израиль из школ и густонаселенных кварталов, в надежде на достаточно жесткий израильский отпор, который укрепит среди европейцев их статус беззащитных жертв. Они со страстью рекламируют свои потери, особенно если им удается подсунуть под пули детей. Их война ведется за сочувствие европейского телезрителя, у которого не хватит внимания разобраться, кто там первый выстрелил. Наша военная мощь оказывается бесполезной в этой игре в поддавки. Как сказал член израильского кнессета Юрий Штерн: «Мы похожи на Гулливера, которого лилипуты связали своими ниточками, и он боится тронуться с места, чтобы не передавить их».

Лучшие чувства интеллектуалов уже не однажды заводили мир в кровавые тупики.

Не лучше ли было бы защитить от ХАМАСа и ФАТХа палестинских детей? Если их учителя не подставят их под пули сегодня, из них воспитают профессиональных боевиков и террористов-самоубийц в будущем. Отравленные безумной пропагандой ненависти, эти дети заранее принесены в жертву грядущим конфликтам, которые Арафат и его клика не устанут изобретать, пока это держит их на поверхности.

Может быть гипотеза Хантингтона и не имеет будущего. Правящие элиты и средний класс многих мусульманских государств давно предпочитают западный образ жизни и западную систему ценностей. Хотя они сами находятся в состоянии необъявленной войны против мусульманского фундаментализма, в некоторых странах им удается наладить довольно эффективные взаимовыгодные отношения с Западом (и с Израилем).

Принадлежит ли Израиль к Западной цивилизации? Это остается под вопросом.

Суть не в терминологических спорах, в которых евреи и все, что с ними связано, всегда оказываются исключением, а в том, до какой степени израильский гражданин

готов принять на себя все обязательства и ограничения, которые накладывает принадлежность к этому культурному континенту. На противоположно поставленный вопрос — ощущает ли Западная цивилизация, что Израиль составляет ее неотъемлемую часть — ответить тоже не легко. Неизменно односторонняя позиция европейских правительств в арабо-израильском конфликте добавляет все больше горечи к чувству **солидарности израильтянина с либеральной западной цивилизацией**.

Израиль обособляется и, как целое, отплывает от обеих больших цивилизаций.

Тем не менее, внимание которым одаряют Израиль западные средства информации, выходит за все мыслимые границы. Возможно, это означает, что они видят Израиль, как точку встречи конфликтующих культурных структур, по которой можно будет предугадать развитие событий.

Ведь будущий грандиозный конфликт возможен, но не предопределен.

Политические авантюристы, вроде Арафата, Кастро или Саддама Хусейна не могли бы существовать без массированной поддержки из-за рубежа. Потеряв многолетнюю помощь СССР, Арафат на некоторое время переквалифицировался в управдомы и перебивался за счет западных пожертвований на мирный процесс, который ведь тоже требовал денег. Теперь, когда эта карта уже отыграна, Арафат будет все больше склоняться к защите общих мусульманских святынь («интифада Аль-Акса») в надежде получить поддержку от фундаменталистов (скажем,Бин Ладена) и вызвать действенные симпатии всего мусульманского мира. Если это удастся, и при этом он умудрится избежать соперничества за престиж с родственным ему по духу и амбициям Саддамом Хусейном (оба при этом отъявленные безбожники!), не исключено, что они вдвоем сумеют расширить конфликт до глобального и добиться осуществления худших ожиданий Гарвардского Института Стратегических Исследований.

Тогда про «День защиты детей» на некоторое время придется забыть.

О НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ ТЛИНКИТОВ

Летом 1990 я по своим научным делам был в Сиэттле, штат Вашингтон, очаровательном городе на западном берегу США, на границе с Канадой.

Там в это время проходил Советско-Американский симпозиум по Правам человека. Перестройка тогда была уже в самом разгаре, но участие СССР в защите прав человека все еще воспринималось как анекдот.

Руководство местной еврейской общины, сыгравшей в свое время важную роль в защите прав евреев в СССР (покойный В. Джексон был сенатором от штата Вашингтон), попросило меня, как бывшего активиста, включиться в работу симпозиума. К тому времени большинство моих друзей-отказников, также как и диссидентов, были уже на свободе, и я впервые мог наблюдать подобное событие сравнительно объективно, почти без страсти.

Первое новое обстоятельство, обратившее на себя мое внимание, состояло в том, что советская делегация отчетливо делилась на две неравные, не смешивавшиеся группы: хорошо одетые, непринужденные но хмурые функционеры и неуместные в своих новых галстуках, измученно-потерянные диссиденты. Функционеры в кулуарах явно чувствовали себя увереннее и откровеннее с американцами, и даже со мной, чем со своими неудобными соотечественниками. Они неопределенно пожимали плечами в ответ на любой вопрос, касающийся остальных членов советской делегации. Видимо, их шокировал ее состав.

Диссидентов качало в любом обществе. Они не выходили из состояния мрачной и недоуменной озабоченности. К тому же они не понимали ни слова по-английски.

Функционеры профессионально умело, на хорошем английском, в общем отбивали мячи, пущенные нью-

йоркскими адвокатами, хотя на их лицах ясно было написано, что они уже нетвердо знают, продолжается ли еще старая игра, и для чего все это нужно. После небольшого препирательства, направленного на поддержание своей профессиональной репутации, они неожиданно легко соглашались на самые либеральные формулировки, не включавшие их обычных оговорок насчет безопасности и госинтересов. Быть может, они тоже чувствовали тайное облегчение от редкой возможности снять с себя тяжкое бремя выворачивания наизнанку юридической логики, которой они худо-бедно обучались все-таки в своих институтах. Юридическая логика по существу близка к компьютерной, ибо и та, и другая пользуются искусственно сконструированным языком, в котором не остается зазора между «да» и «нет». Обе они полностью применимы только к моделям вещей и событий, но не к реальной жизни как таковой. Применение моделей к реальной жизни остается целиком на совести юристов и зависит от их видения ситуации. Потому и судебная система повсюду далека от совершенства.

Диссиденты произносили тяжелые, выстраданные речи на русском языке. Переводчики старательно и неумело переводили их мучительные лагерные воспоминания и неожиданные художественные обороты, все время переспрашивая непонятные слова. Функционеры пережидали с отключенными лицами. Адвокаты привычно сочувственно расширяли глаза и по-западному вежливо не требовали уточнить, к какому, собственно, пункту текущей программы эти речи относятся.

Ни один из диссидентов ни разу не выступил по проектам резолюций.

Затем наступил черед прибалтов. Если бы не их нагрудные знаки, никто бы не догадался, что они являются частью советской делегации. Они хорошо, по-западному, выглядели и юридически убедительно аргументировали. Никто из них не ударялся в смутный, экзистенциальный

опыт или правовую фантастику. Все трое четко отбарабанили примерно одно и то же: «...подлый гитлеровско-сталинский сговор, раздел добычи между империалистическими хищниками, узурпация народных прав, комедия всеобщих выборов, угнетение мелких, но свободолюбивых народов...»

Все вздохнули свободно. Функционеры расслабились и совсем ненастойчиво возражали. Адвокаты, наконец, схватывали с полуслова. Диссиденты горячо и неозабоченно кивали. Прибалтами все были довольны. Их требования, казалось, воплощали здравый смысл. Они представляли суверенные государства, только по историческому недоразумению и бывшей советской злокозненности все еще не полностью свободные. Произносилось все это в обстановке, когда и правительство СССР готово было в той или иной форме признать законность их претензий.

Адвокаты предвкушали единогласные, плодотворные резолюции симпозиума, мысленно уже называя его «Тихоокеанской конференцией». Этот их успех, наверное, поведет к другим заманчивым конференциям (может быть, даже в Гонолулу!) для разработки деталей. Впоследствии на них будет ссылаться ООН, ... прием новых членов, новых клиентов, новые приятные возможности, ... их международный опыт, приглашения консультировать...

Следующим по программе был какой-то мистер Макферсон с адресом от юконских индейцев. Ну что ж, послушаем приветствие индейцев...

Мистер Макферсон выглядел пожилым англосаксом, играющим главную роль в американском вестерне — что-то вроде Соколиного Глаза — на нем в дополнение к галстуку висела еще какая-то кожаная мишура. Но он тоже оказался адвокатом.

Он сообщил ничего не подозревавшим слушателям, что индейский народ тлинкитов, живущий по берегам Юкона и в других областях Аляски, пал жертвой подлого сговора двух империалистических хищников: русского царя Алек-

сандра 11 и американского президента Гувера, разделивших эту добычу вопреки воле свободолюбивых народов Юкона, которым теперь регулярно навязывают комедийные выборы и лишают элементарного права накупить вволю спиртного, не говоря уже об ограничениях на охоту и рыболовство. Охотничьи права тлинкитов вдобавок зверски нарушаются бродячими японскими рыбаками, а их миролюбивые призывы направить военный флот США для сокрушительного удара по агрессорам вызывают наглые насмешки конгрессменов. Народы Юкона поддерживают справедливые требования литовского, латышского и эстонского народов и, в свою очередь, ожидают, что конференция также единодушно поддержит и их, единственно возможное при сложившихся условиях, требование о создании суверенного государства тлинкитов на Аляске...

В этнографическом сборнике «Народы Азии, Африки и Океании» за 1953 г. (впрочем, за точность этой ссылки я по прошествии лет не поручусь) в подробной статье о тлинкитах можно было прочитать, что этот народ являет миру замечательный пример торжества марксистской теории происхождения классов, ибо, сохраняя еще все пережитки первобытного коммунизма, свойственного и всем окрестным племенам, он все же уверенно и без всякого постороннего влияния полностью развил в себе (хотя еще и не в классической, а только в семейной форме) **институт рабовладения**...

Таким образом я невольно оказался свидетелем, как этот, опередивший остальных юконских индейцев, прогрессивный народ за прошедший с 1953 г. короткий период освоил уже и фразеологию международных конгрессов и институт наемной юридической помощи. Возможно, у них действительно скоро появится шанс превратить свою отсталую, семейную форму рабства в более прогрессивную, государственную.

Нужно сказать, что «буржуазная» западная наука того времени была менее снисходительна к тлинкитам и один из выдающихся ее представителей писал:

«Один вождь племени тлинкитов, желая нанести афронт другому, приказал убить у себя несколько рабов, в ответ на что другой, дабы не остаться в долгу, вынужден был убить своих рабов числом еще больше… Такое соревнование в щедрости называется в антропологии **«потлач»** — красноречивейшая форма выражения фундаментальной потребности человеческого рода, которую можно назвать **игрой ради славы и чести.»**

(Йохан Хейзинга, «Homo ludens», Москва, 2003г.)

Следом за мистером Макферсоном с аналогичным требованием выступил и аутентичный вождь племени. Хотя в своей речи он (для справедливости нужно отметить, что это был уже не тот вождь, что убивал рабов, поскольку Конгресс США это категорически запретил, тем самым воспрепятствовав свободному развитию своеобразной культуры тлинкитов) откровенно признал, что в отношении своего государственного бюджета вынужден целиком полагаться только на Конгресс Соединенных Штатов, его амбициозная «игра ради славы и чести» приняла теперь внешне современную форму и потребовала безусловного суверенитета для его свободолюбивого народа.

Нет сомнения, что запрет рабовладения, наложенный конгрессом США, сильно стеснил тлинкитское сообщество и ограничил их экономические

(и игровые) возможности. Однако, вождь утверждал, что его народ «уже дозрел до государственной независимости» и призывал участников Симпозиума немедленно составить обращение к Конгрессу с требованием выделить необходимые для государственного строительства суммы и положить их на банковский счет Национального Совета Вождей Юконских народов,поскольку очевидно, что собрать достаточно средств в государственный бюджет этого многообещающего государства среди самих тлинкитов будет невозможно.

Следующий Симпозиум по Правам Человека он предлагал организовать у них на Аляске и пригласить обоих президентов — США и СССР — в их стойбище на

Юконе. Большая часть его выступления была посвящена деликатному вопросу о

приглашении жен президентов, поскольку традиционные правила тлинкитов не позволяют послать приглашения женам от того же племени, что и мужьям. У них твердо принято брать жен из другого, смежного племени. Однако он, будучи современным человеком без предрассудков, был готов похлопотать перед своим знакомым, вождем смежного племени, чтобы жены президентов получили отдельные приглашения от него, в обход обычая, и тогда последние препятствия на пути всеобщего согласия будут устранены...

Он прилетел в Сиэттл на самолете, говорил на хорошем английском языке и во многих отношениях выглядел современником всех других участников Симпозиума.

Я привожу это историческое выступление в таких подробностях для того, чтобы сопоставить его с диагнозом уже цитированного выше антрополога-классика, который сегодня, связанный правилами политической корректности, может быть, уже и не решился бы высказаться столь определенно:

«Как социологическое явление «потлач» можно понять вне всякой связи с системой религиозных воззрений. Достаточно вглядеться в атмосферу сообщества, где безраздельно властвуют первичные инстинкты и внутренние побуждения, знакомые цивилизованному человеку как импульсы юношеского возраста… Это атмосфера чести, зрелища, похвальбы, вызова. Человек здесь живет в мире рыцарской гордости и героических иллюзий, в котором высоко котируются имена и и гербы, насчитываются вереницы предков. Это не мир забот о хлебе насущном, погони за необходимыми благами. Целью тут является престиж группы, высокое социальное положение, превосходство над остальными.» (то же соч.)

Напрасно было бы объяснять, что народу тлинкитов, если он не хочет вымереть от голода и пьянства, луч-

ше на время оставить идею государственной самостоятельности и послать своих детей в общеобразовательную школу. Престиж вождя, грандиозное видение его героической позы между двумя президентами мировых держав перевешивает в его сознании (а может быть и в сознании многих его единоплеменников) любые практические соображения, обычно приходящие в голову взрослому человеку.

Беспредельное расширение понятия прав (людей и народов), первоначально сформулированного в общепринятом европейском контексте, примененное к неевропейским условиям (где этот контекст даже неизвестен) превратилось в ловушку для демократического сознания. Им все более умело пользуются люди, культура которых не имеет ничего общего с демократической традицией, в особенности с признанием каких бы то ни было прав.

Содержательное возражение могло бы состоять в том, что свободная воля самого народа тлинкитов подавлена их вековой привычкой безропотно подчиняться своим вождям, но в ответ вожди могли бы предложить народный референдум, и в результатах такой проверки не приходится сомневаться.

Требования здравого смысла вовсе не обязательны для юридической процедуры. С точки зрения международного права единственным слабым местом требования вождя тлинкитов являлось его слишком откровенное признание в неспособности самостоятельно собрать государственный бюджет.

Нет ли для ООН необходимости сформулировать для вождей народов не только права, но и обязанности? Например, обязанность самим себя содержать? Или правильно информировать и эффективно контролировать свое население?

Неспособность себя прокормить, впрочем, во многих других реальных случаях не явилась препятствием в признании права на национальную независимость (в чем именно состояла бы такая независимость?). В 80-х го-

дах эксперты Германского посольства обследовали Газу и другие Палестинские территории и пришли к выводу, что никакого шанса на независимость у них нет, но с тех пор новое, социал-демократическое правительство предпочло пренебречь фактами в пользу идеологии.

Отделение политических прав от политических обязанностей в свободных странах приводит к тому, что особенно эффективно используют свои права именно те, кто никогда не исполнял обязанностей. Это приводит также к постоянному недовольству всех остальных граждан, которые слишком ясно видят, что их надувают. Общий результат нарушения баланса во всех свободных странах проявляется в непрерывном росте цинизма политиков и параллельно-пропорциональном росте распущенности граждан. Но если бы всякому, кто настаивает на своих правах, предстояло в пропорциональной мере выполнять гражданские обязанности, целые группы населения добровольно отказались бы и от прав. Даже и обязанность проголосовать многим гражданам свободных стран представляется теперь чрезмерной.

Нет такой демократической страны, в которой граждане были бы довольны своим правительством, которому, впрочем, они делегировали все свои обязанности, в то время как права получили, как бы от рождения.

Но в авторитарных странах подданные уважают, а то и любят своих диктаторов, ибо даже самое свое право на жизнь они получают только от них. Поэтому и во внешней политике ответственные демократические лидеры (которые помнят свои обязанности) слишком часто бывают вынуждены уступать самозванным вождям террористических режимов (которые знают только свои права).

Сегодня, впрочем, этот симпозиум не дался бы его организаторам так легко. Миролюбивый албанский народ Косова или свободолюбивые народы Чечни и Руанды вряд ли приняли бы их казуистические аргументы, противопоставляя им логику свершившихся фактов. Тем более это относится к афганским талибам, хутту-тутси

и другим, известным нам, борцам за расширение прав народов.

Я тогда был слишком занят в университете, чтобы в деталях проследить, как нью-йоркские адвокаты и московские международники объединили свои усилия, чтобы отвести эту беду от великих держав. Да, по правде говоря, мне вовсе не улыбалась перспектива быть как-то замешанным в такое сомнительное дело с непредсказуемым будущим. После исчерпания вопроса о правах диссидентов и евреев в СССР (в котором я казался себе компетентным) я оставил заседания. По-видимому нет рационального выхода из тупиков, в которые затягивает людей во всем мире слишком тесное столкновение культур.

Прошлый век оставил нам несколько примитивную мысль, что голосование есть справедливое решение большинства проблем, но при этом он затуманил для нас происхождение самого права голоса. Еще веком раньше всем было ясно, что право голоса имеет только тот, кто исправно выполняет общественные обязанности. В исходных формулировках античных демократий, как и в привилегиях граждан средневековых городов, всегда оговаривались обязанности, исполнение которых предполагало гражданские права. Ибо права — это следствие договорных (условных) отношений внутри коллектива людей, а обязанности — это необходимость (абсолютная), диктуемая всему коллективу окружающей природой (в том числе и соседствующими коллективами).

В девственном лесу обязанностью мужчины было выйти с копьем на мамонта, а обязанностью женщины — укрыть от опасности ребенка. Отсюда происходили и их различные по духу права: высказаться при обсуждении плана охоты или наложить заклятье — запрет на пожирание какого-нибудь гриба.

В малых коллективах это очевидно и сейчас. Мое право голосовать в собрании жильцов существует лишь до

тех пор, пока я плачу свою лепту в наш домовой бюджет, и домкому есть на что рассчитывать. Но в глобальном масштабе этот здравый смысл испарился, сменившись последовательным и бездумным потворством всем и всяческим правам.

Как бывший участник правозащитного движения в СССР я хотел бы решительно отмежеваться от безграничного расширения применимости этой первоначально столь благородной идеи. Никакая идеология не заменит естественного баланса прав и обязанностей.

В течение первых десятков лет существования государства молодая элита Израиля была воспитана не на правах, а на обязанностях. Пока это правило соблюдалось, Израилю не были страшны ни войны, ни кризисы. Со временем и по мере роста благосостояния, как и во всех других демократиях, центр общественного внимания переместился с обязанностей на права (слишком часто для воюющей страны на «права палестинцев»). За последние годы это привело к тому, что и само **право на жизнь** израильского гражданина оказалось теперь не обеспеченнным.

СВОБОДА С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ

С возрастом жизненный опыт подсказывает так много поправок к любому утверждению, что молчание начинает казаться единственно разумной реакцией на события во внешнем мире. Однако молчание, будучи неопровержимым, остается и бессодержательным. А человек высказывающийся, хотя и не охватывает свою тему полностью, но в связи с предметом раскрывает себя и, таким образом, совершает поступок, приобретающий смысл, если и не тотчас, то со временем.

Таким поступком стала книга Натана Щаранского «В защиту демократии», выпущенная недавно на русском языке издательством «Захаров» в Москве.

Для того, «кто однажды отведал тюремной похлебки», нет в мире ничего дороже свободы. В среде русской интеллигенции, возникшей и выросшей в тени деспотизма, эта мысль стала содержанием веры, тайной мистической традиции, которой стойко придерживались редкие одинокие люди в России в течение десятков лет тотального советского беспамятства.

Натан (Анатолий) Щаранский — пасынок этой неудавшейся великой традиции, просидевший 9 лет в российской тюрьме за еврейское дело — сумел донести до мира эту выстраданную веру, когда сам ее носитель — либеральная русская интеллигенция — уже почти полностью вымер, не выдержав предательского равнодушия собственного народа.

Идея демократии, как разумного народоправия, отзывающегося на требования справедливости, выношенная русской либеральной мыслью, конечно, имеет общие черты с демократиями, исторически сложившимися в странах Европы и Америки. Нам, российским выходцам, для которых демократия была не столько конкретным образом чьей-то национальной жизни, сколько теоретическим идеалом, недосягаемой мечтой, близка мысль, что именно эти черты реальных демократий отвечают общечеловеческим чаяниям. Действительно, громадный приток иммигрантов изо всех уголков мира в Западные страны как будто подтверждает эту надежду.

Однако во всех демократических странах гражданам приходилось веками бороться за свое политическое устройство, так что история этой борьбы вошла в их элементарное воспитание. Поэтому такое политическое устройство, по крайней мере в какой-то степени, отвечает устройству их души. То есть сравнительно большой (достаточный для устойчивости) процент населения в этих странах сознаёт, что преимущества (и недостатки) демократического правления зависят от их собственного поведения.

Все демократии первоначально сложились на узкой олигархической основе. Включение все более широкого

круга граждан происходило в результате жестокой борьбы из поколения в поколение и усвоения ими соответствующих правил поведения. Те, кто по тем или иным причинам не способен к такой борьбе (сегодня протекающей на легальной основе, но в прежние времена, связанной со смертельным риском), фактически остаются бесправными и сегодня. Несмотря на общепринятую демагогию по поводу прав человека, никто и на Западе не склонен поступиться своими правами в пользу ближнего, чтобы вознаградить его за скромное поведение.

Одна из особенностей обществ, в которых впоследствии воцарились демократии, состояла как раз в том, что государство не стало у них единственным действующим фактором в истории. Церковь, городское самоуправление, рыцарские или монашеские ордена, цеховые гильдии, а потом и корпорации (например, Ост-Индская компания или Банк Ротшильда), оказались способны играть роли, сравнимые по своему влиянию на судьбы людей с ролью государственных учреждений. Поэтому граждане будущих демократий были в какой-то степени уже подготовлены к плюрализму мнений, борьбе интересов и разделению властей.

Совершенно иная картина складывается в случае, когда демократическая система отношений вносится в общество декретивно, сверху, и народ получает то,чего он не добивался. Ему как бы навязывается непосильная соревновательная система, при которой какие-то ловкие и прежде незаметные люди умудряются успеть захватить самые выгодные позиции, а большая группа влиятельных, ранее привилегированных граждан отбрасывается на периферию общества вследствие изменения конъюнктуры или недостатка личной инициативы. Это, конечно, не значит, что демократия становится невозможной. Но это значит, что внутри общества у нее с самого начала появляются сильные своими прежними связями (и прежним опытом организации и манипулирования массами) враги.

«Доктрина Щаранского», обсуждаемая в кругах близких к президенту Дж.У.Бушу, сводится к простому (чересчур простому) утверждению, что, поскольку угроза миру всегда происходит от деспотических авторитарных режимов, инициирующих войны и захваты, следует направить усилия на демократизацию мусульманских стран и не надеяться на мирное сосуществование, пока в этих странах не установится демократическая общественная атмосфера. Такой подход предполагает массированную поддержку оппозиционных движений и снижение уровня снисходительности Западных правительств к военным амбициям мусульманских диктатур и их темным связям с международным террором. Кажется удивительным, что такая простая идея воспринята как «новая доктрина» в кругу прожженных политиков, которые направляют современные тенденции. По настоящему удивительны в этом деле только энергия и сила воли Щаранского, сумевшего не опустить руки, несмотря на многолетнее намеренное пренебрежение политического эстаблишмента к его «идеализму».

Суть дела в том, что политический эстаблишмент Западных стран вовсе не ставит себе революционную стратегическую цель улучшить (тем более, переделать) мир. В своей внешней политике он скорее озабочен сохранением стабильности, т. е. консервативной задачей сохранить мир в неизменном состоянии, вопреки неудержимому потоку изменений, вносимых временем. Хотя по большому счету это невозможно и такая позиция приводит к бесчисленным тактическим уступкам, она импонирует западному избирателю, который живет слишком хорошо, чтобы желать радикальных перемен в своей сегодняшней жизни.

Эта позиция находит поддержку также и в авторитетной концепции «конфликта цивилизаций» Самуэля Хантингтона, которая сводится к тому, что «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут». В своей книге, опубликованной около десяти лет назад

Хантингтон заметил, что «все границы, отделяющие мусульманскую цивилизацию от других, сочатся кровью». Однако западный, демократический образ жизни есть, по мнению ученого, уникальный феномен, сложившийся в Европе в результате редкого сочетания исторических обстоятельств. Он не может быть воспроизведен искусственно на иной основе, и ничего подобного не следует ожидать в ходе развития мусульманского мира и в будущем. Поэтому, с его точки зрения, следует оставить все как есть, по возможности лишь избегая прямой конфронтации с мусульманами, в надежде на постепенное угасание их агрессивности в перспективе примерно полустолетия. За это время их благосостояние, возможно, вырастет (а демографическое давление упадет) настолько, что заставит их ценить жизнь, какова она есть, больше, чем достижение воображаемых целей, диктуемых идеологией. Тогда появится шанс на разумно обоснованный компромисс.

Научный анализ Хантингтона безупречен. Но, как и всякая другая последовательная гуманитарная теория он годится для объяснения событий только ретроспективно при взгляде в прошлое и не имеет никакой предсказательной силы: «философы лишь различным образом объясняли мир». Никто из блестящих американских советологов (включая Р. Пайпса и З. Бжезинского) не сумел предсказать молниеносный развал Советского Союза. Теперь, задним числом, все понимают, что так должно было однажды случиться. Но если бы это случилось на десять лет раньше (или позже), весь сегодняшний мир был бы другим. Всякий новый прецедент в мировой политике радикально меняет все правила этой интеллектуальной игры с катастрофическими по масштабу штрафами.

Примеры вполне демократических сегодня Германии, Японии, Тайваня и Южной Кореи демонстрируют нам, возможно, общечеловеческий характер демократических форм жизни, ибо в этих странах также не было прочной демократической традиции до ее искусственного

внедрения извне. Однако и Германия, и Япония оказались вполне способны к демократии, только после сокрушительного военного разгрома и многолетней иностранной оккупации.

Разница между взглядами С.Хантингтона и призывом Щаранского совсем не в том, «возможна или невозможна демократия в мусульманских странах?». В конце концов это вопрос не для газетного обсуждения, а для историков и теоретиков культуры.

Серьезный политический вопрос о судьбах человечества в XX1 в., который касается всех, состоит в том до какой степени либеральные Западные общества готовы к систематической борьбе с врагами демократии внутри мусульманского мира. Какие жертвы они готовы принести, чтобы дать свободу и шанс на будущее процветание другим странам и народам, не знавшим демократической традиции?

Вообще говоря, трезвая, циническая оценка западного эгоизма подсказывает разочаровывающий ответ: никаких жертв, кроме официальной благотворительности. Однако реальная ситуация гораздо сложнее.

Является ли внимание Дж. У. Буша и его окружения к «доктрине Щаранского» следствием случайного сочетания личных качеств республиканской правящей элиты и избирательной конъюнктуры или она отражает долговременную тенденцию в настроении американского избирателя? В частности, растущую массивную поддержку десятков миллионов христианских фундаменталистов?

Напор фундаменталистских настроений в мусульманских странах оказывает косвенное, хотя и запаздывающее влияние на религиозные круги других конфессий. В первую очередь, конечно, на евреев, но также и на христиан (и индуистов). Дело не только в обострении религиозных чувств верующих.

Возрастающий размах терроризма и ободряющая его агрессивная риторика мусульманских клерикалов пуга-

ет и равнодушного к религии обывателя и подталкивает его к нехристианским мыслям о расправе. Граждане демократических обществ оказываются в неустойчивом равновесии между двумя страхами: страхом террора, угрожающего во всякое время всякому прохожему на улице, посетителю в кафе и пассажиру в автобусе, и страхом войны, угрожающей людям с оружием в руках, которые знают, на что идут и для чего они это делают. Бывают ситуации, когда люди сознательно выбирают второй вариант. В Израиле этот мысленный выбор влияет и на выбор политический.

Разумный оппортунизм С. Хантингтона, готового к мирному сосуществованию с деспотическими режимами, подсказывает ему стратегию уклонения от прямого конфликта, насколько это возможно, и диктуется естественным национальным (или общедемократическим) эгоизмом. Мы, однако, знаем, что однажды такой оппортунизм уже привел к позорным Мюнхенским соглашениям, которые скомпрометировали политику соглашательства, но не предотвратили мировую войну. Повторения в истории не обязательны, но и не исключены. Нет такой «правильной» теории, которая бы подсказала безопасный вариант поведения перед лицом всеобщей смертельной опасности.

Энтузиазм Щаранского (и, возможно, до какой-то степени Буша) подсказывает Западу более активную позицию, позволяющую вмешательство в дела мусульманского мира до того, как обнаружится, что уже поздно.

Это не значит, конечно, что такая позиция гарантирует скорую победу нашей цивилизации, но она, по крайней мере, позволяет некоторый осторожный оптимизм при взгляде в будущее.

В любом случае одинокий голос Щаранского прорвал непроницаемую дымовую завесу, которой окружила взаимоотношения народов, принятая эстаблишментом, политическая корректность, позволил всем участникам событий назвать вещи своими именами и вдохнуть свежий воздух реальной дискуссии.

В ОЖИДАНИИ ВОЖДЯ

Язык, на котором мы говорим, заранее ограничивает наши возможности выражения и ставит пределы, до которых может дойти наше понимание действительности. Язык политической корректности, который принят в современной политической жизни и эстаблишированной журналистике, прочно держит того, кто им пользуется, в кругу европейских идей позапрошлого века. Так же как уличный сленг сегодня на всех языках для передачи необходимых оттенков действительности вынужден включить лексику, прежде казавшуюся недопустимой, так и современная политическая мысль (практика уже давно опередила ее) вынуждена включить элементы, совершенно недопустимые с точки зрения либеральной морали и права.

Любое простое объяснение событий в истории не выдерживает детального анализа. Жизнь обществ держится такой многомерной паутиной условий и условностей, что распутать ее, чтобы отчетливо увидеть все взаимосвязи, почти немыслимо. Зато насильственно разорвать ее и обеспечить простоту выбора может простое механическое воздействие, вроде взорвавшейся бомбы, иностранного вторжения, голода или эпидемии.

Конец холодной войны вызвал прилив оптимизма по обе стороны «железного занавеса». На короткий исторический миг показалось, что пацифизм торжествует, и европейцу не придется больше бояться атомной бомбы... А чего еще он мог бы бояться? В самом деле, до 11 сентября 2001г. террор не казался серьезной угрозой ни Европе, ни Америке. Израильтяне для всего Западного мира выглядели чересчур чувствительными.

Что, собственно, произошло 11 сентября, что изменило течение жизни? Чем эта отчаянная атака на «американский империализм» отличалась от бесчисленных предшествующих подвигов террористов всех национальностей?

Невиданный масштаб преступления? — Но взрывы в Оклахоме, в Найроби и в Буэнос-Айресе, унесшие жизни сотен людей враз, не намного отстали по количеству жертв от Нью-Йорка.

Решимость террористов-смертников? — Но мусульманский мир веками практиковал использование смертников. (Термин «асассин»- убийца-смертник — возник еще у крестоносцев на Ближнем Востоке от слова «гашашин» — накурившийся гашиша.)

Дерзость замысла? — Но и это уже было — на несколько лет раньше те же небоскребы-близнецы в сердце Нью-Йорка уже подвергались нападению исламских фанатиков.

Может быть, блестящая согласованность и размах сложной, технически продуманной операции, спланированной на годы вперед — стратегический талант Бен Ладена? — Да, конечно.

И его выдающиеся качества вождя...

Но, может быть, еще важнее поразительное, чистосердечное единодушие мусульманского населения планеты, радостно одобрившее подвиг современного образованного герострата. В турецких овощных лавках Германии, в трущобах Газы и в джунглях Филиппин, всюду 11 сентября простые мусульмане, не отягощенные ограничивающими обязательствами политической корректности, искренне и откровенно праздновали победу.

Чью победу? Почему они посчитали ее своей? Откуда берется это единство в политически и религиозно многообразно расколотом мире Ислама?

Мы не найдем ответа на этот вопрос в книгах мудрецов. Потому что мудрецы полагают свою мудрость, по большей части, в исследовании добродетели. Для понимания полноты жизни нельзя, повидимому, пренебречь и опытом злодеяний. Гуманистическая традиция игнорирует громадный опыт такого рода, накопленный человечеством.

Ответ содержится в книге Адольфа Гитлера, «Майн Кампф»:

«Понимание слишком шаткая платформа для масс, единственная стабильная эмоция — ненависть.»

Трудно одобрить этого автора, но, с учетом его былого немалого политического успеха, нельзя не признать его безусловную компетентность в психологии народов. Он не упомянул еще одну столь же сильную эмоцию — страх.

Эти-то две эмоции и предопределяют поведение больших человеческих масс. Миллионы мусульман всех толков Ислама объединяет ненависть к расширяющейся Западной цивилизации, несущей разрушение их патриархальной скованности и фатально обрекающей их на мучительное осознание своей неконкурентоспособности. При таком впечатляющем народном единстве для священной войны против неверных не хватает только выдающегося вождя.

Страх перед стремительно нарастающей угрозой со стороны мусульман объединяет все большее число избирателей и в странах Западного мира. Кстати, и это объединение в каждой стране также взывает к появлению харизматического вождя.

При соответствующих политических условиях это в самом деле может привести к войне цивилизаций, которую пророчил нам профессор С.Хантингтон. Такие условия, однако, еще не сложились. Для войны цивилизаций необходимо еще совпадение настроения масс с интересами национальных политических элит.

Понимание всегда было уделом только элит. И это понимание предопределяло судьбы государств и цивилизаций. Вряд ли свободный мир могла бы спасти его (очень сомнительная, впрочем) верность своим благородным моральным принципам. И, может быть, против тотальной партизанской войны бесчисленных миллионов не помогло бы ему даже и очевидное техническое превосходство.

Западный мир может спасти только подавляющее превосходство в уровне понимания противника.

Такому пониманию в элите препятствуют обычно два фактора: коррупция и идеология. По уровню коррупции правящие элиты мусульманских стран пока что не отстают от Европы и Америки. Но идеология — фактор специфический именно для Запада. Мусульманские народы заимствуют случайные обрывки западных идей, но, в основном, идеи не определяют их жизни, и они продолжают довольствоваться только своей религией. Действительно ли принципы (или, скорее, наличная практика?) этой религии несовместимы с принципами свободного мира?

«Ислам предъявляет к своим последователям пять основных требований: 1) исповедовать, что нет бога, кроме Бога, и что Мухаммед — посланник Божий; 2) совершать молитву; 3) жертвовать в пользу бедных; 4) совершать паломничество в Мекку; 5) соблюдать пост в рамадан.» (Акад. В. В.Бартольд, «Ислам», Пг.,1918)

Что в этом наборе элементарных правил может помешать принять западный образ жизни? В самой формулировке, кроме деталей, как будто нет ничего отличающего Ислам от, скажем, христианства. Ну, не Мухаммед — посланник Божий, а Иисус — так ли уж важно, как зовут посланника с точки зрения буддиста (или марксиста)? Не в Мекку, скажем, велено идти, а в Иерусалим — стоит ли из-за этого копья ломать? Да и пост в рамадан — постись, когда хочешь, хоть круглый год, кому до этого дело! Здесь нет ничего, что могло бы препятствовать мусульманину с комфортом жить в Европе или в Америке.

Принципиальное отличие состоит не в содержании заповедей, а в форме представления добрых дел, как неотменимых законов, записанных в Коране в качестве обязанностей, не подлежащих обсуждению. Тот, кто этими обязанностями пренебрегает, оказывается вне закона и, в принципе, подлежит наказанию.

Еще строже Ислам относится к иноверцу:

«Творящих суд не на основании Божьего откровения Коран называет неверными и развратниками — слова, имевшие для человечества столь же печальные последствия, как и слова о беспощадной войне с иноверцами.» (То же сочинение).

Переключить внимание верующих вместо собственных грехов на грехи нарушителей и иноверцев — это и есть безотказный механизм, позволяющий манипулирование большими массами людей.

Конечно за века, что прошли от времен дарования людям первоисточников до сегодняшнего дня, все цивилизации сильно видоизменились. И действующая практика во всех странах заметно отклоняется от первоначальной простоты. Но отсутствие прямых указаний в Новом Завете дало его приверженцам поводы много веков с оружием в руках обсуждать «единственно верное» толкование евангельского идеала любви. В итоге этого процесса им, конечно, не удалось достигнуть согласия, но удалось зато выработать образ жизни, примиряющий их с разноголосицей человеческих мнений.

Не так повернулась история мусульманских стран:

«Законы, изданные в У11 в. в культурно-отсталой стране, сделались предписаниями религии, и был отрезан путь если не для отступления от них, то для замены их другим, столь же авторитетным законодательством. ... Характерная черта законодательства Корана — чрезмерная заботливость о правах собственности и явно недостаточное внимание к правам личности.» (То же соч.)

Воевать-то они воевали не меньше христиан, но до примирения с инакомыслием так и не дошли.

Христианство, хотя и несет свой идеал праведной жизни, никаких узаконенных формальных требований христианину не предъявляет. Царство небесное он может стяжать одной своей верой. После всех войн и смут христиане, таким образом, в конце концов оказались вольны

сами выбирать форму своего служения. И слишком многие из них воспользовались этой свободой без всякого учета евангельских заповедей. Такая смущающая свобода от обязательств (кроме принятых на себя добровольно), вкупе с политической атмосферой предыдущих столетий в Европе, сделала современного христианина (хотя уже и почти без веры) поборником неограниченных (и всеобщих) прав, т. е. как раз «неверным и развратником» в глазах мусульманина.

Конечно, именно эта европейская идеология дает каждому отдельному последователю Ислама шанс достигнуть равенства. Но она же и заставляет подавляющее большинство отставших ежеминутно чувствовать свое унижение, поскольку равенство это предъявляет им непосильные культурные требования.

За одно-два поколения невозможно перепрыгнуть через все те века, что мусульманская мысль пропустила в своей, отчасти умышленной, изоляции от христианства. В 1X в. в Багдаде «было предписано прекратить всякие споры о Коране. Халифы старались оградить народные массы от всяких рассуждений, опасных для бесхитростной веры» (то же соч.). В X111 в., когда Европа как раз вошла во вкус интеллектуальной дискуссии и догматические споры положили начало науке и развитию рационализма, в Исламе «догматические споры потеряли свою остроту не столько под влиянием мероприятий правительств, сколько под влиянием общего упадка культуры и понижения образовательного уровня народных масс» (то же соч.).

Европейски образованному человеку совершенно очевидны преимущества свободного образа жизни. Воспитанному на религиозных обязательствах, культурному мусульманину столь же очевидны недопустимая распущенность и разложение, которые неизбежно сопутствуют свободе во всех Западных странах. Для сегодняшних вестернизованных политических (и особенно военных) элит

многих мусульманских стран (Иордании, Турции, Пакистана, Индонезии) ответственный выбор пути отнюдь не очевиден. Пока они не враждебны Западу и склонны соблазняться европейским образованием и сопутствующими ему либерально-демократическими ценностями, войны цивилизаций в полном смысле быть не может...

Современные демократические режимы обнаруживают свое сходство с автократическими в том, что понемногу превращаются в диктатуры политических элит. Превращение это происходит просто в результате многолюдства, при котором невозможно учесть требования и амбиции всех. Но и автократии сегодня сходятся с демократическими режимами в том, что их элиты стараются приспособиться, насколько можно, к народным пристрастиям. И это, конечно, — результат того же многолюдства, при котором никакая армия не защитит элиту против человеческого месива, одержимого единой страстью. Те и эти элиты как-то договариваются (и даже иногда сближаются) между собой, на благо или на беду своих народов. Но надолго обвести свои народы и противостоять их страстям не могут ни те, ни эти. И тогда открывается вакансия для разгула Случайности.

Некоторые деликатно называют такую особенность нашего времени «повышением роли личности в истории». Впрочем, у нас есть настоящий специалист по реализации маловероятных исторических событий, которого мне уже пришлось процитировать выше. Начиная 2-ю Мировую войну, 22 апреля 1939 г. Гитлер произнес: «Среди благоприятствующих факторов нынешней ситуации я должен упомянуть собственную особу и квалифицировать ее при всей скромности так: я незаменим... В сущности, все покоится на мне... Вероятно никто и никогда не будет в такой степени пользоваться доверием германского народа. Вероятно никогда в будущем не будет человека, располагающего такой властью... Я знаю свои способности и свою силу воли. Я не кончу войну, пока не сокрушу противника. Я не приму компромиссов. Судьба Райха за-

висит от меня и только от меня... Вот почему мое существование является политическим фактором наибольшего значения. Но я могу быть устранен в любой момент каким-нибудь сумасшедшим или идиотом... Нужно, чтобы эта война разразилась еще при моей жизни...»

Нужно сказать, что это не пустое бахвальство, и он довольно проницательно судил о политических событиях и действующих силах истории. Если бы какой-нибудь «идиот» сумел прикончить его в самом начале карьеры, никакой другой ответственный вождь при наличных ресурсах Германии не решился бы затеять безнадежную войну со всем миром, которую Гитлер, однако, успешно вел более пяти лет. Мы можем утешаться, что в конце концов он войну проиграл и худшего не случилось. Но 50 миллионов человек, что погибли на той войне, никто уже не воскресит, и вряд ли кто-нибудь мог бы назвать эту войну победой разума. Победой разума и гуманности было бы, как раз, однократное действие «сумасшедшего или идиота», которое бы эту войну предотвратило.Правящие элиты демократических стран предотвратить 2-ю Мировую войну не сумели. Их идеология предопределила фатальное непонимание ими решимости их противника и громадной силы его гипнотического воздействия на массовую психику...

Аналогичную идеологически мотивированную ошибку, хотя и в меньшем масштабе, совершил и Джордж Буш-старший, который оставил Саддама Хусейна попрежнему во главе его народа, что было всем мусульманским миром интерпретировано, как его победа. В результате этой войны выяснилось, что можно бросить вызов гегемонизму Западной демократии и уцелеть, остаться в седле...

Если и Джордж Буш-младший не сумеет выполнить свою неблагодарную роль «сумасшедшего», который устранит не только Осаму Бен Ладена, уже обладающего уникальной харизмой в мире Ислама, но и все следы его талантливой деятельности, «незаменимый» вождь — этот

или его заместитель («халиф» по-арабски и значит заместитель) — может еще все повернуть по-другому...

ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ

Наше время характеризуется ужасающим несоответствием между мизерностью целей и сокрушительной мощью средств. Если бы дети в детских садах обладали силой взрослых, большая часть из них погибла бы в ежедневных схватках по ничтожным поводам («Петя в сарае нашел пулемет — Больше в деревне никто не живет.»). А если бы у них в руках оказались бомбы и самолеты...

Это не шутка, а реальная модель состояния современного мира.

200 000 человек было убито в маленьком соседнем Ливане в ходе гражданской войны. Ненамного больше людей погибло недавно в Индонезии от цунами. Два эти явления считаются качественно различными. О причинах землетрясений не принято спрашивать. Но я не до конца уверен и в том, что кто-нибудь сможет внятно сформулировать из-за чего была война в Ливане (или в Судане), и каковы ее результаты. Скорее она тоже выглядит, как нерационализируемое и все же регулярно повторяющееся природное явление.

Может быть, ничего исторически ненормального или злокачественного не содержится ни в исламе, ни даже в исламизме. Может быть это обычное природное явление, «детская болезнь» всех цивилизаций.

Пока скандинавы и венгры не вышли из дикости, они веками опустошали Европу, завидуя ее богатству. Даже, когда их короли приняли христианство, они не сразу заметили противоречие между указаниями своей новой религии и практикой. Никто из них и не думал подставлять вторую щеку. Толпы крестоносцев триста лет шатались по миру, ища применения своему религиозному энтузиазму. А с началом Реформации уже и богобоязненные

христиане стали резать друг друга во имя Божие. Возглавляемые своими королями англичане, французы и испанцы столетиями воевали между собой, попутно вовлекая немецких, итальянских и швейцарских наемников. Война для европейцев была естественным состоянием общества, путем к карьере и наиболее почетным поприщем для благородного юношества.

Почему бы не позволить теперь и мусульманам порезвиться, повторяя зады европейского развития? («Руку правую потешить. Сорочина в поле спешить... Иль башку с широких плеч у *татарина* отсечь...» — А. С. Пушкин) Столетняя война, Тридцатилетняя война, Наполеоновские войны, Франко-прусская война — лихие полководцы, красивые мундиры, славные битвы, национальный престиж, обожание женщин, «уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами» ... и грабеж, тотальный грабеж.

Почему бы не позволить и мусульманам резвиться..., если только отобрать у них чрезмерно дорогую игрушку — современные европейские изобретения — взрывчатые и отравляющие вещества. (А есть еще бактериология и радиоактивность!) К тому же мусульмане начали на триста-четыреста лет позже Европы и еще не пережили отрезвляющего опыта Мировых войн. Средства уничтожения им насущно необходимы для их государственного престижа и народного самоуважения. Говорят, что большой мир и великие державы обращают свое внимание только на страны, владеющие атомной бомбой. Гражданам мусульманских стран не хватает общественного внимания (психологический механизм, кстати, хорошо нам знакомый по российскому опыту: «Зато мы делаем ракеты, и т. д.» — Россия ведь тоже отстает на одну-другую сотню лет). Господи! Как был бы счастлив Израиль, если бы внимание всего мира к нему, хоть на время, ослабло!...

Когда европейцы еще с энтузиазмом играли в эти игры, в их распоряжении были едва лишь аркебузы и мортиры. Поэтому они не сумели полностью перебить

друг друга. Хотя старались, как могли. Тогдашние убогие технические средства не позволяли им достичь по-настоящему впечатляющих результатов. Таких, чтобы каждая семья в каждой стране эти результаты прочувствовала до печенок. Выживших все еще оставалось гораздо больше, чем убитых и покалеченных.

Только первая Мировая война, благодаря всеобщей воинской повинности наглядно познакомившая миллионы людей с применением бомб, отравляющих газов, артиллерии и авиации, была уже осмыслена всей Европой как грандиозная ошибка.

Когда Гитлер пришел к власти, повзрослевшее человечество долго не могло поверить в серьезность его намерений. Еще труднее было поверить, будто и трезвый немецкий народ настолько обезумел, что спустя всего двадцать лет был готов повторить свой неудачный опыт. Только этим, повидимому, и объяснялись феноменальные начальные успехи гитлеровского руководства. Он ведь действовал в Европе, которая после осознанной бессмыслицы Мировой войны жаждала покоя любой ценой. И вправду, какая радость от войны может быть у взрослого человека?

Однако, « Гитлер лелеял в своем воображении героический мир: Сильные, жестокие люди всегда возглавляли и направляли массы. Они делали историю... Он восхищался Чингиз-ханом — *Кровь не засчитывается тем, кто создает Империи.*» (Ян Кэршоу «Гитлер», 1997)

— Если это не детский склад личности, то что?

Стоит сравнить это умонастроение с сегодняшним текстом «Аль-Каиды»:«История пишется только кровью. Славу можно обрести только на основании из черепов...» Напрасно мусульманским бойцам приписывают наивные мотивы ожидания райского блаженства. Райское блаженство не много добавляет к их детской земной мотивации. «Обрести славу» — очень земное стремление, хорошо известное Европе еще в X1X в. и не полностью

забытое и сейчас. Это совсем не то же самое, что «обрести вечное блаженство».

Неправда, что мусульманские террористы абсолютно непримиримы. Вот, Бин Ладен не устает приглашать американский народ и самого Буша принять ислам: «Мы зовем вас в ислам, мир придет к тем, кто ступит на правильную дорогу. Я предлагаю вам увидеть радость жизни и избавиться от сухого, жалкого, бездуховного материалистического существования...Воспримите уроки Нью Йорка и Вашингтона (т. е. теракты 11 сентября 2001 г.!), они даны вам за прежние преступления.» — Можно считать это умеренным предложением, если поверить, что и западные люди просто капризные, избалованные дети, не ведающие чего хотят. — Им щедро открывают радость жизни, а они не берут! Не хотят мира. По-видимому, из упрямства не хотят «ступить на правильную дорогу». Поневоле приходится их наказывать...

Не тот же ли упрощенный, детски-романтический склад личности просвечивает и здесь? Заигравшийся ребенок диктует всему миру свои законы...

Это приподнятое состояние духа планетарного вождя — стратега Третьей Мировой войны — пропало бы втуне, если бы не услуги всей современной системы массовой информации (а также Интернета), растиражировавшей героический облик борца с «бездуховным Западом» по всему миру (особенно, мусульманскому миру). Не только оружие мусульманский мир получает от растленного, «бездуховного» Запада. Также и добровольное сочувствие людей, которые ищут в жизни экстраординарного, которым не хватает романтики, не хватает «идеализма» в слишком трезвой атмосфере свободных обществ, где «нет места подвигам»... Терроризм без западных масс-медиа — ничто. Людские и материальные потери свободных западных стран не идут ни в какое сравнение с моральными потерями от чувства беззащитности, которое охватывает их граждан после каждого террористического акта.

Полдела сделано. Славу себе Бин Ладен уже обрел.

«Дети — это будущее человечества», но взрослые никак не могут отнестись к этой формуле всерьез. Даже средний биологический возраст жителей большинства мусульманских стран вдвое меньше возраста европейцев, а об их историческом возрасте не приходится и говорить. Вот, что писал еще в 30-х гг. XX в. серьезный культуролог: «Вступление полуграмотной массы в духовное общение, девальвация моральных ценностей и слишком большая «проводимость», которую техника и организация придали современному обществу, приводит к тому, что состояние духа незрелого юнца, не связанное воспитанием, формой и традицией, тщится в каждом деле получить перевес и слишком хорошо в этом преуспевает. Целые области формирования общественного мнения управляются темпераментом подрастающих юнцов и мудростью молодежных клубов.» *(Й. Хейзинга «Homoludens»)*

Эти слова говорят о причинах Второй Мировой войны (и удивительном военном воодушевлении немецкого народа при этом)больше,чем аналитические статьи политологов. В еще большей степени эти слова относятся к сегодняшним мусульманским странам, где техника и организация (благодаря содействию европейцев, конечно) уже придали обществам «слишком большую проводимость», но уровень общего образования еще не позволил бы назвать массу их населения даже «полуграмотной». Увещевания взрослых в такой ситуации превращаются в скучную либеральную болтовню, которую подростки на всех континентах привыкли стряхивать с ушей.

Многие публицисты стараются доказать (с помощью цитирования первоисточников), что сама религия ислама изначально пробуждает в душах верующих агрессию и нетерпимость. Им обычно возражают другие, которые находят, что религиозные заповеди ислама искажены и ошибочно поняты современными проповедниками-ради-

калами. Но, цитируя источники тысячелетней давности, можно доказать все что угодно. Значение имеет только народное понимание — не исторически реальный, а привычный, сказочный — образ прошлого, оставшийся в памяти поколений.

Ранний ислам, в отличие от христианства, не столько стремился смирить варварский дух народа, сколько звал их на новые дерзания. Коран и Предание («Сунна») были записаны между жестокими боями и набегами в воинственно настроенной среде и проникнуты оптимистическим духом предопределенного триумфа.

Может быть, теперь и агрессивные наклонности мусульманских толп, и милитаристская риторика их священников («джихад») объясняются вовсе не исходными принципами, записанными в Коране (кто там вчитывается в эти исходные принципы!), а памятью о грандиозном военном успехе, с которого в У11 веке начался поход кучки полудиких номадов, воодушевленных новой для них идеей единобожия, на окружающие культурные страны, где эта идея давно уже потеряла новизну. Невиданный начальный успех тогда задал им их этику превосходства мусульман над всеми народами, и внушил уверенность в совершенстве их образа жизни, обеспечившего эти победы. Чем проще, тем победоносней, тем ближе к тому исходному раскладу, который по-видимому был любезен Всевышнему, раз вопреки всякой вероятности, Он чудом привел их к овладению полумиром...

Сложность стала проникать в исламскую культуру только от побежденных. От них же у мусульман появились и ремесла, искусства и науки. Первоначальный мусульманин (его архетип) — это воин, палладин, чья жизнь без остатка отдана войне за Веру. Этот идеальный образ (неважно насколько он исторически достоверен) и сегодня вдохновляет на самопожертвование мусульманского подростка, который еще не ощутил вкуса к жизни, но уже ищет случая проявить себя.

Смолоду очень трудно бывает осознать конечный характер всех обозримых ресурсов человека. В «расколдованном мире» конечны все пути человека, куда ни кинься: память наша ограничена — запомнить все, что нужно для успеха в современной жизни, невозможно. Возможности понимания в любую сторону встречают предел — что-то важное обязательно упущено. Ознакомиться со всем, что происходит в мире, не хватает времени. Даже проявить достаточное внимание ко всем, кто этого заслуживает, мы не в силах. Поневоле выбор оказывается случайным — внимание направляется на тех, кто ближе. При неизбежно ограниченном кругозоре трудно ожидать от людей памяти о том, что произошло в прошлых поколениях и, что могло бы, пожалуй, их вразумить, предостеречь. Им приходится помнить так много в настоящем, что на прошлое (особенно далекое прошлое) памяти не остается. Это относится не только к мусульманам. Мышление недоросля, которому не терпится заявить о себе, поневоле приобретает черно-белый характер.

Германия потерпела поражение в Первой Мировой войне по весьма веским причинам. Но уже следующему поколению, спустя всего 21 год, эти причины показались незначительными. И они развязали Вторую... Молодежь опять горела энтузиазмом. Начальные успехи Тысячелетнего рейха и впрямь были вдохновляющи. Только старые, опытные генералы знали, что страна вступила на гибельный путь...

Подавляющее наступление Советской армии в последние месяцы войны (почти такое же страшное, как и ее предшествующий разгром) ускорило эту гибель и фактически спасло Германию от американских атомных бомбардировок. Романтический дух в стране на время угас и сменился тягой к покою. Может быть, не навсегда...

И чудесные победы начального периода ислама сменились со временем жестокими поражениями. Ислам в его конфронтации с Европой проигрывал одну войну за

другой, пока в начале прошлого века Кемаль Ата-тюрк со товарищи не взялись за глубинную перестройку мусульманского сознания и приступили к преобразованиям, которые не завершены и по сей день. Но во всех мусульманских странах (в том числе и в Турции) и сегодня есть решительная молодежь, которой причины поражений Ислама видятся в ином свете. Эта молодежь горит энтузиазмом, отметающим оппортунизм (слово происходит от английского opportunity, т. е. возможность!) последователей Ататюрка и ищет решения своих проблем на пути невозможного, т. е. чуда: «Пусть так случится, что мы ИХ победим! Ведь они дряхлые, а мы молодые. Они плохие, а мы хорошие. Они трусливые, а нашей отваге нет предела. Они в Бога не веруют, а мы для Него на все готовы!»

Однако, смириться перед Его непостижимой волей, которая даровала именно дряхлым и неблагочестивым народам бесценные преимущества, они не готовы.

Поэтому снова и снова эти люди во всех мусульманских странах тщетно пытаются подставить на место Его воли — свою.

В этом, собственно, они похожи на всех других.

Они готовы разбить голову об стенку, только бы не последовать примеру старших. Это выглядит скорее законом природы, чем заблуждением лидирующих групп.

Суть не в том, что манихейское видение событий в наше время получило более широкое распространение. Суть дела в том, что оно стало эмпирически гораздо убедительнее. До тех пор, пока можно было с основанием говорить о конфликте богатства и бедности, о вражде невежества к просвещению, даже о ненависти одной расы к другой, монистическое мировоззрение могло оставаться непоколебленным, а конвергенция противоречивых стремлений и конечное примирение казались возможными. Но в наше время все реальные противопоставления становятся только предлогами для вражды. Эдипов

комплекс овладевает целыми народами. А само наличие вражды, ее включенность в природу мира и человека на наших глазах все чаще обнаруживает свой онтологический, трагически неустранимый характер.

САНДРО ИЗ ЧЕГЕМА И ПАЛЕСТИНСКИЙ ВОПРОС

Эскалация насилия в наших отношениях с арабами в течение последних лет вызывает тревогу не только у многолетних приверженцев левых партий, для которых вопрос о мире сводится к вопросу о собственной власти. Есть основания для беспокойства и для тех, кого вопрос о власти не волнует. Всякий человек хочет быть в согласии со своей совестью, и вопли мировой прессы и телевидения, решения ООН и всяких добровольных организаций, которые винят нас в превышении необходимой меры защиты и требуют объективности, не могут нас не задевать. Всякому хочется быть объективно правым.

Идея объективной истины нависала над нами с самого детства. Начиная от выяснений, «кто первый ударил?» в детском саду, до «настоящей причины Мировой войны». Сначала еще только Первой войны, а после шумных выступлений Виктора Суворова уже и Второй. Сюда входят и выматывающие душу выяснения «роли евреев в Революции», и смехотворные счеты «от кого больше было пользы Советской власти — от физиков или от лириков?» Отсюда недалеко уже и до вопроса «у кого больше прав на землю в Палестине?».

Вообще говоря, объективная истина это что-то вроде абсолютной системы координат. Физики уже примирились с тем, что в космосе ее не существует. Но людям на земле сетка координат, привязанная к земной поверхности, кажется еще достаточно объективной, чтобы определять их взаимное расположение. в пространстве. Сторонники

Защитной стены между Израилем и Палестинской автономией так наивно и формулируют свое кредо: «Мы — здесь, они — там!» Действительно расположение в пространстве кажется объективным. По крайней мере, пока картина остается неподвижной. Можно ли столь же однозначно определить и взаимоотношение явлений — т. е. событий во времени? Особенно, событий в человеческом мире?

Для этого необходимо иметь возможность рассматривать их не только в общем пространстве, но и на одной шкале в общем времени. Это условие, как правило, не соблюдается. Несмотря на всеобщее распространение часов и унификацию календарей время остается прибежищем субъективности.

Расстояние все люди оценивают приблизительно одинаково. А время… молодые и старые, спортсмены и философы, европейцы и азиаты ощущают время по-разному. И столь же по-разному влияет на их оценку актуальных событий их прошлое.

Скажем, тот факт, что большая часть земель занятых теперь еврейскими поселенцами была в свое время заброшена и куплена у арабских владельцев на законных основаниях, в какой-то степени укрепляет нашу уверенность в своей правоте, но никак не влияет на настроение арабского населения, которое либо ничего не знает о своем прошлом, либо сознательно игнорирует его.

Юридическая идея «истины», которая выясняется в суде, основана на предположении, что объективная картина события, включающая необходимые причинные связи, существует независимо от того, что мы о нем думаем (значит хранится в памяти какой-то группы лиц и подтверждается документами) и может быть восстановлена в ходе тщательного расследования. Значит ли это, что примерно так же может быть прослежена и цепь событий, т. е. история народов? И можем ли мы полагаться на объективность этой группы и правильное прочтение аутентичных документов прошлого?

Народная память сильно расходится в своих оценках. В Париже на могиле Наполеона я с удивлением обнаружил, что Бородино, и даже Березина, названы там в числе памятных мест его воинской славы, хотя российская история числит эти сражения среди своих особо впечатляющих побед — «Скажи-ка, дядя, ведь недаром ?..»

Невозможно ответить на прямой вопрос, что на самом деле правда.

Человеку, погруженному в еврейскую традицию или знатоку истории тот факт, что мы живем на земле древнего Израиля много говорит, но для тинэйджера, который знает о мировой культуре в лучшем случае по музыкальным клипам, все это уже расплывается в тумане. И две тысячи лет, разделяющие Моисея и Магомета, сливаются в одно неразличимое мифологическое «начало времен».

Даже у одного и того же современного историка оценка событий кардинально меняется на протяжении его жизни. Газета «Гаарец» опубликовала сенсационное интервью с израильским профессором Бени Моррисом. 20 лет назад проф. Моррис прославился на весь мир своими «разоблачениями» израильских «зверств» во время Войны за независимость 1948 г., заклеймив их как «военные преступления». Теперь, после «интифады Аль-Акса», он пришел к выводу, что тогдашнее жесткое поведение израильского руководства было не только полностью оправдано, но, даже более того, оно было еще недостаточно решительным, чтобы окончательно изгнать из Израиля арабское меньшинство, фактически не способное к мирному сосуществованию.

Способность палестинского населения к сосуществованию остается под вопросом, но способность профессионального историка к таким «сальто-мортале» на основе одного и того же материала заставляет задуматься о самой возможности объективного подхода в остро конфликтной ситуации.

А что, если бы юридическая логика действительно доказала, что наше пребывание в Израиле незаконно (а

какой, собственно, общий закон существует между нашим и арабским обществом?), мы хотели бы вернуться в Россию? И, размахивая книгой «200 лет вместе», требовали бы вернуть нам назад половину территории в «черте оседлости»? Это приблизительно то, чего хотел добиться Арафат и его компания, размахивая резолюцией ООН 1947 г., которую арабские страны тогда дальновидно отказались выполнить. Прошло 58 лет… Спустя три поколения можно еще продолжать считаться беженцем?

Для разных групп населения России одна и та же цифра участия евреев в Революции свидетельствует о совершенно разных явлениях. Для одних — это индикатор былого отчаянно неравноправного положения евреев в Империи, для других — свидетельство необыкновенной активности избранного народа, а для третьих — часть Сионистского заговора для достижения мирового господства. Выбор людей, конечно, определяется не статистикой, а тем, какие образы и идеи кажутся им наиболее близкими при моделировании события.

Образ «Империи», образ «еврейства», «идея равноправия» и «идея заговора» — или «мирового господства» — дают богатый набор сочетаний, позволяющий, как будто, различные частные точки зрения. Вскрыть «объективную» картину — значит оценить относительный «вес» этих факторов в историческом процессе. Однако, оказывается, что этот «вес» даже в одной и той же культуре меняется на протяжении жизни нескольких поколений не меньше, чем он поменялся у проф. Б. Морриса на протяжении одной его жизни.

Так, в современном европейском сознании «идея равноправия», конечно, вышла на первый план. «Идея еврейства» остается пока допустимой, «идея Империи» энергично осуждается, а «идея Заговора» — тем более «с целью достижения мирового господства» — даже не рассматривается всерьез.

Напротив, 200 лет назад на первом месте была как раз «идея Империи», «равноправие» всего лишь допускалось

тут и там, но и идея мирового господства не отвергалась полностью. Впрочем, заговор с этой целью и тогда выглядел маловероятным, хотя «идея еврейства» осуждалась единодушно. В течение этих столетий соотношение образов в сознании европейцев изменялось таким образом, что по избранной шкале предпочтений можно было даже судить о политических взглядах человека или общества. Российская империя, в которой и к началу XX в. шкала столетней давности все еще оставалась приемлемой, считалась отсталым государством.

Хотя Россия и считалась отсталой в Европе, в собственном сознании множества русских людей из самых разных кругов Россия при этом была и осталась передовой и даже во многих отношениях опережающей всех остальных. Идея, что Россия вот-вот возглавит все человечество, приходила в голову почти одновременно и свободолюбивому «неистовому Виссариону» Белинскому и убежденному «душителю свободы», консерватору графу Бенкендорфу.

Для того, чтобы как-нибудь объяснить этот феномен, необходимо признать, что время у разных людей (и в разных цивилизационных группах) психологически течет по-разному и причинно-следственные цепи замыкаются неодинаково.

У Фазиля Искандера есть прелестный рассказ, в котором его излюбленный персонаж, Сандро из Чегема, ударил старика-сторожа городского музея в Гагре прикладом винтовки по голове. На суде Сандро спрашивают, как он мог так поступить. Тот отвечает, что сторож его оскорбил. «Каким именно образом?» — строго спрашивает судья. «Он пукнул в мою сторону» — отвечает Сандро.

... «Вы уверены, что он имел в виду именно вас лично?» — сомневается пораженный таким оборотом дела судья. «Но вокруг ведь больше никого не было!» — простодушно отвечает герой Искандера.

Этот ответ мог бы внести в израильскую политическую дискуссию яркий аргумент в пользу возведения «за-

щитной стены», предназначенной отделить друг от друга народы с разными представлениями о мире. Оскорбительная идея проступка сторожа получает полноценное существование только на распахнутой границе двух замкнутых культурных миров, вступивших, в отсутствие стены, в невольный и неконтролируемый контакт.

«Небольшой процент» убийств, происходящий из-за просачивания через границы отдельных агрессивных индивидов и даже групп, возможно, не помешал бы нормальным отношениям между странами внутри арабского мира. Но нервным израильским гражданам с их европейским представлением о безопасности трудно с этим мириться. Мы могли бы сохранить «объективность» перед лицом террора, только если бы у нас было такое же отношение к смерти и человекоубийству, как у наших соседей.

В свое время в полемике с экуменической идеей Эдуард Бормашенко сформулировал в духе Спинозы фундаментальное требование к любому содержательному диалогу: «Когда два математика произносят два одинаковых утверждения, они имеют в виду одно и то же». Такое предположение (а это именно предположение!) следовало бы назвать **нулевой аксиомой математики**, ибо только после его принятия приобретают смысл все остальные определения и аксиомы. Проблема неадекватного понимания, на самом деле обязательно присутствует и во всех других человеческих коммуникациях. Особенно, если иметь в виду коммуникации между представителями разных цивилизаций. Любой язык (в том числе и математика) может вести людей к согласию, только если обеспечено предварительное согласие в нулевой аксиоме. Два человека, говорящие одно и то же на одном языке, должны быть предварительно уверены, что они стремятся к одному и тому же. Ибо, если цель одного из них — уничтожить другого, этому другому лучше прекратить разговор и подумать о спасении.

Для разных народов, государств, тем более разных культур, стратегическая оценка возможных намерений оппонента просто входит в обязанность правительств. Наше правительство уже много лет имеет дело с организациями и группами не делающими секрета из своего намерения нас уничтожить. Никаких общих понятий, тем более общего принципа, между Израильским и арабским руководством никогда не было. На какой же основе вести переговоры? Что выбрать за нулевую аксиому?

Вплоть до XX в. Западная цивилизация не нуждалась ни в каком одобрении со стороны остальных и приводила другие народы к согласию силой. Во многих исторических случаях (например, Япония) это привело к отличным результатам. Такое «согласие», однако, включало и усвоение множества свободолюбивых западных идей (в том числе, например, идею «прав человека»), которые неизбежно вступали в противоречие с насильственным способом их внедрения.

Российские выходцы, хорошо понимают эту проблему на примере насильственного внедрения европейских порядков в России Петром 1-ым. С тех пор прошло 300 лет, но и сейчас не перевелись там ожесточенные сторонники допетровского уклада.

Основатель «Евразийской партии» Александр Дугин так и определил свое в*И*дение чаемого будущего «Евразийской» цивилизации в России, как «цивилизации пространства», в отличие от беспокойной «Атлантической цивилизации времени», под которой подразумеваются либеральные демократии.

Недавний прецедент парадоксального культурного взаимодействия «цивилизации времени» с «евразией» — война в Ираке. По представлениям американцев эта война должна была обеспечить народу Ирака свободу. В какой-то степени это даже удалось...

Освобожденное шиитское большинство народа хотело бы теперь воспользоваться этой свободой в соответствии со своим правосознанием (сложившимся у них раз

и навсегда около 1000 лет назад, когда в ходе борьбы за власть был убит халиф Али, ставший для шиитов святым) и расправиться с угнетавшими их много лет суннитами. Готовы ли «атлантисты» позволить им это сделать? Похоже, что — нет. Где же обещанная свобода?

Неожиданно выплыла на поверхность, бывшая нам привычной из школьного марксизма, истина, что государство, вообще говоря, есть орган насилия, и только насилие, слишком явно выпиравшее при Саддаме Хусейне, способно было сдержать эти (и многие другие) враждебные тенденции в рамках неоднородного, деспотического государства, включавшего разные народы, каким был Ирак.

Должны ли (и могут ли?) американцы (чье государственное мышление сложилось под влиянием скорее противоположной идеи — «общественного договора» Жана Жака Руссо) применить насилие, чтобы удержать эти народы от взаимной резни, а бывшее это искусственное государство от распада? Искусственных, «неудачных» государств на Земле еще очень много. «По оценке Всемирного банка в неудавшихся государствах живёт около 500 миллионов человек.» (А. Кустарев, «Kosmopolis», М., 1998).

Фактически, конечно, гораздо больше. Такое же нежизнеспособное государство «атлантические» благодетели планируют и для палестинцев, пренебрегая их неспособностью выполнить, возлагаемые на них обязательства, и нашей неготовностью мириться с вечной войной, которая от этого произойдет. Чтобы быть объективными с представителями арабской «цивилизации пространства», нам пришлось бы приспособить весь наш образ жизни к их немыслимому стандарту.

Политическое развитие самой Западной цивилизации и распространение ее идей по планете в XX в. привело к тому, что для нормального существования мира политическим ее представителям стало казаться необходимым добровольное согласие чуть ли не всех народов…

Согласие, конечно, лучше конфронтации. Но достигалось ли оно когда-нибудь в истории добровольно? Может ли оно вообще быть добровольным? Может ли оно остаться добровольным вопреки течению времени (которое у разных народов течет по-разному) и всем сопутствующим конфликтам? Менее всего способствует добровольному согласию объективный подход.

Сионистская идея, первоначально снискавшая именно всеобщее одобрение (и в Европе, и в Азии) всех заинтересованных сторон, неожиданно вызвала неудовольствие части местных, палестинских феодалов. Соображения этих несовременных людей (и сами эти люди) казались европейцам в конце XIX в. настолько незначительными, что в течение последующих почти ста лет и сионистское руководство, и мировое сообщество просто игнорировали это препятствие, заглушая его громкими призывами к миру и дружбе.

За 100 лет, однако, небольшой еврейский ишув в соответствии со своим субъективным чувством времени превратился в самодостаточное государство с принципами, несовместимыми с укладом всего ближневосточного окружения. И теперь уже дальновидная несговорчивость нескольких шейхов, упорно сосредоточенных на своей идее пространства («оккупированные территории», «День земли»!), была осознана и широко осмыслена интеллектуалами, как якобы судьбоносный конфликт между цивилизациями.

Редкое арабское население, 100 лет назад одинаково равнодушное, как к политическим амбициям своих мнимых представителей, так и к наивным призывам евреев к совместному развитию, теперь обратилось в 2-3-миллионный «палестинский народ», лишенный средств существования и с малолетства воспитанный в уверенности, что его обманули и обидели, лишив родной земли, которую он любовно возделывал последние 5000 лет. Нет никакого смысла объяснять им, что это не так. Такие объяснения обижают их еще больше…

Не только согласие, но даже и обсуждение подобных вопросов, не может быть обеспечено без принятия какого-нибудь общего принципа, который смог бы послужить начальной аксиомой для обществ, не имеющих между собой в культурном отношении почти ничего общего. Обменивать «территории на мир» — такое же пустое, бессодержательное выражение, как «поменять пространство на время».

Есть, впрочем, в Библии призыв, который внятен почти всем народам и, в первом приближении, мог бы рассматриваться как нулевая аксиома для всех: «Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло... Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие... Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое...» (Втор. 30,19.)

Предпочтение жизни для всех жизнелюбивых народов кажется чуть ли не само собой разумеющимся. Если люди хотят жить, можно попытаться найти такую общую формулу, которая позволила бы им примирение перед лицом неминуемой смерти. Даже и «джихад» предусматривает такой компромисс для крайних случаев — «сульх» — перемирие. Однако, призыв «Избери жизнь!» становится действенным, только когда люди ценят свою жизнь и в самом деле чувствуют, что в противном случае смерть неминуема.

Таким было в свое время воздействие атомной бомбардировки на Японию... Подобным впечатлением для арабов был троекратный разгром египетской армии в 1956, 1967 и в 1973, после которых Египет, (а фактически еще раньше Иордания) пошли на соглашение с Израилем.

До образования Израиля британские власти каждую неделю вешали лихих арабских разбойников, еще не догадавшихся тогда объявить себя идейными борцами против империализма. Но со временем в изменившейся

международной обстановке, и отчасти пользуясь израильским либерализмом, «предводители клик объединяются с соплеменниками, издавна существующими на сопредельных территориях, создают там базы, втягивающие всякого рода маргинальный сброд, повстанцев и диссидентов. Эти формирования наёмников-подростков действуют как власти на подконтрольных им территориях. Война становится для них повседневным занятием.» (A. Mbembe, Le Monde Diplomatique, Nov. 1999.)

Предшествующие слова написаны африканским автором на основе наблюдения жизни африканских стран, но они адекватно описывают и возникновение «израильско-палестинского конфликта» и многих других . Если мы хотим сейчас удержать арабов от убийств, мы можем сделать это только силой.

Нам не на что жаловаться. Через такое чистилище прошли все современные народы. Собственно, остались жить на земле лишь те из них, которые выдержали это испытание. Существование еврейского народа во 2-й мировой войне оказалось под угрозой только потому, что в его распоряжении не было никаких внушительных коллективных средств защиты. Исполнителям геноцида ничто не угрожало.

В прошлом уже окультуренную западную Европу в течение веков разоряли гунны, готы, вандалы. Потом венгры, арабы и скандинавы. Славянские княжества веками страдали от набегов торков, печенегов, половцев... И ничто не могло остановить этот беспредел, кроме ответного систематического убийства. Профессиональные головорезы — рыцари, варяги — средневековый «спецназ» — были остро востребованы при всех королевских дворах. Ежедневно, выходя из дому, европеец рисковал быть убитым на улице. Не выходя, он тоже рисковал сгореть вместе с домом. Тогда еще не было и в помине «международного террора», или «освободительной борьбы». Просто — грабеж. Без лозунгов и объяснений.

У людей «евразийского пространства» идея постепенного накопления ценностей сформировалась не сразу, потому что сама эта идея порождается чувством времени. Исходно они представляли свое обогащение только «пространственно», в форме прямого захвата. Как пишет о нашем времени современный специалист: «Нищие общества многодетны и «молодёжны». Существующие на грани выживания молодые люди из зон нищеты пополняют ряды повстанческих движений. Фактически они живут грабежом — институционализированным грабежом.» (А. Кустарев, «Kosmopolis», М., 1998)

Т.о. глубинная психологическая основа явления осталась неизменной с варварских веков: для многих молодых людей и в наше время война и смертельный риск предпочтительнее, чем ежедневный труд и размеренное существование. Как написал чуждый застенчивости Э. Лимонов: «Определенный сорт мужиков испытывает биологическую жажду войны и никакая «цивилизация» никогда не сможет изменить их природу». Нулевая аксиома культурных народов существует не для всех.

Впрочем, встретив непреодолимые препятствия на пути разбоя, поставленные перед выбором между жизнью и смертью, некоторые вышеперечисленные народы рано или поздно нашли для себя образ жизни, позволивший им со временем включиться в сообщество цивилизованных наций. На это, правда, в Европе ушло несколько столетий.

Для той части человечества, которая живет с нами по соседству, эта история еще не закончилась. Она, собственно, еще и не началась. Только если у нас хватит решимости и терпения силой удерживать вождей палестинцев от войны, у них появится исторический шанс.

Недавно, произошло обнадеживающее событие, которое может коренным образом повернуть всю историю израильско-арабских отношений к оптимистическому варианту.

Футбольный клуб израильских арабов селения Сахнин с триумфальным успехом провел спортивный сезон в Израиле. Для амбиции арабской молодежи возникла новая точка приложения, которая может вывести их на экраны телевизоров не только в качестве убийц или жертв. Еще несколько таких событий и, может быть, наберется достаточное число смелых молодых арабов со вкусом к жизни, у которых хватит мужества прекратить бесперспективную, самоубийственную войну и найти себе и соплеменникам другое, достойное занятие. С этого момента и начнется отсчет времени в их обществе, которое пока что все еще принадлежит к «цивилизации пространства».

Пока это не произошло, именно объективная ситуация и справедливость требуют от нас сохранять ту меру насилия, которая диктуется нашим субъективным чувством безопасности.

2. ЛИЧНЫЙ ОПЫТ СОУЧАСТИЯ В ИСТОРИИ

НЕ ВЕСЬ НАРОД БЕЗМОЛВСТВОВАЛ

На днях я получил письмо из далекого Челябинска от Георгия Ченчика (брата Олимпийской чемпионки по прыжкам Таисии Ченчик) — человека, с которым расстался около 60-и лет назад и до сих пор не знал, жив ли он. Летом 1946 года мы просидели два месяца в одной камере внутренней тюрьмы челябинского ГБ.

Так давно это было... мне даже немного неловко признаться, что я такой старый. Но тогда мне было только 14 лет, а ему 18, и я воспринимал его как взрослого. Оба мы были посажены за «антисоветскую деятельность», и конечно на воле не подозревали ни о существовании друг друга, ни о многих других подпольных, молодежных кружках, возникавших в те годы по всей стране.

В России, да и в Израиле, теперь часто поминают сталинские репрессии, но, в основном, 30-х годов, когда эти репрессии относились к людям, вовсе неповинным в сознательной «антисоветской деятельности». Это были и в самом деле, так называемые, «неоправданные репрессии».

Невольно подумаешь: что же это была за страна, если при таком свирепом режиме, когда «запрещалось все — даже то, что разрешалось», все репрессии были неоправданные. Не означает ли это, что никто и не сопротивлялся? И «народ безмолвствовал». Поэт Наум Коржавин так и писал об этом мертвом (вернее мертвящем, но все же далеко, далеко не мертвом) времени:

Можем рифмы нанизывать
Посмелее, попроще,
Но никто нас не вызовет
На Сенатскую площадь.
Мы не будем увенчаны
И в кибитках снегами
Настоящие женщины
Не поедут за нами...

Но это неправда... Не только смелые рифмы занимали молодых людей в те годы. И женщины за ними тянулись так же бесстрашно, беззаветно... О Сенатской площади, конечно, в 50-е не могло быть и речи, как и об увенчании...

В своем письме Георгий пишет, что, кроме него, из их кружка «Социал-демократической молодежи», и из тогдашнего местного поэтического общества «Снежное вино» никого уже не осталось в живых. Но недавно в городе была организована выставка «Неформалы 50-х» и студенты университета приходили брать материалы для своих рефератов. Посетители постарше признавались, будто не могли себе и представить, что «среди окружающей их молодежи были сверстники, которые думали по-другому». В России, к сожалению, все еще принято говорить, будто люди, которые не верят пропаганде и сопротивляются насилию, «думают по-другому» — «инакомыслящие». После почти 20 лет либерализации можно бы уже понять, что суть не в том, что «по-другому», а в том, что вообще «думают». Но это, наверное, займет еще сколько-то лет.

Георгий просил прислать для их выставки описание нашей подпольной группы и дальнейших судеб ее участников. Я и спешу выполнить его просьбу, надеясь, что одновременно это будет моим посильным вкладом в празднование радостной даты — юбилея смерти И. В. Сталина.

Первоначально нас было только двое друзей — я, Шура Поляков, и Миша Ульман, который был на целый

год младше меня, но намного более начитанный. В то время я еще наслаждался Жюлем Верном, а он уже прочитал чуть ли не всех русских классиков и даже Ги де Мопассана...

У Миши был очень еврейский вид и еще более еврейский (как тогда считалось) темперамент. Все в нашем классе, кому было не лень, обижали его, и светлые дорожки от слез на его немытом, веснущатом лице, казались постоянной чертой его облика. Отец его был каким-то бухгалтером-недотепой, а мать заоблачной идеалисткой, и семья жила в немыслимой грязи и бедности. Половину площади комнаты, где жили они втроем, занимали книги, наваленные кучей посреди пола — можно было брать любую...

Мишина способность сносить унижения возмущала мое нравственное чувство, и я стал ввязываться в драки, когда его задевали. Бывало,что в драках этих доставалось и мне, но, Миша, вместо того, чтобы посильно мне ассистировать, мирно плакал в углу, глядя, как меня за него отделывают. Как я его ни стыдил, я не мог заставить его вмешаться и, хотя бы отчасти, отвлечь противников...

С возрастом мы стали добираться до самой середины кучи в его комнате и усвоили некоторые передовые взгляды, которые не давали нам равнодушно наблюдать окружающую нас голодную и унизительную жизнь рабочего поселка Тракторного завода. Опухшие от голода рабочие, инвалиды войны, выставлявшие свои обрубки за подаянием, гигантские хвосты за хлебом слишком явно противоречили бодро оптимистической пропаганде, которая, ни на минуту не смолкая, неслась из радио-репродукторов.

Окончательная революция в нашем сознании произошла, когда Миша познакомил меня с Геней Гершовичем из параллельного класса. В его доме книги (особенно классики марксизма) аккуратно стояли на полках, где оставил их его репрессированный отец. Полная несправедливости окружающая жизнь требовала от нас

интерпретации, и мы, конечно, принялись искать ее в полном Собрании сочинений В.И.Ленина, стоявшем там на почетном месте. Т.к. это Собрание было издано в 1929 г., оттуда еще не были вычищены обширные примечания, разъясняющие детали программ сравнительно недавних партийных оппозиций 20-х годов. Две из них нам особенно приглянулись:«профсоюзая оппозиция» и «децисты». Сейчас я уже не помню всего, что эти наивные люди хотели от Ленина, но в наши 14 лет их доводы звучали для нас совершенно неотразимо.

Что же было делать? Не могли же мы спокойно смотреть, как коррумпированная, «обуржуазившаяся» партийная верхушка угнетает рабочий класс и держит народ в бесправии и неведеньи! Мы, конечно, должны были открыть им глаза...

Мы сочинили листовку, оканчивавшуюся оптимистическим прогнозом: «Падет произвол и восстанет народ!», пригласили еще нескольких одноклассников (вместе нас стало восемь) и, предварительно открыв им глаза, засадили за работу по размножению ее печатными буквами на тетрадных листах в три косых.

Первую порцию листовок мы расклеили у дверей хлебных магазинов, где с утра, еще до открытия, скапливались громадные очереди. Приходя к открытию, мы могли своими глазами наблюдать, как воспринималась наша пропаганда. Народ читал, народ сочувствовал...

— Впрочем, потом у следователя обнаружилось полное собрание наших листовок.

Мы трудились, не покладая рук, и когда наша группа разрослась, нам удавалось переписать до сотни листовок в раз. Мы варьировали их содержание, посильно откликаясь на повседневную жизнь ЧТЗ и мировые события...

Апрель и май 1946-го прошли в неустанных трудах, а народ все не восставал. Мы решили, что работать вручную неэффективно, надо переходить на подпольную печать. Тем более, что во всех школах города уже проводили повальные диктанты, включавшие знакомые слова

и политические термины, а потом отдельных отобранных школьников таскали писать печатными буквами для опознания почерков. Мы уже начали готовить гектограф (глицерин, желатин и еще что-то, чего уже не помню), когда нас арестовали....

Продержав меня день и всю ночь в боксе — камере на одного размером с телефонную будку (чтобы арестованный не мог прилечь), меня завели в пустое служебное помещение, посреди которого стояла длинная скамья, и велели раздеться. Я разделся до трусов, но мне велели снять и их. Так как я не раскалывался, все мои мысли были захвачены внутренним сопротивлением следствию и приготовлением к защите. Не было никакого сомнения, что сейчас меня положат на эту скамью и станут бить...

— И, вот, хотя я, конечно, боялся и дрожал от холода босиком на каменном полу, в моем ожидании содержался и оттенок любопытства. Я думал, что теперь узнаю нечто тайное о «их средствах», о том, чего никто не знает... Я узнаю и о себе, смогу ли я выдержать.

Наконец, я дождался. Пришел врач, велел мне нагнуться и долго разглядывал мой задний проход. Оказалось, что это была проверка на гомосексуализм, о чем я, впрочем, узнал лишь гораздо позже. Меня не били. Вообще, изолятор КГБ оставил у меня впечатление уголка Европы в море советских тюрем, изоляторов, лагерей, края которого я успел лишь коснуться...

Меня не били, но я был совершенно готов к этому. Несмотря на наше «счастливое детство», все мы знали, что нас можно бить. Это знание, мне кажется, было самой фундаментальной характеристикой Сталинской эпохи, и непременно должно быть упомянуто впереди всех остальных. Мы с этим знанием родились и со временем в нем только укреплялись. Мы бывали удивлены, когда оказывалось, что побоев нет в программе. В своих предположениях мы заходили даже дальше палачей и невольно сами подсказывали, чего мы особенно опасаемся.

Мне уже показывали собственноручное письменное признание Миши Ульмана, но я продолжал упрямиться, пока нам не сделали очную ставку, в ходе которой стало ясно, что больше нечего скрывать. После этого интеллигентный майор Луковский (предварительно объяснив мне, что в моих собственных интересах плакать и прибедняться, а не изображать взрослого идейного борца) передал меня в руки старшего лейтенанта Яроповца. Началась долгая, изматывающая борьба с малограмотным лейтенантом, который систематически перевирал мои показания. Несмотря на то, что я часами объяснял ему (вопреки разумному совету майора) нашу коммунистическую программу, он все норовил приписать нам противоестественную симпатию к германскому фашизму и сильно гневался, когда я отказывался подписать.

В один из этих июньских дней меня перевели из одиночной камеры в двойную. Навстречу мне встал с койки высокий, русый студент с очень голубыми глазами, протянул руку, как взрослому, и представился: «Георгий Ченчик». Эта сцена навсегда запечатлелась в моей памяти и всплывала каждый раз, когда я читал что-нибудь о давно ушедших в прошлое народниках. Что-то в его сдержанной манере, вежливости, мягкой благожелательной серьезности напоминало российский XIX век, русскую классическую литературу, И. С. Тургенева...

А, может быть, все наоборот — все мои впечатления от русской литературы и истории русских революционных движений с тех пор всегда невольно соотносились со светящимся юношеским лицом Георгия. В тюрьме была хорошая библиотека, и за два месяца под его руководством я прочитал много замечательных книг.

Группу Георгия судили на несколько дней раньше нас. Г. Ченчик и Гений (родители дали ему имя, сулящее неординарную судьбу) Бондарев получили по 5, а Юрий Динабург — 10 лет лагерей (наверное за то, что он еще и стихи писал). Я запомнил со слов Георгия лишь одно его четверостишие:

Миры тоски, как небо, велики.
А я их взял на худенькие плечицы —
Я проглотил живого пса тоски,
И он в груди, кусая лапы, мечется...

Так или иначе, приговор юным «социал-демократам» по тем временам считался очень мягким, и это обстоятельство заставило судью проявить в нашем деле сугубую суровость. Дело в том, что Мишу Ульмана, к моменту преступления еще не достигшего 14 лет, и остальных 5-ых «преступников» отпустили еще до суда, и прокурор КГБ, учитывая наш тоже небольшой возраст, предложил ограничиться и в нашем с Геней случае лишь условным осуждением. Однако, судья был загипнотизирован своим оправданным страхом прослыть гнилым гуманистом и влепил нам все, что мог по обстоятельствам дела — три года детской исправительной колонии. — Эти подробности я узнал, уже выйдя из лагеря, от мамы и тетки, которые были членами адвокатской коллегии, и, конечно, старательно собрали все сплетни, ходившие среди судейских сотрудников о наших «страшных» делах...

Следующие четыре с половиной месяца мы с Геней провели в колонии «малолетних преступников» и очень быстро поняли, что живыми нам оттуда не уйти. Огромное большинство этих «преступников» были просто сбежавшие домой дети — ученики ремесленных училищ, которых по законам военного времени (впрочем, спустя год после войны) судили, как саботажников (с 12 лет!). Они были с головой отданы лагерным начальством в руки блатных «активистов», воров постарше, которые держали этих детей в состоянии животного страха, обеспечивавшего их беспрекословное рабство. Блатные распределяли еду, следили за работой, регулярно избивали неугодных, принуждая в этом соучаствовать их несчастных сотоварищей, отбирали все что понравится, и время от времени творили показательные расправы. От мыслей о самоубийстве нас отвлекала только мечта описать ужасы, которым мы стали свидетелями, и передать эти записки

на волю. Впрочем, мы были уверены, что, если наши разоблачения обнаружатся, нас все равно убьют, и нам уже не придется совершать самоубийство.

За последние 50 лет российский читатель узнал столько ужасов о своей истории, что я не вижу смысла еще умножать этот список рассказом о мучениях детей. Во всяком случае, мы с Генькой вряд ли сумели бы досидеть до конца срока, если бы Верховный Суд СССР, в конце концов, после бесчисленных хлопот родственников и жалоб адвокатов, не принял мнения гебешного прокурора и не изменил наш приговор на условный. В декабре 1946-го мы вышли на волю повзрослевшими больше, чем на полгода...

Оба мы с Геней были безотцовщиной. Но его отец был убит «своими», а мой — немцами. Эта разница сыграла свою роль в наших судьбах. Пока я сидел в лагере, старый мамин друг детства, Владимир Моисеевич Воронель, демобилизовался из армии и приехал просить ее руки. Тут ожидал его приготовленный мною сюрприз. Он не растерялся, и вместе с мамой стал ходить по инстанциям со своей свежеиспеченной версией о трогательной фронтовой дружбе, в ходе которой якобы мой истекающий кровью отец вручил ему мою судьбу. Сомнительно, чтобы этот сюжет повлиял на решение Суда, но он очень помог в ускорении продвижения жалобных бумаг от Челябинска к Москве. В итоге они поженились, и выйдя из лагеря, я уже навсегда стал Воронелем...

Отчим увез нас в Астрахань, потом в Махачкалу, а потом я поступил в Харьковский Университет, так что, когда, приехав в отпуск на каникулы в 1951-м, я узнал, что снова сажают «повторников», мне не пришло в голову, что это близко касается и меня. Миша Ульман, как и я уехавший с родителями в Ленинград, тоже избежал чрезмерно пристального внимания КГБ. Новая сталинская волна репрессий коснулась только Геньки. Он не изменил фамилии. Он не уехал из Челябинска. Он не пропал из виду и оказался в 1951-м первым на очереди

для спущенной из центра новой разнарядки на пополнение ГУЛАГа. Он был уже тогда студентом Исторического факультета Пединститута, и ему дали десять лет просто за то, что он был сын «врага народа», сам был «врагом народа» в прошлом, и легко прогнозировался, как «враг народа» в будущем. Да, и зачем еще такой человек станет изучать историю?..

К счастью, Гене не пришлось отсидеть весь срок, волна реабилитаций дала и ему возможность через 5 лет выйти, жениться, работать, воспитать дочку, но не получить образование. Он много лет работал слесарем в Политехническом Институте, утешив себя тем, что «хороший слесарь лучше, чем плохой инженер», которым при его анкете только и могла бы ему позволить стать советская система образования. Мы встречались, когда я приезжал в Челябинск и регулярно переписывались. В самом начале 70-х я предлагал ему вместе добиваться выезда в Израиль, но он отказался, сказав, что, хотя такого ужаса, как в детской колонии, ему больше пережить не пришлось, но и просто еще раз выдержать риск заключения он уже не сможет. Сейчас он живет на пенсии в Санкт-Петербурге вместе с женой и дочерью и няньчит внучку.

Миша Ульман окончил китайское отделение Ленинградского Университета и преподавал русский язык китайским студентам в Ленинграде. Он дружил с выдающимся китаистом и талантливым русским писателем Борисом Вахтиным (сыном Веры Пановой) и писал заметки в литературные журналы. Мы иногда встречались то в Москве, то в Ленинграде. В 70-е годы он без труда уехал в Израиль, а оттуда в Австралию. В Австралии он тоже преподавал русский язык в Университете в Сиднее. Он живет там и сегодня, уже на пенсии. У него трое детей. Его средний сын стал популярным раввином в Австралии.

Я, опустив в анкетах кое-какие подробности своей биографии, окончил физико-математический факультет

Харьковского Университета. Это произошло уже через год после смерти тов.Сталина. Еще через год работы в провинции я поступил в подмосковный Исследовательский институт. Там я сделал свои открытия, подготовил свои диссертации и построил лабораторию Физики фазовых переходов. Одновременно я работал и в Дубне...

Еще в Университете я женился на писательнице Нине Воронель. Правда, она тогда еще не была ни писательницей, ни Воронель, ни даже Ниной. Она была Нинель Рогинкина. Нинель в юношеском возрасте тоже состояла в подпольном антисоветском кружке, который усиленно изучал марксизм, в тщетной надежде обнаружить (и, конечно, во что бы то ни стало, исправить!) ошибку, приведшую эту, когда-то освободительную, теорию к столь очевидно закрепостительным результатам. В Харькове у них был даже не один кружок, а целая сеть связанных между собой кружков, которая включала несколько десятков студентов. Но им повезло, и среди них не оказалось доносчика. Никто из них не раскололся даже и на допросах (а как же без допросов в сталинское время!), и все они благополучно дожили до более либеральных времен.

В Москве мы с женой очень сдружились с четой Даниэлей и глубоко погрузились в московскую литературную среду. Как ни странно, мои литературные интересы нисколько не мешали интенсивности моих занятий физикой, а как-то даже способствовали этому.

Когда Юлия Даниэля и Андрея Синявского арестовали, мы оба, я и Нинель, очень горячо приняли к сердцу их судьбу и этим опять сосредоточили на себе внимание вездесущей организации, оставшейся в силе и после сталинского режима. У меня сложилось впечатление, что безраздельное господство этой организации фатально для России, и так же как в свое время я понял, что, если не выйду из лагеря, я должен умереть, я решил, что теперь, чтобы не умереть, я должен покинуть Россию. Ког-

да в человеке созревает такая решимость, обстоятельства идут ему навстречу. Через пять лет мы поселились в Израиле.

Собственно, только дети и принимали всерьез претензию Сталинского режима основываться на марксистской теории. Детский уровень этой теории в понимании природы человека провоцировал именно детей, лишенных реального жизненного опыта, принять на веру экономический детерминизм и сосредоточиваться на партийных программах, как будто именно программы определяют качество жизни. Реальный режим держался на жестокости наказаний и полноте неведенья, и, если уж упоминать в этой связи какую-то теорию, то это была скорее теория Жозефа Де Местра*. Сама идея согласования реальной жизни с какой бы то ни было теорией в значительной степени была нам внушена советским языком, который создавал у людей ложное впечатление, будто жизнь страны основана на каких-то принципах, а не на прихотях тирана. Смерть Сталина в единый миг изменила все принципы и продемонстрировала всю тщету теорий. Личности, а не принципы, создают прецеденты, которым в дальнейшем следует рутинная практика. XX в. дал в руки управляющих организаций технические средства, намного превосходящие способность отдельного гражданина к разумному, целенаправленному сопротивлению. Поэтому сопротивление и могло быть только неразумным, детским. Абсолютистские претензии власти узаконивают даже хулиганский характер протеста...

---

* Жозеф Де Местр — Пьемонтский граф, талантливый франкоязычный писатель и философ консервативного направления, много лет бывший послом Сардинского королевства в Санкт-Петербурге. Ж. Де Местр был убежденным идейным противником Французской революции и добился большого влияния при дворе императора Александра 1. Он, в частности, горячо отговаривал молодого царя от освобождения крепостных крестьян.

Над въездом в поселок ЧТЗ нависала грандиозная стальная арка, на которой был составлен из электрических лампочек сверкающий ритуальный лозунг: «Слава Сталину». Этот лозунг, по нашему мнению, слишком ярко освещал правоту первых рабочих оппозиционеров 20-ых годов, возражавших против «диктатуры вождей», и однажды мы с Генькой решили его погасить. Миша стоял на шухере, я стал Геньке на плечи и дотянулся до рубильника на арке. Выключив рубильник, мы кинулись бежать, уверенные, что за нами побегут возмущенные толпы.

— Ничего подобного. Нашего кощунства никто не заметил. Потом еще не меньше недели арка стояла погасшая, слепая... Потому ли никто не хватился, что никому до нее не было дела? Или по недогадливости местных властей, которые даже не могли себе представить, что этот их сакральный символ был просто отключен мальчишеской рукой?

Смерть Сталина во всем своем значении тоже не сразу была осознана гражданами. Еще много лет тень его лежала на всей жизни страны.

И сегодня остается на ней его ощутимый след.

ЛЮДИ ИЛИ НЕ'ЛЮДИ?

А. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ», касаясь неизбежных в лагере столкновений с блатными, пишет, что уголовный мир не подлежит человеческим законам, и блатные — не люди. В этом представлении он сходится со многими авторами и читателями, потрясенными уровнем жестокости и цинизма, принятым в уголовной среде.

В последнее время мне часто приходилось слышать от окружающих, что и террористы, особенно мусульманские террористы, не люди.

Я хотел бы возразить против такого представления. Но вовсе не для того, конечно, чтобы защитить челове-

ческое достоинство террористов или уголовников. Звание человека на мой взгляд вовсе не звучит гордо. Никакого достоинства в этом звании нет. Человек, если и не произошел от обезьяны, все же во многих важных отношениях остается очень близок к ней, и отличие не всегда к лучшему. Но, если мы хотим защититься от упомянутой опасной категории существ, нам придется понять их, именно, как людей. Прежде всего, как людей принадлежащих к определенной, чуждой культурной общности.

Мой короткий опыт общения с уголовниками в детской исправительной колонии пришелся на такой ранний возраст, при котором мое понимание еще не было безвозвратно ограничено культурой моего круга. И потому, вероятно, моя еще несложившаяся душа была открыта альтернативным вариантам интерпретации явлений.

Блатные, конечно, люди, и им вполне присущи все обычные человеческие свойства. Однако, их отщепенческое сообщество построено на принципе, который по отношению к общепринятым правилам является дополнительным. Понимание этого принципа дополнительности может пролить свет также и на многие загадочные для европейца черты культуры неевропейских народов.

Уголовники составляют как бы иную, замкнутую цивилизацию внутри существующей, и их успешное функционирование определяется, как раз, факторами, составляющими ее слабость. Именно их демонстративное пренебрежение «общечеловеческими» нормами поведения позволяет им ошеломить обывателя («фраера»), опередить реакцию толпы и восторжествовать над повседневностью.

Поведение блатных, больше чем наполовину — артистическая форма жестикуляции, рассчитанной на аудиторию, оно в сильной степени ритуализовано и имеет свои законы, этику и эстетику, свой фольклор и своих хранителей традиции.

Блатной не живет в объективном мире вещей и установленных фактов. Он живет только в мире людей.

Поэтому он действует в соответствии с психологической моделью реальности, как циркач (еще лучше сказать, гипнотизер-иллюзионист) на арене. Единственной значимой величиной для него является его собственное поведение, которое призвано на эту реальность в той или иной форме повлиять, т. е. шокировать, озадачить или разжалобить. Именно так уже в течение десятилетий ведет себя Палестинское руководство и, вслед за ними, многие другие «освободительные» и «революционные» движения. Варяжские витязи, рыцари-крестоносцы или мусульманские чудо-воины тоже не склонны были тянуть трудовую лямку и в большинстве были отщепенцами в своей народной среде. Они не рассчитывали прожить долго и между грабежами не задумывались о будущем. Английские пираты правильно называли себя «джентльменами удачи». Никаких привходящих обстоятельств — только удача и кайф. Неудача не в счет, потому что, если нет удачи, нет и жизни — впереди виселица.

Уголовник знает, что его реальных сил всегда недостаточно, чтобы приспособить к себе весь окружающий мир. Но, если его решимость (вдохновение — «дух») действительно безгранична, а, главное, впечатление, которое он способен произвести на аудиторию, внушает надлежащий трепет, ближайшая к нему часть мира, может склониться перед ним, обеспечив ему точечный успех. Конечно, он рискует сорваться и пропасть, но готовность к риску — обыденная часть его профессии. Поэтому он (как и викинги и асассины в древности, как террористы-смертники сегодня) культивирует в себе способность к сомнамбулическим, невменяемым состояниям, при которых действительность перед его глазами как бы прогибается и временами действительно идет навстречу...

Слабость любой существующей цивилизации состоит, в частности, в том, что между преступлением и наказанием всегда остается зазор времени, который для преступника может показаться вполне достаточным для оптимистического отношения к жизни. Раскольников в

«Преступлении и наказании», прежде чем попал на каторгу, успел пережить целую сентиментальную драму с Соней Мармеладовой и, т.о., отчасти устроил свою дальнейшую жизнь.

Нормальный человек с трудом понимает и предугадывает поведение отморозка, потому что он ценит свою жизнь и свободу. Профессиональный преступник, напротив, воспринимает свое пребывание в тюрьме, как основное, нормальное состояние, а его свобода продлевается и в заключении. Для него, как раз, ежедневная рабочая рутина нормального человека — тюрьма. Член блатного сообщества живет минутой и ловит кайф при всякой возможности. Он стремится только к сиюминутному счастью («кейф»), и краткие перерывы между отсидками проводит в счастливом, совершенно беззаботном состоянии, соответствующем его представлению о райском блаженстве.

Такому, наполовину солипсическому, сознанию чрезмерная расчетливость — только помеха. (Все же лишь наполовину солипсическому, потому что с опытом наш герой научается симулировать обманчивые или устрашающие состояния, призванные электризовать окружающих, но неглубоко задевающие его самого.) При поимке вора его психологическая установка близка к поведению капризного ребенка, который бросается на пол и бьет ногами, если родители не поддаются манипулированию. Часто, это — не столько поступок, сколько жест. Если родители отвечают полным невниманием, ребенок может остановиться. Если обыватель не пугается, уголовник не всегда знает, что ему делать дальше. Его действия направлены не на объективную реальность, данную нам всем в ощущениях, а на противопоставленную ему коллективную волю общества, обывательскую психологию. Очень редко ему удается провести опытных полицейских.

Еще больше, чем с детьми, все эти признаки сближают образ действий уголовников с ритуализованным поведением примитивных племен, которые живут в постоянном,

тесном контакте с населяющими окружающую природу духами и надеются их запугать, обмануть или задобрить. Своей татуировкой, воинственными плясками и жестокими казнями врагов они устрашают духов, своими жертвами ублажают их и обеспечивают себе успех на войне и охоте. При этом они понимают, что духи сильнее их и могут не поддаться магическим усилиям, но они привыкли жить в присутствии опасности и рано умирать. Зато героическое поведение погибших (и особенно приукрашенный рассказ о нем) укрепляет общую традицию и дух следующих поколений и обеспечивает мертвым почетное место среди храбрых...

Конечно, вся эта субкультура создана поведением выдающихся одиночек, которые, возможно, и впрямь не знали страха, не ведали колебаний в своем зверстве и не чувствовали боли, глада и хлада. Артистизм натуры позволял этим людям даже и в гибели черпать упоение своим превосходством над унылой законопослушностью их жертв и преследователей. Большинство же в блатном сообществе (как и во всяком другом) просто копирует формы поведения авторитетных воров-старожилов и обычно может быть сбито с ритма и обращено в бегство всяким решительным сопротивлением.

Также и современный терроризм — это не единичный поступок, который можно объяснять отчаяньем или религиозным психозом. Терроризм не объясняется и одними стратегическими решениями ответственных политических групп. Это специфический образ жизни, патетическая культура, включающая свой внутренний язык и жестикуляцию, иерархию авторитетов, жажду престижа. А также свободу от обыденных норм, восхищение женщин и любовь друзей, недоступные простым смертным. Терроризм — это власть сильных своим бесстрашием одиночек над бесчисленными, беспомощными «фраерами», неспособными противостоять «настоящим людям».

Напрасно европейцы всерьез обсуждают нелепость веры шахидов-смертников в мусульманский рай. Рай тут не главное, они успевают отведать всю полноту ощущения сильной жизни еще на этом свете. И острота их переживания борьбы и близости победы (которые неизменно видятся им в сильно приукрашенном виде) не сравнится со скукой их тягомотного существования на задворках Европы в качестве чернорабочих...

Уголовники презирают фраеров. У них есть для этого основания. Фраера живут в мелочных заботах о надежности своего существования. Они подвержены бесчисленным страхам, которые преступнику неведомы. Их снедает беспокойство о хлебе насущном, о близких, о будущем... Искусство всех народов внесло свою долю в обнажение пресности обыденного существования и эстетизацию лихой беззаботности и преступления: «Орел клюнул раз... и сказал ворону: нет, брат ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что Бог даст!» (А.С.Пушкин, «Капитанская дочка»). Потому что искусство любит все преувеличенное, из ряда вон выходящее, впечатляющее. Искусство любит успех. А успех достается тому, кто выходит за пределы обывательского воображения.

У преступника (как и у революционера) всегда есть возможность отобрать у фраера хлеб. На то фраер и существует. У преступника нет близких, которыми он не мог бы пожертвовать. Воровство и грабеж в его сознании суть справедливые формы перераспределения жизненных благ между трусливыми и неспособными с одной стороны и смелыми и гордыми с другой... — «Запирайте етажи, нынче будут грабежи...» (А.Блок). «Грабь награбленное...» (В.И.Ленин).

Этот стереотип совсем не бесчеловечен. Нелепо называть бесчеловечным то, что так глубоко укоренено в человеческой истории. На протяжении многих тысячелетий так вели себя лихие представители почти всех народов. Например, этот образ действий близок к былым

героическим представлениям германских и кельтских племен Римской империи, среди которых считалось, что «стыдно добывать плугом то, что можно добыть мечом». Действительно, как только Империя ослабела, шайки кельтов и германцев рассыпались по всей Европе и создали свои минигосударства-загоны, где они издевались над культурным населением, как хотели, а настоящее сопротивление встречали лишь друг от друга (при дележе).

Так же поступали и многие другие завоеватели. Еще в XУ11 в. в Европе солдатский грабеж и насилие считались законной наградой победителей. Всего 30 лет назад в Нью-Йорке из-за аварии на электропередаче на несколько часов произошло затемнение («Blackout»). За эти часы все магазины в затемненном районе оказались разграблены...

Нечто подобное произошло и в златоглавой Москве, которая без всякого сопротивления была поделена на районы, «опекаемые» разными экзотическими мафиями, «азербайджанской мафией», чеченской мафией, «солнцевской» группировкой, орехово-зуевской и т. д., и т. п.

Т.о. преступная субкультура всегда тлеет в складках цивилизованных обществ. Профессор Дельбрюк, автор фундаментального труда «История войн и военного искусства» утверждает, что взрыв варварской мощи происходит всякий раз, как титульная нация теряет охоту к войне.

Бесчеловечной я бы скорее назвал массовую неготовность людей к защите своей жизни и благосостояния и неспособность поддержать (хотя бы простым сочувствием) те общественные силы, которые предназначены защищать их интересы.

В периоды социальных бедствий и катастроф у многих обывателей возникает соблазн предпочесть открытую воинскую доблесть воров в законе сомнительным гражданским добродетелям честных полицейских, хладнокровных биржевиков и ловких менеджеров. Кому из них лучше вручить заботу о своей жизни и собственности? Обыватель — не «джентльмен удачи» — всегда ищет, кому перепору-

чить заботу о своей жизни. К этому и сводится смысл политических прав для лишенного честолюбия гражданина. По мере роста общего благосостояния даже и реализация политических прав становится ему в тягость, как мы ясно видим во всех богатых обществах, где даже в судьбоносных выборах участвуют едва ли половина избирателей.

Десятилетия господства упорядоченной жизни под защитой закона создали у многих из нас иллюзию, что государство и закон имеют подлинное существование и держатся своим собственным весом. На самом деле и государство, и закон существуют лишь условно и лишь в той мере, и до тех пор, пока подавляющее число граждан склонно их систематически поддерживать своим деятельным участием.

Во всяком цивилизованном обществе существуют преступные структуры и потенциальная люмпенская среда, готовая воспринять уголовные правила. Полностью уничтожить преступность не удается ни в одной стране. С развитием глобализации глобализуется и эта преступная культура. В наше время обнаружились преступные, террористические движения (например, «Светлый Путь» — организация китайских бандитов в Перу, вооруженные формирования наркодилеров в Колумбии и др.), принимающие разные политические формы прикрытия. Коррупция правящих кругов, избыток свободного капитала в мире и извращение понятий в духе «политической корректности» позволяет этим группам существовать и даже представительствовать на международном уровне, где разница между допустимым и нетерпимым катастрофически размывается.

Соединение преступных стихий с романтическим идиотизмом грозит совершенно размыть основы всякой цивилизации.

Если верить Жозефу Де Местру*, нас отделяет от бездны хаоса очень тонкая психологическая преграда, созданная еще несентиментальными предками сегодняшних

* Жозеф де Местр — писатель Х1Х в. (см. предыдущую статью).

граждан в суровые времена религиозного засилья и беспредельно жестоких наказаний. Эта преграда утончается на наших глазах с каждым днем. Свободный мир практически отменил наказания в своих пределах, а влияние религий на светские дела сугубо ограничено.

У свободного мира не остается прямых, оперативных средств контролировать поведение преступных групп и индивидов. Всякий сдвиг в сторону усиления контроля воспринимается обществом как шаг к фашизму, и, действительно, открывает для правящих кругов слишком широкие, если не беспредельные, возможности.

Впрочем, перед лицом смертельной угрозы во время 2-й мировой войны, по крайней мере, два традиционно супер-либеральных общества (Британия и США) сумели мобилизоваться и дать сокрушительный отпор и Германии, и Японии. Но это произошло только после пяти лет войны, в течение которых они сначала понесли тяжелые жертвы и потерпели не одно горькое поражение. Война — великий Учитель, но до чего же не хочется идти к нему в эту школу…

БОЛЬШОЙ БЕСПОРЯДОК В ГУМАННОМ МИРЕ

В борьбе за мир

Однажды, в конце 50-х, в доме Даниэлей, где мы с женой дневали и ночевали, появились необычные гости. Французские ученые-русисты, решительно рыжий Клод Фрийу и деликатно белесый Мишель Окутюрье. Красивые фамилии. Кажется, они были тогда коммунисты. Их привел Андрей Синявский из своего Института Мировой Литературы. Железный занавес был еще вполне надежен, но кое-где уже и тогда просверлены были дырочки для дыхания.

Они, конечно, интересовались неофициальной литературой и ненормативной лексикой, но нам, островитя-

нам, были любопытны они сами — живые, невыдуманные люди из несуществующей, легендарной страны «Запад».

Коммунистическая партия Франции, в ходе своей тогдашней беззаветной борьбы за мир, приняла резолюцию, что в случае войны с Советским Союзом они откажутся стрелять и сложат оружие. Мы с интересом расспрашивали гостей, что это для них означает. К тому же, в начале недавней войны с Германией французская коммунистическая партия поступала, в сущности, подобным же образом...

Тут выяснилось, что гости воспринимали всерьез только эмоционально-вдохновляющую часть резолюции своей партии, а уголовную оставляли безо всякого внимания, считая саму возможность (войны) совершенно нереальной. Наивно, а ля Евтушенко, они обращались и к нашим лучшим чувствам: мол, неужто, вот, вы могли бы выстрелить из какой-нибудь смертоносной штуковины, зная, что мы с Клодом, беззащитные, стоим тут, прямо перед вами?

Я был в тот день в легкомысленном настроении и, играючи, взял на себя роль простого советского человека, который без размышлений стреляет, в кого велят, и с энтузиазмом, мол, выполнит завет великого нашего предшественника и миротворца, Чингиз-хана, омыть, наконец, танковые гусеницы в волнах последнего моря. Впрочем, я не скрыл от них и некоторых малоизвестных деталей советской военной тактики, при которой в затылок наступающей армии движутся заградительные отряды КГБ с пулеметами. На тот, исключаемый идеологией случай, если доблестные воины вздумают уклониться от дороги чести. Так что идея, которую развивает их коммунистическая партия, могла зародиться (если только не в Отделе диверсий КГБ) лишь в лоне отжившей, растленной системы, несущей свою гибель в себе самой. В пределах же цветущего, хотя, быть может, и неизбежно суженного, советского миропонимания на каждый заданный и незаданный вопрос дается лишь один единственный ответ и

он дается нам в своей самой категорической форме. Если для торжества мира во всем мире надо будет оккупировать еще незамиренную часть Германии и всю Францию с Бенилюксом, нам останется только сделать это как можно скорей.

Французы слегка переменились в лице и стали всерьез объяснять, что в ходе такого конфликта двух различных подходов к вопросу о всеми нами желанном мире может пострадать нежная западная культура.

«Культу-ура!!!» — обрадованные завязавшемуся балагану загалдели, заулюлюкали мы все: «и изнеженные римляне тоже воображали, что вся культура погибнет вместе с ними! Но... свежая варварская кровь влила новые силы в тело Европы и, всего-то, через каких-нибудь ... десять ... ну, двенадцать, веков культура расцвела еще богаче, разнообразней ... Ну,... допустим русские солдаты в простоте своей и в самом деле развесят портянки где-нибудь там в Лувре или на Елисейских полях. Ну, может, даже истопят на дрова Булонский лес. Зато, потом...» — В общем, да! Скифы мы. Да, азиаты... Грядущие гунны. Если враг не сдается — с кем вы, мастера культуры?

Тут рыжий Клод не выдержал наших живописных половецких плясок и сказал, что раньше, во Франции, он был против применения атомного оружия, а теперь вот окончательно осознал, что сильно ошибался:

«Я, конечно, понимаю, что вы шутите, но ваши шутки показывают, как мало вы привязаны к Культуре, поверхностно и неблагодарно принимая ее дары. Говоря о цивилизации, вы неясно сознаете, чем вы, в сущности, ей обязаны. Да, римский мир погиб, потому что он не сумел побороть варваров. Но у римлян не было атомной бомбы. Если бы она у них была, они просто обязаны бы были сбросить ее на этих дикарей! Это был бы их культурный и нравственный долг.»

Что была ему Гекуба? Почему так безоговорочно он стал на сторону классово чуждых римлян? Профессионально к тому же хорошо зная их жестокий и страшный

мир? Такой безоглядной верности принципу мы от него не ожидали. Да и сами тогда не имели ничего похожего за душой. Советские люди вообще поздно развивались. Русская культура нам в этом немало способствовала.

«Мир — театр, люди — актеры.» А кто зрители?

Прошло более тридцати лет, и многие из нас вблизи познакомились с западной культурой, оценили ее и даже поняли, почему стоило ее от нас защищать. Однако, еще большее число людей в России почувствовали и то, что пережили в свое время римляне (в самом деле, изнеженные они были или нет?) при падении Империи. Разверзающуюся бездну под ногами и беспросветный хаос вокруг. Состояние невесомости. Потерю координатной ориентации. Оказалось, что скифов не было между нами.

Мы, как род, разучились жить в голой степи, есть сырое мясо и спать на одной ноге. Мы нуждаемся в упорядоченности окружающего мира. Хотя бы только для того, чтобы установить некую упорядоченность и в своей жизни. Эти две фундаментальные упорядоченности (И. Кант: «Звездный мир над нами и нравственный Закон внутри нас») редко осознаются одновременно, но не могут существовать друг без друга.

И хотя одна из них представляется далекой от нас, а другая кажется личным делом каждого, беспорядок в любой из них очень скоро угрожающе проступает в неоднозначно пугающих очертаниях другой.

Отсутствие уверенности в порядке мироздания (включая и человеческое общежитие) немедленно сказывается на нашей уверенности в себе. Колебания в этом порядке — качка — вызывают панику, морскую болезнь. Так же и, напротив, недостаток последовательности в личном мышлении приводит индивида к перекошенной картине миропорядка и неадекватной оценке своей роли в нем.

Здоровый человек, живущий среди людей, с возрастом так или иначе определяет свои отношения с миром и

обществом (как согласные, например, либо враждебные) и совершает затем свою одинокую траекторию (доброго малого или производителя бед, благотворителя или тирана) на фоне общественной сцены, остающейся неизменной. Он обычно, более или менее, уверен, что знает свою роль и площадку, на которой осужден действовать. Шесть метров, скажем, в ширину, три метра в глубину и столько-то на декорации... Актеры в любой жизнеподобной драме соотносятся со сценой и сотрудничают между собой, даже если они разыгрывают непримиримый конфликт.

Однако сегодняшняя реальность подсовывает нам спектакли, в которых труппа не подыгрывает друг другу, не следует тексту, и держится разных взглядов как на свойства своей площадки, так и на то, кто какие роли играет. Иногда, похоже, актеры и сами не знают этого и ищут поддержки прямо из зрительного зала, импровизируя по ходу дела. Помогает и клака. Так что, пожалуй, не все люди — актеры...

Представьте себе, что в хорошо нам известной пьесе «Доктор Айболит» на сцену выбегает черный лоботряс с ножом, хватает Танечку и Ванечку и, бросая их в костер, густым басом трогательно поет арию Айболита. Затем входит лысый коротышка в очках и белом халате, стетоскопом повергает детину наземь, и нежным тенором угрожает ему всеобщим осуждением. Зрители в зале, никогда, как водится, не читавшие первоисточника, недоумевают, кто есть кто, о чем пьеса, кому сочувствовать и за что хлопать.

(Я смотрел однажды в 60-х в Новосибирске египетский фильм, в котором огромный звероподобный еврей с кухонным ножом гонялся за нежной девочкой-мусульманкой с трогательными школьными косичками, чтобы зарезать ее по поручению своей людоедской сионистской организации. Крики ужаса и сочувствия жертве сопровождали сцену из кинозала.)

Это совсем не смешно, потому что людям привыкшим к детгизовским картинкам очевидно, что черный человек

должен быть Бармалей, но зато тем, кто привык к антисемитским карикатурам, естественно думать, что лысый в очках — еврей, убийца и колониалист в белом халате. Что, интересно, должен думать, глядя на это, черный еврей-эфиоп?

Там, где одни будут визжать от ужаса, другие, возможно, завизжат от восторга. И когда некоторые из возмущенных зрителей затопают ногами, другая часть зала может сделать то же самое в знак своего одобрения.

Если арабский член израильского кнессета объявляет на весь мир военную диктатуру в Сирии «оплотом и надеждой демократии», мы сознаем, что он понимает свою роль иначе, чем мы. Но он, повидимому, также, и обращается к незнакомому нам зрителю, для которого оценка лжи, как формы коммуникации, тоже сильно отличается от принятой среди нас. Как может продолжаться спектакль, в котором представления актеров о себе и о пьесе так сильно различаются? Могут ли они вообще сохранять душевное равновесие при ежедневном взаимодействии?

Вавилонское столпотворение

Во всех цивилизованных странах мы приближаемся к Вавилонскому смешению языков (тем более, что и буквально это тоже происходит).

Сосед рядом с нами видит другое небо над головой, и его нравственный закон не обязательно покажется нам таким же. Герои, которых он чествует, могут показаться нам извергами, и — наоборот.

В нашем мире одномоментно сосуществуют люди разных культур, которые видят мир не просто по-разному, но настолько несовместимо, что поневоле вспомнишь давних французских гостей и их нежданную апологию древних римлян. Это было, когда Франция еще не кишела выходцами из Алжира, Марокко и Центральной Африки.

А ведь римлянам было бы легко бросить атомную бомбу! У них-то не было сомнений, что наседающие на них

варвары — дикари. У них не было и тени сомнения, что жизнь дикаря ничего не стоит. И они были еще далеко не настолько изнежены, чтобы жестокость войны их травмировала.

Европейский гуманизм учил нас, что люди другой культуры, может быть, не дикари. Что их жизнь должна быть, в принципе, так же драгоценна, как и наша. Что ничего нет на свете страшней войны и человекоубийства...

Тогда, может быть, и права была их французская коммунистическая партия, как бы ни были далеки от гуманизма ее подлинные мотивы? Разве главная ценность гуманизма — не человек?

Люди других культур, окружающие нас, в большинстве, не дикари. Но они, как правило, иначе, чем мы, относятся к своим культурам.

Конструктивно-критическое отношение, при котором можно допустить относительность своего правоверия и некоторую ценность иного подхода, свойственно только определенному слою гуманистически настроенной американо-европейской элиты и связано с относительным религиозным хладнокровием, чтобы не сказать скептицизмом. Такое отношение часто включает несколько небрежное обращение с внешними (но иногда и содержательными) знаками и символами своей культуры.

Особенно журналисты, актеры и телевизионщики, конечно, входят в эту супер-передовую группу и поэтому общественное мнение многих стран формируется ими в духе самых свободолюбивых идей, выраженных в броской, обвинительной к истеблишменту и его ««предрассудкам» манере. Типовое отношение к чуждеродному культурному вторжению, которое угрожает устоявшимся нормам, они выражают при этом во внешне самокритичной форме: ««А почему бы и не предположить, что эти простые люди правы? Чем они хуже нас?»

Большинство евреев в мире, по крайней мере формально, бездумно отождествляют себя с этой далеко про-

двинутой социальной группой и ее передовыми идеями «без берегов».

Но большинство человечества, психологически естественно (хотя и без ссылок на Канта), стремится сохранить берега и, оберегая душевную упорядоченность, относится к своим культурам и их религиозным основаниям ревниво и всерьез. Это делает большинство во всякой стране культурно консервативным, т. е. в какой-то степени фундаменталистским.

Доброжелательное отношение к представителю чужой культуры есть условие необходимое для сосуществования, но далеко не достаточное. Достаточным оно было бы только при наличии также и искренней заинтересованности в понимании и готовности к самоограничению в связи с этим. На деле, однако, у людей (даже у лучших из них) есть только стремление свести свое культурное отличие к простой формуле, вытекающей из собственной культуры и ограничиться этим словесным решением проблемы (возможно, неразрешимой). Так, негров в Америке сначала уважительно переименовали в «»черных американцев», предполагая, что если они ничем, кроме цвета, не отличаются, это им польстит. Теперь, с появлением черного шовинизма, их стали называть уже «»афро-американцами», и это открыло целый спектр новых возможностей для демагогии, но нисколько не продвинуло проблему к решению.

Американский демократизм в применении к феодальным и автократическим обществам Азии и Африки звучит для высших слоев этих обществ оскорбительно, а для низших выглядит попросту как подрывная пропаганда и законно вызывает возмущение в третьем мире. В то же время американские цинично-деловые отношения с их королями и диктаторами вполне удовлетворяют хозяйскому чувству этих людей по отношению к своим народам. Не забудем, что организовали работорговлю в XУ11 в., конечно, европейцы, но рабов им поставляли натурально сами африканские вожди.

Израильская идея мира, который мы упорно навязываем всем и каждому, будучи выражена на европейском языке, звучит безупречно, но почему-то не вызывает положительного отклика в арабской душе. Это происходит потому, что они правильно понимают этот будущий мир, как наше завоевание, ибо мы культурно сильнее и несомненно будем существенно влиять на их образ жизни. Они, может быть, были бы и не против, если бы эта инициатива исходила от них, на их условиях и в результате их превосходства.

Собственно, их образ жизни, как они себе это представляют, автоматически предполагает такое превосходство, и наше независимое существование просто нарушает этот якобы свыше установленный порядок.

Здесь бодрая логика гуманистической цивилизации претыкается, ибо сталкивается с непреодолимым препятствием, лежащим в природе этого контакта: с одной стороны мы ни при каких обстоятельствах не хотим осквернить чужие святыни (ибо, «чем же «они» хуже нас?»), а с другой стороны мы при этом ведем себя так, как будто таких святынь вообще на свете нет (в частности, у нас нет) и быть не может.

Если мы таким путем невольно внушаем окружающим мысль, что в мире вообще нет ничего святого, мы бросаем оправданное подозрение на искренность нашего уважения к их верованиям. Если же мы создаем впечатление, что ничего святого нет только у нас самих, мы последовательно, всегда и во всем, должны уступать представителям других культур. Ибо относительное должно отступить перед абсолютным. Это только справедливо. К тому же, «лишь бы не было войны». Мы ведь гуманисты...

Однако, на самом деле здесь кроется фактический обман противной стороны, отчасти замешанный и на самообмане. У тех, кто слабо себе представляет исторические основания гуманизма, возникает ложное представление о пределах уступчивости человека западной культуры.

Мы своим показным либерализмом систематически вводим в заблуждение всех, кто недостаточно знаком с нашим образом жизни. Конечно, этот образ жизни включает значительное материальное благополучие, которое больше всего остального режет глаза народам бедных, неустроенных стран. Но суть дела состоит в том, что это благополучие достигнуто в значительной степени благодаря образу жизни, связанному с гуманизмом и склонностью к компромиссу, а не наоборот.

Именно этот образ жизни, в его целом и во многих деталях, есть наша святыня.

Бедный, наивный Саддам Хусейн легко попался на удочку уклончивых формулировок, принятых госдепартаментом США и решил, что он может беспрепятственно захватить Кувейт, накапливать оружие и делать с ним, что ему в голову взбредет. И Гамаль Абдель Насер в свое время пал жертвой такой же варварской наивности. В прошлом, войны в Корее, Вьетнаме и Анголе были спровоцированы кажущейся беспредельной уступчивостью западной стороны. Также и аргентинский президент спроста решил высадиться на Фолклендских островах, потому что поверил в безграничный английский гуманизм. Никто ведь не сказал ему честно и прямо: «Остальные ваши фокусы, которые нас не задевают — пожалуйста! А, вот за это — убьем! Уничтожим...»

Всяким уступкам приходит конец всякий раз, когда нарушается невидимая грань между простой опасностью для жизни западного человека и **опасностью его образу жизни**. Ничто человеческое гуманизму не чуждо. В том числе и война. И атомная бомба.

Наши давние французские гости разом потеряли присущее им чувство юмора, едва лишь учуяли угрозу своей привычной свободе. Ирония слетает с европейца всякий раз, как он ощущает ограничение в выборе.

Нет, отнюдь не человек — святыня современного гуманизма, а только его свободный выбор.

Гуманизм по-советски и по-английски

В 80-е годы Советские власти, лишенные всякого гуманизма, насильственно, через нос, кормили протестующего академика Сахарова, трогательно заботясь о его жизни. А сторонник и защитник европейского гуманизма, Маргарет Тэтчер, спустя пару лет, хладнокровно дала умереть нескольким ирландским террористам, объявившим голодовку с требованием статуса политических заключенных. Она, как многие (в том числе и англичане) считали, недостаточно заботилась о их жизни. Но ей и в голову не пришло с помощью медицины посягнуть на их свободу воли.

Она же без колебаний объявила и довела до победного конца войну за Фолклендские острова, где проживала горстка британских граждан, чьи священные права были нарушены аргентинской агрессией. При этом погибло едва ли не больше англичан (не говоря уж об аргентинцах), чем было жителей на этих островах, на тысячи километров удаленных от Англии. И на островах этих ничто, включая овец, не могло бы привлечь жадный взор империалиста. Но в результате этой войны существование английского образа жизни и их понимание законности власти, происходящей от свободного волеизъявления граждан, закрепилось на будущее.

Железной лэди Тэтчер назвали не просто за то, что она иногда поступала смело вразрез с сиюминутным общественным мнением своей страны, а за то, что у нее всегда хватало духу быть до конца верной своей более глубокой английской традиции.

«Никогда, никогда, никогда, англичанин не будет рабом...» Корень этой формулы кажется весьма далеким от той кротости, какую мог бы ожидать от правоверных христиан неискушенный наблюдатель. Он происходит, однако, от систематического чтения англичанами Библии, которое еще со времен Реформации стало их традицией.

Гуманизмом в учебниках часто называют элитарное католическое вольнодумство, возникшее в Италии в Х1У в.

Но англо-саксонский гуманизм наследует скорее более поздней, протестантской, сильно смахивающей на фундаментализм, борьбе за свободу совести.

Объявив недействительной власть центральной религиозной инстанции — католической Церкви — протестантизм раньше или позже вынужден был признать законность индивидуального суждения, т. е. веротерпимость.

Протестантизм, особенно у англичан и американцев, это не одна религия, а целый спектр весьма различных толкований Писания, за каждое из которых люди в свое время готовы были умереть.

Веротерпимость, таким образом, утвердилась среди протестантов не вследствие религиозного равнодушия, а из-за их фундаменталистского рвения, натолкнувшегося на ограниченную способность людей проникнуть в истину Божественного откровения. Гуманистическое свободомыслие, наследующее этой суровой традиции, поверхностному наблюдателю (а часто даже и участнику) кажется иногда всего лишь легким ироническим умонастроением, приемлемым и желанным на всех континентах. На самом деле, однако, именно свободомыслие является одной из ее наиболее агрессивно действующих догм, в отношении себя никакой свободы не допускающей. Право британского гражданина, мусульманина, Салмана Рушди, иронически комментировать Коран оказалось в Англии святыней, на защиту которой от мусульманского фундаментализма была мобилизована вся английская служба безопасности.

До прихода мессии

Пуританский фундаментализм опирался на основной массив текста Библии — Ветхий завет. Общая с евреями основа, включающая идею избранности и безусловное право на землю Израиля, привела Англию в свое время к декларации Бальфура и признанию сионизма (тем более, что такое признание вело тогда также и к подрыву

мощи соперника — Оттоманской Империи). Эта идея в какой-то степени и сейчас присутствует в западной политической культуре, как несформулированная идеология, как подспудный консенсус. В этот консенсус входит и от 50 до 70 миллионов американских христиан, считающих образование Израиля осуществлением библейских пророчеств. (Заметим, однако, что обе, и католическая, и православная церкви в этот консенсус не включены. И в международном движении «христианских сионистов» не случайно участвуют только протестанты.)

Именно в духе этого консенсуса всегда формулировали свою идею нерелигиозные сионистские лидеры. В интервью газете «Монд» 1971 г. Голда Меир, тогда премьер-министр, верно рассчитывая на понимание европейцев, заявила, что ничуть не озабочена непризнанием Израиля арабскими странами. «Эта страна, — сказала она, — существует на основе обетования самого Господа. Было бы нелепым испрашивать у кого-то еще подтверждения ее легитимности.» Хотя она, наверное, верила в то, что говорила, в Декларации Независимости, которую, среди прочих, и она подписала, имя Б-жье все же не упоминается. Это не случайно.

Упоминание Б-га в Декларации Независимости Еврейского государства превратило бы процедуру признания Израиля в религиозный диспут, прежде всего, в самом Израиле.

Для русских евреев доперестроечных времен существование Израиля виделось естественным непреложным фактом, альтернативным противоестественному существованию Советской власти. После Перестройки советские евреи восприняли израильский Закон о Возвращении, как закон природы.

Вольно или невольно, все мы сделали экзистенциальный выбор. «Отступать некуда — позади Москва!». Вкусив западного образа жизни в израильском варианте, мы не очень-то нуждаемся в оправдании нашего существования, как никогда не было его и в нашем советском

статусе. Истина безбожного гуманизма состоит в том, что право на существование дает только сама способность себя защитить. Это та сторона израильской действительности, которая русским евреям совершенно понятна.

Господствующий в юриспруденции Запада ««легальный позитивизм» также признает закон реальным лишь в том случае, если он эффективно может быть воплощен в жизнь. Это означает, что в конечном счете, как и тысячи лет назад, всякий закон основывается все-таки на примате силы.

По-видимому, такое положение продлится еще и в будущем, пока не придет Мессия. И пока его все нет, законность существования Израиля не будет обеспечена, если она не сможет быть подкреплена силовыми, вне-юридическими доводами, как это происходило и происходит в Кувейте, Судане, Боснии, Косово и других странах. Сейчас и потом. Это та сторона израильской действительности, которая особенно не импонирует евреям западного происхождения.

Сионистская идея может быть в той или иной форме принята (либо оспорена) только народами, для которых библейская традиция что-то значит. Участие в мировой политике стран, далеких от этой традиции (Индия, Китай, Арабские страны) совершенно меняет уровень рассмотрения проблемы.

Вот что пишет в очерке истории Израиля популярная журналистка:

««Хотя это произошло 35 веков назад, именно с Ветхозаветной истории Авраама, с миссии, возложенной на него Богом, и Его обетования о земле («Твоему потомству дам Я эту землю») мы начнем изложение истории современного Израиля, каким бы странным это ни казалось на первый взгляд... Не столь существенным представляется нам вопрос, жил ли Авраам на самом деле или он послужил лишь крайне важным символом. Но, что действительно исполнено значения, что влияет непосредственно на повседневную жизнь Израиля, Ближнего

Востока, а значит, и большой части современного мира, что является для миллионов людей источником вдохновения, либо священным писанием, либо легендой и анахронизмом, или даже дезинформацией, — это Обет и многочисленные его толкования, возникшие за истекшие с тех пор тысячелетия.» (Рина Самюэль, «История совр. Израиля»,1993)

Таким образом существование государства Израиль бросает вызов фундаментального характера и тем, кто верит, и тем, кто не верит в бытность Завета и Обетования. (Особенно тяжело тем, кто так свято верит в Завет, что вынужден отвергнуть и само это государство по формальным признакам, нарушающим детали условий, описанных в Первоисточнике, т. е. членам немногочисленной группы «Нетурей Карта», которые не могут признать Израиль, пока не придет Мессия.)

Основная часть населения Израиля природой заведомо обречена на гуманистическое прочтение обетования, позволяющее их безалаберно свободную жизнь, ибо никакой другой они бы не выдержали.

На всей остальной Земле только небольшое меньшинство в какой-то степени заинтересовано знать, что же, на самом деле, обещал Господь евреям на горе Синай и значит ли это что-нибудь для сегодняшнего дня. Но как раз только среди этого меньшинства гуманизм и имеет некоторое заметное распространение.

Будучи недостаточно формализовано, гуманистическое мировоззрение в других своих аспектах производит впечатление безграничного свободомыслия, чуть ли не формы атеизма. Человек, приобщившийся к этой цивилизации на одном из последних ее этапов, с трудом сможет объяснить, почему, собственно, не «все позволено». (Ведь Бога, как будто, нет... Или, может быть, Он всего лишь не упоминается всуе?)

Только глубоко укорененным ее носителям ясны исходные аксиомы. Без них, однако, все здание грозит оказаться слишком шатким.

(Можно, конечно, не верить и пяти аксиомам Эвклида. Однако, без них вся его геометрия лишается доказательной силы. Можно, впрочем, построить и другую геометрию. Но с ней вряд ли удалось бы достигнуть в истории столь же впечатляющих технологических успехов.)

Только в среде вышеупомянутого меньшинства, собственно, и происходит то непрерывное творческое (социальное и технологическое) совершенствование, которое невольно заражает и весь остальной мир идеей прогресса. Такое брожение, повидимому, и возможно лишь в обществе, где постоянно остается некая неуверенность в окончательном характере известных истин. Однако, эта неуверенность в нашей части человечества происходит не от иронического отношения к истине, а от фундаменталистского стремления ко все большей ее полноте.

Более многочисленные в мире фундаменталисты-мусульмане уверены, впрочем, что Мухаммед в свое время уже решил большую часть мировоззренческих вопросов и истинно верующим остается лишь следовать его простым и ясным указаниям. Среди прочих, он решил и еврейский вопрос, навсегда отменив Божье обетование.

В этом, как и во многом другом, Ислам — нормирующая теория — натолкнулся на неодолимые препятствия со стороны фактического положения дел. Пророчества Мохаммеда, чтобы остаться верными, настоятельно требуют исправить имеющийся в мире непорядок. Это обрекает мусульманский фундаментализм на грандиозную по масштабам борьбу со всем Западным миром, которая еще может вдохновить множество амбициозных романтиков и выдающихся вождей. Более скромные среди них готовы ограничиться и менее масштабными проектами, вроде уничтожения Израиля, убийства Салмана Рушди или, на худой конец, какого-нибудь одинокого пенсионера в скверике.

В соответствии с законами американской серийной кинодрамы, в тот самый момент, когда американский профессор Фрэнсис Фукуяма провозгласил конец Истории, у нее четко обозначилось начало новой интриги.

Никто не спрашивал нас, израильтян, старых или новых, хотим ли мы играть на этой сцене и нравится ли нам наша роль. Но изменить ее нам не дано, потому что наш фундаментализм состоит в нашем стремлении остаться полноправными членами той части мира, которой гуманизм не позволит однозначно решать, что именно диктует в каждый данный момент Б-жья воля.

Большинство же человечества в любом случае останется только зрителями, которым предстоит встретить умеренными аплодисментами равно благополучный или трагический финал этой драмы идей, не слишком отягощая себя сопереживанием.

Западники и «библиофилы»

Еврейской Библии по справедливости приписывают открытие феномена Истории. Не просто пересказа отдаленных и отделенных друг от друга событий, а некоторого связного сюжета, который существует в объективной действительности и куда-то ведет (или заводит) народы. Всякий человек способен ощутить соучастие в таком сюжете, как ценность, как повод для гордости или стыда.

В России впервые воспринял эту идею в полноте П.Я.Чаадаев: «Народы — в такой же мере существа нравственные, как и отдельные личности. Их воспитывают века, как отдельных людей воспитывают годы. ... Это и составляет атмосферу Запада; это — больше, нежели история: это физиология европейского человека. Чем вы замените это у нас? Мы живем одним настоящим... без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя... Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы, так сказать, чужды самим себе... Мы так странно движемся во времени, что с каждым нашим шагом вперед прошедший миг исчезает для нас безвозвратно... Каждая новая идея бесследно вытесняет старые, потому что она не вытекает из них, а является Бог весть откуда. Исторический опыт для нас не существует.»

Осознание Чаадаевым идеи индивидуального исторического пути оказалось для нации чревато роковым выбором: суждено ли и России следовать общечеловеческому (в те времена человечеством признавалась только Европа) стандарту в истории или ей предназначена особая миссия («Умом Россию не понять... В Россию можно только верить.»).

Относительно этого фундаментального вопроса общество разделилось на «западников» и «славянофилов», и это деление до сих пор вызывает оживленную полемику и ожесточенную вражду.

Хотя для человека, знакомого с последующим блестящим взлетом российской культуры, чаадаевская характеристика выглядит чрезмерно суровой, в ней содержится частичное объяснение той загадочной стремительности, с которой Россия, спустя меньше чем столетие, эту свою культуру растеряла. Почти целый век напряженных идейных поисков, художественного всевидения, пророческих прозрений русского культурного круга, провалился разом в небытие, выпал из летосчисления, как Атлантида, опустившаяся на морское дно.

Новый российский народ после 1917 г. покушался не следовать историческому опыту предыдущих поколений (выбиравших, хотя и с грехом пополам, западный путь развития), а преодолеть и отбросить влияние прошлого, в ходе осуществления своего собственного, оригинального утопического проекта

(«Мы наш, мы новый мир построим»). Но, конечно, пути осуществления этой утопии были продиктованы именно опытом предыдущих поколений. Поэтому все варианты советского исторического сознания были лишь разными формами мифологизации и фальсификации действительности. Подлинной истории в России 50 лет не существовало.

Ближе к концу Советской власти российский народ опять очнулся в том же культурно неустойчивом психо-

логическом состоянии «чуждости самому себе», в котором он пребывал во времена Чаадаева — между «западниками» и «славянофилами». Западники сулят достаток и свободу, славянофилы манят государственным величием и покоем.

При таком делении (и сопутствующем ожесточении) в предперестроечном российском обществе юридической (собственно, «западной») идентификации гражданина оказалось уже недостаточно и — сначала подпольно, а потом и общепризнанно — к выбору этому припуталась дополнительная, этническая характеристика — «пятый пункт». Это немедленно сказалось на судьбе национальных меньшинств в Империи и превратилось в серьезный фактор, предопределявший политическое поведение.

Тогда-то и вышел на сцену Александр Солженицын, писатель, взявший на себя лично задачу вместить историческое сознание русского народа.

Если А.Сахарова можно было бы условно назвать «западником», то Солженицына с той же степенью условности можно было бы назвать «славянофилом».

Технократические идеи Сахарова были предназначены советскому обществу в целом и импонировали, в основном, технократически орентированной элитарной группе (в которую угодила и подавляющая доля еврейского населения). Чувства же и опасения Солженицына разделяла широкая, социально и политически нерасчлененная, масса титульной нации. Это сочувствие далеко от всяких идей и основано на интуитивных народных притяжениях и отталкиваниях, которые художнику так легко предугадать.

Оставим «западную» надежду узнать, какой путь «правильный». О правильности пути мы в жизни узнаем только по тяжести расплаты за «неправильное» прошлое.

Для нас, нынешних израильтян и бывших русских евреев, к счастью, нет необходимости принимать взгляды Солженицына или отвергать их. Как и весь осталь-

ной мир, кроме России, мы находимся на периферии его писательского внимания и не составляем существенной части аудитории. Мы потому и оказались вне России, что решение этого коренного вопроса русской истории предоставили оставшимся.

Он пишет не для нас. Определяющий этот факт не сразу доходит до русскоязычных читателей на Западе. Однако, в том, что Солженицын пишет, содержится много важного и для нас.

Попробуем понять его, не примешивая собственных пристрастий,не сверяясь со своими интересами. Как рекомендуют философы со времен Сократа: «Не восторгаться, не негодовать, но — понимать».

В соответствии с русским идеалом писателя, от которого ожидают больше, чем просто литературы, Солженицын в своих книгах строит свою собственную историю,социологию и антропологию России XX века. Погруженный с головой в этот грандиозный замысел, он сплошь и рядом перестает быть писателем, и выяснением для себя увлекается больше, чем изложением для читателя. Человек,взявший почитать его роман перед сном, вскоре отложит книгу.

Вопросы, на которых останавливается его испытующий дух, приличествуют скорее титанам, на чьих плечах держатся небеса,чем простым смертным, ищущим как бы избежать личной ответственности прочтением великого писателя: «Извечная проблема, нигде не решенная и сегодня, вечное качание весов: как взять права, не неся обременительных и даже опасных обязанностей, или как заковать в обязанности, не давая прав?»

Если в «Архипелаге ГУЛаг» такая особенность была предварена подзаголовком — «опыт художественного исследования» — в «Августе 14-го» автору пришлось объяснять такое отклонение от «нормы» уже в самом тексте: «Автор не разрешил бы себе такого грубого излома романной формы, если бы раньше того не была грубо

изломана сама история России, вся память ее, и перебиты историки...»

Конечно, русская история дает достаточно веских поводов оправдать любое жанровое отклонение. Но, еще за сто приблизительно лет до Солженицына, и Лев Толстой то и дело прерывал повествование, чтобы на десятках страниц высказывать свои взгляды на историю, социологию и природу человека, несмотря на то, что историки тогда еще наслаждались безопасностью, а история России не была, по-видимому, изломана.

Как и Л. Толстому, А. Солженицыну тесны жанровые рамки, и его романы — не совсем романы, а «повествованье в отмеренных сроках», и книги его — не книги, а «узлы». Можно понять тех, кого это раздражает, но суть дела все же, по-видимому, не в тщеславии выдумать новое слово, а действительно в неком ином принципе, который в свое время сделал творчество Солженицына в такой же степени «новым», как и «архаическим».

Тема художественного исследования «Архипелага ГУЛаг» поддается определению,кажется,легче всего. Исследуется возникновение и развитие величайшей в мире карательной системы, сумевшей за полвека изменить почти до неузнаваемости облик целого народа. Исследуется способность и готовность этого народа, и человека вообще, сопротивляться, терпеть или способствовать собственному угнетению и порабощению.

Почти в начале книги (во всяком случае, для меня это было началом) автор задается вопросом, почему советские граждане так рабски спокойно покоряются аресту, почему не кричат, не сопротивляются, не бегут... «Исследование» уже здесь превращается в проповедь, и вопрос обращается в призыв. Я помню, какое впечатление произвел на меня этот отрывок в самиздате. К тому времени меня уже не раз арестовывали, но этот раз я воспринял иначе.

...Нагоняющий шорох шин у обочины, открытые дверцы черного автомобиля, пристойно-свирепые лица,

поблескивающие золотыми зубами из мягкой черноты. Неброские костюмы, обязательные галстуки, любезность казенных кабинетов: «Присаживайтесь, Александр Владимирович...»

Никогда больше я не соглашусь поддержать этот гнусный оттенок благопристойности! Ни за что больше не приму этого подмигивающего приглашения на казнь, этого подлого взаимопонимания, связывающего «советских людей со своими органами»...

Одним скачком я оказался позади машины и затесался в очередь, ожидавшую троллейбуса. Мотор взревел, и, въехав на тротуар, машина задним ходом врезалась в толпу. Народ брызнул из-под колес. Трое оперативников вцепились и мигом оторвали меня от земли, так что ноги мои не коснулись ее уже до самого места назначения...

Свободная воля, однако, даже и оторванного от почвы человека способна противостоять насилию, придав его телу твердость и форму, несовместимую с дверным проемом служебного автомобиля. Неравномерно сгибаясь и разгибаясь в воздухе, я успешно продолжал препятствовать работе оперативной группы. Правда, края автомобиля, о который бились мои выступающие части, казались мне все жестче, но уже торжествующим боковым зрением я успевал увидеть, как сопровождавшему меня Игорю Губерману удалось возбудить возмущение толпы, и вот они ведут сюда слабо упирающегося милиционера, «чтобы разобраться»...

Захваты роботов в неразличимых костюмах стали, как будто, ослабевать, и в этот короткий миг я сумел лягнуть в галстук направлявшего их оператора... Это и было моей роковой ошибкой: отсредоточившись от своей главной задачи, я уже не успел помешать им согнуть мое тело под надлежащим углом. В период зрелого социализма такую работу делают знатоки...

Милиционер после первых же слов проявил понимание и успокоил возбужденную толпу: «Совсем не безобразие. Берут, кого положено. Те, кому надо!» Это заключение

я узнал со слов Игоря, так как машина с моим телом в то время уже неслась, нарушая уличное движение, по московским улицам к заветному месту возле Гастронома No 18.

Что заставило меня так горячо отозваться на слова Солженицына? Почему я воспринял их как вызов, обращенный лично ко мне?

Как ни странно, ответ на эти вопросы содержится в весьма академической статье покойного С.С.Аверинцева «Античная литература и ближневосточная словесность»: «На Ближнем Востоке каждое слово предания говорится всякий раз внутри непосредственно жизненного общения говорящего с себе подобными. Интеллектуальный фокус внутреннего самодистанцирования, наилучшим образом известный интеллигентному греку со времен Сократа, здесь не в ходу».

Сейчас я уже не вспомню, читали ли мы с Игорем «Архипелаг» непосредственно накануне, но помню точно, что мы живо обсуждали его — именно эту главу — «Арест».

Всем своим образованием, кругом знакомств и симпатий склонялись мы к иронии и самодистанцированию. Уж нам ли был неизвестен какой-либо из интеллектуальных фокусов, так удобно разделяющих мир на явление и сущность, литературу и жизнь, западников и славянофилов, «мы и они», наконец...

В духе всего нашего круга было бы оценить литературные достоинства отрывка и повздыхать о несопоставимости поэтической прозы с прозой жизни.

И в КГБ были разочарованы моим поведением. Стыдили: «А еще профессор!» Наводили на мысль о Сократе: «К лицу ли вам...» — и обещали к следующему разу обязательно руки и ноги переломать.

Сократ, как известно, не стал дожидаться, пока тогдашние специалисты начнут выламывать ему руки, и выпил предназначенную чашу с ядом, не пускаясь в авантюры, сохранив достоинство и дистанцию...

Нет, Сократа из меня не вышло, что и говорить. Но зато я получил ключ к пониманию Солженицына. На этот краткий миг мы вместе с Губерманом вошли в круг его истинных читателей.

Что помешало нам принять слова писателя с привычной долей иронии? Ведь не на Ближнем же Востоке воспитывались мы оба? И что тут было первопричиной? Наш статус русских интеллигентов («образованцев» по А.Солженицыну) или еврейская натура, чем-то все же близкая этому самому Востоку?

Внутри русской литературы всегда существовала тенденция выйти за рамки собственно литературной формы и перейти непосредственно к «содержанию», то есть к жизни. Стремление превратиться в учебник жизни («Что делать?») всегда толкало русскую литературу прочь от классических образцов в сторону библейской сумятицы. (Аверинцев называл ее «ближневосточной» лишь в ходе своего собственного сократовского самодистанцирования от реальности советской цензуры.)

Внутриситуативная заинтересованность порождает и жанровую неопределенность. Многие русские писатели незаметно для себя переходили от изложения к изобличению и от повествования к благовествованию. Кастовое сознание русской интеллигенции включает не только (и даже не столько) всевозможные интеллектуальные фокусы, но прежде всего **учительство, следование и жертву**.

Соответственно этому и ее литература выполняет не только эстетическую, но, гораздо чаще, этическую задачу. Отделить Солженицына от этой негреческой традиции невозможно. Его воспринимал в полноте только тот, кто читал его, как будто к нему это было обращено лично. Солженицына прочитывали и проникались только те, кто ждал от него ответа на вопрос «как быть?». И сам Солженицын ощущал, верил, что он призван дать ответ.

Продолжим любопытную мысль Аверинцева: «Сравнивая греческое и библейское отношение к слову, как образу мира, мы делаем не что иное, как познаем себя.

Сравнивать мы должны, памятуя, что мы остаемся европейцами, и, следовательно, «греками». Внутри (греческой) культуры, которая... стала «нормой» для последующих, относительно литературы точно известно, что это есть именно литература (а не, скажем, пророческое вещание), и так же обстоит дело с жанровыми разновидностями: при взгляде на любой культурный продукт мы знаем, что он такое и по какой шкале его надлежит оценивать.»

Это — безусловно декларация западника. Далеко не все представители русской культуры легко согласились бы присоединиться к этому категорическому «мы», что «остаемся европейцами, и следовательно, «греками». Солженицын (как, впрочем, и Л. Толстой с Достоевским) вызывает интерес всего мира именно тем, в чем он от этого определения отступает. Шкала, по которой его надлежит оценивать, не разработана.

Для нас, евреев, еще меньше оснований безоглядно отождествляться с «греками», и мы, быть может, больше других способны были бы понять Солженицына. Наши взаимоотношения с «греческой культурой, которая стала нормой для последующих», осложнены не меньше, чем солженицынские. Родство наше с греками (как и классической русской литературы) сомнительно. Как писал тогда в своей дерзко иронической манере Игорь Губерман:

... А жена моя гречанка —
Циля Глезер из Афин.
Цилин предок — не забудь! —
Он служил в аптеке.
Он прошел великий путь
Из евреев в греки...

Однако, понимание, о котором я говорю сейчас, отличается от бесстрастного, «сократовского» понимания, упомянутого мною в самом начале. Такое новое понимание должно было бы включить сопереживание и соучастие...

Тогда при изменившихся обстоятельствах (а обстоятельства с тех пор действительно радикально перемe-

нились) оно неизбежно включит соответственно раздражение и противодействие. Быть может, это и есть, по крайней мере, одна из причин, по которой Солженицын такого сочувственного понимания от нас не ждет и не хочет.

Во всяком случае остается верным, что анализируя солженицынское отношение к миру, мы лучше познаем себя. Потому что дорога, по которой он отходит от европейского классического наследия, ведет его к Библии, источнику классическому для нас. И здесь лежат семена драматического конфликта, потому что невозможно читать Библию, не сопоставляя ее с реально существующим, вопреки всему, еврейским племенем. А такое сопоставление оставляет писателю слишком узкий путь между общенародной русской жаждой Богоизбрания и верностью букве Писания, заложенного в фундамент, так называемой, иудео-христианской цивилизации.

В сознании христианского писателя, независимо от его воли, оживает неразрешимая дилемма пророка Валаама: двойное побуждение — импульсивное намерение проклясть евреев и несформулированная (читатель, возможно, ожидает слова «подсознательная», но здесь уместнее надсознательная) тяга благословить их.

Этой неразрешимостью Александр Солженицын и поделился с читателем в своей последней книге. «200 лет» — книга не о евреях. Эта книга о России — о себе, в сущности. Поэтому нет смысла останавливаться на ошибках (или искажениях) в истории евреев, которые якобы допустил автор. Ошибки эти укоренены в сознании писателя (и огромного множества его читателей) глубже, чем его интерес к фактической истории.

Нет сомнения, что в Российской Империи евреи были во всех отношениях нежелательным элементом. До тех пор, пока жизнь народов будет оцениваться с точки зрения имперских интересов и

в пределах русской цивилизационной модели, такие расхождения неизбежны. В терминах культуры, которая

воспринимает, например, торговлю и денежные отношения, как низкую материю, нет смысла обсуждать правильность описания роли евреев в экономической жизни.

Солженицына совсем не заинтересовала не менее драматическая (и окончившаяся также массовым исходом) история 300-т лет русско-немецкого сосуществования. Он не высказался по поводу татарского ига. В отечественной истории его волнует только то, что он видит как фундаментальное.

Он возвращает внимание читателя к той исходной точке, на которой застал Россию П.Чаадаев. С жадным, ревнивым (и зачастую несправедливым) вниманием он сравнивает двухсотлетнюю историю своего народа с параллельным развитием еврейского меньшинства, жившего в почти родственной близости, на самом пределе ассимиляции и все же сохранившего свою обособленность. Он силится рационально разрешить историческую загадку, которая остается неразгаданной уже тысячи лет.

В «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицын хорошо понимал, кого клеймил, к чему призывал, и голос его звучал непререкаемой пророческой уверенностью. В последней же книге, особенно во втором томе «200 лет», пытаясь распутать переплетающиеся в столетиях нити скрытых обид и открытых притеснений, он и сам заколебался — может быть впервые в своем творчестве — знает ли он, что хочет выразить?

Начав с Российской революции, и невольно дойдя до невидимых (и неочевидных) пружин исторических судеб народов, Солженицын вплотную приблизился к апокалиптическим пророчествам, положенным в основу христианской культуры: «Все произошедшее за два столетия с еврейством в России ... — не игра случайных стечений на окраине истории. Еврейство закончило круговой цикл распространения ... — и теперь двинулось в возврат на свою исходную землю». И тут он вдруг отступает от своей, уже ставшей ему привычной, роли «знающего, как надо»:

«В том цикле и в разрешении его — проглядывает надчеловеческий замысел. И, может быть, нашим потомкам предстоит увидеть его ясней. И разгадать.»

В такой неожиданной неуверенности, в этом осторожном «может быть» пророческая нота звучит еще яснее, чем это могло бы прозвучать в его категорическом суждении.

КАЧАЮЩИЙСЯ МОСТ

Молчи, скрывайся и таи
И мысли, и мечты свои.
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи.
— Любуйся ими и молчи!

Эти прелестные стихи Ф. Тютчева особенно трогают в ранней юности, когда еще не сложился навык отделять свою мысль от чувства и молодой человек думает, что он одинок в мире, потому что он уникален...

Как сердцу высказать себя,
Другому как понять тебя.
Поймет ли он, чем ты живешь?
— Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи...
Любуйся ими!.. И молчи!

Мысль изреченная не есть ложь, но слишком часто — банальность. А чувство, сопровождавшее рождение мысли, было таким волнующим, таким пьянящим, что она казалась способной осветить весь мир... Однако, будучи выражена словами, оказывается неспособна даже взволновать любимого человека...

Наши чувства принадлежат только нам и не могут быть адекватно выражены словами, потому что язык —

это общее достояние, результат векового коллективного опыта. Подобное выражается только подобным, и с помощью слов можно выразить лишь общезначимые чувства. Тютчев сделал это так мастерски, что и спустя 150 лет российские юноши способны ощутить иллюзию, будто он угадал их собственное уникальное чувство безысходного одиночества в мире. Одиночество это пугает. Начиная искать сочувствия себе подобных, мы нарушаем тютчевский завет молчания, подыскивая все более подходящие к случаю слова. Но настроения переменчивы, и слова, которые казались такими точными мгновение назад, меняют свое значение на глазах:

И как пчелы в улье опустелом
Дурно пахнут мертвые слова...

Поэт мечтает высказать нечто, что воплотит его личное чувство во всей полноте и живости. Между тем написанная поэма — это всегда конечная вещь, картина. Она статична, она уже не пульсирует, она сама собой во времени не живет («остановись, мгновенье!»). Таким образом, поэт, как и математик, в творческом порыве стремясь освободиться от разрушающего (но зато и оживляющего!) действия времени, старается схватить подлинную конфигурацию переживания в его жизненной полноте разом, без присущей ему длительности. Больше того, письменный текст существует только в одном измерении — ведь слова могут следовать только друг за другом, — а события протекают одновременно и сразу в нескольких местах, то есть в четырех измерениях. Однако с помощью подбора слов, образов и умелого их чередования поэт мнит заворожить читателя — и себя самого — настолько, чтобы целиком погрузить(ся) в созданный воображением замкнутый, обладающий многими признаками реальности, мир, где зачастую непозволительные страсти и грандиозные, трагические события позволяют себя наблюдать.

Это парадокс — трагические события в жизни наблюдать нельзя: или они захватывают и ошеломляют, губят

и отбивают чувствительность, или вы в них душевно не участвуете, — следовательно, и знаете о них не все. Время, как и связь событий, в действительном мире неустранимо, но... и неуловимо. Оно находится в таинственном соотношении с мнимым внутренним временем иллюзорного, поэтического мира, в который искусство заставило нас поверить, приняв его условности.

Эти условности в значительной мере соответствуют условиям физического эксперимента: Эйнштейн неоднократно говорил, что чтение Ф.Достоевского дает ему чрезвычайно много даже в чисто профессиональном плане. Обдумывая его слова, я понял, что он, по-видимому, имел в виду обстановку мысленного эксперимента, в которую Достоевский ставил своих героев.

Как строится эксперимент? Изучаемый объект искусственно изолируется от окружения — так чтобы устранить все посторонние влияния — и затем подвергается воздействию одного, строго контролируемого, фактора. С объектом что-то происходит — мы это наблюдаем и называем результатом.

Хотя звучит это чрезвычайно просто, такая процедура включает целую философию. Во-первых, мы должны убедиться, что действительно устранили все посторонние влияния. Какие из них посторонние, а какие необходимые? Как это все проверить?..

Некоторое время еще следует понаблюдать объект безо всяких воздействий, чтобы убедиться, что он не меняется сам по себе — то есть что он находится в устойчивом равновесном состоянии.

А сколько времени ждать? Когда можно считать, что равновесие уже наступило? В одном из экспериментов в моей лаборатории нам пришлось ждать семь месяцев, и я все еще не уверен, что это был конец. Во всяком случае, это был бы конец карьеры незадачливого аспиранта, который взялся бы за такую задачу. Впрочем, в научной литературе встречаются и большие времена выдержки...

Среди хаоса влияний, которые желательно устранить, мы сначала выделяем важные, существенные, и именно на них обращаем сугубое внимание. Мы изолируем объект от нагрева, внешнего давления, электрического и магнитного полей... (Однажды в моей практике оказалось необходимым устранить и ... силу тяжести. Теперь такие опыты делают на спутниках в невесомости.)

Даже после всего этого, если перед началом работы прочитать гороскоп, приложенный сегодня к каждой еженедельной газете, можно основательно усомниться в том, что какой бы то ни было эксперимент имеет смысл. Ведь согласно гороскопу все события на земле зависят от расположения звезд... Что-то в этом есть — безусловно, все в природе связано.

Влияние звезд, однако, мы устранить не сможем и не знаем, когда это влияние скажется на нашей лаборатории. Им, скорее всего, придется пренебречь. По-видимому, первым экспериментатором мог стать только человек, готовый пренебречь вековым авторитетом астрологии... Но все же почему-то склонный верить, что в космосе действуют те же законы, что и на земле. Это совсем не было очевидно до того, как законы механики Ньютона были выведены из законов движения небесных тел.

Механика Ньютона обязана своим возникновением именно тому, что за небесными телами люди наблюдали гораздо внимательнее, чем за земными (может быть, и под влиянием астрологии).

Мы устраняем все посторонние факторы, которые нам известны, заранее смиряясь с тем, что известно не всё, и потому мы должны быть готовы к неожиданностям. (Вот такой неожиданностью для меня и было влияние силы тяжести на тепловые свойства жидкости.) В сущности, с самого начала мы знаем, что изолированный объект — это недосягаемая мечта, идеализация, платоновская идея.

Пусть изолированный объект это лишь идея, но зачастую влияние многих факторов действительно достаточно слабо, чтобы ими можно было пренебречь по каким-ни-

будь известным (то есть кое-что нам все-таки бывает известно еще до опыта) или неизвестным причинам.

Тогда вступает другое соображение: что именно мы наблюдаем, — действительное свойство объекта или только его реакцию на наши усилия?

С природой не сговоришься: «Раз, два, три, четыре, пять — я иду искать...» Даже, чтобы измерить собственную температуру, приходится порой засунуть термометр в такое место...

У многих температура от этого повышается.

Неустранимое влияние самого процесса измерения на объект присутствует в любом эксперименте. Извлечение информации неразрывно связано с потерей энергии. И чем точнее и подробней информация, тем больше соответствующая потеря. Античный миф о ложе Прокруста гениально выразил эту истину. Суть ее просто в законах термодинамики. Собственно, это должно было стать ясным, уже когда мы ввели термин «изолированный объект».

Возможно ли наблюдать изолированный объект? Изолированный объект так же нельзя наблюдать, как нельзя построить вечный двигатель. Чтобы его наблюдать, необходимо вступить с ним во взаимодействие...

Таким образом, наблюдение без внешнего воздействия — это тоже только идея, поэтическая мечта, тема фантазии романа Герберта Уэллса — «Человек-невидимка»:

А может, высшая победа
Над временем и тяготеньем —
Пройти, чтоб не оставить следа,
Прокрасться, не оставив тени
На стенах... Вычеркнуться из широт.
Так временем, как океаном
Прокрасться, не встревожив вод...

Вот с такими средствами мы исследуем окружающий мир. Профессионализм состоит не в том, что мы умеем

делать то или это, а в том, что мы знаем (и оговариваем) количественную меру достоверности всех процедур и готовы их ревизовать, в случае обнаружения несогласованности.

Поскольку мы не можем избежать идеализации в процессе измерений, мы должны смириться и с тем, что наши результаты, то есть добытые нами истины, тоже представляют собою идеализации, схематические изображения реального мира, точность которых не больше, чем точность предположений, положенных в основания опыта. Эта приблизительность и позволяла зачастую объяснять принципиально новые явления причудливыми, но основанными на старых идеях способами (теория теплорода, механические модели максвелловской теории электромагнитного поля и т. п.).

Неожиданно содержательным оказалось непримиримое столкновение корпускулярной теории света Ньютона и волновой теории Гюйгенса. Еще более волнующим оказался случай, когда одно и то же явление могло быть описано той или другой теорией в зависимости от типа эксперимента, в котором оно проявилось. В спорах о том, является ли электрон частицей вещества или волной, сказалась, наконец, недостаточность наших представлений, основанных на повседневном опыте.

Когда мы из укрытия наблюдаем за прохожим, мы можем тешить себя мыслью, что он не заметит, куда упал луч света, отраженный от его тела. Но, если наблюдаемым объектом станет частица субатомных размеров, этот луч непременно (и необратимо) изменит ее судьбу, ибо действие луча света на электрон — это не меньше, чем удар ломом по голове человека. Квантовая механика это неустранимое влияние наблюдения узаконивает и количественно оценивает. Таким образом, ее принципы гораздо ближе к здравому смыслу, чем это принято признавать в общедоступной литературе.

В субатомном мире, таким образом, мы встречаемся с необходимостью включить в понятие «эксперимент» не только наблюдаемый объект и запланированное нами воздействие на него, но и способ наблюдения, то есть, в сущности, наблюдающего субъекта. Если в отношении «изолированного объекта» и «невозмущающего наблюдения» мы еще могли довериться идеальным схемам, платоновским идеям, то идеализировать наблюдателя, то есть самих себя, нам гораздо труднее. Здесь нам на помощь отчасти (но лишь отчасти!) приходит компьютер, который ближе всего к платоновской идее «незаинтересованного наблюдателя».

Достигнутое таким образом в XX в. более тонкое понимание самой сущности «опытного знания» вскоре распространилось и на язык, литературу, психологию и социологию, где человек выступает одновременно и как наблюдатель, и как наблюдаемый объект. При такой постановке «эксперимента» (уже совсем по Достоевскому) мы не всегда можем предвидеть, какое из наших наблюдений приведет к более глубокому пониманию, а какое окажется обманчивым, периферийным и уведет в сторону.

Научные понятия, введенные профессионалами для удобства оперирования, сразу входят в наше сознание в виде идей, минуя стадию непосредственного опыта. Соответствующий опыт есть только у профессионалов.

В пределах профессионального общения это не вызывает трудностей. Но при переходе к обычному языку не стоит приписывать научным терминам простой, вещный смысл.

Язык — это общее достояние, и профессионалы всех профессий — часть человечества, которая невольно (и бесконтрольно) вбрасывает в язык свой профессиональный жаргон. Это, конечно, относится и ко всяким другим, не полностью замкнутым группам людей. Слова, которые в первоначальном языке могли значить нечто,

быть может, очень простое, через некоторое время нагружаются дополнительными оттенками смыслов, которые они вбирают из профессионального опыта разных социальных групп и отпечатываются в психологии всех носителей языка.

Обыкновенному слову «ядро» уже не легко будет вернуть его первоначальный, невинный смысл — ядро ореха. И «частица» в сегодняшнем языке редко означает «малую часть». Язык научной и научно-популярной литературы захватил интересы миллионов людей и сильно повлиял на сознание широких масс в XX в. Отблеск ядерных взрывов добавил научным терминам незапланированную дополнительную экспрессию. Увлечение пассионарной (первоначально очень небольшой) группы ученых ядерной физикой спустя короткое время привело не только к созданию целой новой техники и гонке вооружений, но и оставило необратимый след также в языке и в общественном сознании.

Между вещами и идеями всегда останется бездонная иррациональная пропасть, через которую человек то и дело перебрасывает ненадежный, качающийся, висячий мост из слов и символов...

Эдуард Бормашенко в своей статье («22», №137) удивляется, что «Тысячи лет иврит функционировал, обходясь без абстрактных понятий, неся на себе огромную письменную культуру и успешно решая свою основную задачу — служить средством Б-гопознания. Гибкий, выразительный язык ТАНАХа позволял мыслить о предельно абстрагированном Вс-вышнем, не имеющем пластического образа, не прибегая при этом к отвлеченным идеям. Этот парадокс требует разрешения, и это разрешение отчасти инспирировано философией Дж. Беркли».

Для индивидуального Б-гопознания, может быть, и достаточно быть солипсистом, к чему и склонялся епископ Беркли. А для жизни среди людей, в миру, необходимо нащупывать связь между вещами и идеями. Фило-

софский фанатик Л. Витгенштейн завещал нам «молчать о вещах, о которых нельзя сказать ясно», но его призыв столь же правилен и столь же бесполезен, как и призыв Ф. Тютчева, поставленный в начало этой статьи.

До тех пор пока человек окружен вещами, он вынужден их называть и этими названиями оперировать. Назвать своим отдельным именем каждую вещь из бесчисленного их множества он не в силах. Хотя, как известно, эскимосский язык включает более двадцати разных названий видов снега, все же и 20 — лишь очень малое число по сравнению со всем множеством оттенков реальности. До тех пор пока человек пользуется разумом для ориентации в мире, он вынужден классифицировать вещи и создавать понятия. Это не философская причуда, распространившаяся в западном мире, а практическая необходимость адекватно передавать знание. Как проницательно замечает в той же статье Бормашенко: «чем более абстрактно знание, тем меньше потери при его передаче». Без операций с идеями и символами мир и сейчас не отошел бы от уровня каменного века. Я думаю, в какой-то мере это могло бы повредить и Б-гопознанию.

Однако всегда остается сомнение в том, что язык, в его конечности, способен вместить реальность. Даже если язык и открыт к дальнейшему развитию, остается сомнение в существовании у человека в каждое историческое время достаточного объема оперативной памяти для адекватного использования всех средств языка. В этом смысле я вижу философию как форму словесности, позволяющую эффективно различать максимально сближенные и сближать максимально удаленные понятия и вещи.

Неопределенность, заключенная в словах, столь велика, что вызывает иногда анекдотические недоразумения. Так, знаменитая статья Льва Толстого о Шекспире является одновременно и глупой, и проницательной.

Ее можно считать глупой, потому что Толстой не пожелал вникнуть в мир художественной условности другого гения — Шекспира. Но она проницательно отмечает

все несообразности, преувеличения и сюжетные натяжки, которыми буквально пестрят трагедии Шекспира.

При пользовании языком следовало бы, как и в квантовой механике, принимать во внимание правило неопределенностей: чем больше энергетический заряд, эмоциональная наполненность данного слова, тем многозначнее его употребление, выше размытость значения. Однозначные термины (например, «лошадь» или «электроника») почти лишены эмоционального наполнения. Экспрессивная речь, напротив, часто совершенно не содержит значимой информации (например: «Ух, суки! Мать их..!»).

Виталий Лазаревич Гинзбург, выдающийся российский физик и недавний Нобелевский лауреат, всерьез озабочен усилением позиций религии в современной России и с большой страстью опровергает в печати то, что он считает вредными религиозными мифами. При нашей недавней встрече в Москве он серьезно спросил: «Верите ли вы в Бога?» Я не сразу ответил, и он с полемическим азартом интерпретировал это как следование интеллектуальной моде заигрывания с религией.

Если бы такой вопрос задал мне Э. Бормашенко, мой ответ был бы безусловно положительным, потому что я приблизительно знаю, что он под этим вопросом понимает. Но Гинзбургу, воспитаннику ранней советской традиции, я, вероятно, должен был бы ответить отрицательно, потому что в понятие бога он вкладывал сугубо церковные модели организации человеческого опыта. То есть два разных человека, задающие один и тот же вопрос, спрашивают, в сущности, о разном. Б-г Эдуарда Бормашенко — слово энергетически очень значимое, и потому в своем значении размытое. Для В. Л. Гинзбурга бог — слово, точно определенное в своем значении (например, церковным преданием или «Энциклопедическим словарем»), и потому эмоционально почти пустое.

В прошлом каждый цивилизованный человек в детстве получал более или менее религиозное воспитание,

а уж потом по мере поступления новых научных сведений либо как-то согласовывал их со своей совестью, либо приходил к выводу, что его религиозные представления были неадекватны. Такая эволюция находится в гармонии с возрастным развитием у человека критической способности, которая составляет необходимый элемент мышления.

Религиозные системы предназначены вдохновлять и освобождать от неизбежных сомнений, обуревающих вдумчивого человека, едва он выйдет из детского возраста. Сомнение составляет нерв научно ориентированного мировоззрения, которое не может противоречить никакому религиозному убеждению, пока оба остаются в пределах своей компетенции.

Нам было суждено родиться в перевернутом мире. Еще в детстве, в возрасте веры, нам внушили некоторые научные идеи. Иные из них были вовсе недурны. Но с возрастом мы убедились, что и в религиозном мировоззрении содержалось неузнанное нами в молодости обаяние. Во всех западных странах дети теперь так воспитываются, что научные идеи им понятнее и ближе, чем религия предков. Так как они еще не научены сомневаться, именно этим идеям суждено остаться для них тем начальным набором мифов, воспринятых без критики, на котором основывается всякое дальнейшее понимание, — то есть, в сущности, их религией. Таким образом, в качестве твердой опоры выбирается как раз то самое, в чем ученому полагается сомневаться. Потому что все научные принципы, даже если они подтверждены вековым опытом, для ученых суть только более или менее основательные гипотезы.

Первоначальной опорой познания в нашей цивилизации был миф о существовании Единого («Я — Господь!») и о Его небезразличии к нам и нашим делам («Слушай, Израиль!»). Теперь то, что тысячелетиями служило предкам твердой опорой, в современном профанном мире как раз и подлежит доказательству.

Этот радикальный переворот в сознании грозит привести к крушению всю грандиозную пирамиду западной цивилизации. Потому что из логики мы знаем, что обратное утверждение не эквивалентно прямому.

По существу, весь букет новизны, который открылся непрофессионалам в квантовой механике, был — настолько, насколько это возможно в простой речи — тогда же, в 20-х годах, высказан в философской поэме Мартина Бубера «Я и Ты». Она написана именно о таком пристальном внимании Я — человека, как «заинтересованного наблюдателя», к «Ты» — человеку, Природе или Б-гу — которое исключает мифическое невозмущающее взаимодействие и опыт без соучастия.

АНДРЕЙ САХАРОВ, ЧЕЛОВЕК И УЧЕНЫЙ

(Речь на собрании Национальной АН Израиля, посвященном присуждению А. Д. Сахарову Нобелевской премии Мира в 1976.)

Прежде всего зададим себе вопрос: мог ли бы А. Сахаров в такой мере заинтересовать мир, как это реально произошло, только как человек, то есть если бы он не был ученым? Я думаю, что — нет. И этот мой ответ характеризует не столько А.Сахарова, сколько мир, в котором мы живем. Но основывается он на моем личном впечатлении о Сахарове как человеке.

Если бы А. Сахаров был политиком, он, я думаю, не выдержал бы конкуренции других, более бойких кандидатов на первых же этапах своей карьеры. Он не смог бы упрощать свою мысль для того, чтобы получить кратковременный успех, а тогда он не пробился бы до того уровня, на котором можно думать об успехе серьезном. Хотя политическая жизнь в СССР совершенно отличается от жизни в демократических странах, сказанное равно относится и к демократическим странам тоже. А.Сахарова не выбрали бы даже членом муниципалитета, потому что

он бы слишком глубоко задумывался, прежде чем что-нибудь сказать, а ни у кого в этом мире нет терпения выслушивать.

Если бы Сахаров был писателем, он не имел бы успеха, потому что он не смог бы указать правых и заклеймить виновных, как делают писатели гражданские, и не оказался бы достаточно артистичен, как писатель лирический. У него не достало бы эгоизма привлекать весь мир в свидетели своих душевных неурядиц и не хватило бы одержимости говорить миру, который не желает слушать.

Если бы Сахаров был школьным учителем, на которого он похож своей добротой и манерой поведения, — стал ли бы мир к нему прислушиваться? И, когда бы его выгнали с работы или посадили в лагерь за те же самые слова, максимум, на что он мог бы рассчитывать, — это подписи нескольких добросердечных интеллектуалов под письмом в его защиту, направленным в советское посольство. А потом — на тихую жизнь, заполненную скромным физическим трудом либо в ссылке в Сибири, либо в эмиграции, в Миннеаполисе...

Однако и, если бы он был просто ученым или даже великим ученым, ситуация бы не слишком изменилась. То есть, конечно, ученые прислушивались бы к его словам, и на международных конференциях, посвященных, в остальном, физике и строению мира, раздавались бы слова о научной свободе, о необходимости прислушиваться к ученым и т. д. (Только ученые в нашем мире знают, что необходимо прислушиваться к ученым. Все остальные знают только, что с учеными надо как-то поладить, то есть в конечном счете от них — и от их предложений — отделаться.) Поэтому и в этом случае слова Сахарова дальше ограниченного круга беспокойных профессоров (в большинстве евреев) не пошли бы. А он не стал бы предпринимать усилий, чтобы попасть в газеты, выступить по радио, встретиться с сенаторами и конгрессменами...

А.Сахаров — не просто ученый. Будучи человеком очень скромным, он как-то сказал мне: «Ну, какой я ученый? Я ведь, в сущности, изобретатель». Он несомненно преувеличивал, но, как всякий великий человек, очень точно видел суть проблемы. Суть проблемы в том, что миру не нужны ученые и сильные мира сего не ценят мудрецов. Сахаров есть Сахаров и для советских властей, и для западных обывателей не потому, что он ученый, а потому, что он — изобретатель. И изобрел он — ни много ни мало — водородную бомбу, от которой весь этот мир может взлететь на воздух.

Особенностью сегодняшней техники является необходимость быть ученым, чтобы изобрести что-нибудь значительное. Но это не меняет того основного факта, что мир интересуется вещами, а не идеями, явлениями, а не сущностью...

Собственно, если бы А. Сахаров не стал ученым, он вообще не смог бы сложиться как личность и не приобрел бы своего влияния. Только в науке пока еще не много значит большинство голосов (даже в искусстве — это не так), и только в науке основательность и глубина весят больше быстроты и практичности.

Медлительный, вдумывающийся в каждое слово, Андрей Дмитриевич, как бы прислушивающийся к неясно различимому голосу в себе и явно допускающий практические ошибки, мог бы быть принят только в обществе, где нет окончательных истин и где даже самый опрометчивый может оказаться прав...

Таким обществом сейчас (во всяком случае, в Советском Союзе) является только общество ученых, и Сахаров является одним из лучших представителей такого типа. Но в прошлом такая атмосфера царила не среди ученых, а среди религиозных мыслителей, философов, отшельников, пророков. Мудрость Талмуда связана с таким относительным агностицизмом, и Евангелия характеризуются такой особой неуверенностью в фундаментальных вопросах, которая покоряет в Сахарове. Весы совести все вре-

мя колеблются, и номинальный вес гирь сплошь и рядом не соответствует фактическому (а иногда и меняется со временем). Это происходит на твоих глазах, и ты смотришь и вдруг угадываешь: «Святой!» — Пожалуй, даже более определенно — христианский святой, подвижник, хоть сейчас в мученики.

Как, если бы он был представителем иного мира, посетившим нас для напоминания о чем-то забытом. Может быть о том, что и в наше время совершаются чудеса.

Не забудем, что главная функция всякого порядочного святого — умение творить чудеса. Скажем прямо: мир интересуется учеными, только потому что ожидает от них чудес. Все великие изобретения, которые так изменили лицо мира за последние десятки лет, воспринимаются обывателем и его государственным представительством как чудеса, которые способны творить одни личности и не способны другие. Популяризация науки и всеобщее образование нисколько не сглаживают разрыв между «учеными» и обыкновенными людьми, хотя эти люди могут быть не менее учеными и квалифицированными в своих областях. И вот — то самое, что неоднократно было им говорено и отброшено, слышат они от человека, творящего чудеса, и в душу закрадывается страх...

Разве слушал фараон Моисея? Но Моисей сотворил чудеса... Фараон задумался. Разве нужны были чудеса, чтобы понять, что говорил ему Моисей: «Мы пришли сюда свободными людьми, а теперь мы — рабы», «Отпусти народ мой» и пр. Но вот понадобились чудеса, и десять казней египетских, и огненный столп: и евреи свободны. И что же? Слушали ли они сами Моисея? — Нет! И опять в ход пошли чудеса...

Огненные столбы и атомные грибы вырастают, чтобы подтвердить простую мысль-заповедь: «Не убий!» Таких положительных чудес, как манна с неба или пенициллин оказывается недостаточно для усвоения этой мысли. Эти чудеса скорее балуют людей, учат не собирать в житницы и надеяться на авось. Чтобы удержать их от

массового взаимного убийства, нужно что-то пострашней, и вот оказалось недостаточно даже динамита и первой мировой войны. Была и Вторая, и атомная бомба. И теперь — водородная...

Справедливо, что премию Нобеля, изобретателя динамита, присуждают Сахарову, изобретателю водородной бомбы, за стремление к миру, за его мужественную борьбу в пользу прав Человека. Если человечество погибнет, оно погибнет не от водородной бомбы и не от динамита. Оно погибнет от собственного неразумия. Динамит сам по себе никого еще не убил. Обязательно была рука, которая этот динамит зажгла и бросила.

Впрочем, часто тот, кто бросал первым, получал преимущество и, может быть, уходил от возмездия.

Но чудеса Божьи совершенствуются, как люди. Тот, кто бросит бомбу теперь, не уйдет от возмездия. Народ, который замышляет убить другой народ, теперь смертельно рискует и подвергает риску весь мир вокруг.

Это страшно. Но я думаю, что это хорошо. Как и раньше, найдутся безответственные смельчаки. Но теперь, не как раньше, всем будет на это наплевать. Найдутся и те, кто удержит преступную руку. Не из благородства, к сожалению, а ради собственной безопасности. И это хорошо...

Таким образом, А.Сахаров (как и его американский коллега Э.Теллер) не несет вины за создание смертоносного оружия, а участвует как изобретатель в создании технического чуда, которое должно вразумить народы и направить их энергию на более осмысленные цели, чем смертоубийство.

Андрей Сахаров первый выступил с предупреждениями перед советскими вождями. Что значит выступить перед такими людьми с такими предостережениями, может себе представить, не выросший в СССР человек, только если он твердо помнит, что пророк Исайя был, по приказу царя, перепилен деревянной пилой. И все же, оставаясь на современной почве, скажем просто, что он выполнил

свой долг ученого. Ибо, оценив все последствия своего изобретения, он уже перестал быть просто изобретателем и стал Ученым.

Наконец, идя дальше по этому пути, взяв ближе к сердцу людские заботы, Андрей Дмитриевич связал вопрос о Правах Человека с вопросом о Мире, и эта постановка вопроса все еще нова. Почти никто на Западе еще не понял, что война, которую советские власти ведут со своим народом, не может не коснуться и их. Запад еще не понял, что мирной может быть только страна, внутри которой царит мир, и отсутствие этого покоя в СССР есть смертельная опасность для всех.

Вопрос о Правах Человека не есть больной вопрос только для СССР. Больше 60% Объединенных Наций пренебрегают правами человека, и это значит, что опасность грозит миру со всех сторон. Большинство человечества не просто нарушает права отдельных лиц и групп. Большинство человечества вообще не знает, что именно оно нарушает, и что Господь сообщил евреям на горе Синай. Поэтому у большинства нет даже общей почвы для переговоров. А.Сахаров пророчески указал на это всему цивилизованному миру и тем самым стал великим Человеком.

P.S. (1993)

В публичной речи (даже и в Израиле), невозможно передать то особенное личное чувство, которое вызывал к себе этот человек. Его странная шишковатая голова, его внимательный, но не пристальный взгляд, его странная, замедленная, запинающаяся манера речи, его странная привычка макать в горячий чай сыр со своего бутерброда остаются деталями картины, которая скрыта от стороннего слушателя. Даже та легкость отношений, которая позволяла за чаепитием попросту спросить его: «Андрей Дмитриевич, что вы делаете? Это же сыр!», и его спокойное объяснение, что он просто любит все есть в подогретом виде, каким-то образом входит в картину

неповторимого обаяния его личности, которую полностью передать невозможно.

Еврейское движение в СССР и, в частности я лично, многим обязаны ему и Елене Георгиевне Боннер, принимавшим горячее участие в бесчисленных освобождениях меня из-под арестов, где я, вероятно, застрял бы на годы, если бы не их постоянная поддержка. Андрей Дмитриевич чувствовал, как дышал, что невозможно добиться свободы для себя, не дав свободы другому. Он ощущал, что только Россия, из которой можно уехать, может стать Россией, в которой можно будет жить. Ему не нужны были обоснования политической благоразумности такой позиции.

Как ни странно, некоторые диссиденты (они тогда назывались «демократами») относились к Андрею Дмитриевичу с прохладцей, не понимая (не оценивая) насколько его поддержка морально укрепляла их позицию и, в сущности, придавала смысл их деятельности. Идея правозащиты, принятая Сахаровским Комитетом (разработанная в деталях Валерием Чалидзе) у многих простодушных диссидентов вызывала прямой протест: «Как? Мы будем ссылаться на ИХ законы? Которые держат народ в рабстве!?» Это отчасти было связано с непониманием самого принципа советской системы, которая держалась отнюдь не на законах, а на произвольных толкованиях, освященных многолетней практикой безраздельного господства правящей элиты.

Я был знаком в своей жизни со множеством выдающихся людей. Сталкивался и общался со многими великими учеными. Но все остальные, великие и обыкновенные, друзья и враги, все вместе — это одно, а Андрей Дмитриевич Сахаров — это нечто совершенно другое. Сам факт знакомства с этим человеком сыграл большую роль в моей жизни. Моя жизнь была бы беднее, если бы я не знал его. Я мог бы упустить какую-то необыкновенно важную характеристику бытия. Уникальное свидетельс-

тво духовной природы человека. Его несводимости к банальному.

Конечно, он был великий ученый, и не менее великий «изобретатель», но главное заключается в том, что он сам был человеческим чудом...

ПЕЧАЛЬНЫЙ ДЕМОН И РОССИЙСКАЯ СУДЬБА

По истечении 40 лет, которые прошли после «бурных 60-х» многое изменилось, и зачастую выглядит в ином свете. Но некоторые важные линии судьбы, напротив, только сейчас можно по-настоящему оценить и увидеть в сплетении общей хиромантической путаницы.

Молодому человеку в наше время уже трудно будет поверить, что идея правозащиты и вся деятельность Андрея Дмитриевича Сахарова

в свое время не были встречены с энтузиазмом многими людьми, составлявшими героическую кучку «демократов», как называли тогда советских диссидентов. Я еще помню как формулировал раннюю точку зрения «демократической» группы протестантов покойный Толя Якобсон, талантливый поэт и один из создателей «Хроники текущих событий»: «Наша деятельность не ставит себе никакой политической цели. Наш протест носит чисто моральный характер...» Толя и в самом деле был бесконечно далек от мысли о политическом маневрировании, хотя бы и в целях собственной безопасности, и сообщал это восторженной группе друзей-единомышленников как формулу их общей веры.

«Комитет Защиты Прав Граждан» Сахарова, Чалидзе и Шафаревича был создан через несколько лет, когда многих членов той трогательной первоначальной группы идеалистов успели уже посадить или сослать на разные сроки. Участие великого ученого, Сахарова, и новая, уместная в западной ментальности организационная

форма — Комитет — придали этому начинанию грандиозный резонанс во всем мире, и иностранные журналисты резко сдвинули центр своего сочувственного внимания с остальных, «неорганизованных» диссидентов на эту, впервые четко оформившуюся в СССР, открытую оппозицию.

Может быть, частично в первоначальном отчуждении демократов от Комитета была виновата и несколько вызывающая манера, в которой излагал идеи «Комитета Защиты Прав Граждан» Валерий Чалидзе.

Сахаров не был слишком красноречив. Все первоначальные документы Комитета формулировал Чалидзе. История оказалась немилостива к нему. Его роль в событиях того времени редко отмечалась современниками по конспиративным причинам, а в книге Александра Солженицына «Бодался теленок с дубом» содержится глубоко несправедливая, субъективная оценка его роли.

Суть дела в том, что Валерий до такой степени был чужд российской системе всеобщего бесправия и бессистемной анархической мысли, что и в своем языке не делал никакой поблажки советскому человеку, чтобы облегчить ему понимание его собственной ситуации на советском «ново-язе». В его, полной достоинства, отточенно последовательной речи обыватель чувствовал как бы упрек себе в том, что он позволяет деспотической власти так пренебрежительно с ним обращаться. Валерий выглядел, как написала Нина Воронель в своей книге «Без прикрас», портретным воспроизведением врубелевского «Демона» и вел себя соответственно. Как такой аристократ духа мог сложиться на советской почве остается одной из тайн, подчеркивающих непредсказуемость индивидуального человеческого поведения. Вопреки громко звучащей вокруг непоследовательной и эмоционально перенасыщенной речи, он говорил на монотонном, формализованном, почти математическом, языке политической корректности, когда это понятие не было еще общепринято и на Западе. Нервным, патетически

настроенным на подвиг, юным оппозиционерам трудно было его понять.

Российские люди, в течение десятилетий через пень-колоду ведя свой полууголовный образ жизни, привыкли к совершенно иной постановке вопроса: «Ты за белых или за красных?». И в то же время: «Кто не с нами, — тот против нас!» Соглашаясь с такими формулами, советский обыватель автоматически вступал в беспринципный сговор

с идеологами беззакония против объективности.

Поскольку Чалидзе требовал лояльности к писаному закону, советский человек сплошь и рядом понимал это, как лояльность властям. Но аналитический ум Валерия на самом деле подразумевал первоначальный, буквальный смысл советского закона, а не то произвольное толкование, которое укрепилось и стало общепринятым за десятилетия бесконтрольного господства партийной номенклатуры. Он вложил в это дело всю свою нерастраченную страсть ученого (он был квалифицированным физиком) и незаурядный интеллект казуиста. При помощи внимательного изучения Уголовно-Процессуального Кодекса РФ (который был его настольной книгой) и советской юридической литературы ему удавалось сплошь и рядом обнаружить, что подлинное содержание закона в СССР не соответствовало (по-видимому, не соответствует и сейчас) обычной практике его применения. Зверские репрессии, которым в течение десятилетий подвергался советский народ, в сущности, никогда не имели законной силы и осуществлялись преступными руками вопреки или в обход законов.

Именно он открыл мне, что никакая научная, исследовательская деятельность в пределах Советского законодательства не может быть объявлена преступной. Это дало нам (группе ученых-отказников, привыкших облекать свои мысли в принятую в науке форму) уникальную возможность произвести самиздатское издание «Евреи в СССР», как антропологическое исследование еврейского

этнического меньшинства в стране и регулярно собирать Семинар ученых-отказников, изгнанных из своих институтов. При этом, конечно, никак нельзя было сказать, что мы чувствовали себя в безопасности, полагаясь на эти виртуально замечательные законы, которые ведь скрыто присутствовали и все предыдущие годы советского режима, но мы все же предпочли на худший случай репрессий (как всегда, «необоснованных») опираться на закон, а не на переменчивые суждения властей.

Валерий, в сущности, пытался втянуть российских граждан, с их усвоенными с детства блатными привычками, и российские власти, с их вековой неспособностью к сдержанности, в содержательный диалог о буквальном смысле и пределах применимости правил, по которым они живут. И власти, и граждане по разным причинам не были к этому склонны. Не склонны они к этому и сейчас, когда отсутствие правовой культуры в России так остро сказывается на ее каждодневной жизни.

Но, к сожалению, была и общая причина всеобщей терпимости по отношению к беззаконию в Советском Союзе: и от обывателей, и от властей легалистская постановка вопроса требовала серьезных волевых и интеллектуальных усилий и ежедневного гражданского мужества, неведомого на российской почве.

Власти безосновательно предпочитали исходить из презумпции эмоционального единства устремлений всего советского народа. Первый же вопрос, который задавали допрашиваемому в КГБ был:

«Вы ведь советский человек?» Далее само собой разумелось, что это на деле означает ваше стремление всячески помочь КГБ в их самоотверженной работе. Советский же человек, твердо помня, где находятся миллионы НЕСОВЕТСКИХ людей (среди них зачастую и его родственники) и парализованный страхом, спешил в принципе согласиться, на ходу в нервной спешке находя для себя увертки, дающие возможность практически уклониться от этого сердечного согласия, но никогда все

же не заходя так далеко, чтобы его можно было открыто уличить в немыслимом нежелании помочь своим «родным органам».

К 70-м годам (в «застойные» Брежневские времена) такая постановка вопроса стала отчасти смущать даже и многих советских чиновников с высшим образованием. И с их стороны возникла, в те годы не до конца выявившаяся, тенденция придерживаться более корректной линии в своей повседневной практике.

Впервые это обнаружилось во время процесса Синявского-Даниэля, когда власти сочли возможным, хотя бы отчасти информировать общественность о ходе суда и допустить в судебный зал какую-то часть «непроверенной» публики. Они не пошли еще так далеко, чтобы допустить потенциальных свидетелей защиты — мы, например, с профессором Эмилем Любошицом ходили в Верховный Суд РСФСР набиваться в свидетели — но уже не выволакивали нас из здания суда

и не рвали из рук бумаги. Почти сразу после этого Процесса в Уголовный кодекс была введена статья 190, смягчавшая «слишком волюнтаристские» формулировки 70-ой об «антисоветской пропаганде» до уровня более спокойных «заведомо клеветнических утверждений». Все же малограмотная чиновничья рука вставила сюда эпитет «заведомо», обессмысливающий обвинительный характер закона...

Диалог не состоялся. Валерия Чалидзе под угроой ареста выслали из страны где-то в начале 1973 г., и он поселился в Нью-Йорке, где много лет потом издавал правовую литературу, предназначенную для контрабанды в Россию («Чалидзе пабликейшенз»).

Во время одного из моих «приводов» в КГБ интеллигентный полковник светски благожелательно объяснил мне, что, хотя моя самиздатская книжка «Трепет забот иудейских» не требует немедленно обязательного применения статьи 70-й УК, но все же некоторые ее положения отлично подпадают под статью 190-ю. Пользуясь

необязательным тоном нашего разговора, я возразил, что в моей книге «заведомой клеветы» быть не может, потому что, если бы я «заведомо» знал, что это неправда, я бы просто этого не написал. «Да, — небрежно обронил он, — эта статья неудачно сформулирована, но вы ведь понимаете, о чем я говорю»...

Спустя пару лет почти такой же разговор повторился в гораздо более острой боевой обстановке, но все же опять с обоюдным пониманием несовершенства наличной юридической практики. На этот раз меня притащили к другому полковнику силой и потребовали, чтобы я подписал, что мне было предъявлено предупреждение о том, что моя деятельность подпадает под статью 190. Я категорически отказался.

«Почему вы отказываетесь?» — с любопытством спросил этот другой полковник. «Потому что вся моя деятельность от начала и до конца не содержит никакой заведомой клеветы. Все — чистая правда!» «Действительно, — внезапно согласился и этот полковник, — до этого моего предупреждения вы могли и не знать, и даже думать иначе, но теперь я вас предупредил, что это клевета, и теперь вы это знаете, так что, тем самым, в будущем это становится заведомой клеветой!»

Тут у меня невольно вырвался отчаянный выкрик Паниковского в почти аналогичной ситуации: «А вы кто такой?» Он твердо ответил, что он представитель Государственной безопасности СССР и, как раз, уполномочен решать, что — клевета, а что — нет. Вспомнив трудные уроки Валерия Чалидзе, я столь же твердо возразил, что только суд может решить этот, почти философский, вопрос.

Вместо того, чтобы зря рассердиться, полковник вызвал из-за двери, по-видимости околачивавшихся там с утра Иванова и Петрова, и приказал: «Подпишите, что задержанному гражданину Воронелю при вас было предъявлено предупреждение об ответственности по статье 190 УК, которое он отказался подписать.» На этом

этапе счеты российских властей с законом в 1974 г. были вчерне закончены.

Вскоре были закончены и мои счеты с бывшей родиной. Под новый 1975 год я вылетел из Шереметьево в большой мир, где не подозревают о большей части российских проблем.

В следующем 1976 г. я был с визитом в Австралии, когда в России уже принималась новая («Брежневская») конституция. Один из журналистов спросил меня, как я оцениваю этот политический сдвиг в СССР, и я ответил, что вижу в этом безусловный шаг вперед.

«Но, как же так, — поразился он, — ведь старая Конституция (она звалась Сталинской, хотя была составлена, в основном, Бухариным) была гораздо демократичнее!?»

«Нет, — пришлось мне объяснить этому розовому либералу — старая Конституция писалась не для выполнения в объективной реальности, а для международного престижа и рекламы идеального социалистического общества будущего. К жизни советского народа эта конституция никакого отношения не имела. А в новой конституции присутствует, хотя бы только частичная, тенденция к реальному следованию в обыденной гражданской жизни.»

Я не уверен, что тамошний журналист меня до конца понял, но университетский коллега, который меня сопровождал, необычайно развеселился и сказал, что теперь только он впервые уловил, что подразумевается под «загадочной русской душой»...

Загадочная русская душа оказалась не по зубам и прекрасному грузинскому принцу с внешностью печального демона, как и многим поколениям русских либералов и правозащитников до него.

ЭДВАРД ТЕЛЛЕР И МИРСКАЯ СЛАВА

Однажды после заседания попечительского совета Тель-Авивского Университета ко мне в коридоре подошел

пожилой джентльмен и в небрежной американской манере спросил, был ли я в России знаком с профессором Ландау.

Я только что выехал из Советского Союза и сильно запинался при разговоре по-английски. Но все же сумел выразить, что был, конечно, знаком, но не слишком близко, потому что я не теоретик... Тут он меня перебил и азартно закричал: «Ну и как, он до самого конца остался таким же дураком, как и в 30-е годы?!...»

Не уверенный, что я правильно понял этот ошеломляющий вопрос, я смущенно забормотал, что учился физике по его гениальному «Курсу Физики» и не совсем понимаю... Он отмел все мои возражения одним взмахом руки: «Я ведь не о физике говорю. Я говорю, что он был фанатично предан Советской власти и верил всем их идиотским выдумкам...»

Эксцентричный джентльмен, который не догадывался, что в 30-е годы я вряд ли смог бы судить об умственном уровне Ландау, оказался профессором Эдвардом Теллером — великим физиком и отцом американской водородной бомбы. В молодые годы он вместе с Ландау участвовал в Семинаре Нильса Бора в Копенгагене и, оказывается, вступал там в горячие споры с ним по политическим вопросам.

Ландау был тогда не одинок. Бесчисленное множество молодых интеллектуалов в Европе всерьез в то время (да ведь и сейчас!) верило, что стоит «научить каждую кухарку управлять государством», как жизнь на земле потечет по иному сценарию. Волки станут пастись вместе с овцами, люди полюбят друг друга и т. п.... Вслед за редкими советскими вундеркиндами, которых советские власти посылали за границу для обучения, вроде Ландау, Шубникова, Капицы и других, сотни западных идеалистов рванулись в Россию строить страну победившего социализма. И там искренне пытались слиться и отождествиться...

Некоторым потом удалось вовремя унести ноги. Другие погибли. Им несть числа. От третьих произошли та-

кие устрашающие плоды, как Миша Вольф — будущий глава восточногерманского ШТАЗИ.

После приезда на родину Ландау работал в УФТИ (Украинском Физико-Техническом Институте) в Харькове, где в 30-х Флеровым и Петржаком впервые был проведен успешный опыт по расщеплению ядра урана. Там вместе с ним работала сильная группа немецких и австрийских энтузиастов, которые сделали этот институт авторитетным за границей, и которых впоследствии всех обвинили в шпионаже. Как написал через несколько лет в своем донесении в НКВД директор этого заведения: «в институте возник заговор под руководствоством Л.Д.Ландау и А.Вайсберга* для саботажа военных работ».

Профессор М. Каганов («22», № 117), работавший с Ландау в шестидесятые годы, свидетельствует, будто Лев Давидович впоследствии укорял себя, что понял суть советского режима лишь только после того, как арестовали его самого.

Поскольку я был знаком с ним гораздо позже этого события, мне было легко заверить Теллера, что по моим наблюдениям Ландау в последние годы дураком совсем не был. В начале «оттепели» Ландау стали приглашать с популярными лекциями и часто он высказывался настолько неортодоксально, что приводил в шок советскую публику. Я помню, как после одной из таких лекций случайно подслушал разговор в публике двух преданных партийцев. Один из них был до предела возмущен кощунственными

* А.Вайсберг приехал в Харьков из Берлина в начале 30-х. Вместе с Л.В. Шубниковым (приехавшим из Голландии) — он создатель низкотемпературной лаборатории в УФТИ. В 1937 г. после двух месяцев следствия Льва Васильевича Шубникова расстреляли, «как врага народа». Вайсберга (как германского подданного) после трех лет скитаний по советским тюрьмам выдали Гестапо в ответ на письма к Сталину от Эйнштейна и других нобелевских лауреатов. В 1951 г. во Франкфурте на Майне вышла его книга «Ведьмовский шабаш» о его опыте жизни в СССР и сталинском терроре. Верно ли, что до «Архипелага ГУЛАГ» люди на Западе ничего об СССР не знали?

речами Ландау и требовал расправы, а второй уговаривал его, что «от Ландау государству столько пользы, что партия считает возможным позволить ему говорить, что он хочет.»

Я в свою очередь спросил Теллера, откуда у него в его молодые годы взялось столько проницательности, чтобы уже в двадцатые, в атмосфере левого энтузиазма в Западной Европе, ясно увидеть, куда идет дело?

Впрочем, и в 40-х, во время войны с Германией, Теллер был достаточно проницателен, чтобы горячо поддержать проект атомной бомбы. А в 50-х, и тем более в 70-х, он не испугался даже прослыть поджигателем войны и махровым мракобесом, настаивая, что коммунизм — это всего лишь разновидность фашизма, и все, кому дорога свобода, должны строить защиту от него.

Как ни странно, в научном сообществе он был почти одинок. Его пессимистическая позиция не вызывала сочувствия прекраснодушных интеллигентов, а его чересчур прямая, эксцентричная манера (кстати, напомнившая мне манеру Ландау) отпугивала людей, привыкших к принятым на западе обтекаемым формам выражения. Те самые западные ученые, которые не знали как ярче выразить свое восхищение мужественной позицией профессора Сахарова, с трудом сохраняли простую вежливость в отношении профессора Теллера, сделавшего то же (и, по самому существу, провозглашавшего) те же самые идеи.

Теллер смолоду был уверен, что идея планируемого общества, которая восторжествовала в России, вообще ничем иным, кроме безграничной тирании не может обернуться, и потому советскому руководству заведомо нельзя доверять, что бы оно ни провозглашало. Он принял участие в работе над атомной, а потом и водородной бомбой, считая, что от нацизма, равно как и от коммунизма, следует ожидать смертельной опасности демократическому образу жизни.

Я не думаю, что он исходил из какой бы то ни было социальной теории. Просто его представления о челове-

ческой природе и обществе, не будучи заслонены схематическими моделями, оказались гораздо более реалистическими, чем у слишком интеллектуальных сверстников и коллег, падких на всеобъемлющие теории и глобальные проекты.

Но как физики, они оба, и Сахаров и Теллер, работали над одной из самых важных для будущего человечества проблем: создание источника энергии, не зависящего от органических запасов Земли. Политики и журналисты всего мира видят здесь одну только бомбу, которая заслоняет им весь горизонт, но если человечеству суждена долгая жизнь, эта проблема вскоре станет проблемой номер один.

Мы разговорились, и я опять спросил Теллера, почему все-таки он смолоду, когда людям столь естественно питать иллюзии, был уже скептически настроен по отношению к человеческой природе, и ее склонности к добру. Он ответил, что в 1919 году, во время Советской революции в Венгрии, попутчики выбросили его на полном ходу из поезда, заподозрив в нем еврея. Они оказались правы. Он выжил. И, хотя он с тех пор хромает (ему тогда было 17), он благодарен судьбе за этот жестокий урок практического человековедения.

Конечно, это не объяснение. Почему одни люди (большинство) поддаются иллюзиям и коллективным психозам, несмотря даже на выдающийся интеллект, а другие — нет, не знает никто. И никто не может защитить этих редких провидцев от общественного осуждения. Никто не вспомнит о них и после того, как это массовое очарование иллюзией испарится...

В ответ на мои извинения по поводу бедности моего английского, Теллер, в свою очередь, пожаловался, что и он тоже без напряжения поболтать может только по-венгерски и — вот уже тридцать лет — вынужден смиряться с неадекватностью своих речевых возможностей... Но он рад, что мы оба в силах понять друг друга и на нашем ломаном английском, так что, если я буду в США, он с удовольствием опять со мной встретится.

Спустя полгода мы с женой были в Лос-Анжелесе. Так как местная еврейская община приложила большие усилия для нашего освобождения из СССР, ее руководство ликовало, видя нас у себя живыми и невредимыми, и устроило множество официальных встреч, которые совсем не оставили нам личного времени. Один из приемов в нашу честь носил более частный характер, и я спросил, могу ли я позвать на прием своего коллегу-физика. Разумеется, отказа не было, и я позвонил Теллеру. Он откликнулся с энтузиазмом.

Однако мои хозяева, увидев его имя, как ни странно, ответного энтузиазма не проявили. И я подумал, что все же демократическое общество слишком уж буквально понимает идею равенства, если участие такой выдающейся личности в званом вечере их не радует.

Мне это по контрасту напомнило смешной эпизод из моей совсем недавней московской жизни. Другой выдающийся физик, академик Михаил Александрович Леонтович, изъявил желание посетить мою лабораторию. Мой Институт Физико-Технических и Радио Измерений был закрытым заведением, и без специального разрешения войти туда было невозможно. Я пошел в отдел кадров и заказал пропуск для Леонтовича, не подозревая, какую бурю это вызовет к жизни. Наш институт на самом деле был заштатный, вовсе не академический, так что знаменитые академики заглядывали туда не часто.

Поэтому, когда встретив Леонтовича в проходной, я повел его через двор в лабораторию, навстречу выбежал дворник со шлангом в руке и заорал: «Убирайтесь с дороги! Нечего тут шляться в рабочее время! велено срочно мыть дорогу!» И не дожидаясь, пока мы отпрыгнем в сторону, обдал нас обоих водопадом брызг.

«А что за срочность?» — спросил я.

«К нам академик важный из Москвы приезжает, а вы тут под ногами путаетесь!»

Дворник, конечно, не знал, что значит, академик Леонтович, но он хорошо знал, что значит приказ директора.

Мы в лаборатории потом так увлеклись обсуждением новых задач, возникавших в ходе моих экспериментов, что не заметили, как бежит время. Пару раз в дверях появлялось искаженное заботой лицо директора института, но мы от него отмахивались, не вслушиваясь. На третий раз он не дал от себя отмахнуться и ворвался в кабинет с упреком:

«Александр Владимирович! Намерены вы нашего гостя обедом кормить или нет?»

«Конечно, намерен, — ответил я, глянув на часы. Действительно, уже перевалило за два часа пополудни. — Сейчас мы договорим и пойдем в столовую».

Директор, успокоенный, убежал, а мы с Леонтовичем, не прерывая разговора, отправились в институтскую столовую, закрывающуюся в пол-третьего. Конечно, все приличные блюда были уже съедены и оставался только фасолевый суп. Под воркотню кассирши, что «приходят тут всякие перед самым закрытием», мы схватили две тарелки супа и сели к заляпанному пластиковому столу. Не успели мы поднести ложки ко рту, как растворилась какая-то незаметная дверь в дальнем углу, и из нее выскочил белый от ярости директор — губы его дрожали, щека дергалась: «Хотел бы я знать, Александр Владимирович, что вы тут делаете?»

«Как что? Суп едим».

«Почему суп?» — взвыл директор.

«Потому что больше ничего не осталось!»

Директор приблизил свое искаженное лицо к моему, искренне удивленному: «Вы это нарочно устроили, чтобы поиздеваться?»

Леонтович молча наблюдал сцену — он был не так наивен, как я, и ему, наверное, все уже стало ясно. Директор впопыхах схватил тарелку академика и бегом припустил к той таинственной двери, из которой появился. Мы последовали за ним и вошли в нарядный банкетный зал, о существовании которого я, проработавший в институте пятнадцать лет, понятия не имел. Стол был

накрыт на троих, но за этим столом можно было накормить небольшой взвод. На крахмальной белой скатерти красиво поблескивали хрустальные фужеры и рюмочки для коньяка, меж разноцветных бутылок выстроились невиданные блюда: красная и черная икра, копченая колбаса и даже — невероятный для России тех лет в ноябре — салат из свежих огурцов. Я с удивлением уставился на всю эту благодать.

«Вы что, никогда здесь не были?» — перехватив мой взгляд, спросил директор.

«Меня никогда сюда не звали», — ответил я, как-то сразу оценив многие, казавшиеся мне прежде таинственными, подводные течения нашей институтской политики.

Но тут, в Лос-Анжелесе, таинственным было все, — и неумеренное торжество вокруг моей персоны, и явное пренебрежение к присутствию выдающегося гостя, и очевидное отсутствие направляющей директорской воли.

Гости, адвокаты, финансовые воротилы, политики и зубные врачи громко радовались очередной победе «мирового общественного мнения», которое вывело меня на свободу, а в ближайшем будущем приведет нас и к «разрядке международной напряженности», близкой дружбе с Советским Союзом и мирной, но убедительной, победе мира и демократии во всем мире.

Тут диссидентская натура Теллера не выдержала этого общего торжества «вишфул тинкинг» (принятия желаемого за действительное), и он громко попросил меня сказать несколько правдивых слов о реальном положении в Советском Союзе и возможном будущем.

Мне, конечно, и в голову не пришло, что это может огорчить наивных (или выглядевших такими) американцев, и я откровенно рассказал им, что советская политика в самой своей основе включает введение западного мира в заблуждение и недопущение общественного контроля на всей своей территории, а непосильные первоочередные расходы на оружие оставляют простого советского чело-

века лишенным основных жизненных благ. Россия одна из самых богатых природными ресурсами стран, но все ее богатства оказываются бесполезными для ее граждан. Производство оружия и конфронтация с Западом остается в СССР суперприоритетной задачей, обрекающей весь его народ на перманентную нищету. И это положение не может коренным образом измениться под влиянием демонстрации американского дружелюбия, потому что, чтобы сохранить народное единство и поддержку, власти регулярно создают у своего населения впечатление внешней угрозы. Искусственная информационная замкнутость России ни в коем случае не позволит ее гражданам узнать фактическое положение дел.

Мне уже приходилось много раз выступать в Америке. Еврейская аудитория с напряженным вниманим относилась к положению евреев в СССР и восторженно воспринимала мои рассказы о нашей героической борьбе за выезд. Мои публичные выступления неизменно пользовались успехом. Но это мое выступление было первым, которое не снискало аплодисментов. Собравшиеся на этот вечер миллионеры решительно симпатизировали социальной справедливости и бесплатному зуболечению (среди гостей было особенно много богатых зубных врачей), а трудности евреев в СССР воспринимали как досадные пятна, которые, как известно, бывают и на солнце...

Теллер был, похоже, единственным, кому моя речь понравилась. Остальные, наверное, приписали мои, не совсем для них привычные, заявления несовершенству моего английского, и после недолгого замешательства продолжили непринужденно веселиться и декларировать свои мирные намерения.

Поздно вечером, выдающийся адвокат, который отвозил нас в нашу гостиницу, спросил меня, имея в виду Теллера: «Вы давно знакомы с этим типом?». Я ответил, что со студенческих лет, хотя, к сожалению, только по литературе. Ведь он один из классиков в моей профессии. Для меня было большой честью познакомиться лично и

найти с ним общие интересы... «Вот, и напрасно, — отрезвил меня адвокат, — вы, наверное, не знаете, что это очень опасный человек, поджигатель войны. Он говорит, что в Советском Союзе нет никакой демократии, и что его правительство ведет постоянную скрытую войну против нас на всех континентах.» Я ответил, что советское руководство, конечно, не делилось со мной своими скрытыми планами, но именно такое впечатление создается у всякого жителя СССР, который следит за мировыми событиями изнутри той страны.

Адвокат, как всякий гражданин демократического общества, привык подозревать в лицемерии только свое правительство («развращенность которого ему хорошо известна») а всякое заявление врагов («о которых все же, не зная в точности всех фактов, нельзя судить сплеча»), оценивать, как хотя бы отчасти, справедливое. Не убедив друг друга ни в чем, мы расстались друзьями. В Америке, как и всюду, люди просто не хотят знать правду.

Кстати, Михаил Александрович Леонтович рассказал мне, как однажды ему удалось настоящее политическое пророчество. В 1950-м он узнал, что А. Д. Сахаров успешно решил теоретическую задачу, и испытание водородной бомбы прошло успешно. «Сейчас начнется война!» — в ужасе воскликнул он (к счастью в достаточно узком кругу).

Через месяц началась война в Корее... Впрочем, тогда американцы перестали тормозить проект Теллера, который тоже решил эту теоретическую задачу, но был остановлен своей администрацией. В 1951-м испытание американской водородной бомбы тоже прошло успешно, равновесие страха было восстановлено, и корейская война тут же кончилась на тех же рубежах, что и началась.

«Разрядка» тоже продолжалась недолго и вскоре сменилась новым витком «холодной войны», но репутация Теллера уже не улучшилась. Он так и остался в глазах широких кругов американской интеллигенции «поджига-

телем войны» и закоренелым «сторонником гонки вооружений».

Мне стало ясно, что на Западе иногда требуется гораздо больше мужества, чтобы поддержать правительственную политику, чем для того, чтобы против нее бороться.

ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА — ПРИЧИНА ИЛИ ПРЕДЛОГ?

В связи с 40-летием Шестидневной войны в израильской печати вспомнили, что и наша алия из СССР началась примерно в то же время. Некоторых авторов такое совпадение даже соблазнило поставить эти события в отношения причины и следствия. Мое марксистское прошлое не мирится с таким явным нарушением соотношения «базиса» и «надстройки». Хочется напомнить русским евреям, что все-таки, каковы бы ни были внешние обстоятельства сионистской революции в их сознании, свершившейся 40 лет назад, основную причину ее стоило бы искать в себе и в условиях своей жизни, а не в мировых событиях, от которых советские граждане были достаточно надежно изолированы.

Конечно в том вихре влияний и чувств, который подхватил бывших советских евреев в конце 60-х и бросил их на колючую проволоку, отделявшую СССР от всего мира, легче всего всплывает на поверхность светлое воспоминание о празднике души — лихой победе Израиля над толпами врагов. Приятно и то, что израильский истеблишмент нашел лестным для себя совпадение сроков оживления сионистской активности в СССР с победоносной Шестидневной войной. Но решимость, которая предшествовала этому взрыву произошла не от израильских успехов. Причины событий, которые радикально меняют судьбы десятков тысяч людей следует искать в жизни самих этих людей. Для того чтобы сработал такой спусковой механизм, как многократно искаженный слух о сказочной победе за три моря каких-то евреев, нужно

предположить предварительное существование хорошо взведенной пружины.

Я начну издалека.

В истории евреев часто повторяются одни и те же трагические ситуации. Учитывая длительность еврейской истории, повторения не удивительны. Удивительна сама длительность. В этих повторениях часто осуществлялся некий отбор. Выжившая популяция выделялась каким-нибудь своим специфическим свойством.

История русских (даже скорее советских) евреев в ее своеобразии ярко подчеркивает идею такого отбора. Октябрьская революция 1917 ввела в России дискриминационное законодательство, хотя и не направленное прямо против евреев, но фактически лишившее гражданских прав (и зачастую средств к жизни) более трети именно еврейского народа, как нежелательного «мелкобуржуазного элемента».

Одновременно в ходе Гражданской войны была уничтожена (или изгнана) большая часть русского населения, выполнявшая наиболее сложные управленческие и технические функции в, и без того отсталом, недостаточно структурированном российском обществе. Открылось громадное поле вакансий для образованных людей. Масса молодежи из всех слоев населения от души подхватили ленинский лозунг: «учиться, учиться и учиться…»

Это вызвало лихорадочную активность по приобретению и освоению новых профессий и в поголовно грамотной еврейской среде, часто приводя молодых людей к разрыву и отчуждению от семьи. Порыв к «классовой перестройке» совпал с многолетней предшествовавшей тенденцией евреев к получению светского образования, которая уже и к началу XX века создала предпосылки превращения евреев из этнически-конфессиональной в социальную общность.

Модернизующееся советское общество с 20-ых почти по 60-ые годы было действительно супердинамичным. Непрерывно возводились новые промышленные объекты и

основывались новые учреждения, нуждавшиеся в квалифицированных людях. Набор студентов в ВУЗ-ы возрастал экспоненциально в течение жизни двух поколений.

После 1917 г. в рекордный срок (две пятилетки) евреи сформировали в России практически весь корпус врачей, адвокатов и журналистов и начали завоевывать позиции в инженерных, военных, ученых и артистических профессиях. Перед началом Второй мировой войны почти половина еврейского народа уже исполняла разные жизненно важные технические роли в структуре растущего советского общества, катастрофически нуждавшегося в динамичном, грамотном элементе.

Энтузиазм молодежи по поводу доступности высшего образования зачастую заглушал не только жалобы старшего поколения на узаконеный государственный грабеж их частной собственности (экспроприации), но даже страх массовых репрессий. Стремительный социальный рост квалифицированного слоя в российском обществе, и особенно еврейского меньшинства, напоминал растущий снежный ком, которому не предвиделось ограничений.

Когда разразилась война, германская армия в России наступала так быстро, что избежать полного уничтожения смогла только та часть евреев (около полумиллиона), которая была мобилизована в армию (около 200 000 из них погибли в боях), а также та, о которой советские власти преимущественно заботились (еще около миллиона) в связи с их нужностью для эффективного функционирования. Около половины всех советских евреев (по крайней мере полтора миллиона) были оставлены на произвол судьбы и погибли в Катастрофе. Это была как раз та половина, которую обычно зовут «простыми людьми», «почвой», еврейскими корнями — народная толща.

Те, что остались в живых, выжили благодаря их индивидуальным усилиям и неординарной успешности в своих областях. Это были скорее люди неукорененные, городские, прошедшие огонь, воду и медные трубы. Практически

никто из них не сосредоточивался на традиционной верности религии, культуре, языку. Потомки лишь этого, дважды «избранного», меньшинства составили советское еврейство в послевоенный период. Чтобы заразить таких людей сионистской мечтой, нужно было найти действительно серьезные аргументы в текущей действительности.

Уже в 60-ые годы по статистике каждый третий советский еврей имел высшее образование (это значит, если исключить детей, больше половины народа). При общем еврейском населении меньше 1% в стране, 5% лиц с высшим образованием и 10% всех научных работников в СССР оказались евреями. Грамотная русская речь, очки и шляпа превратились почти в такой же характерный признак еврея в глазах простого народа, как пейсы и лапсердак в предыдущем столетии. Такое превращение имело многообразные последствия.

К 60-м годам былая социальная динамика в СССР исчерпалась и темпы развития начали катастрофически замедляться. Я не ставлю себе задачи из области советологии. Поэтому я не собираюсь задаваться вопросом, правильной или неправильной была политика советских властей, и кто был в этом виноват. Я констатирую факт: к концу 60-х советское общество вступило в застойную фазу.

В частности, кривая приема студентов круто переменила тенденцию и достигла насыщения (это, кстати, произошло в 1967 г.!). На самом деле не только в получении образования, но и во всяком социальном продвижении резко выросли трудности для всех слоев общества, независимо от, никогда полностью не исчезавших, протекционизма и антисемитизма. Множество людей остро почувствовали свою недовостребованность и трудности конкуренции. Снежный ком рассыпался и потек в разные стороны для разных групп населения. Национальная дискриминация, конечно, добавила свою весомую каплю яда к бедам любой еврейской семьи.

Но в 60-х это была уже не прежняя традиционная еврейская семья, для которой высшее образование виделось как немыслимое благо и единственный путь к равенству. Теперь это, в среднем, была семья, в которой получение образования стало частью регулярного образа жизни и способом поддержания социального статуса. Народ инженеров и врачей не хотел превращаться обратно в народ парикмахеров и продавцов. Лишение доступа к образованию рассматривалось евреями, как катастрофическое нарушение их фундаментальных прав, преступление режима, разрушительная расистская политика деклассирования евреев. Так оно, собственно, и было, хотя это была проблема не только евреев.

В мире за это время произошла постиндустриальная революция. Постиндустриальная революция на Западе привела к некому повышению роли (и, соответственно, самоуважения) специалиста и в СССР. Ежедневно решая технологические задачи, ставившие в тупик неквалифицированное (несовременное) начальство, специалист одновременно убеждался в своем потенциальном могуществе и социальном унижении.

Для евреев эта ситуация была еще усугублена их фактическим неравенством. Находились начальники (и целые отрасли — Институт Научной Информации, Институт Высоких Температур, Институт Математической Экономики), которые сознательно пригревали у себя способных евреев, зная, что от них можно не ожидать карьерной конкуренции: продвижение по социальной лестнице или премирование для них всегда будет затруднено.

Множество разносторонне одаренных людей перестали связывать свои амбиции с официальными учреждениями и перешли на «подножный корм», «черный бизнес» и «самиздат». Хотя статус безработного не был предусмотрен советским мировоззрением, но неполная занятость на трудовом посту рассматривалась скорее как близкая к норме. Ничто не мешало людям обделывать свои делишки в рабочее время. Теневая экономика приобрела

всеохватывающий характер. В стране появились неоприходованные официальными инстанциями большие деньги, манившие, не знавшего в прошлом таких искушений, рядового советского молодого человека.

Одновременно открылись всевозможные мистические, исторические, теософские, и просто самообразовательные кружки. Многие котельные и дворницкие в больших городах превратились в престижные клубы молодых дарований.

Победа Израиля в Шестидневной войне, еще прежде, чем советские евреи успели ее осознать, повергла советские власти в настоящую панику. Эта победа обнажила порочность всей их политической стратегии. И власти окончательно потеряли голову. Вся их гигантская пропагандистская машина была брошена на приписание Израилю совершенно необыкновенной военной мощи, а сионизму в целом ведущей роли в мировой империалистической коалиции, якобы противопоставленной «лагерю мира и социализма».

Только этого и не хватало советскому интеллигенту, и, особенно еврею, чтобы почувствовать, наконец, тягу к сионизму. Книжонки, разоблачавшие сионистскую идеологию, стали бестселлерами, поскольку советский народ давно привык вычитывать свои сведения о внешнем мире между строк официальных «разоблачений». Для многих впервые открылось, что, собственно, израильтяне это не какие-то далекие туземцы, а те же самые евреи, которых мы знали с детства. Советские евреи почувствовали себя в фокусе мировых событий. На Западе их ожидал могучий, победоносный союзник — Израиль. И все несметные силы империализма были теперь на их стороне.

Одновременно все евреи в СССР автоматически были поставлены под подозрение. Более того, как выяснилось из речи одного из высокопоставленных партийных функционеров на закрытом собрании, немедленно разошедшейся по всей стране: «так называемые, половинки и

четвертушки еще опаснее, чем просто евреи, потому что их сионизм не сразу бросается в глаза». Не все граждане сразу сумели по достоинству оценить это заявление, но общая обстановка в стране подошла вплотную к революционной ситуации: заметная часть населения, чей «сионизм бросался в глаза» была объявлена врагом общества и в то же время подозрение в сионизме не снижало, а заметно повышало общественное уважение к заподозренным.

Конечно шок Шестидневной войны подтолкнул власти к этому. Но причины были внутренние.

Отчаявшись остановить стремительно нарастающее самораскрепощение граждан, власти перешли к откровенно фашистским методам и поставили на антисемитизм. Застойное российское общество вступило в неизбежный конфликт со своим передовым, динамичным элементом и, как это уже бывало в истории, воспользовалось антисемитизмом как испытанным оружием.

Оружие это, однако, оказалось обоюдоострым. Чем больше власти настаивали на нелояльности евреев в составе советской интеллигенции, тем большая часть лояльных интеллигентов начинала осознавать свое еврейство или ему симпатизировать. На интеллигентских пьянках весело зазвучал «оригинальный» тост: «В следующем году — в Иерусалиме!»

Не все евреи, конечно, принадлежали к интеллектуальной элите. Однако множество простых людей в еврейской среде в какой-то степени отождествляло свои амбиции с претензиями образованного круга и воспринимало дискриминацию интеллектуалов в ряду прочих незаслуженных обид еврейского народа.

Интеллигентная часть общества стала метаться между осторожной («смелой») критикой «отдельных недостатков» и открытым протестом. Участие евреев в протестном движении стало подавляющим. В ответ власти всех скопом объявляли сионистами. Вопреки ожиданиям властей, многие люди (и даже не только евреи — вот, это

наверное действительно был отблеск 6-дневной войны) легко приняли для себя этот термин.

Сионистское движение в России, собственно, никогда не прекращалось, но до конца 60-х это был непопулярный уровень подпольных кружков, без ясного будущего. После нескольких разрешений на отъезд в Израиль, выданных под давлением Западного общественного мнения (в основном, в Прибалтике) цель ясно обозначилась. С началом 70-х многие из этих кружков, изучавших иврит и ловивших израильское радио вместо ВВС, стали восприниматься как закрытые престижные клубы. Их члены стали открыто заявлять о себе и агрессивно требовать легализации.

Начиная с этого момента советские евреи превратились в субъект истории и заслуживают отдельного изучения. Я хотел остановиться лишь на предистории, потому что слишком часто в израильской литературе (даже научной) встречается сбивающая с толку суперлегкомысленная формулировка: «Шестидневная война привела к глубоким изменениям в жизни евреев Советского Союза.» («Евр.Самизд.», издание Евр. Унив., Иерусалим, 1973-1978.)

К самым глубоким изменениям в жизни советских евреев привела их сама жизнь в Советском Союзе.

Я совсем не сторонник материалистического подхода к истории, но все же социальные взрывы и народные переселения, как мне кажется, следует рассматривать в свете реальных жизненных условий людей в их обществах прежде всего. Вдохновляющие международные события и народные мечты впоследствии накладывают на эту реальность свою эстетическую печать.

Вот и основа нашего реализма — Библия — не ограничивается одной лишь мечтой о Земле Обетованной, а впереди Исхода вставляет рассказ о реальном положении дел: «Восстал в Египте новый царь… И сказал на-

роду своему: вот, народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его… И делали жизнь их горькою…» (Исход,1,8-14)

Мечта обозначает лишь направление движения. Русское еврейство, пройдя свой двухсотлетний путь в составе Российской империи и, переболев и мечтами о равенстве и социализме, и о либерально-просвещенном великодержавии, выбрало свой путь в Израиль не случайно.

Последствия этого выбора отразятся на всей политике, экономике и культуре Израиля, как бы скептически ни относились к этому сторонники теории «плавильного котла». Чтобы переварить эту огромную культурную силу Израилю придется в какой-то степени «обрусеть».

«МЫ» И «ОНИ»

(Феноменологические заметки)

На фоне всеобщей глобализации в мире происходит не менее отчетливый рост партикуляризма. Российские евреи как отдельная этническая единица в Израиле возникли в ходе революционного взрыва в России, почти на 20 лет опередившего «Перестройку». Взрыву этому предшествовала драматическая предистория, которая в достаточной степени способствует коллективной идентификации группы и высокому уровню ее самоуважения. Базисная мифология русских евреев определяет их не столько как потомков еврейского населения бывшей Черты оседлости Российской империи, сколько как «избранный», передовой народ, по своим культурным навыкам далеко превосходивший своих соседей. Социальный состав и род занятий российского еврейства в последние 70 лет склоняли его к техницизму и западной ориентации. Эта западническая культура русских евреев осуществляла определенный выбор внутри общей русской культуры и

предопределяла их постоянную оппозицию внутри российского общества. Некоторые черты этого выбора ясно прослеживаются при анализе текстов Михаила Булгакова и А. и Б. Стругацких — излюбленных писателей (и невольных идеологов) бывших российских евреев. Эта же культура делает русских евреев в Израиле сторонниками технократии и реального образования.

Энергия революционного взрыва, сопровождавшая процесс этнообразования и исхода из России, задала многие характерные черты будущего политического поведения русских евреев. По составу и социальным устремлениям, определяющим мотивы действий, эта группа составляет резерв сторонников модернизации в израильском обществе. Но по своему радикализму и энергии она имеет потенцию вырваться в авангард. Унаследованные от жизни в России специфические культурные стереотипы, сохраняемые в языке общения и семейных традициях, способствуют этой тенденции. (Написано для Университетского сборника 2003 г.)

Прежде чем обсуждать настроение и амбиции русской общины в Израиле, имеет смысл привести взгляд известного американского антрополога и философа Клиффорда Гирца на современную ситуацию в остальном мире:

«Сосуществование во многих странах различных, укорененных в истории, традиций наряду с бесконечной прогрессией различий, делений внутри делений, конфликтов внутри конфликтов, вызывает вопрос, который невозможно больше игнорировать: каким образом в столь многомерном мире продолжают сохраняться политические, социальные и культурные самоидентификации?.. Если идентификация без взаимного согласия фактически не исключение, а правило повсюду, в Индии и США, в Бельгии и Гвиане, на чем она держится? Термин национализм (или этноцентризм) в наше время ничего не

определяет. Когда на вопрос — кто ты такой? — человек может ответить: израильтянин, мусульманин, зулус, араб, австралиец, баварец, европеец, негр, цыган, или маронит — невозможно предложить теорию, которая разумным образом объединит все эти понятия... Фактически наш мир состоит скорее из по-разному стиснутых и взаимопроникающих несовместимостей, чем из однородных единиц, которые можно было бы назвать нациями (или народами)... Если мы, философы, этнографы, историки, хотим сказать хоть что-нибудь осмысленное об этом разрозненном мире неустанно воспроизводящихся идентификаций и нетвердо определенных связей, нам следует сделать много поправок к нашему образу мыслей. И первым делом мы должны открыто и откровенно признать реальность разделений без пустого морализирования и банальностей о нашей общей природе...»

(Клиффорд Гирц, «Доступный свет», Принстон Унив. Пресс, 2000.)

Одним словом, и в головах специалистов здесь тоже сплошь темный лес и мы можем беспрепятственно резвиться на своей лужайке.

Ура-идеология

Были времена в Израиле, когда всех мужчин до 54-х лет раз (а то и два) в году гоняли на военную, резервную службу («милуим»), так что наш сионистский энтузиазм подвергался жестокому испытанию. Однажды, в ходе моей резервной службы сержант объяснял мне, как надо атаковать огневую точку на холме: «Беги зигзагом, стреляй без перерыва, бросай гранаты и кричи громче.» Будучи совсем недавно из СССР, я был ориентирован на идеологию и спросил его, что надо кричать. «Неважно, что кричать — главное, ори во весь голос» — ответил деидеологизированный израильтянин.

Наверное, не только ему было все равно, что кричать. Разве слово «ура!» по-русски что-нибудь означает?

Мне рассказывали о 15-летнем парне — добровольце из России, у которого в драматические моменты войны за независимость Израиля, вырывалось только: «За Родину, за Сталина!» Конечно, это означало не более, чем «ура!». Хотя вряд ли он согласился бы кричать: «Дойчланд юбер аллес!»

Громадное большинство людей никогда не нуждалось в идеологии, чтобы продолжать свое существование. Однако, у них была религия. И для нормальной человеческой нужды в упорядоченности жизни (хорошие и плохие поступки, «свои» и чужие люди, рабочие и праздничные дни, свадебные и похоронные обряды) целые тысячелетия этого, как будто, было достаточно. Если в бою они и кричали «С нами Бог!», это означало не больше, чем «ура!». К тому же и противник обычно кричал то же самое.

Непрерывность жизни поддерживается нормой, но импульс развития ей придают ненормальности, отклонения. В пору всеобщего господства религий это были секты, толки, ереси. Тогда-то возник и новый лозунг «За свободу!», который уже отличал идейных бойцов от их противников. После серии европейских революций идейными бойцами стали все, и с отступлением религий, место вдохновляющих ересей заняли идеологии — нерелигиозные по форме системы мысли, задающие человеку общий подход ко всем явлениям жизни.

Как без религии отличить, что хорошо, а что плохо? Достоевский, например, считал, что это вообще невозможно. («Если Бога нет, то все позволено!».) Марксистско-ленинская идеология, однако, давала нам исчерпывающую, хотя и чересчур простую, формулу: «хорошо все, что полезно для дела пролетариата». Многих это убеждало. А в чем состояло дело пролетариата? — Тут начинался туман, и меньше всех был способен ответить на этот вопрос сам пролетариат.

Не многим лучше обстояло дело и в сионизме. Когда после трех лет сионистской борьбы я прибыл в Израиль,

со мной разговорился по душам уполномоченный правительства и спросил, почему, все-таки, я выбрал Израиль. Я не нашелся, что сказать, кроме того, что, мол, Израиль еврейское государство, и, поскольку я как раз еврей... Он засмеялся: «Вот, и неправда! Вы совсем не по-еврейски поступили. Настоящие евреи бегут в Нью-Йорк...» Потом он, правда, добавил: «Впрочем, я пошутил.» — Но во всякой шутке...

Хотя идеологии по форме не религиозны, в содержательной основе любой из них лежит произвольное, на веру принятое допущение — что дело пролетариата, допустим, стоит усилий или, что евреям действительно нужно государство.

Религии все-таки при этом опираются на авторитет и опыт тысячелетий. Человек уже рождается в той или иной вере, и ему не всегда приходит в голову проверять убедительность ее догматики. Идеологии же основаны на убеждениях, сложившихся в умах немногих оригиналов и сравнительно недавно. Знакомясь с новой идеей, человек обнаруживает себя перед ответственным личным выбором при острой нехватке данных. Никакая общая система мысли не может быть подвергнута опытной проверке. Сомнения и разочарования неизбежны. Идеология — не наука. Распространенность ее ничего не доказывает. Ее крушение ничего не опровергает.

Привлекательность и ценность первоначально принятого допущения (стоит ли пролетариат того, чтобы за него бороться, или еврейство, чтобы его сохранять) определяются на вкус, на глаз. Был ли сделан выбор по внутреннему влечению (в наше время это зовется экзистенциализмом) или заодно с окружающими (куда все, туда и я!) — он остается актом веры.

В X1X в. в моде были наукообразные теории развития общества. Идеологии тогда маскировались под науку. В результате, спустя полвека, когда мы стали свидетелями грандиозных судорог народов, классовая или расовая

«теории» для многих служили оправданием их варварства. Это даже не значит, что в самих теориях не было смысла. Любая идеология подхватывает какие-то частные черты реальности и всегда имеет соприкосновение с природой вещей. У разума есть много путей упрощения реальности. Но нет разумного пути охватить действительность в ее целом.[1)]

В конце XX-го века стало модно отрицать свою зависимость от идеологий, и потому мысль большинства людей попала в плен случайных впечатлений: поветрий в масс-медиа, обаяния кинозвезд и теледикторов, кратких словесных формул («мейк лав, нот вор!») и местных колдунов. В науке, литературе и политике это зовется теперь постмодернизмом. Как выразил это уже цитированный Клиффорд Гирц: «Навязший в зубах постмодернизм подсказывает, что всякий разумный подход вообще должен быть отброшен как реликт поисков «сущего», абсолютного, вечного. Никаких общих заключений о культуре, традиции, идентификации или еще о чем-либо не должно быть. Есть только не укладывающиеся в общие схемы лица и события. Нас убеждают примириться с серией описаний, не связанных никакой последовательностью.»

Но тогда не следовало бы ожидать никакой последовательности и в людском поведении. Между тем, повсюду (и особенно в странах, где постмодернизм, как интеллектуальное течение, наиболее распространен) от современного человека настойчиво требуется неуклонная последовательность (даже упорядоченность) поведения, включающая следование законам, общепринятым нормам и просто предрассудкам окружающих. Чем меньше последовательности обнаруживается в истории, идеоло-

---

[1)] Карл Поппер, впрочем, еще в 30-ых г.г. в своей критике историцизма назвал все эти «теории» гипотезами и одним этим словом снизил статус всеохватывающих идей до правильного уровня догадок («Честь безумцу, который навеет...»).

гии и культуре «цивилизованных» стран, тем больше ее взваливается на плечи «цивилизованного» гражданина, который должен быть теперь прямо фантастически дальновидным и сдержанным («политикалли коррект»), чтобы заслужить одобрение общества.

На самом деле человек не может обойтись без идеологии — т. е. организации его опыта в некой обобщающей (упрощающей) системе взглядов. Если не ожидать от нее слишком многого («марксистская теория всесильна, потому что она верна...») всякую более или менее когерентную культурную схему можно назвать идеологией.

Но можно также и теологией[2)], а в применении к массам, — и мифологией. Сто лет назад, чтобы стать марксистом, считалось необходимым изучать «Капитал», а сегодня любую «идеологию» можно подхватить из газетных заголовков. Это — совсем недалеко от громкого «ура!».

Тонкое филологическое различие между авторитетными идеологиями и популярными мифами, может, и заметно некоторым интеллектуалам, но совершенно неуловимо для большинства приверженцев. Демократический мир строится на мифах, которые овладевают массовым сознанием, и грозит обрушиться всякий раз, как влияние этих мифов ослабевает.

Для интеллигента дело не в том, чтобы пытаться (хотя бы перед самим собой) выдать эти мифы за точное знание, а в настоятельной потребности прочувствовать, какой из них в самом деле соприроден его душе и не мельтешить. Понимание мифологической природы своих посылок не должно приводить культурного человека к потере ориентации, а скорее к строго повышенному вниманию к основаниям своей культуры. Такое внимание, повидимому, только и ведет к осмысленному культурному творчеству. Оно дается не всякому. Целый спектр сосуществующих, (и часто несовместимых) мифологий незримо владеет

[2)] По определению Бертрана Рассела: «Все догмы, коль скоро они превышают точное знание, принадлежат теологии.»

сознанием людей, уверенных в своей освобожденности от всяких предвзятых идей. Это особенно верно в периоды кризисов и катастроф.

«Собачье сердце»

Об идеологии людей, которые отрицают свою зависимость от идеологии, лучше всего судить по текстам — историям, книгам или фильмам — которые среди них популярны. Как пишет другой современный исследователь культуры: «Общепринято рассматривать искусство изложения («нарратив») — песни, драму, роман — скорее как украшение жизни, чем как необходимость... Однако, мы сознаем нашу культурную принадлежность и наиболее ценимые верования именно в форме описания, причем часто захватывает нас не столько фабула, «содержание» рассказа, сколько искусство повествования... Рассказ о себе и о других — себе и другим — есть наиболее ранний и естественный способ организации нашего опыта... Люди приписывают миру смысл рассказом о нем. Они используют свою описательную способность для моделирования реальности... Мифы, сказки, истории суть инструменты мышления для конструирования значений..»

(Джером Брунер,»Культура воспитания», Гарвард Унив.Пресс,1996)

Культурный разрыв между европеизированным меньшинством и остальным народом в течение веков был камнем преткновения в российской национальной жизни и служил источником неутолимого комплекса вины русской интеллигенции.

В едкой, фантастической повести «Собачье сердце»[3)] Михаил Булгаков с блеском продемонстрировал, как да-

[3)] Вообще, похоже, что при Советской власти писателям удавалось откровенно высказаться только в фантастической форме — Е.Замятин, Б.Пильняк, А.Платонов и другие (См. статью Абрама Тэрца — Синявского — «Социалистический реализм»).

леко ушел от этих былых самоуничижительных комплексов русский интеллигент вскоре после Революции, уже в 20-ые годы:

— Гениальный ученый, хирург, проф. Преображенский, ради эксперимента превращает голодного бродячего пса в человека. Из милого, ласкового пса, Шарика, в результате научно продуманной (вот она — идеология!) операции вышел хамоватый и смертельно опасный «новый гражданин», тов. Шариков, который неожиданно скоро оказался гораздо лучше приспособлен к условиям массового общества («диктатуре пролетариата») чем сам ученый, наивно на людях провозглашавший: «Да, я не люблю пролетариата!»

От мести распоясавшихся гегемонов — соприродных Шарикову по духу людей — профессора, впрочем, спасают его собственные темные связи с власть имущими (т. е. по существу такими же Шариковыми). В этом пункте писательский дар Булгакова (а, может, и собственный жизненный опыт) позволил ему предвидеть двусмысленные взаимоотношения интеллектуальной элиты с Советской властью на пятьдесят лет вперед.

После некоторых моральных колебаний профессор все же решается насильственно вернуть своего проблематичного питомца обратно в собачье состояние: «Пес видел страшные дела. Руки в скользких перчатках важный человек погружал в сосуд, доставал мозги, ... упорный человек, настойчивый, все чего-то добивался, резал, рассматривал, щурился и пел: — К берегам свяще-е-енным Нила...»

Возвращенный в естественное состояние пес увидел творческого человека за работой и природная иерархия, нарушенная было незаслуженным обретением им человеческих прав, восстановилась...

Такая аллегория, конечно, ничего не доказывает и никак не подвигает к решению реальную социальную проблему. Но талантливый текст обладает большой суггес-

тивной силой, и повесть, широко разошедшаяся по стране только в 60-х в САМИЗДАТе, имела шумный успех. Она, конечно, сыграла свою незамеченную роль в формировании того поразительного отчуждения[4], которое стало столь обычным в интеллигентских кругах в России и позволило им так легко принять исход евреев в 70-х и последующее повальное бегство специалистов в 80-90-х.

В отличие от интеллигенции дореволюционного времени, которая включала весь образованный (т. е. состоятельный) слой российского общества, новая советская популяция состояла только из наемных (недооплачиваемых) профессионалов, «технарей», «образованцев», миллионы которых создала Советская империя для своих невероятно разросшихся нужд, совершенно не предусмотрев адекватного

удовлетворения нужд этой группы. Новая интеллигенция не имела никаких оснований брать на свой счет былые дворянские самообвинения. И через два поколения после революции этот новый класс легко принял профессионально-кастовую гордыню Булгакова, как свою.

Постиндустриальная революция на Западе привела к некому повышению роли (и, соответственно, самоуважения) специалиста и в СССР. Ежедневно решая технологические задачи, ставившие в тупик неквалифицированное (несовременное) начальство, специалист одновременно убеждался в своем потенциальном могуществе и социальном унижении. Самосознание этой группы никогда не было выражено в связной форме из-за очевидных цензурных ограничений, но неоднократно прорывалось в частных выступлениях и публичных призывах к необходимости способствовать «развитию талантов».

---

[4] «В глазах Булгакова только интеллигент и имеет право называться человеком.» (Б. Сарнов, «Пришествие капитана Лебядкина», изд. Пик, РИК «Культура», Москва, 1993).

Для евреев эта ситуация была еще усугублена их фактическим неравенством. Находились начальники (и целые отрасли — Институт Научной Информации, Институт Высоких Температур, Институт Математической Экономики), которые сознательно пригревали у себя способных евреев, зная, что от них можно не ожидать карьерной конкуренции: продвижение по социальной лестнице или премирование для них всегда будет затруднено.

Не все евреи, конечно, принадлежали к интеллектуальной элите. Однако, множество простых людей в их среде в какой-то степени отождествляло свои амбиции с претензиями образованного круга и воспринимало дискриминацию интеллектуалов в ряду прочих обид еврейского народа.

«Малый народ»

Будучи по преимуществу квалифицированным меньшинством в обществе, советские евреи за два-три поколения сформировались не столько как этническая, сколько, как социальная группа.

Антиинтеллигентская политика властей в СССР так часто являлась в форме антисемитизма, что многие евреи (впрочем, может быть, и некоторые неевреи) невольно привыкли смешивать две эти разные группы.[5)]

Когда в 60-х по капризу Хрущева в высших учебных заведениях были введены льготы для выходцев из рабочего класса (и соответственно усилена жесткость по отношению к интеллигенции), обе стороны — и потерпевшие, и исполнители — были уверены, что эта мера направлена против абитуриентов-евреев.

[5)] И два соответствующих понятия из разных рядов, так что на вопрос специалиста-антрополога, приведенный в начале статьи, один ответил бы — «я еврей», а другой — «я физик». Поскольку реакция Советской власти на оба ответа лучше всего характеризуется репликой из абсурдной пьесы Даниила Хармса — «Ты — говно!» — всегда наличествовала основа для их солидарности.

В России вышел недавно современный, более объективный учебник новейшей истории (наконец-то, свободный от дела пролетариата), написанный саратовским профессором Кредером — поволжским немцем. Немедленно обрушилась на него лавина телефонных звонков и писем с угрозами и предложениями убираться в Израиль. И учебник, конечно, не стал общепринятым в российской школе.

Тут дело не только в фамилии Кредер. Объективность ведь тоже форма идеологии. Она основана на распространенной в европейских кругах вере, что истина (вещь в себе) существует независимо от наших (ну, скажем, классовых или национальных) интересов. Эта древняя идея, вообще говоря, тоже недоказуема и далеко еще не всюду прижилась, хотя автомобили, самолеты, холодильники и правоохранительные системы основаны именно на ней. Евреи в России, действительно, часто ценят объективный подход больше других. Может быть, это происходит потому, что он дает им субъективное ощущение безопасности в их особом положении и возможность ссылаться на «мировое общественное мнение», на «цивилизованные страны», на «Европу».

Социологи знают, что в переходные, кризисные периоды в обществе спонтанно возникают замкнутые группы с резко отличным стереотипом поведения («малый народ»), оказывающимся в вольной или невольной оппозиции к общепринятым ценностям и существующему порядку вещей. Члены таких групп перестают чувствовать свое родство с окружающими и становятся диссидентами — чужими среди своих. Так появились в свое время христиане в Римской империи, мусульмане в Мекке, протестанты в Европе, буддисты в Индии, большевики в России, сионисты в Черте оседлости...

Диссиденты в СССР появились задолго до того, как прижилось само слово. Один из бывших диссидентов, академик И. Шафаревич, правильно заметил, что евреи в России почти автоматически попадают в эту рубрику —

«малый народ». Мудрено было бы им в нее не попасть. Он, однако, не захотел бы заметить, что и проф. Кредер со своей объективностью, да и он сам со своим православием, попадали в нее с такой же неизбежностью. В кризисном обществе, каким была обширная Советская империя, хватало места не для одного «малого народа».

Здесь кажется весьма уместной также и идея Льва Гумилева о консорциях — сплоченных группах пассионариев. Такая группа диссидентов, утверждающая новый стиль поведения в обществе, превращается порой и в зародыш нового этноса[6]:

«Формирование нового этноса зачинается непреоборимым внутренним стремлением к целенаправленной деятельности, всегда связанной с изменением окружения, общественного или природного, причем достижение намеченной цели, часто иллюзорной или губительной, представляется самому субъекту ценнее даже собственной жизни... Начав действовать, такие люди вступают в исторический процесс, сцементированные избранной ими целью и исторической судьбой. Такая группа может стать разбойничьей бандой викингов, буддийской общиной монахов, религиозной сектой мормонов, орденом тамплиеров, школой импрессионистов...

Чтобы войти в новый этнос в момент становления, человеку нужно деклассироваться по отношению к старому.»

Окончательно «деклассированными» по отношению к советскому народу евреи оказались только в 60-х годах.

Взаимоотношения квалифицированного меньшинства и народной массы далеки от простоты во всех странах. Тому, кто строит себе иллюзии относительно цивили-

---

[6] Л.Н.Гумилев, «Этногенез и биосфера Земли», 1979. Лев Гумилев замечательно формулирует свои феноменологические наблюдения. Приводя цитаты из его трудов, я вовсе не собираюсь солидаризоваться с остальным содержанием его теорий.

зованных наций, следует посмотреть по телевизору на английских футбольных болельщиков. Арнольд Тойнби так выразился по этому поводу : «Западным науке и технике, рожденным, чтобы превращать знание в силу и богатство, присуща известная эзотеричность. Они возникли как результат напряженных интеллектуальных усилий творческого меньшинства. Главный источник нестабильности, угрожающей существованию этой «соли Земли» заключается, как раз, в том, что большинство людей, увы, попрежнему «пресно»... Стагнация масс является фундаментальной причиной кризиса, в который упирается Западная цивилизация... В каждой цивилизации огромные массы народа не выходят из состояния духовной спячки, так как подавляющее большинство ... индивидуально ничем не отличается от человека примитивного общества».

В старой России такая идея вошла бы в противоречие с традиционным интеллигентским народолюбием. Но в СССР «человек примитивного общества» оказался вдобавок вооружен «самым передовым мировоззрением», которым он размахивал как каменным топором. Эзотеричностью науки Тойнби называет необходимость использования в ней понятий далеко выходящих за пределы житейского опыта среднего человека. На советском языке это значит — вне контроля партийной идеологии. Эта эзотеричность — «идеалистические извращения в физике, химии, биологии и языкознании» — в течение всего периода существования СССР была неизменным поводом для раздражения властей и, одновременно, единственным — хотя и очень непрочным — убежищем для социально ущемленных элементов населения, в конечном счете, диссидентов.

В течение многих лет в СССР диссидентство, в тюрьме и на воле, было тем единственным привилегированным кругом, куда легко принимали евреев. И хотя власть поставила свои барьеры и на пути в науку, ее

эзотеричность[7] часто служила формой социальной защищенности для многих и разнообразных маргиналов.

Интеллектуализм — повидимому, было тем немногим из еврейского наследия, что еще осталось невыкорчеванным за десятилетия советской власти. При окончании мною университета только две категории наших студентов были на любых условиях готовы к трудной карьере профессионального ученого — евреи и лица с подмоченной анкетой: дети священнослужителей и репрессированных, побывавшие в немецком плену, на оккупированных территориях, и т. п.

Повидимому, большинство народа повсюду живет по инерции, не выходя за пределы рутины. Однако, во всех странах присутствует и пассионарное меньшинство, которому действительно необходимо ощущать вдохновение, особый подъем, чтобы совершать те ежедневные сверхусилия, которые только и обеспечивают существование и развитие цивилизаций. Такое же пассионарное меньшинство необходимо и для всякого социального творчества, т. е. реформ, и только такое же меньшинство способно на сверхусилия, требуемые серьезным историческим действием, революцией или массовым переселением. Вдохновение активных меньшинств в наше время, как и тысячи лет назад, питается мифообразующими идеями.

«Понедельник начинается в субботу...»

Советская интеллигенции породила и своих собственных певцов. Идеология избранного, облеченного знанием, меньшинства в чуждом культурном окружении с

---

[7] «Интеллигенция, живущая в условиях девальвации общих понятий и высоких слов, ... видела в науке вообще и прежде всего в ее новых «авангардистских» жанрах (кибернетика, информатика, семиотика, генетика, бионика), объявленных еще недавно вне закона, естественного противника «идеологии»... Наука — воплощение бескомпромиссной истины, наука — антипод идеологии, превратилась в объект поклонения и символ веры...» М.Каганская, «Страна и Мир», Т. 11, 1986.

наибольшим блеском была выражена в творчестве А. и Б.Стругацких. Она, конечно, никогда не была записана в виде связного трактата, но довольно прозрачно выражена в серии фантастических романов и повестей из мнимой истории фантастических стран.

Занимательность и остроумие этих книг обеспечили им очень широкую известность и замаскировали идеологический характер развитой мифологии[8]. Основная идеологема Стругацких — существование непреодолимого разрыва между творческим духом (и историческим сознанием) интеллигенции и косным бытием огромного большинства народа — психологически (а, может быть, и фактически?) соответствовал российской ситуации 60-х годов.

Трудно (да и ни к чему) в общем виде формулировать, чем отличались российские ассимилированные евреи от этнических русских, но зато очень легко сказать, чем и те, и другие интеллигентские семьи в России отличались от всех остальных.

В современных интеллигентских (и, особенно, еврейских) семьях ребенок в той или иной степени оказывается центром внимания всей семьи и с младых ногтей привыкает подавать свой голос. В нем, т.о., еще до включения общеобязательного оболванивания формируются зачатки того персоналистского мировоззрения, которые мешают ему впоследствии окончательно слиться с коллективом. Этот, отчасти воспитанный, нон-конформизм, а не просто высшее образование, собственно, и делает их интеллигентами.

Герои Стругацких, однако, больше чем просто балованные дети. Они еще и генетически одаренные пассионарии, которые ощущают в себе лишь одну (но пламен-

---

[8] «Читателей привлекала их вполне недвусмысленная оппозиционность режиму. ... Чтение Стругацких стимулировало интеллектуальные ереси и бунты.»

(Марк Амусин «Братья Стругацкие», Иерусалим 1996).

ную) страсть — к познанию, к интеллектуальной игре. Несколько дней, проведенных без книг (новой информации) делает их больными («Гадкие лебеди»).

Напротив, все остальные люди, повидимому, склонны удовлетвориться перевариванием пищи («Второе нашествие марсиан»), примитивными развлечениями или наркотиками («Хищные вещи века»).

Страсть этих избранных к творческой работе индивидуумов соединенная с бесстрастным (якобы бесстрастным, потому что он включает много страсти) рациональным анализом, позволяет им творить технологические чудеса и возвышаться над повседневным окружением: «Они знали кое-какие заклинания, умели превращать воду в вино и каждый из них не затруднился бы накормить пятью хлебами тысячу человек. Но магами они были не поэтому... Они были магами потому, что очень много знали. ... Они приняли рабочую гипотезу, что счастье в непрерывном познании неизвестного ...» («Понедельник начинается в субботу»).

Она, эта страсть, единственная, наполняет жизнь содержанием и, может быть, только она удерживает мир от глобальной катастрофы. Она превращает своих пассионариев в небожителей в прямом («Волны гасят ветер») и, еще больше, в переносном смысле («Трудно быть Богом»).

Несмотря на свои фантастические сюжеты, Стругацкие очень точно передают типологию и атмосферу российских отраслевых институтов и «шарашек». Этика этой технологической элиты аналогична кальвинистской доктрине избранности в представлении Макса Вебера: специалист предопределен своей одаренностью (т. е. свыше) к высокой миссии, а его профессиональные достижения доказывают и подтверждают его высокое назначение и одаренность. Он должен напряженно работать, чтобы доказать себе и другим, что он действительно принадлежит к тому самому редкому меньшинству, которое только и способно работать напряженно. Такой ход мыслей приводит, если не к успеху, то к внутреннему удовлетворению.

Он также создает условия для жесткой (пуританской) дисциплины рабочего поведения, составляющей яркий контраст ко всеобщей российской разболтанности.

Конечно, это мифология технократов. Она в прошлом сочеталась со снисходительным отношением к несовершенству человеческой природы, называемым в просторечии либерализмом, но в критической ситуации чревата взрывом насилия (как, собственно, и подсказывала повесть М. Булгакова и логика диссидентства).

В «Трудно быть Богом» сгоряча, а во «Втором нашествии марсиан»,»Обитаемом острове» и «Хищных вещах века» уже обдуманно, интеллектуалы берут в руки оружие.

Хотя этот избранный народ порой испытывает унижения от невежественных варваров, господствующих в сказочно-абсурдном, но узнаваемо российском мире («Сказка о Тройке»), хотя их нон-конформизм, неспособность проникнуться массовыми психозами превращает его членов в гонимую, угнетенную касту, (диссидентов — «мокрецов» — «выродков» — «интелей»), в конечном счете их незаметная, чудотворная работа сотворит новое небо и новую землю («Гадкие лебеди»). Мистические Силы природы (если они есть) также признают паритет творческих личностей и считаются с результатами их работы («За миллиард лет до конца света»).

Майя Каганская в своем эссе, посвященном двум повестям, «Жук в муравейнике» и «Волны гасят ветер», написанным в 80-х («22», NN 44, 55), окончательно отстраняя все писательские недоговорки и неопределенности, дописывает: «Ситуация выглядит так, будто человечество распадается на два вида. ... Появилась группа людей, которые по своим физическим, психическим и интеллектуальным данным настолько же превосходят «гомо сапиенс», насколько современный человек превосходит неандертальца... Эти сверхлюди ... к человеку относятся так же, как взрослый — к ребенку... Даже жить они

предпочитают в Космосе... Открытый Космос и высшая стадия существования Разума, — единственное, что их интересует...»

После ряда остроумных выкладок она заключает: «Еврейская тема тотальна в обеих повестях... Речь идет о еврейской эмиграции.»

Легко догадаться, что воображению писателей не столько евреи («творческая интеллигенция», конечно) представляются сверхлюдьми, сколько термин «гомо сапиенс» звучит, пожалуй, слишком гордо в применении к массовому обществу, как оно им видится. Впрочем, более важными кажутся мне не полускрытые намерения авторов, а бурная реакция читателей, использовавших возможность такой интерпретации задолго до ее опубликования.

Подобно тому как преступные сообщества во всех странах вырабатывают свой слэнг, свою этику и эстетику, практикуют нетрадиционное словоупотребление, специфические слова и выражения («феня», «арго»), советская интеллигенция, десятилетиями ощущавшая себя отчасти вне закона (а в лице многих своих выдающихся представителей и побывавшая в местах заключения), выработала свой эзотерический язык и кодекс поведения, по которому члены сообщества узнают друг друга. Официальная культура не дает внешнему наблюдателю никакого представления о фактической (подпольной) духовной жизни советского человека. Эту особенность советской ситуации Каганская характеризует таким образом: «В советской литературе тексты только на одну треть пишутся авторами, а на две — дописываются читателями. Здесь действует... техника кроссворда: составляют кроссворд писатели, заполняют — читатели.» Конечно, Стругацкие — любимые писатели советской интеллигенции — писали на эзоповом интеллигентском языке того времени и в пределах эстетики того круга.

И в самом деле, что еще оставалось думать читателю-еврею после прочтения в 1968 году в СССР такого пассажа : «Все равно я уеду, — думал Перец ... — все равно я уеду... Не буду я играть с вами в пинг-понг, не буду играть в шахматы, ... не хочу я больше петь вам песни, считать вам на «мерседесе» (т. е. теперь это значит, на компьютере), разбирать ваши споры, ...читать вам лекции, которых все равно не поймете. И думать за вас я не буду, думайте сами, а я уеду... Все равно вы никогда не поймете, что думать — это не развлечение, а обязанность...»

(«Улитка на склоне»).

Еврейская революция

Невозможно предугадать, во что бы вылился со временем рост числа диссидентов в СССР, если бы Шестидневная война неожиданно не переломила ситуацию и не ввела новое измерение.

Я не считаю, что Шестидневная война оказала прямое вдохновляющее влияние на советских евреев, как думают западные социологи. Внутренние факторы влияли на них гораздо действеннее. Но эта война существенно изменила политику советских властей и, т.о., повлияла на евреев косвенно.

Паническая реакция советского правительства на победу Израиля выразилась в том, что оно стало представлять его как передовой отряд Западной цивилизации, а Сионистский заговор, как якобы решающий фактор мировой политики.

Только этого советским евреям и не хватало. Наконец-то в мировой истории нашлась для них достойная роль. Стало, наконец, интересно читать советские газеты — всегда найдешь что-нибудь новое об Израиле. Сионизм вместо жалкой разновидности «буржуазного национализма» стал чем-то реально противостоящим омерзевшему «социалистическому лагерю». Молодежь повадилась толпами водить хороводы возле сина-

гог. Возрос интерес к сионистским кружкам и ивриту. И простой народ стал теперь поглядывать на евреев с неким полуодобрением («вмазали черножопым!»).

Партийные пропагандисты называли теперь «сионистским» все еврейское и настойчиво напоминали обрусевшим евреям, кто они на самом деле есть. Антисемитизм никогда не исчезал из российской жизни, но теперь он приобрел остро политический характер и льстящую евреям терминологию. Сотрудники КГБ постоянно клеймили диссидентов сионистами. Один из партийных вождей (кажется, Демичев) в доверительной речи к московскому партийному активу (распространившейся немедленно по всей стране) объяснил, что советскому обществу не так опасны, собственно, «открытые» евреи, как половинки и четвертушки, скрытый «сионизм» которых «не сразу виден»... Если бы в России не было прочной традиции недооценивать интеллект номенклатуры, можно было бы подумать, что они весьма дальновидно перенаправляют назревший социальный конфликт в хорошо им знакомое «национальное» (межнациональное) русло. Эта политика вскоре принесла плоды.

Я помню, как на какой-то диссидентской сходке в 1968 г. участникам пришла в голову «новая» идея сосчитать число евреев (с вышеупомянутыми демичевскими дробями) среди присутствующих. Оказалось, что их 16 из 20. Стали считать и подписи под письмами протеста — процент оказался еще выше — 85.

Это произвело впечатление. Известный математик А.Есенин-Вольпин обьявил себя «сионистом» без всякого понятия, что это значит, и несмотря на свое прямое родство с русским национальным поэтом. Поэт Наум Коржавин (Э. Мандель) потребовал «справедливого» участия всех (собственно,двух) национальностей в демократическом движении. Справедливым он предлагал считать соотношение 50:50. Академический перевод «Кумранских свитков» в книжных магазинах раскупили в считанные дни. Редкие люди с семейными еврейскими корнями,

говорившие на идиш или помнившие еврейские песни, превратились в желанных гостей во всякой компании. Даже шутки по поводу еврейских ритуальных правил стали редкостью. На интеллигентских пьянках стало модно произносить «оригинальный» тост: «В следующем году — в Иерусалиме!».

«Идея нации неотделима от политического сознания... Нация рождается в воображении, и, ее образ, однажды возникнув (укоренившись в воображении), приспосабливается к внешним условиям, моделирует себя и преображает.» (Б. Андерсон, «Воображаемые общности. Происхождение и распространение национализма», Лондон, 1983)

Пусть только термин «воображаемый» не обманывает читателя. Оттого, что нации рождаются как воображаемые общности, они не перестают быть сугубо реальными. Вино и хлеб в церковном ритуале обращаются в кровь и плоть Христа скорее в воображении, чем в их химическом составе, но власть Церкви над миллионами людей реальна. Разницу между сербами, хорватами и боснийцами можно считать воображаемой. Их разные религии и их историческая память не изменили ни их генетику, ни язык. Но их смертельная вражда и гибель десятков тысяч людей более, чем реальны.

Пытаясь понять и объяснить феномены, носящие эмоциональный (и потому неизбежно субъективный) характер, мы невольно рационализируем то, что заведомо иррационально и реально именно поэтому. «Этнос — это свойство вида гомо сапиенс группироваться так, чтобы можно было противопоставить себя и «своих» (иногда близких, а часто довольно далеких) всему остальному миру... Этнические различия не мыслятся, а ощущаются по принципу: это «мы», а все прочие — иные...»[9)]

[9)] Л.Гумилев «Древняя Русь и Великая Степь»,Москва,1994. И там же: «Нет этноса, происходящего от одного предка. Все этносы имеют двух или более предков.»

Можно было бы подумать, что Лев Гумилев внимательно следил за возникновением сионистских кружков и формированием нового еврейского этноса в России. Одинокие пассионарии, рассеянные репрессиями по всей стране, после Хрущевских реабилитаций снова стали собираться в кружки. Как проницательно отмечал Гумилев, зародыши нового этноса (консорции) подбираются не по сходству взглядов или склонностей (и даже не по этническому родству), а скорее по принципу дополнительности: сионистская одержимость одних дополнялась антисоветской идиосинкразией других и профессиональной неудовлетворенностью третьих. Замкнутые кружки, десятилетиями существовавшие вокруг пассионарных, харизматических фигур (В. Свечинский, М. Гельфанд, Е. Спиваковский) вдруг получили новую жизнь и множество последователей среди технической молодежи и студентов. За считанные месяцы сионисты превратились из периферийной группы диссидентов в широкое и престижное оппозиционное движение. Объявив открытую войну евреям, советское руководство вывело их из подполья и, в сущности, не оставило иного выхода.

Группа обвиняемых на «Ленинградском процессе» уже соединила в себе все элементы, из которых составилось новое движение: Эдуард Кузнецов, прошедший тяжелую школу диссидентства, Марк Дымшиц — смертельно оскорбленный дискриминацией специалист — семья Залмансон — люди с живыми еврейскими корнями и Иосиф Менделевич — человек с религиозной мотивацией.

Субъективные состояния объективно существуют и определяют события. Поэтому я считаю оправданным и конструктивным в научном смысле рассматривать «русских» евреев в Израиле, как вновь возникшую общность, вместо того, чтобы искать едва различимую нить преемственности от наших идишистских предков. В наше время воображаемое то и дело преодолевает действительное. Торжество материализма и устранение религии из сознания масс уравновесилось в XX в. хаотическими

прорывами субъективного подхода в политике и психологии народов.

Воображение, т. е. сознание, предопределяющее бытие, социальный протест («рессентимент») и тяга к неведомому, запретному, а не непосредственная необходимость, привели в конечном счете миллион потомков советских интернационалистов в Израиль, и ничего реальнее этого вклада в историю евреев нельзя вообразить.

На Обетованной Земле

Мифология, толкающая людей на решительные действия, вовсе не обязана быть адекватной. Всякая революция черпает свое вдохновение из мифов, абсолютизирующих и преувеличивающих ее требования. Еврейская революция в России преувеличивала не столько свой национализм, сколько свою интеллектуальность.

Здесь наметилась первая трещина между сионистскими активистами в России и израильским истеблишментом. Израильское правительство, опасаясь международных осложнений и репрессий против евреев, на которые так легки были советские власти, всячески старалось затушевать социальный характер еврейского движения в СССР и старательно подчеркивало исключительно национальный и гуманитарный характер проблемы, избегая всего, что могло бы быть понято как критика советской системы. Напротив, еврейские активисты, почувствовав свою ответственность и международную поддержку (организованную, конечно, из Израиля), все больше склонялись разоблачать тоталитаризм и ассоциироваться с диссидентами-правозащитниками. Осторожная израильская позиция была ими интерпретирована как результат аморального оппортунизма и идеологической близости правящей партии «Авода» к коммунистам.

Миф, который был необходим, чтобы оторваться от материнской почвы, не умер по миновении надобности. На земле, текущей молоком и медом, закономерно об-

наружилось то же коренное противоречие между творческим, идеологически мотивированным меньшинством и косной массой (см. выше цитату из А. Тойнби).

В качестве косной массы теперь временами выступал практически весь израильский народ («они»), который никак не мог взять в толк, что именно российским евреям нужно: «Квартира у вас есть? Работу нашли? Машину купили? ... ??»

— Все это, действительно, появилось у репатриантов первого призыва в среднем за три года. Но им не хватало ... вдохновения.

Революция, совершившаяся на советской почве требовала продолжения. Бывшим диссидентам в Израиле не хватало справедливости. Технократам не хватало технического прогресса. Людям с еврейскими корнями не хватало в стране еврейского духа (идишкайт). Религиозным неофитам[10] в еврейском государстве

решительно не хватало иудаизма. Сионистские активисты ясно ощущали недостаток сионизма в общественном настроении. Остальные вынуждены были принять одну из этих готовых формул, чтобы как-то обозначить свою недоудовлетворенность ситуацией, хотя зачастую им не хватало и более насущных вещей.

Обнаружилось, что пассионарность прибывшей группы намного превышает среднеизраильский уровень.

Первая волна не смогла заметно повлиять на политическую температуру Израиля из-за своей малочисленности. Но миллионная алия 90-х, не принеся новых идей, одним своим количеством воплотила смутную мечту российских сионистов в политическое действие. Первостепенной задачей для русских евреев стало — осознать свой интерес в быстро меняющейся политической ситуации. Бывшие активисты Н. Щаранский, Ю. Штерн,

[10] Для духовно сильного «русского» религиозного меньшинства израильский религиозный истеблишмент оказался также недостаточно духовен.

Ю. Эдельштейн, В. Браиловский и выдвинувшиеся в Израиле А. Либерман, Р. Бронфман, М. Нудельман, что бы они ни обещали массовому избирателю, вошли в кнессет с требованиями типичными для квалифицированного меньшинства. Технологический прогресс и модернизация производства и образования, как цель, техническая компетентность и профессионализм, как общественный идеал, всплывают во всех их речах и начинаниях. Эффективность, культура, прогресс (подьем — «алия») — наиболее часто употребляемые ими термины.

В Израиле не было центристской технократической партии до внедрения «русских». В стране не было достаточно избирателей, которых бы такая программа вдохновляла. Технократические требования действительно профессионально важны для более широкого круга «русских» репатриантов, чем это обычно для западных обществ, но характерно, что и вся остальная репатриантская масса готова испытывать энтузиазм по поводу технического прогресса. Для русской алии он составляет ура-идеологию, не требующую разъяснительной пропаганды[11].

По поводу прогресса и культуры в «русской» группе почти нет расхождений, хотя по всем остальным вопросам она так же расколота как и все остальные в Израиле. Не всякий репатриант из России несет с собой технический прогресс, но почти всякий уверен, что его личные трудности связаны с недостатком этого прогресса в Израиле. Не всякий русский репатриант глубоко заинтересован в культуре, но почти каждый убежден в своем культурном превосходстве. Такая самоуверенность может осложнять жизнь им и их окружению, но она создает в обществе

[11] «Мимезисом достигается конформность нетворческого большинства... Мимезис — это особая форма социальной тренировки, в результате которой большинство рано или поздно оказывается впереди творческого меньшинства...» А.Тойнби «Постижение Истории», Москва, 1991.

вектор, которого не хватает в благополучных демократических странах. Этот вектор социальной мобильности, направленный в пользу технического совершенствования и бытовой культуры сплошь и рядом оказывается человеческим преимуществом «русской» общины, воздействующим на все израильское общество.

За последние десять лет Израиль уверенно вступил в клуб преуспевающих постиндустриальных держав и вклад русской группы в этот успех оказался решающим. Кальвинистская трудовая этика, принятая среди какой-то части российских выходцев, позволила многим из них почти мгновенно врасти в самые передовые отрасли израильской экономики и культуры. Теперь Израилю предстоит встретиться с теми же проблемами, которые ставят на грань кризиса все страны принадлежащие Западной цивилизации. Вспомним уже цитированного А. Тойнби: «...наука и техника, превращающие знание в силу и богатство ... возникли как результат напряженных усилий творческого меньшинства. Источник нестабильности, угрожающей существованию этой «соли Земли» заключается, как раз, в том, что большинство людей, увы, по-прежнему «пресно»... Внутренней адаптации не происходит. Духовная пропасть между большинством и меньшинством сохраняется. Стагнация масс является фундаментальной причиной кризиса, в который упирается Западная цивилизация... Огромные массы народа не выходят из состояния духовной спячки.»

Некоторая старомодность «русской» группы, все еще слепо верящей в прогресс, вдохновляющейся техническими успехами, оборачивается сегодня выигрышем для страны. Многолетняя культурная изоляция России привела к философскому отставанию идеологии русских выходцев примерно на сто лет. Это как раз те сто лет, за которые западной культурой была высказана большая часть горьких истин о человеческой природе и технологическом прогрессе.

Жизнь на Ближнем Востоке требует от израильтянина высокой технической конкурентоспособности, а соучастие в западном, «постмодернистском» преуспеянии разрушает его спортивную форму. Безоглядная преданность российских выходцев предшествующему (быть может, и более плодотворному) этапу западной культуры не является злокачественным предрассудком, а скорее естественным защитным механизмом самосохранения группы.

Обществу в целом необходимо адекватное представление о своих свойствах, но для каждого индивида или группы очень плодотворно иметь преувеличенное представление о своих возможностях.

В первом поколении репатриантов современный философский кризис еще не разрушил естественного ощущения собственной ценности и повсеместный «постмодернизм» свободного мира еще не подорвал в них здоровую тенденцию к доминированию.

Напоследок процитируем К.Гирца еще раз: «В современном мире придется оставить большие интегративные идеи, к которым мы так долго привыкали, организуя наши представления о политике и, в частности, о сходстве и различиях между народами и культурами: «традиция», «религия», «национальные ценности». Пересмотренные или новые понятия необходимы, чтобы проникнуть в головокружительную новую гетерогенность и произнести что-нибудь полезное о ее формах. Какая установится общность и какая идентификация еще возникнет в будущем, зависит от баланса, к которому ведет сумма этих взаимодействующих различий.»

Творческое напряжение между «мы» и «они», повидимому, будет еще долго играть заметную роль в психологии репатриантов и определять политические конфигурации, пока наше «мы» окончательно не включит всех израильтян.

3. ЗАПАД ИЗНУТРИ

СВОБОДА, РАВЕНСТВО И БРАТСТВО

А и В сидели на трубе

Интеллектуальные вожди Французской революции провозглсили когда-то свой безответственный лозунг — «Свобода, Равенство и Братство», — совершенно не озаботившись разъяснить, совместимы ли эти понятия. Приступив вскоре к массовому террору, они скомпрометировали наименее определенное из этих слов. Но «свобода и равенство» долгое время звучали в ушах европейца песней, в которой эти общественные продукты-близнецы расцветали вместе, как «яблони и груши».

В наше время свобода и равенство настолько противоречат друг другу, что кажется даже странным, как могли люди когда-то столь грубо заблуждаться...

Не стоит, впрочем, забывать, что опыт социального экспериментирования у людей очень ограничен, и еще совсем недавно человечество не посягало сообразовывать свою жизнь с какой бы то ни было теорией или моделью. Общественной жизнью безраздельно управляли традиция и произвол. И традиция тоже, в значительной степени, складывалась из цепи несвязанных, произвольных событий (или деяний), возведенных человеческим одобрением в ранг исторических прецедентов. Трудно ожидать от возникших таким образом социальных систем какой-нибудь логической стройности. Никто ее в прошлом и не ожидал. Но с годами потребность в ней все больше давала себя знать, и люди стали прислушиваться к философам.

Вообще-то народы, способные позволить теоретическим доктринам слишком эффективно влиять на свою судьбу, легко впадают в состояние безысходного кризиса, каковы бы эти доктрины первоначально ни были. То же самое случилось бы и с отдельным человеком, если бы он согласился позволить проверять на себе медицинские теории. Некоторым обществам иногда и выжить-то удается только благодаря тому, что, вопреки всякой теории, молчаливое большинство всегда, так или иначе, уклоняется от запланированного поведения.

Если бы советский народ искренне пытался в полноте осуществить идею коммунизма, не осталось бы на земле людей для Перестройки. Только «комиссары в пыльных шлемах», возможно, остались бы сражаться за пайку на покинутой населением территории бывших лагерей и помоек. В памяти потомков, однако, может быть и остался бы образ золотого века, когда все были равно бедны и чисты помыслами.

Перестройка, лишенная идейного блеска, эклектически соединившая в себе несочетаемые фантомы, поставила крест на красивой идее, не доведя этот опыт до его триумфального конца. Идея так и поблекла неосуществленной, но... и неопровергнутой.

Немецкий народ тоже, пожелай он действительно стать высшей расой, белокурой бестией, неукротимым Зигфридом, сражался бы до последнего человека в Мировой войне и не дожил бы до печальных дней поражения и денацификации.

В сущности, Гитлер был прав, сетуя, что этот народ оказался его недостоин. Немцам представлялась уникальная, эстетически соблазнительная возможность разыграть перед всем миром потрясающую романтическую трагедию на тему страшной мести и инстинкта стремления к смерти, к чему призывали их и боги Валгаллы, и их великий композитор Вагнер. Сумрачный германский гений прогремел бы в веках.

Но они, поразмыслив своей головой, среди нешуточных, неромантических развалин, оставленных им вой-

ной, в массе предпочли обывательское благополучие в стиле трудовой добродетели и оставили нацистскую мечту также неосуществленной, но и невыкорчеванной... Им оказалось достаточно всего двенадцати лет опыта и одного (или, все-таки, двух?) военного разгрома, чтобы вернуться к здравому смыслу, не слишком отягощенному теорией.

В этом плане бывший советский народ внушает мечтателю-теоретику гораздо больше надежд. Ведь он выдержал долгих семьдесят лет, включающих гражданскую войну, коллективизацию, многократные голодовки, массовый террор и высылки, регулярные чистки, и все же не сразу поддался уговорам М. Горбачева, а потом и Б. Ельцина перестроиться на какую-нибудь другую теорию.

Такая теория, точнее такое «всеобъемлющее учение», не исключено, вскоре грядет. И, судя по общим контурам, которые брезжат сквозь «магический кристалл», ей суждено опять тяготеть к амбициозной мечтательности.

В области мысли, неизбежно схематизирующей, именно и только крайности многозначительны. Они позволяют заострить мысль, очертить ее своеобразие (это совсем не значит, что ей нужно следовать) и обозначить на карте возможностей. Промежуточные варианты редко обращают на себя общественное внимание. Нет сомнения, что потребность в моделирующих идеях, в новых утопических проектах ощущается повсюду. В этом смысле, российская мысль сейчас течет в «общемировом русле».

А упало В пропало...

Между тем, после разрушения традиционных общественных структур в распоряжении рационализирующего интеллекта остается не так уж много возможностей. Либо индивидуализм, в конечном счете, произвол и, соответственно,свобода, вплоть до свободы угнетать ближних (т. е. свобода сильного за счет слабых), либо коллективизм, необходимость и, соответствующий ему, культ равенства, вплоть до уничтожения инакомыслящих

(т. е. относительно обеспеченное благосостояние слабого за счет обирания и угнетения сильных).

Неопытный читатель, возможно, удивится — зачем же такие крайности? Ведь «всем известно» и даже, говорят, понятно, что «моя свобода всегда кончается там, где начинается свобода моего ближнего» и пр. Однако стоит спросить: Ну, а где все-таки? Где она начинается, свобода ближнего? Кто это достоверно знает? Никакой собственной свободы, не за счет ближнего, в современных обществах нет. Может быть, ее не было и раньше. Может быть, никогда.

Даже у себя дома вы не можете открыть форточку, не задев прав окружающих. Уединиться на пляже или в лесу, не принеся ущерба другим, вам не удастся. Именно ваше присутствие нарушит их равное и естественное право на уединение в этом месте. Даже если вы туда и пришли раньше — это не основание для уверенности в своей правоте. Может быть, другие больше вас в этом нуждаются?

Устроиться на работу, открыть бизнес, не потеснив других, немыслимо. Рынок немедленно отреагирует и сместит все равновесие, задев интересы множества людей. А скольких людей (и мужчин, и женщин) вы лишили надежд на будущее счастье, женившись по своей воле? А скольких вы обездолили и подставили под удар, не женившись? Каждая ваша покупка в супермаркете вздувает цены, и каждый сэкономленный грош разоряет торговцев... Даже ваше дыхание в закрытом помещении докучает другим, а, между прочим, вся наша планета сегодня уже довольно тесно населена.

История позволяет высказать предположение, что и в древности дело обстояло не лучше. «Свободным» кочевым племенам бескрайних степей Евразии или Аравийской пустыни удавалось выжить только за счет удачливого грабежа «несвободных», цивилизованных обществ и систематического угона скота соседних, дружественных племен. Жалобы этих последних до нас, в основном, не дошли,

вследствие их естественного (т. е. свободного) вымирания от голода. О более стесненных, знакомых нам, условиях городской жизни не приходится и говорить.Не плюнуть ли на все последствия и жить, как Бог на душу положит?

При разрушении традиционных обществ, взглядов и ценностей, ищущая социальная мысль действительно оказывается почти полностью свободна. По крайней мере, она свободна от «всем известных» истин. Не беда, что мысль эта иногда кажется нам странной. Часто, даже опасной. Важно, что она может позволить нам понимание. Понимание требует порой до некоторой степени отвлечься от реальности, чтобы ее упростить. В реальности все слишком переплетено и взаимосвязанно.

Идеи философов совсем не предназначены для следования им в обыденной жизни обычных людей. Так же, как эксперименты химиков и теории математиков не ведут к кулинарным рецептам и не предназначены для домохозяек. Идеи К.Маркса на Западе не привели (да и не могли привести) к «диктатуре пролетариата». То рациональное зерно, что в них содержалось пошло свободным обществам только на пользу. Частичное понимание (а на полное понимание не претендует никакая научная теория) механизма экономической жизни помогло демократическим партиям на Западе радикально улучшить положение слабых слоев населения.

Сама способность философствовать, т. е. взглянуть непредвзято на обыденные вещи вокруг себя, как раз и отчуждает мыслителя от всех остальных и часто делает невосприимчивым ко многим деталям бытия людей.

Как им стать свободными, если они именно этим бытием порабощены? Совместное бытие потому только и возможно, что предполагает в людях заметную долю конформизма. Этот конформизм и создает то эмоциональное единство, которое так ценят почвенники и так безжалостно разрушают рационалисты.

Как людям стать равными, если они от природы сугубо неравны? Природное неравенство противоречит

этическому чувству и интуиции мечтателя. Идея равенства замечательно упрощает расчеты. На этическом максимализме и упрощении реальности построены все утопии.

Творческое мышление осуществимо, именно и только, пото-му, что оно позволяет свободно оперировать идеями вещей, безотносительно к их реальным воплощениям, как никогда не удалось бы поступить с самими вещами, вследствие их жесткой непроницаемости и многосторонней взаимозависимости.

Так, в тесной комнате нельзя запросто поменять местами диван и шкаф. Но на плане можно их расположить по-разному, и тогда уж, дождавшись генеральной уборки, вынести вон всю мебель и установить ее, наконец, в запланированном новом порядке. Однако, и новый порядок (такой удачный на чертеже!) может оказаться впоследствии неудобным.

Разлив радикальных идей после Французской революции привел не только к освобождению и уравнению в правах (например, евреев). Он привел также и к появлению новых ограничений свободы и нового неравенства. Вдобавок, если раньше человека угнетал живой, конкретный король, и он мог всласть ненавидеть своего помещика, то теперь он был порабощен не меньше (хотя можно все же думать, что меньше) безличным законом и вынужден ненавидеть какую-то ренту и прибавочную стоимость. Не лучше ли, не человечнее, добавить к ним какое-нибудь реальное человеческое лицо (опять, например, евреев!), которое оживило бы эту безотрадную картину?

Это вызвало новый поток идей. Теперь уже консервативных. Как идеи, многие из них оказались не хуже. Идеи Ницше нисколько не хуже идей Руссо. Идеи Кьеркегора и Шопенгауера не хуже идей Гегеля и Маркса.

Власть безличных сил, «отчуждение», стали всеобщим пугалом и личность, «воля к власти», «подлинность», аутентичность превратились в чаемый идеал.

Что может быть более подлинным, более индивидуальным, чем неограниченный произвол человека высшей судьбы, героя, смело дерзающего и умеющего повелевать? Что полнее может отменить отчуждение и эксплуатацию человека человеком, разрушить паутину власти слепых экономических сил, чем абсолютное равенство?

Обе крайние идеи пленяли интеллектуалов Востока иЗапада. Во многих странах эти идеи не удержались в узком кругу и завладели умами множества людей. Может быть, и не все проникались идеологическими схемами до самой сердцевины. Во всяком случае, не сами философы. Но лесной пожар захватывает и зеленые, сырые деревья. Там, где этот пожар разгорелся, выгорело все вокруг.

Возможно, самым пугающим в этой идеомании оказалось то, что обе схемы при их конкретном воплощении проявились, как поразительно схожие феномены! И уже начинали это осознавать и понемногу сближаться...

Все политические проекты по мере их осуществления испытывают глубокие деформации, связанные со свойствами и сопротивлением своего человеческого материала. Лишь в стратосфере утопического мышления никаких затрудняющих преград быть не может. Творческие модели мыслителя не ограничены ни силой тяжести, ни прочностью опор. Из идей происходят очень красивые, рационально совершенные модели. Это вовсе не значит, что они смогут пригодиться для какой-нибудь человеческой практики. Как заметил Кант: «Человек — это кривое бревно, из которого невозможно вырезать ничего прямого». Я думаю, он пришел к этой горькой истине в минуту отчаяния, пытаясь внушить своему королю какую-нибудь хорошую идею.

Впрочем, никогда еще из самих идей и не вырастала социальная реальность. Так же как живую материю никто еще, пока что, не синтезировал химическим путем. Живое растет только из живого. Реальности растут из реальностей.

Реально вечное человеческое недовольство существующим порядком вещей. И столь же реальна всеобщая

боязнь перемен. Реальна опасная агрессивность одних и пассивная трусость других. Переводя свои неясные побуждения с бессловесного языка инстинктов на высокий язык понятий, и те, и другие черпают аргументы из арсенала мыслителя. Но не мыслители задают импульс первоначальному недовольству. И не они пробуждают обоснованный страх перед изменениями.

«Инстинкт воина предшествует всякой идеологии и даже не нуждается в ней!.. Определенный сорт мужиков испытывает биологическую жажду войны и никакая «цивилизация» никогда не сможет изменить их природу». — Это говорил уже не один мыслитель, но никто не принял всерьез. Достоевский писал нечто подобное, приписывая это «человеку из подполья», сатирическому, так сказать, персонажу... Но в наше время «человек из подполья», не стесненный больше ни голодом, ни угрозой расправы вышел на поверхность жизни и двинулся к избирательным урнам.

Слова об инстинкте воина взяты из Эдуарда Лимонова. Открылась бездна, звезд полна: «Свободный воздух войны есть мощная притягательная сила... Всегда есть люди, предпочитающие делать войну, нежели монотонно и скучно работать... На войне мы хозяева своей жизни... Определенное количество солдат, возможно, даже большинство, делают войну с удовольствием. И война дает возможность каждому почувствовать свое могущество... Моя могущественность меня освобождает». Лимонов не сам выдумал эти слова, но он легко примерил их на себя, и в наше время всякому видно, что есть в мире люди, для которых все это (кроме пустых патетических оборотов речи) правда.

Наши архаические, природные инстинкты никто еще не отменил, хотя поэты нечасто о них упоминают. Никакие идеи не могут их заглушить. Инстинкты предшествуют идеям не только у воина. Если бы Лимонов с такой же решимостью провозгласил еще и апологию инстинкта труса и холуя (которые тоже ведь предшествуют идео-

логии), мы и в самом деле должны были бы благодарить его за откровенность, еще не слыханную в русской литературе.

Что осталось на трубе?

Еще из нашего детского фольклора мы знаем, что на трубе осталось «и», которое не означает ничего определенного, всего лишь связывающую частицу, союз. Ни то, ни се. Вдобавок, оно пишется как строчная буква и остается обычно не столько независимым словом — предметом, обстоятельством, концепцией, подлежащим в предложении (подобно А или Б) — сколько само собой разумеющимся вспомогательным средством, без которого невозможно сочетать никакое А ни с каким Б.

Такова реальная жизнь, только промежуточное в ней и существует. Никакие крайние варианты в ней не реализуются. Вместо идеализированного индивидуализма, т. е. свободы без равенства или равенства без свободы, практическая жизнь и национальная традиция неустанно подсовывают народам такие «и» во все реально действенные политические программы и выполнимые административные инструкции, которые фактически сводят на нет любые исходные идеи. Поверх всех теорий и помимо всякой социальной структуры всегда присутствует незримое толкование, которое важнее основного текста. Существует, по-видимому, такое «и», которое способно примирить свободу и равенство. Это — Братство.

Забытое в бурных философских дискуссиях XIX века, это понятие плохо поддается рациональному определению, но регулярно эксплуатируется поэтическим языком и политической демагогией. Из трех слов славного лозунга оно ближе всех к языку инстинктов и, по-настоящему, не освоено философией. Братством, наверное, следует назвать такое сочувственное, родственное внимание к жизни других людей, которое в обычных обстоятельствах осуществляется (да и то, не всегда) только внутри семьи, между близкими родственниками.

Ощущение родства, братства действительно способно смягчить горечь неравенства слабейшему, и оно же часто может помочь сильнейшему смириться с ограничением своей свободы. Это чувство, легко дарящее удовлетворение обеим сторонам, спасающее от городского одиночества, слишком редко пробуждается в нашей сегодняшней будничной практике.

Но оно было обычным для братств ремесленников, часто инославных или иноязычных, превратившихся со временем в профессиональные корпорации, средневековых городов, жителей еврейских гетто, членов монашеских орденов. Братство интеллектуалов, как принцип, в Новое время унаследовали от них масонские ложи («Братство вольных каменщиков»). Сегодняшняя солидарность ученых сродни этому понятию.

К былому братству часто взывает национализм. Национальная традиция ставит пределы возможного во всех взаимоотношениях людей. Эти пределы эффективно ограничивают свободу действий сильного в среде «своих». Они же помогают слабым принимать, как должное, невыносимое, порой, давление, если оно выступает в национально санкционированных формах. Национализм в Европе XIX века начал расти, как защитная реакция на проявления свободы и соответствующий рост имущественного неравенства. Также и разрушение принудительного равенства после падения СССР вызвало немедленный взрыв национализма.

Братские чувства расцветают в праздничной атмосфере дружеских пьянок и народных фестивалей, в смертельном напряжении тяжелых походов и жестоких боев. Братством сегодня вдохновляется ежедневная деятельность религиозных сект (особенно, тайных) и подпольная жизнь революционных движений. И в том, и в другом случае содержание идеологий для большинства участников остается второстепенной частью их мотивации. Мюнхенское пиво (как и московский «чай»), жестокие репрессии, лагерные и партизанские воспоминания

приобщили к окопному братству множество замечательных, верных до гроба людей, никогда не продумывавших своих убеждений.

Слишком трезвая атмосфера демократических обществ не оставляет места когда-то живому чувству братского сочувствия. Демократическое солнце светит, но не греет. Неограниченная конкуренция приносит свои плоды «всем», но не каждому. Мировая история подошла сейчас к такому повороту, когда отчаяние в экономическом успехе среди отсталых и страх конкуренции среди слабых (ведь все они голосуют, хотя и в разных формах) могут повернуть вспять всю историческую тенденцию и разрушить тонкую структуру Западной цивилизации, создававшуюся веками личных, индивидуализированных усилий. Долгая нехватка склеивающего фермента, эмоционального притяжения между людьми все чаще дает себя знать.

Именно братство (правда, без тени свободы и без понятия о равенстве) обещает своим последователям исламский фундаментализм. Западная цивилизация не сулит своим носителям ничего подобного, несмотря на свою христианскую основу.

Если Свободный мир не сумеет выдвинуть, как приманку, ничего более привлекательного, чем плюрализм, т. е. свободная экономическая и идеологическая игра сил на агностической основе, возможно эта идея в умах людей не выдержит именно свободной конкуренции с наивной демагогией братства, выдвигаемой слепыми пророками варварства, вооруженными, однако, бесконечной уверенностью в своей правоте.

НЕЗАКРЫТЫЙ СЧЕТ

Германия. Что мы знаем о ней?.. Прежде всего сказки братьев Гримм. Гензель и Гретель... Когда меня познакомили с профессором Гензелем, я не удержался и спросил, где же его Гретель — он рассмеялся — тут Физика

и Университет внезапно отступили, и обнаружилась неожиданная другая, подпочвенная культурная общность, заложенная в нас в раннем детстве...

В пять лет в Ленинграде я ходил в детскую группу с учительницей-немкой, и мы, гуляя вокруг патриотического памятника «Стерегущему», хором и парами говорили по-немецки. У девочки, в пару с которой учительница меня неизменно ставила, был властный характер, и в частых случаях нашего несогласия она хватала меня ногтями за лицо, свирепо приговаривая (по-русски), что сейчас выцарапает мне глаза. Учительница удивлялась, почему я по нескольку раз в день подбегал к ней и просил проверить на месте ли у меня глаза. Она неизменно отвечала: «Alles in Ordnung», и я отчасти успокаивался.

Сопоставляя все, что я знаю о Германии, с тем, что я вижу в ней, мне часто хочется спросить, как тогда, все ли у меня в порядке с глазами. Но уже нет поблизости надежной инстанции, которая бы меня успокоила.

После всего, что произошло в середине XX века — да и под общим влиянием русской культуры — хочется и вправду представлять себе Германию мрачной и подавляющей («сумрачный германский гений«), чуждой добра и красоты, похожей на пугающие своей безвкусицей театральные декорации опер Вагнера. — «Он жил в Германии туманной»... Но, она — солнечная, полная красок и душевного здоровья. И, боюсь, скорее должна нравиться. Может быть даже, так было всегда...

Лет двадцать назад я был на приеме в германском посольстве по случаю подписания какого-то соглашения о научном сотрудничестве. Германский министр науки произносил горячую речь о своем глубочайшем уважении к евреям вообще и к израильским ученым в частности. Рядом со мной стоял, бежавший из Германии в молодые годы, израильтянин-йеки. Я поделился с ним своим впечатлением от речи министра: «Не правда ли, как мило?

Не то, что в годы, когда вам пришлось оттуда бежать!» Он мрачно ответил: «Вы не понимаете главного в этой трагедии — они и тогда были так же милы!»

Ездить в Германию опасно. Вы рискуете стать циником и разувериться в существовании справедливости. Безнаказанные преступления вопиют к небу. Добродетель жертв не вознаграждается. Немцы, в изобилии населяющие эту страну, включая отсидевших в тюрьмах военных преступников, во многом (и хорошем, и плохом) похожи на всех других людей.

Впервые я приехал в Германию, в город Карлсруэ («Покой-утеха-Карла»), построенный герцогом Баден-Вюртембергским для своего удовольствия по собственному проекту, и этой заданностью, приспособленностью к личному капризу избалованного монарха, напоминающий петербургские парки, Петергоф или Царское село.

Моим научным партнером был очень знающий химик, Вольфганг, — мужиковатый дядька, в рабочие часы занятый наукой, а в остальное время увлеченный своим домом, садом и рецептами разных сортов фруктового самогона (Obst). Хотя он сам свободно говорил по-английски, но сообщил мне, что еще мать его была настолько проста, что, впервые увидев после войны в соседнем огороде британского солдата, позвала его и сказала: «Смотри-ка, а ведь он почти совсем такой как мы!».

Своими деревенскими манерами он никак не гармонировал с прославленным либеральным университетом (где Генрих Герц открыл радиоволны), жил на отшибе за городом, приезжал на работу на велосипеде и в служебном кабинете держал большую бутылку коньяка. Квартира, которую он якобы «снял специально для меня» в центре города за очень внушительные деньги, вычтенные из моего содержания, впоследствии оказалась его собственной. При совместных посещениях ресторана гораздо чаще, чем позволяют приличия, он начинал

шарить по карманам и вспоминать, что забыл деньги дома. Это даже придавало его облику оттенок своеобразного очарования лукавой искренности на фоне супер-европейского лоска его породистых коллег. Особенно извел меня своими изысканными манерами декан факультета — потомок одного из знаменитых ученых, составивших славу Университета.

Книг в доме Вольфганга почти не было, но он каждый день читал Библию, обьяснив, что так его приучили родители. Однажды он спросил меня, в чем, собственно, состоит ключевой момент веры ортодоксальных евреев, который отличает их от христиан. Я ответил, что, если все евреи в один прекрасный день выполнят все требования, которые наложил на них Господь, грянет Конец дней и мир переменится. Вольфганг вздрогнул. Было заметно, что он слегка испугался, но все же быстро оправился и пошутил, что рассчитывает на мою Нину, которая в таком случае, конечно, найдет, что нарушить. Потом он всерьез спросил, не создает ли такая ответственность особую атмосферу психического давления, которая может быть тяжела для самочувствия простого человека. Я согласился, что несомненно создает.

Вольфганг дал мне в помощь двух студентов и они, думая что я не понимаю их немецкого, не стеснялись потешаться, пересказывая друг другу, как наш профессор после нескольких часов в кабинете наедине с бутылкой не мог вдеть ногу в велосипедное стремя.

Тем не менее Вольфганг очень хорошо понимал научную коньюнктуру и в лаборатории был мастер на все руки. Мы с ним оказались однолетки.

В 14 лет он встретил русскую армию в Берлине. Один русский солдат выхватил у него из рук велосипед и в ответ на протестующее восклицание Вольфганга прицелился в него из автомата. Теперь Вольфганг не может вспомнить, как ему удалось убежать, потому что это произошло уже почти без участия его сознания...

Считая долгом гостеприимства свозить меня на природу, Вольфганг потащил меня на далекую рейнскую переправу. При виде прадедовского деревянного парома, который перевозчики канатом и воротом тянули на другую сторону, он неожиданно с совершенно славянофильской слезой заговорил о исконной талантливости простого немецкого мужика, который («в отличие от зазнаек-американцев») сам додумался до такого гениального устройства. Я решил, что все равно не смогу донести до него самоуничижительный юмор русской псевдонародной песни: «Англичанин-мудрец, чтоб работе помочь, изобрел за машиной машину, а наш русский мужик...» и не открыл ему, что такие же гениальные устройства украшают все русские реки от Украины до Алтая, куда англичанин-мудрец не добрался еще до сих пор.

Я легко сработался со студентами. В то время как один из них был немецкий флегматик и ни о чем кроме своей диссертации не способен был говорить, другой поражал меня своей необыкновенной возбудимостью и болезненной склонностью к общественному протесту. Время от времени по разным поводам он выкрикивал: «Полицейские — это убийцы!», «У нас — немцев — бюрократизм в крови!» и, наконец, — «Стыдно быть немцем!».

Я его заподозрил: уж не еврей ли он?

Действительно, наедине, во время ночных измерений открылась мне о нем еще более ужасная правда... Я принес из супермаркета кока-колу. Он выпил и сказал, что, если бы отец узнал, что он пьет кока-колу, он бы его проклял. — А кто ваш отец? — Его отец был выдающийся химик. При Гитлере выяснилось, что, будучи только наполовину евреем, он по закону подлежал не уничтожению, а всего лишь стерилизации... Благодаря поддержке научной общественности, суд все-таки дал ему временную отсрочку в исполнении приговора и разрешение пока работать на пользу германского рейха. Благодаря этой отсрочке (при этом половая связь с арийской женщиной все это время означала для него смертный приговор) он дотянул до

американской оккупации. Встретив американские войска со слезами умиления, он немедленно женился и вскоре произвел на свет моего нервного друга. К спасителям-американцам он относился молитвенно, и в первый же субботний год помчался в Америку, родину свободы и светоч культуры.

Года оказалось достаточно, чтобы он их возненавидел. Американцы пили кока-колу, жевали жвачку и бросали обертки мимо урн. Они не читали Шопенгауэра и ходили на лекции в драных джинсах. На улицах их городов валялись корки от апельсинов и семячная шелуха. Одурманенные наркотиками черные преступники бродили без привязи в непредусмотренных направлениях. Целые кварталы были населены одичавшими бродягами и завалены мусорными баррикадами. Он понял, что настоящая культура осталась в Германии, и прискорбный эпизод, жертвой которого стал он лично, был только случайным, нехарактерным отклонением от того истинно европейского, единственно цивилизованного образа жизни, который теперь, конечно, окончательно восторжествует. Своего сына он воспитал без кока-колы и Мак-Дональдса. До 20 лет ему ни разу не довелось увидеть голливудский фильм. Он не слышал об Уолте Диснее и Микки Маусе. И жвачки он тоже, конечно, никогда не держал во рту...

Слушая этот бред, я думал не о несчастном, помешавшемся от полового воздержания педанте, а о том, какая страшная сила сидит в еврейских генах, если и жалкой четвертушки было достаточно, чтобы сделать парня таким типичным евреем, что даже в ультралиберальной атмосфере Университета, в неправдоподобно уютном, игрушечном Карлсруэ, среди сплошных «битте шон» и «данке шон» он вырастает непримиримым диссидентом... Спустя пару лет парень эмигрировал в Америку...

Однажды по дороге в Мюнхен мы заночевали в деревне «Верхние крестьяне» (Oberbauern). Утром нас разбудила громовая маршевая музыка. Выглянув в окно, мы увидели

примерно роту солдат в треуголках и в белых чулках с допотопными ружьями и знаменами, марширующую вдоль главной улицы. За солдатами везли пушку XVIII в., а следом маршировали все деревенские мальчишки. Мы выскочили вслед за отрядом. На центральной площади солдаты построились в карре. Увешанный орденами, дюжий командир с подъемом произнес речь. С пятого на десятое я понял его немецкий так, что сегодня исполняется то ли 200, то ли 300 лет с того славного дня, когда был сформирован их Баварский Егерский Полк Горных Стрелков, в котором с тех пор эти верхние крестьяне из поколения в поколение неизменно с честью служили. В заключение торжественной части они выстрелили из пушки, правда не в нас, но очень живо... Опять заиграла музыка и крестьяне в треуголках подхватили крестьянок в чепчиках (они уже поджидали солдат на площади) и стали танцевать. Этот спектакль был не для туристов — мы были единственные посетители в гостинице — так эти люди на самом деле живут в своей деревне (и так же верно служат, хотя уже и без треуголок и не в белых чулках).

Потом мы видели еще множество таких мини-спектаклей, некоторые и для туристов, но все они были с энтузиазмом разыграны самими «верхними» или «нижними» крестьянами. Например, каждую годовщину Крестьянской войны все население деревни, где это началось 500 лет назад, старательно представляет ее на гигантском поле перед зрителями, собравшимися со всей страны: пушки палят, кони скачут, избы пылают, толпы крестьян с вилами штурмуют бастионы... Вся деревня (пять сотен человек) вовлечена в действие, и каждый знает свою роль за год вперед.

Трудно утверждать, что немцы вообще артистичны или обнаруживают тонкий вкус, но и самодеятельные артисты, и жующие зрители (праздник обязательно сопровождается

сосисками и пивом) неизменно увлечены традиционным действием и расположены к сопереживанию.

Впрочем, и туристы в Германии — хотя и горожане, но в подавляющем большинстве свои же немцы, а не иностранные посетители — исполняют какой-то своеобразный ритуал, не лишенный артистизма. Немецкого туриста всегда можно отличить от иностранца, потому что у него для пешего путешествия припасен специальный реквизит: тяжелые ботинки, тирольская шляпа с пером, короткие штаны, носки гольф до колен... Проверьте: если носки у дамы зеленого цвета, угол платочка в кармане охотничьей куртки ее кавалера — того же колера. Или наоборот — шейный платок дамы — в цвет к его носкам. (Спустя 20 лет традиция начала размываться и молодежь стала неотличима от американцев.) Они со вкусом обходят пешком все тропинки своей родины, едят местные пироги (kuchen — скорее, пирожные) на всех деревенских праздниках, подолгу сидят и громко смеются под кабаньими мордами и оленьими рогами в придорожных ресторанах. Рестораны приютились в нарочито глухих, как бы заброшенных местах.

Узнав, что вы из Израиля, немцы демонстрируют несколько повышенную радость от нечаянной встречи и сообщают, что несколько лет назад тоже были в Израиле (обычно в Эйлате).

Толстый, веселый и насмешливый профессор Фридрих в Марбурге (в университете, где 90 лет назад Борис Пастернак учился философии у знаменитого Германа Коэна), сидя за рулем, жаловался, что даже через 40 лет после крушения нацизма Германия все еще не свободная страна — приличия и правила опутывают всякого немца, как паутина. Свобода, как он это понимал, определяется не государственным устройством, а легкостью, с которой отдельный гражданин принимает (либо отвергает) социальные условности. В ходе этого разговора он, то

и дело, поворачивался ко мне лицом и вел машину так небрежно, что временами задевал белую разделительную полосу на шоссе. Его ученик, сидевший рядом с ним, не выдержал и вскрикнул пару раз: «Профессор, что Вы делаете!» — Фридрих засмеялся и сострил: «Ну, не будьте таким типичным немцем, Курт.» Но упрямый, опутанный правилами, Курт откровенно заявил, что предпочитает остаться в живых, даже считаясь немцем, чем разбиться в результате профессорских пируэтов.

Именно там, в Марбурге, из окна моего отеля мне привелось наблюдать демонстрацию неофашистов. Правильнее было бы назвать это демонстрацией антифашистов, потому что митинг кучки недорослей дал всем городским партиям повод поднять на бурное политическое волеизъявление все население города и далеких окрестностей. Моя комната помещалась на втором этаже и из окна, прямо подо мной, мне была видна лысина старого нациста, который сидел на председательском месте и, повидимому, дирижировал. Вокруг него суетился тесный кружок (человек 30) молодых людей зашитых в черную кожу, которые, очевидно, произносили речи. Во всяком случае было видно, что они открывают рты. Однако, расслышать их было невозможно из-за оглушающего рева многотысячной толпы: «Nazi-raus!» (Долой нацистов!). Толпа волновалась и напирала. Кружок нацистов защищала плотная цепь полицейских, стоявших плечом к плечу. Колонны демократических демонстрантов с плакатами проходили одна за другой, обтекая жалкую кучку сопляков со старым злодеем во главе. После прочтения лозунгов на плакатах мне стало ясно, что у социалистов (а у либералов, тем более) не было никакого шанса собрать эти ревущие толпы без любезной помощи своих идейных противников. Вот — то единственное, счастливо найденное еще Гитлером, что создает атмосферу политического возбуждения — присутствие врага!

Похоже, скептик Фридрих тоже это понимал и, несмотря на их бурный антифашистский энтузиазм, довольно

низко оценивал уровень демократического сознания своих соотечественников. Похоже, что он просчитывал и виртуальную возможность обратного варианта, при котором кучка социалистов пугливо митинговала бы в центре, а вокруг маршировали бы поощряемые властями толпы с оглушающими криками: »Sozi raus!»...

Незабываемое впечатление на меня произвело черное марбургское пиво, которого нигде в мире больше нет. Оно волшебно дополнило сказочную атмосферу средневекового города, удачно избежавшего бомбардировок Мировой войны за отсутствием военной промышленности.

Первое время мой личный опыт относился только к южной и западной Германии — Баден-Вюртемберг, Бавария, Пфальц. Возможно, — думал я, — та темная Валгалла, из которой повылезла вся германская нечисть, это только северная и восточная Германия — родина пруссачества. Конечно, ведь хрестоматийные немцы — это пруссаки...

Нет, — и эта гипотеза не подтвердилась. В Берлинском институте физики все стены были увешаны таблицами с портретами передовиков Прусской Академии наук, которые еще со времен Фридриха Великого опередили французов во всех направлениях. В их истории протестантская Пруссия оказалась чуть ли не родиной либерализма и прогресса, первым гарантом народного просвещения. К тому же эти таблицы пестрят портретами евреев. Пруссия одна из первых в Европе пожаловала им равноправие. Это случилось тоже по воле Фридриха 11, который был масоном.

В Музее истории франк-масонов в Байрейте в списке «русской ложи» нахожу знакомые имена — Александра Сергеевича Пушкина и Льва Николаевича Толстого. Музей масонства, запрещенного нацистами («жидомасоны» — это штамп нацистского режима, масонство при Гитлере преследовалось) из-за того, что масоны не

признают ни вероисповедного, ни расового неравенства, стоит вплотную к дому Рихарда Вагнера и его зятя, натурализовавшегося в Германии англичанина, А. С. Чемберлена, автора расовой теории, составившей основу нацистской идеологии. Гитлер любил сюда приезжать и отдыхать душой в их доме.

В Берлине моим многолетним немецким партнером оказался Ульрих, специалист по оптике. Его отец был морским офицером, и в нем тоже сохранилась какая-то военно-морская молодцеватость, хотя чеховская бородка все же напоминала о его профессорском звании. Окончив университет, он провел несколько лет в Америке, в Беркли, рассаднике студенческой левизны в 60-ых, и очень забавным образом совмещал идейную непримиримость к акулам капитализма с преданностью лютеранской церкви.

В Германии теперь практически не осталось ученых, которые не прошли бы через американские университеты, не говорили бы с легкостью по-английски, не усвоили бы в какой-то степени американский панибратский стиль и их свободные манеры. Но он сочетал это с европейским шармом, любовью к обеденному ритуалу с интеллигентным разговором и тонким пониманием сортов рейнских вин. Когда я подивился богатству ассортимента и качеству немецких вин, о которых никогда прежде не слыхал, он разъяснил, что «у нас в Германии принято лучшее оставлять в стране для себя, а не расточать на экспорт». Вспомнив марбургское пиво, я вынужден был с ним согласиться.

В отличие от деревенского дома Вольфганга, вдоль всех стен здесь тянулись книжные полки с очень неплохим набором книг. Они оба с женой были активными членами лютеранской церковной общины, и много лет всерьез увлекались своей помощью черным священникам Южной Африки в их борьбе против апартеида.

Несколько раз на протяжении пятнадцати лет Ульрих начинал со мной неуверенный разговор о страданиях

палестинцев, но каждый раз бывал заново испуган моей, непривычной в сегодняшней Европе, мыслью, что страдания их происходят совсем не от злокозненного Израиля, а, в основном, от Арабской лиги, Г. А. Насера, короля Хусейна и, наконец, от самого Арафата, который не дает им жить спокойно.

Даже в Германии эта мысль остается не вполне внятной большинству. Когда жена Вольфганга в Карлсруэ выспрашивала меня о жизни в СССР, у нее после нескольких моих ответов вырвалось невольное восклицание: «Но как же люди это терпят?!» Тут любитель фруктового самогона оказался на высоте. Он засмеялся: «А какой у них выбор? Ты вспомни, как наши родители терпели Гитлера!»

Такой реализм — действительно большая редкость и должен быть приписан крестьянской близости моего Вольфганга к земле. Обыватель редко способен живо представить себе ситуацию в чужой стране и полагается на газеты. В результате преувеличенного внимания прессы к Израилю у многих читателей газет в Европе сложилось ложное представление, будто они хорошо понимают «кто есть кто». Насколько это впечатление ложно, видно хотя бы из того факта, что всего несколько лет назад даже политический советник самого израильского премьер-министра откровенно признавался, что совершенно не понимает Арафата.

Может ли его понять средний немец, читающий газету после обеда с пятого на десятое? Впрочем, я встречал и таких, у которых простой здравый смысл перевешивал свежеусвоенный германский пацифизм, и они интимно-пониженным тоном советовали мне «прикончить всех этих распоясавшихся бандитов».

После очередного упоминания об «оккупированных территориях» и «страданиях палестинских беженцев» я не выдержал и порекомендовал Ульриху переключиться

на страдания миллионов немецких беженцев из Польши, Чехии, Трансильвании, а особенно, из Восточной Пруссии. Подумать только, что все эти территории были оккупированы без всякого оправдания. — В ответ он смутился и несколько неуверенно протянул: «Но мы же проиграли войну! Не правда ли?»...

— А как, по-вашему, арабы? — спросил я. Этого в их школе не проходили...

Как-то в Америке нам пришлось разговориться с хозяйкой придорожного мотельчика. Она оказалась судетской немкой и рассказала, как им с братом (тогда, еще детям) пришлось бежать из Чехии. От смерти их спасла только счастливая мысль деда представляться евреями.

Российский немец Василий, снимавший угол у нашей хозяйки в Пфальце, бежал из Казахстана, когда новое казахское правительство навязало их немецкому колхозу казахов-переселенцев из Китая (казахи тоже ввели у себя право на возвращение, и из коммунистического Китая хлынул поток...). Отощавшие репатрианты стали жить за счет процветавшего колхоза, пожирая семенной фонд, порываясь резать скот, издеваться над запасливыми немцами... Мысль вложить свою лепту в их общее благосостояние кочевникам в голову не приходила. Немцы кинулись бежать. Василий, поселившись в Западной Германии, подружился с дорожными рабочими, строившими шоссе, и в один из уикэндов они взяли его с собой на экскурсию в Дахау. После того, как он увидел лагерь смерти в Дахау, он забыл все свои претензии к казахам и русским. Он объяснил, что расхотел быть немцем и постарается теперь отправить детей в Америку... Повезет ли им в Америке встретить другую породу человека?

Один из моих тельавивских студентов после защиты диплома поступил к Ульриху в аспирантуру. Это общепринято в ученом сообществе. Я не выбирал для него самого нестандартного из моих студентов, но так за нас решила судьба.

Мой Юлик (кроме русского) говорил только на пиджин-инглиш, приходил на свидания с опозданием на часы (если не дни), немытый и заспанный, и работал, только когда хотел (в основном, по ночам). Остальное время он придирался к учебникам и всяким общепринятым предрассудкам, опровергал сложившиеся авторитеты (особенно тупых догматиков, населявших германские университеты) и заедался на семинарах. Его необязательность и неаккуратность приводила в ужас не только педантичных немцев, но даже и моих ивритоязычных студентов. Его способность спорить, о чем угодно, наводила на мысль, что содержание спора ему безразлично. При этом он был очень умен, часто предлагал оригинальные технические решения и в научной дискуссии совершенно не стеснялся в выражениях, так что только явное убожество его английского отчасти смягчало оскорбительный смысл его замечаний.

Он проработал в Берлине семь или восемь лет, успел жениться на немецкой женщине и развестись с нею, защитил диссертацию и отбыл в Америку, так и не выучив ни одного немецкого слова.

Ульрих героически перетерпел все, время от времени со всепонимающей улыбкой тихо жалуясь мне. Я думаю, он воспринимал Юлика (а, может быть, и меня) как божье наказание, посланное ему за грехи отцов. Но, вместе с тем, кажется, отчасти любовался своей христианской кротостью.

Деревне, где мы проводим лето, 700-лет. В XУ11 в. она была пожалована герцогскому лесничему и охотничему (Jaegermeister), кавалеру фон Хакке, положившему начало расцвету местного благосостояния. Он основал здесь кузню и водопровод, которые подробно описаны местными краеведами в проспекте их крошечного музея.

Выходя в лес по грибы, мы проходим по переулку, который называется «К еврейской горке» (Am Juedenhuebel). Горка заросла густым лесом. Что в ней еврейского? Кро-

ме грибов?.. Краеведы, молодой заведующий музеем (по фамилии Маркс) и пожилой энтузиаст, бывший завуч школы, досконально изучив историю этих последних 700 лет, на вопрос, почему горка так странно называется, ответить не смогли. Водопровод, правда, почему-то начинался именно оттуда. Может быть, там жили евреи?

— Не знают. Может быть, не хотят знать?

Весь окружающий пейзаж перенасыщен еврейскими воспоминаниями. Евреи прожили здесь столько столетий, что могли бы называть эти места исторической родиной. Названия окружающих городов — Кандель, Фел, Гинзбург, Ландау, Эттингер — напоминают список учеников в еврейской школе. Города Вормс и Шпейер вписаны в историю евреев с большим драматизмом, чем в историю Германии. В Кайзерслаутерне, бывшей резиденции Фридриха Барбароссы, есть Синагогальная площадь. Это красивый, зеленый сквер, в уголке которого скромно стоит камень, на котором можно прочитать, что до 1938 г. здесь красовалась синагога, варварски разрушенная национал-социалистами во время погрома. (Через 20 лет появился довольно впечатляющий памятник). В 50 км. к западу расположено курортное местечко Дан (тоже странное имя для немецкого города), где сохранилось старое еврейское кладбище (с XУ11 по X1X в.). После нескольких пробных осквернений скинхедами, по инициативе учителя гимназии за кладбищем стали ухаживать местные школьники. Живых евреев не видно, если не считать художницы — экстравагантной американской еврейки — который год безуспешно пытающейся организовать здесь школу рисования.

Зачем местным жителям школа рисования, когда и так трогательными картинками украшены у них все открытки, все календари и вся туалетная бумага? Все магазины, все витрины, все балконы и крылечки, все палисадники уставлены керамическими уточками, петушками, оленятами, ежиками, гномиками, призванными массовым

предложением перекрыть массовый спрос на красивость. Все наружные двери в деревне увешаны соломенными веночками, символизирующими близость к природе и простоту нравов. Все рестораны увешаны косами, вилами, хомутами и уздечками, намекающими на то же самое. Раз в год проходит конкурс среди домохозяек района на самое красивое украшение дома цветами. Нужно сказать, что в этом (и еще в пирогах) они проявляют истинное художественное чутье.

Наша домохозяйка, рослая, решительная 65-летняя женщина, целые дни наводящая в доме немыслимую чистоту и ухитряющаяся с полуслова схватывать наш полунемецкий язык, пригласила сьездить с ней в ее родную деревню. Дед ее был крестьянином и владел земельным участком километров на сто к востоку, а отец переселился в город и стал полицейским. Недавно ее брат из сентиментальных побуждений откупил небольшой кусок дедовской земли с пристройкой, сохранившейся от их дома. Они договорились там встретиться, но у нее болела нога, и она пригласила нас, чтобы я вел машину. По дороге она рассказывала про их счастливую детскую жизнь у дедушки в деревне, пока американцы вдруг с самолетов не начали обстреливать их по дороге в школу («Вот, ведь — звери!»), а потом — уже во время оккупации — ни за что, ни про что арестовали ее отца. «Отец был очень хороший человек. Это знал весь город. Он был очень честный человек. Он даже не носил форму. Это называлось Geheimpolizei.» (Тайная полиция. — Т. е., Гестапо?!).

— И во все время войны он оставался в городе? — «Нет, в 1942 его командировали в Словакию, но потом он вернулся».

— Надо полагать, честный человек честно выполнил свое задание в Словакии и не рассказывал подробности детям.

— «Когда американцы пришли, они арестовали и мать». — А за что мать? — «У нее в доме прятались от

плена наши солдаты, и она их кормила... Анька донесла. Тут у соседа в доме работала русская, и она донесла. А потом у него жена умерла, и он на Аньке женился. Мать-то скоро выпустили, а отцу десять лет дали. Он после тюрьмы вскоре умер.»

— Невинные жертвы денацификации...

(Время от времени Нина возникала с риторическим вопросом: «А кто войну начал?», но я сомневаюсь, что смысл этого вопроса был понят.

— Во первых, войну никто не начинал — «она разразилась». Во-вторых, в самом деле, ведь не домохозяйка же наша ее начала и даже не ее отец.)

— А что за русская? «Да, из России прислали на работу по разнарядке. Семнадцать лет ей было.» — А где она теперь? — «Да здесь же. Вон тот дом с краю. Он на ней женился и она четверых сыновей ему родила. А он умер недавно. Хотите с ней по-русски поговорить? Вон туда заезжайте.»

— Угнанные в Германию русские люди. Подневольный, рабский труд...

В большом, грязном крестьянском дворе, куда мы заехали, был видимо, послеобеденный перерыв. Четверо дюжих, бородатых немцев молча, сосредоточенно курили трубки. На пороге дома сидела древняя старуха. Они с нашей хозяйкой сердечно расцеловались...

Это и была Анька. Четыре вдумчивых участника перекура были ее сыновья. В ответ на русскую речь она стала бормотать что-то неразборчивое. После большого усилия, мы уловили, что она говорит по-украински (погалицки), с трудом припоминая слова... Сыновья скептически безучастно наблюдали эту сцену, не выходя из своего, повидимому, привычного, состояния блаженного полусна. Двор был совершенно необычно для Германии загроможден и захламлен. Он напоминал знакомые нам

с юности деревенские картины. Может быть, именно в этом совершенном отсутствии побуждения навести вокруг себя немецкий уют и порядок невольно сказалась в сыновьях плененная материнская кровь?

Через дорогу открывался прелестный вид на зеленую лужайку с редкими деревьями, по которой бродили коровы и лошади. Я впервые видел, что коровы и лошади пасутся вместе и стал присматриваться внимательнее. Вскоре обнаружился еще и осел. В ответ на мой вопрос, хозяйка произнесла загадочную фразу: «А.., это дом отдыха.»

— И эти животные для развлечения отдыхающих? — предположил я.

— «Нет, — сказала она — животные и есть отдыхающие.» — То есть, им дают перерыв в работе? — «Да нет, здесь живут животные, которые уже не годятся для работы, и они могут здесь отдохнуть.» — Кто же содержит это учреждение? — «Один человек купил участок и разбил здесь парк для животных, которые уже никому не нужны.» — Для чего?

— «Ну, чтобы они отдыхали.»

Овцы там обнаружились тоже. Для комплекта не хватало только волков, чтобы возлежать в райском согласии...

Брат ее оборудовал пристройку под летнее жилье, до предела начиненное радио- и видео- оборудованием и дал нам послушать BBC

про израильско-палестинский конфликт, не углубляясь в обсуждение.

Пока диктор рассказывал про возмутительное поведение израильтян на оккупированной территории, они с сестрой оглядывались по сторонам, вспоминая свои детские проделки, где что росло, куда что делось...

На участке росла только густая трава, кусты, и бегали белоголовые внуки. Сын его женился на чешке, и они были в нее.

В первый раз в Берлине я счел своим долгом посетить еврейскую общину. После молитвы в синагоге в субботу накрывают стол для всех желающих. Вполне качественная выпивка и закуска. Почти все желающие, оказалось, говорят по-русски. И несколько преувеличенно подчеркивают свое еврейство. Это — свежеприбывшие. Спустя пару лет, когда все формы поддержки уже исчерпаны, большинство из них теряет интерес к еврейству и совместной выпивке и наполняется едким раздражением к общине. Повидимому, это тот срок, по истечении которого от них начинают требовать ответного вклада. Меня, впрочем, поразило неистощимое гостеприимство и стабильное благополучие общины, состоящей из таких ненадежных членов, и я спросил одного из руководителей, откуда приходят их средства. Он ответил, ни на минуту не запнувшись: «От эсэсовцев.» — Как? — я был несколько шокирован. — «Очень просто, многие бывшие эсэсовцы, жертвуют теперь свои деньги еврейской общине ... Ведь им было тогда в среднем по 20 лет. Что они понимали?»

В светском разговоре с другим немецким коллегой-профессором выяснилось, что он не одобрял назначение главой Берлинской еврейской общины известного там общественного деятеля, Гейнца Галинского. Мне он тоже не нравился, но все же я счел необходимым возразить: Он — человек, пострадавший от нацизма, бывший узник Освенцима. «Вот, именно поэтому, — ответил коллега — я против его назначения... Мою родную тетку изнасиловали пятнадцать русских солдат. Представляете, 15 монголов! (Так он представлял себе русских солдат.) Она потом месяц лежала в госпитале, ее зашивали и все такое... Так вот, если бы меня спросили, кого теперь назначить для налаживания добрососедских отношений с русскими, должен ли я был назвать свою тетку наилучшим кандидатом?»

Несколько лет назад Галинский умер и председателем Берлинской общины стал Александр Бреннер, знакомый

мне еще по временам, когда он был культурным атташе германского посольства в Израиле. Я позвонил ему, и он пригласил меня на ланч. За годы, прошедшие с тех пор, как я там не был, община переселилась в роскошно отремонтированное здание старой синагоги. Но теперь меня поразила фронтовая атмосфера, царившая вокруг. Броневики и солдаты в касках с ружьями наизготовку, перекрывшие улицу, создавали впечатление, будто мы не в центре Европы, а в Хевроне в разгар интифады. После обыска и просвечивания я все же был допущен к председателю.

Мы посидели пару минут в его кабинете, вспоминая прошлое, и вышли в коридор. За нами увязались какие-то два подозрительных типа. Я спросил Бреннера, что им от него надо. Он сказал: «Не обращайте внимания. Это охрана.» На улице один шел перед нами, а другой сзади. Передний зашел в кафе и, оглядев зал, кивком предложил нам войти. Все время, пока мы ели, они, не садясь, маячили невдалеке. Бреннер объяснил, что приходится это терпеть, потому что отношение к еврейской общине в глазах международных организаций превратилось в индикатор уровня либерализма в Германии, и правительство панически боится всякого антисемитского выпада, который может всерьез подорвать их кредит. Конечно, это всем им уже жутко надоело, но такова сила инерции последних 50-ти лет, и с этим ничего не поделаешь...

Баден-Баден, как и вообще эта часть страны, где германская прямолинейность разбавлена следами средиземноморских влияний, через все века несет в себе некую неправдоподобную весть, особенно внятную изверившемуся российскому выходцу.

В этом городе вилл, обжитом со времен римских императоров, под столетними деревьями, под купами цветов, свисающих с балконов, у прозрачных ручьев украшенных узорными мостками начинает казаться, что жизнь человека осмысленна или, по крайней мере, может быть

сделана осмысленной путем неотступного организованного усилия большой массы народа, направленного на ее улучшение и украшение.

Нарядные толпы дружелюбно чирикающие на всех языках бродят по живописным улицам, — все вокруг добры и предупредительны. Безупречно отглаженные господа и изысканно причесанные дамы сидят у мраморных столиков в элегантных кондитерских, теннисисты в белых шортах точными движениями отбивают мячи на разлинованных площадках, разноцветные купальные шапочки весело пестрят под фонтанами в открытом бассейне в Термах Каракаллы... «Анна унд Марта баден»... Волны симфонической музыки набегают со стороны курхауза, где расположена открытая эстрада. Человек по природе благонамерен и рожден для продуманного и умеренного счастья,.. как хорошо построенный аэроплан для полета.

Эти-то парковые аллеи Баден-Бадена и стали русским фантомом — чертежом «хрустального дворца всеобщего счастья», выстроенного трудами классических русских писателей в сознании (подсознании) доперестроечного российского гражданина. Русский выходец уверенно узнает здесь корень и основание своего идеализма, взращенного святой русской литературой, которой крепостное право давало средства жить и творить в таком доброжелательном окружении. В парке, недалеко от казино, где Ф. Достоевский просаживал приданное жены, стоит памятник И. Тургеневу, который здесь создавал свои романы, полные чарующих описаний русской природы. И. Гончаров писал здесь свой «Обрыв»... Недалеко от отеля, где он жил, расположена и православная церковь, которую меня особенно настойчиво приглашал посетить мой молодой германский коллега, не будучи в состоянии отделаться от впечатления, что все русские — православные. Убежденный послевоенной немецкой пропагандой, что евреи такие же люди, как все, он

деликатно, но настойчиво игнорировал мои ссылки на мое еврейское происхождение.

То невообразимое и непредставимое, что произошло в Германии в тридцатые годы, здесь хочется посчитать случайным, нехарактерным. Баден-Баден, как будто, претендует остаться в стороне от этого небольшого их национального *faux-pas*, о котором тут, под сенью платанов, видевших и слышавших так много прекрасного, и поминать-то неловко, чуть ли не мелко, недостойно этого места — обиталища муз — и нашего времени — уверенного господства либерализма — прямо вослед тайному советнику Вольфгангу Гете. Что там случилось, в краткий период общего беспамятства — не одни ведь немцы виноваты, не правда ли? — суета сует и неурядицы...

Вулканический взрыв, который потряс Европу в середине прошлого века был только предзнаменованием, обнажившим клокочущую лаву под коркой цивилизации. Произошло ли это от развития производительных сил, как учили нас в школе, или от упадка веры, как предвидел Ф. М. Достоевский, но его «подпольный человек» вырвался на поверхность жизни и захотел переделать мир по своему образу и пожеланию:

«Пусть даже так будет, что хрустальное здание есть пуф, что по законам природы его и не полагается, что я его выдумал... Не все ли равно, если оно существует в моих желаниях, или, лучше сказать, существует, пока существуют мои желания? Какое мне дело, что так невозможно устроить... « (Ф. Достоевский, «Записки из подполья»).

Образ этот в России был один, а в Германии оказался другим, но в обоих случаях «законы природы» были радикально похерены. Какое избирателю дело, «что так невозможно устроить». Какое ему дело, вообще, как устроен мир?

«Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить?.. Согласен, что дважды два четыре — превосходная вещь; но... и дважды два пять — премилая иногда вещица... Рассудок есть вещь хорошая, но... удовлетворяет только рассудочной способности человека, а хотенье есть проявление всей человеческой жизни, и с рассудком, и со всеми почесываниями...» (оттуда же).

Собственно, урок XX века свелся к тому, что никаких «законов природы» вообще не существует, и один человек может повернуть весь ход истории по своему капризу (в соответствии «со всеми почесываниями»), было бы только у него достаточно средств. — Кажется, к началу XX1-го средства, как раз, накопились...

Каждое воскресенье человека в Германии будит колокольный звон.

Трудно на улице или в университете отличить верующего от неверующего, но легко увидеть, как много людей ходит петь в церковный хор, жертвует для бедных и ест пироги на церковных праздниках. В деревне это 90%, но и в городе колокола звонят не зря. Трудно понять со стороны, в какой степени людей влечет в церковь вера, в какой привычка, а в какой — хорошая музыка. Важно заметить, что очень многие туда ходят. Мой мужиковатый коллега Вольфганг регулярно читал Библию — хотя при этом никаких следов религиозности не обнаруживал. Интеллигентный коллега Ульрих не только читал много книг, но и произносил горячие речи на собраниях своей лютеранской общины. Инженеры Манфред и Иоахим регулярно пели в церковном хоре.

В «нашей» деревне католическая церковь и лютеранская стоят почти рядом. Хотя у католиков кофе и пироги выглядят более изысканно, у лютеран зато более непринужденная атмосфера. Молодой, веселый пастор одет в вельветовую куртку и мятые штаны и учит местных детей в школе музыке и физкультуре.

На летние каникулы деревня принимает у себя для оздоровления группу белорусских детей от 8 до 15 из окрестностей Чернобыля, терпеливо снося, повидимому, неизбежно связанный с этим беспорядок, включающий мелкое воровство и матерную ругань, которую, впрочем, немцы не различают. На краю деревни стоят большие крашеные ящики для обуви и одежды, которые церковные благотворители собирают для отсталых стран.

В Баварии утром встретился нам на лесной дороге взвод солдат. 30 парней, голых до пояса,тяжело дыша, бежали по дорожке, подгоняемые командиром. Первый солдат, увидев меня с Ниной, привычно произнес приветствие «Gruess Gott!», что, между прочим, значит «Благослови Бог!». Следующий за ним, продолжая бег, выдохнул то же самое и так повторилось 30 раз. Каждый из 30 современных немецких юношей, занятых своим нелегким делом, воспринял, однако, необходимость приветствовать встречного лично (а может и благословение для некоторых из них не пустой звук?), будто никакой дисциплинарной связи между ними не было и учтивое поведение остается для каждого из них лично категорическим императивом. Если бы такое же индивидуальное сознание обнаружили в свои 20 лет хотя бы только те эсэсовцы, которым теперь пришло в голову жертвовать деньги еврейской общине, возможно, мы теперь другими глазами смотрели бы на германскую историю.

Но может быть они всего лишь опутаны своими немецкими правилами и их воспитанная с детства вежливость ничего не значит?

Страна, народ, культура — это такие обширные реальности, что в них найдется место для всех противоборствующих тенденций. Что угодно можно сказать о сегодняшней Германии, но нельзя и подумать, будто роковой счет между нами уже закрыт.

ДОРОГА ИЗ А В Б

Со вздохом облегчения я погружаюсь в мягкое кресло в уютном купе скорого поезда, следующего из А... мстердама, допустим, в Б... ерлин.

Достаю из портфеля начатую книжку и предвкушаю редко доступное мне удовольствие от необязательного, легкого чтения в течение нескольких безмятежных часов, пока поезд, выполняя мою суверенную волю, воплощенную в покупке билета, рассекает пространство, спеша доставить меня, как сказано было в школьном задачнике, из точки А в точку Б.

В поезде

Напротив сидит прелестная молодая девушка (может быть, дама?) с головой погруженная в свой дневник-календарь, в котором, конечно, расписана вся ее жизнь на много недель вперед...

Интересно, при таком образцовом прилежании, осталось ли в ее жизни какое-нибудь место для приключений? И как сможет осуществиться ее встреча с прекрасным принцем? Впрочем, возможно, она уже встретила своего принца...

Но ведь не утеряла же она при этом своего естественного желания нравиться? Хотя бы и собственному мужу. И ее желание удивлять (хотя бы и случайных попутчиков в поезде) тоже при ней.

Это ясно видно по ее изысканно наложенной косметике и продуманно-небрежной прическе. Ах, конечно, ей очень хочется и того, и этого!

Чтобы сделать такую прическу, чтобы так выглядеть, чтобы нравиться и удивлять, ей нужно не только потратить порядочные деньги, но и за недели вперед спланировать все свои визиты к парикмахеру, портнихе, косметичке. А ведь еще есть маникюр, педикюр, аэробика. Массаж, эпиляция, гинеколог и диетолог! Чтобы всех их вовремя посетить и всем им вовремя заплатить, нужно не раз посидеть над книжкой-календарем и хорошо подсчитать расходы.

Чтобы иметь свободу нравиться, нужно лишить себя свободы лениться и небрежничать. Есть,что захочешь, и ложиться спать, когда попало. Жизнь в оковах расписанных будней предохраняет от риска случайных обид, непредвиденных беременностей, роковых ошибок вкуса, обманов мужчин, предательства подруг. Свобода же, что ни говори, включает риск и обрекает на жизнь, полную страхов, уколов самолюбия и непредусмотренных потерь...

Впрочем, лишая себя свободы моментальной, связанной с риском и случайностью, она, может быть, достигает иной свободы, запланированной и желанной, обеспечивающей ей именно то направление жизни, которое она избирает для себя сама. Если она и позволит себе приключение, это вряд ли будет изменение всей жизни и мироустройства. Скорее легкий флирт, пикник горожанки, которой слегка наскучил гладкий асфальт улиц. Ну, полежит разок на траве. Босой ногой попробует. Но... ведь на шпильках по траве не пойдешь! Не с коромыслом же ей ходить по воду студеным утром! Не лучину ведь жечь по вечерам...

Пожалуй, что выбор ее вовсе не между свободой и будничной рутиной, а между свободой и большей свободой. Уж какая ей видится большей.

Вот и я предпочел поезд, благонамеренно, по расписанию влачащий меня из точки А в точку Б по накатанным рельсам, вместо того, чтобы, как птица, рвануть по кратчайшему пути, который так ясно и красочно рисует мне мое воображение.

В реальности, впрочем, все равно пришлось бы брать машину (особенно, если бы моя точка А была, скажем, Афула, а Б — Беэр-Шева) и тащиться по извилинам дороги, которую задолго до меня по неведомым мотивам прочертил неизвестный мне строитель. Не переться же пешком по прямой через горы и овраги!

В автомобиле

Но и на гладкой дороге могли бы меня настичь трудности: передний водитель, к примеру, сначала тащился,

как сонная муха, а потом вдруг взял и затормозил. Задний, конечно, зазевался — и, вот, я уже не в точке Б, а в больнице. И шея — в лубке.

Предусматривала ли моя судьба небрежность шофера, ударившего меня сзади? Насчет переднего, положим, я сам виноват, подъехал слишком близко. Но ведь ротозей сзади знал, что правила движения предписывают держаться подальше от передней машины, не слишком рассчитывая на осмотрительность водителя. Так и написано у меня на корме: «Соблюдай дистанцию!». Впрочем, кажется, и у того, что был впереди...

Допустим, все же, напряжением целенаправленной воли, опять предписывающей мне сократить мою свободу на дороге до буквального выполнения правил движения, я все же в последний момент увернусь от столкновения и продолжу свою вольную траекторию в точку Б с неповрежденной шеей...

Чуть я разогнался — впереди заслон полиции.

В чем дело? Может быть, прорваться и бежать?

Подлый разум опять подсказывает мне подчиниться.

...Ничего страшного — впереди на дороге авария, и полиция направляет в объезд по боковой дороге через лес. Ну, что ж...

Я не буду говорить об оползнях, падающих деревьях и проливных дождях, которые угрожают мне в лесной местности. Выбегающих животных, коварные ухабы заполненные водой после дождей и скользкие грязевые пятна я тоже благополучно миновал...

И тут — боевой вертолет Армии Обороны Израиля, призванной меня защищать, падает аккурат на крышу моей машины, потеряв управление в ходе своего регулярного тренировочного полета над малонаселенным лесным районом.

В политике

Ни я, ни летчик ни в чем не нарушили существующих правил. Вертолеты, как и автомобили, время от времени

выходят из строя по случайным причинам. В конце концов, если бы я даже шел пешком, я мог бы подвернуть ногу, простудиться, наступить на колючку, упасть в канаву, зацепиться за сучок. Любое из этих происшествий могло бы послужить достаточной причиной, по которой точка Б оказалась бы для меня навеки недостижимой.

Случайность ли это, или сама судьба не дает мне осуществить мое намерение? Эллинская традиция объяснила бы мою неудачу судьбой, которая была предопределена от начала времен. Мне было не суждено достигнуть точки Б, и эта недостижимость есть часть мироустройства.

Библейская традиция внесла бы сюда моральный элемент, ибо раз Бог не хочет, чтобы я достиг этой точки, значит есть в этом скрытый смысл. То ли цель моя была нежеланна там, наверху, то ли сам я оказался недостоин. Здесь мы сталкиваемся с фундаментальным вопросом, на который не может ответить эмпирическое знание.

Но легкая часть вопроса ясна каждому: как человек и гражданин, я (если чудом остался жив) непременно должен отреагировать на такое нарушение моих прав. (Прав? — Конечно! Ведь речь идет о моей свободе достигнуть желанной точки Б). Во-первых — страховка. Во-вторых — компенсация. В-третьих, я должен публично в газетах потребовать от Министерства Обороны, чтобы оно усилило технический контроль своих вертолетов, пересмотрело свою кадровую политику и прекратило свои опасные и вызывающие эксперименты с оружием, нагнетающие международную напряженность и нарушающие целостность нашей зеленой среды...

А может быть, и вообще пора прекратить портить жизнь нам и нашей молодежи и «не учить их больше воевать»...

Да, я потребую, чтобы моя свобода была надежнее защищена от случайностей и головотяпства властей!

...Заодно, это будет мой вклад в дело мира.

Моя статья потрясет сердца и правительство зашатается...

...Если министр не дурак, он использует мою статью, как основание для своего давнего требования выделить ему дополнительные средства (из моих налогов) и территории (включающие, конечно, точку Б, которая отныне станет навсегда недоступной) для его учебных маневров.

Таким образом, моя свобода в будущем, быть может, и будет защищена от непредвиденных аварий сверху, вертикально, но сфера ее приложения в таком случае, увы, горизонтально сузится за счет уменьшения моего дохода и доступной мне территории.

Какую свободу я предпочту?

В науке

Почему, говоря о свободе, никто из философов не упоминал первичного хаоса, случайности, как главного врага свободы? Все говорили об этике, о законах и препятствиях, ограничивающих свободу, об угнетении личности тоталитаризмом, морализмом, индустриализмом.

Какая ерунда! Даже о Божественном всеведении упоминали как о моменте якобы противоречащем нашей свободе. «- Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в этот вечер... Только что человек соберется съездить в Кисловодск.., но и этого совершить не может, потому что... вдруг возьмет, поскользнется и попадет под трамвай! Неужели вы скажете, что это он сам собой так управил? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой?» — теоретизирует Воланд в «Мастере и Маргарите» и вскоре управляется с неверующим Берлиозом. Но Бог тут ни при чем. — Он, может быть, и знал, что Берлиоз поскользнется по дороге к трамваю, но не Он толкнул его. Его подтолкнуло подсолнечное масло, случайно (по небрежности) пролитое на дороге. И собственная невнимательность на ходу, сделавшая его легкой жертвой всякой случайности.

Истинный враг свободы — вечный и непримиримый — случай. Закон (что Божеский, что человеческий) ограничивает свободу человека не больше, чем ветер ограничивает движение парусника, — при умелом обращении с парусами двигаться можно и против ветра. Случай — это мина, которая лежит под землей (а может быть и в твоем теле!) неизвестно где, не зная зачем, и прекратит твое движение там, где ты и не ожидаешь. Случай определяет и средства, которые подворачиваются под руку и, еще чаще, условия, при которых приходится действовать. Ведь и рождение наше на свет — дело случая. Быть может, и смерть...

Наука утверждает, что элемент случайности должен быть встроен в любое реалистическое описание действительности. Бог создал человека не отдельно от всех, а в ходе шести дней творения. Поэтому тот же элемент случайности, что в остальной природе, присутствует и в человеке, порождая тайну непредвиденности и в нем. Это не облегчает нам выбора точки зрения, ибо непостижимость Божьей воли свободно может проявляться и в форме квантовой механики (поэтому Э. Шредингер называл ее Господней квантовой механикой). Однако квантовая механика (и вообще наука) неслучайно формулирует свое знание в форме, присущей русским народным сказкам: «Прямо пойдешь — головы не снесешь. Направо поедешь — коня потеряешь, налево — ...».

Это именно та форма, которая предлагает и предполагает выбор.

«Свободный» выбор. Только этот выбор и есть наша свобода.

В русской литературе

Но, может быть, человек в силах оседлать вероятность? И осуществить свою свободу через случай, магически овладев средством подчинить шанс своей целенаправленной воле. В «Пиковой даме» Пушкин поставил себе именно этот вопрос. Будучи весьма по-эллински на-

строен, Пушкин был нечужд и эллинской идее судьбы. Как всякого азартного игрока, его одновременно воспламеняла и отпугивала возможность овладеть судьбой, хотя бы на краткий миг. Регулярно проигрывая за карточным столом, он живописал с натуры (и изнутри) рождение мечты решительным усилием воли загипнотизировать случай, схватить Бога за бороду, разом поправить свои дела и никогда больше в жизни не знать нужды:

«Случай! — сказал один из гостей.

— Сказка! — заметил Германн.

— Может статься, порошковые карты! — подхватил третий.»

Эта картежная экономика страшно занимала и Достоевского, так что и «порошковые» (крапленые) карты входили в круг его напряженного внимания: «Раскольников: — А вы были и шулером? ...Свидригайлов: — Как же без этого? Целая компания нас была, наиприличнейшая, проводили время, и все, знаете, люди с манерами, поэты были, капиталисты...» («Преступление и наказание»).

«...Будучи в душе игрок, ...целые ночи просиживал Германн за карточными столами и следовал с лихорадочным трепетом за оборотами игры. «Что, если, — думал он, бродя по Петербургу, — старая графиня откроет мне свою тайну! Или назначит мне эти три верные карты! ...Почему ж не попробовать своего счастия? ...Представиться ей, подбиться в ее милость, пожалуй, сделаться ее любовником, но на все это требуется время, а ей восемьдесят семь лет, она может умереть через неделю, через два дня!..»

Интересная мысль, не правда ли! За два дня до смерти ей, возможно, настоятельно нужен был любовник. Раскольников у Достоевского до этого не додумался. Но Свидригайлов — истинный джентльмен удачи — смело осуществил и этот проект: «Тут и подвернулась Марфа Петровна, поторговалась и выкупила меня за тридцать тысяч»...

«Нет! Расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что утроит, усемерит мой капитал и

доставит покой и независимость!» — так упорно продолжал бороться с дьявольским наваждением Германн.

Действительно, эти три карты всегда выигрывают, но, конечно, не в руках человека, готового стать любовником восьмидесятисемилетней старухи. Мысль о старухе (любить, либо убить) и картах с такой силой прозвучала у русских писателей, как будто и в самом деле никаких других путей к благополучию нет в этом мире.

Может и вправду не было? А есть ли сейчас?

В «Преступлении и наказании» во многих вариантах мусолится эта соблазнительная возможность. Раскольников убил старуху (якобы убил, я все же думаю, что это напраслина, возведенная гениальным писателем на русскую интеллигенцию — прообраз будущих фальсифицированных процессов против вредителей и врагов народа) и, мучась совестью, слег в постель. Его друг Разумихин, пока суд да дело, доблестно добывал для него пропитание и уход при помощи флирта со вдовой в возрасте, его хозяйкой. Свидригайлов, без успеха испробовав и «случай», и «порошковые карты», стал мужем, а впоследствии и удачливым убийцей богатой Марфы Петровны. Именно на ее деньги щедро устроил он комфортабельное покаяние своему интеллигентному коллеге, убийце-неудачнику Родиону, и счастье его добродетельной сестре Дунечке (а заодно и их общему другу Разумихину).

Один Бог — судья всей этой геронтомахии. Но есть там и персонаж, который заслужил безусловное осуждение всех окружающих, — Лужин, который свои большие деньги не выиграл, как человек, с помощью счастливого случая, не добыл шулерским приемом, никого не убил, а заработал именно тем сомнительным, нерусским способом — «расчет, умеренность и трудолюбие», — который и пушкинский Германн сперва полагал своим («Германн — немец: он расчетлив — вот и все! — заметил Томский.»), пока,«просиживая ночи напролет за карточными столами», не вошел с головой в соответствующую культурную атмосферу.

Он до своего помешательства был не только немец, но еще и инженер. Это, пожалуй, необычная профессия для картежника. И тоже может быть воспринята как вызов судьбе. Ибо инженеры, наука и вся технологическая цивилизация в целом, дерзко работают против случайности. Сухо и расчетливо, пренебрегая магией, блядством и другими красивыми путями к удаче, муравьиным своим трудолюбием инженеры систематически сокращают поле неограниченного господства случайности и тем вызывают законное отвращение поэтов. Цивилизация заключает бесформенную и свирепую природу в клетку геометрических форм, и эти рассчитанные формы отнимают у нас романтическую, опасную тайну непредвиденности, которая так манит азартом удачи и цепенит страхом провала.

В мысли и деятельности

Если бы я собрался пройти из Аахена в Берлин до того, как сначала циничные римские императоры, а потом и сами расчетливые немцы, проложили там дороги, мои приключения в туманных лесных дебрях Вестфалии среди звероподобных швабов и тевтонов могли бы послужить основой для еще одной Песни о Нибелунгах. А поездка на поезде среди их умеренных и трудолюбивых потомков едва ли стоит даже краткого упоминания. Добравшись живым до Берлина, я торжествовал бы победу воли богоподобного Человека над косным пространством и превратностями судьбы. А, прокатившись на поезде, я, в лучшем случае, могу лишь рекомендовать этот маршрут своим знакомым. Тем не менее все мы выбираем этот второй, обывательский вариант.

Вот как характеризует эту склонность неистовый романтик Ницше, проведший, впрочем, большую часть жизни в постели: «Кто исследует совесть нынешнего европейца, тот найдет в тысяче моральных изгибов и тайников одинаковый императив стадной трусости: Мы хотим, чтобы когда-нибудь настало время, когда будет нечего

больше бояться! Стремление и путь к этому называются нынче в Европе прогрессом.»

Ему, при его прогрессивном параличе, действительно нечего уже было в жизни бояться, и он очень точен в своей формулировке европейского понимания прогресса. Но действительно ли побудительный мотив этого векового стремления в «стадной трусости»? Понимал ли он, в чем состоит свобода европейца?

Свобода — это не настроение. Это не ощущение. В цивилизованных странах это уже давно и не гражданское состояние. Это — возможность. Возможность свершения. Т. е., действия. Например, перемещения из точки А в точку Б. Понятие свободы, по-видимому, должно включать цель, для которой она необходима. Нельзя отгородиться от тех реальных сфер, в каких свобода может воплотиться.

В конце XX века уже легко усомниться в общепринятом определении человека, как «человека разумного». Слишком часто он ведет себя, хотя и предсказуемо, но неразумно, причем не только в своем диком состоянии, но и в составе цивилизованных обществ. Поэтому будем исходить из более реалистического определения его, как «существа целеполагающего».

Т. е., в отличие от животного, человек (по крайней мере, в цивилизованных сообществах) ставит себе цель (хотя и не всегда разумную) и действует в соответствии с желанием эту цель достигнуть. Тогда свобода для человека существует лишь до тех пор, пока возможность — вероятность (обоснованное ожидание, надежда) достигнуть его цели остается выше нуля.

Вероятность выиграть в карты всегда больше нуля. Если, конечно, не считаться с возможностью жульничества. Вот почему игра или лотерея так притягивают людей, страдающих от недостатка свободы... А страдают все. «На всех стихиях» человек скован и порабощен. Так или иначе. Добровольно или принудительно.

Например — боюсь вымолвить — свободы мысли не существует.

Ведь цель мысли — ее адекватность. Она не может быть свободной, будучи привязана к истине. Она также не может быть свободной, будучи связана традиционными средствами выражения, т. е. языком.

Не связанная с реальностью и не имеющая укорененной в традиции формы, мысль теряет и содержание. Адекватность мысли может представляться только в двух соотношениях: адекватность своему предмету и адекватность наличной культурной атмосфере. Совместить первое со вторым почти никогда не удается (потому что общей традицией обычно становится то, что почиталось за истину в прошлом), и это вынуждает мыслителя, преданного реальности (истине) больше, чем людям (традиции) бороться со своим окружением. Якобы за свободу мысли. Несчастные Джордано Бруно и Сервет! Они боролись не за свободу, а за признание. Им не удалось выразить их мысль в такой форме, которая позволила бы окружающим рассмотреть ее спокойно, как допустимую. Не во всяком обществе вообще принято рассматривать различные варианты...

Легко представить и противоположную картину — религиозный гений борется с очевидной реальностью за свободу своей мысли. За то, чтобы она осталась верна традиции, вопреки фактам. Достоевский, например, решительно боролся за свободу своей мысли от тирании современного ему научного мышления.

В нашем веке уже миллионы людей угнетены знанием и часто предпочитают, что попроще — гипноз или телекинез. Это борьба не за свободу мысли, а за свободу от нее. Мысль ведь обязывает:

«Скажи мне, чертежник пустыни, сыпучих песков геометр, — ужели безудержность линий сильнее, чем дующий ветр?» (О.Мандельштам)

Да, «безудержность линий» сильнее, и правильная логика мысли не позволяет той свободы, что процветает в чувствах и поступках людей, а потому и в истории. Однако иногда, напротив, действительность врывается в

строй мыслей теоретика с грубым нарушением логики, и он опять не свободен защитить свои эфемерные конструкции.

В отличие от мысли, в деянии присутствует время, и введение этой дополнительной координаты открывает новую степень свободы. Ведь действие обнаруживает все свои последствия только со временем, когда этих последствий уже не избежать, а причины частично забыты. И незнание случайных последствий создает сразу и свободу, и опасность для деятельных сообществ. Вот почему глухой консерватизм имеет не меньше привлекательности в глазах некоторых людей, чем изменение, даже если оно и к лучшему: Не шевелиться под гипнотизирующим взглядом судьбы... Не обнаруживать себя. Не дышать...

В самолете

Однажды мой коллега в Америке пригласил меня покататься на его самолете. Это было зимой, и нам пришлось прежде разогреть самолет и хорошо разогреться самим, толкая его ко взлетной дорожке. Самолет оказался на удивление легким, гораздо легче автомобиля, который в России мне приходилось толкать неоднократно, и я настроился на что-то вроде усовершенствованной автомобильной прогулки. До этого я лет двадцать водил машину и ни страха скорости, ни боязни столкновения не ощущал. Однако то, что я испытал, не сводилось к предшествующему опыту. Появление третьего измерения (глубины) оказалось совершенно захватывающим и незнакомым чувством.

Хозяин перевел управление на меня. Восторг неограниченной пространственной свободы оказался неотличим от панического страха. Не было, за что ухватиться даже и взглядом. Руками я вцепился в руль. Однако, чтобы управлять, нужна какая-то, хотя бы воображаемая, линия, которой можно придерживаться. Какое-нибудь правило. Например, «держись против ветра!». Или «не давай машине клевать носом». Но американец деликатно молчал.

Не принято у них навязывать свою волю ближнему. Свои правила я вынужден был для себя выдумывать сам. На ходу. Координаты нужны свободной воле, как рукам — перила. А небо — равномерно пусто. Никакой дороги передо мной не было. Моя воля не подсказывала мне ничего. Не было даже препятствия, чтобы его избежать. Не было цели или другого самолета поблизости. Земля едва виднелась в тумане. Скорость не чувствовалась. Смотреть было не на что. Меридианы в небе неразличимы. Мы висели в пустоте. Поташнивало и хотелось прислониться. Я с трудом удерживался, чтобы не бросить руль и, закрыв глаза, по-детски схватиться за своего хозяина.

Так чувствует себя человек, столкнувшийся со свободой в новом для себя измерении. Так чувствует себя человек, впервые вырвавшийся из России в свободный мир. Так почувствовали себя евреи в пустыне, куда внезапно вывел их Моисей из Египта, где у каждого было свое место в фараоновском штатном расписании.

Я повис всецело во власти случайности — случайной поломки в моторе, случайного завихрения в атмосфере.., случайного сбоя в сознании. Мое сознание ведь тоже хаотически мерцает!

В моей голове

Вот я, сидя в купе поезда Аахен — Берлин, собрался прочитать книгу и сосредоточиться перед предстоящим докладом. Однако отвлекся, засмотревшись на случайную соседку с календарем.

Вернусь к книге. Только в уборную схожу.

...Уборная занята. В коридоре висит карта нашего маршрута. Интересно, поезд останавливается в Гамбурге? Любопытный, говорят, город. Там под землей есть целый сад развлечений. Неприличных, в основном... Да что я буду ожидать в коридоре! Пойду в соседний вагон...

Соседний вагон оказался буфетным. Интересно, что там в меню? Могу перекусить и в вагоне... Вот, кружку пива выпью... После пива книжка как-то не идет, хотя...

Соседка, видимо, сошла, пока я был в буфете. Уже больше часа прошло после Аахена, пожалуй, не стоит начинать обдумывать тему доклада, все равно скоро приедем...

Если расслабиться, случайность одолевает и изнутри. Путь из точки А в точку Б усеян препятствиями в собственной голове.

Существует ли свобода воли? Пожалуй, этот вопрос релевантен только для человека, способного не забыть о намеченной цели между двумя случайными препятствиями. А что считать препятствием, определяет его индивидуальный масштаб. Так что на вопрос о свободе воли можно было бы ответить то же, что анекдот отвечает на вопрос о том, будут ли деньги при коммунизме: «У кого — будут, а у кого — нет». Вот, что говорит по этому поводу Генри Форд, о характере которого можно предполагать все, что угодно, кроме стадной трусости: «Гораздо больше на свете людей сдавшихся, чем побежденных. Грубая, примитивная сила настойчивости есть некоронованная королева мира человеческой воли. Люди видят успехи, достигнутые другими, и ошибочно считают их легкой удачей. Но в жизни все обстоит наоборот, неудачи встречаются гораздо чаще, и каждый успех достигается адским трудом. Случайные неудачи сопровождают каждый миг беспечности, за удачу приходится платить всем, что у тебя есть... Пусть каждый американец вооружится против изнеженности.» Мне кажется, это относится не только к американцу. Меньше всех к американцу. И это совершенно противоположно тому, что Ницше говорил о европейском прогрессе.

В прошлом и в будущем

Для всего иудео-христианского мира образ вождя-освободителя связывается с именем Моисея. Почему именно он? Почему не Спартак, например? Ведь Спартак пытался сделать почти то же самое — вывести отчаявшихся иноплеменных рабов из организованного государства, в

котором не предвиделось для них другой доли. И поначалу преуспел.

Но Спартак определил для них свободу, как право поступать по своему произволу и разумению. И они вскоре рассыпались по всей Италии, так и не дойдя до своей обетованной земли.

Моисей с самого начала связал их свободу с выполнением Закона. И это, рано или поздно, сделало евреев другими. Сделало их народом. Он дал им Б-га и Закон, но не дал рецепта удачи. И евреи по-житейски справедливо роптали, что Моисей их обманул. Действительно, он прилюдно обращался к Фараону с требованием отпустить их на три дня в пустыню, а сам задумывал вывести навсегда. Сколькие из народа были посвящены в его грандиозный замысел? И сколькие бы обязательно возражали, если бы поняли, что им предстоит? Цель, которую поставил перед собой Моисей, превосходит человеческое воображение. Народ и сейчас не прочь склониться к чему-нибудь попроще. Пустыня, куда Моисей вывел людей, выглядела как воплощение идеи свободы только до того первого момента, как им захотелось пить. А потом и есть. Потом еще пришли кочевые разбойники-амалекитяне...

Бескрайняя пустыня ограничивает эффективнее тюремных стен. Свобода для человека без цели легко становится тюрьмой души, рабством у необходимости. Рабы же при хозяине, напротив, живут беспечно: хозяин даст день — даст и пищу. У рабов зачастую даже остается время для духовной жизни.

Европейский прогресс направлен на устранение внешних случайных препятствий при достижении цели. Европеец свободен не «вообще», а только благодаря тысяче ограничений, которые он добровольно на себя принял. И еще примет в будущем. Он свободен, если у него есть цель. Те, у кого цели нет, или они затрудняются ее сформулировать из-за обилия внутренних препятствий,

порабощены европейскими правилами цивилизованного поведения. Они справедливо бунтуют. И находят себе множество певцов и лидеров, делающих на этом бунте свою жизненную игру, преследующих совсем другие цели. Эта игра для Европы нешуточная.

Также и древние правила еврейской жизни были направлены на устранение внутренних случайных препятствий в сознании, мешающих сосредоточению на главном, на Б-жественном. Внутренние препятствия сравнимы по своей разрушающей силе с самыми тяжелыми внешними трудностями. Еврейская дисциплина ума оказалась творчески настолько плодотворна для тех многих, чей ум видел перед собой цель и способен был к ней стремиться, что без еврейских имен европейская цивилизация теперь существовать не может. Однако, если высшей цели нет, такой ум часто становился разрушительным. А если и эта дисциплина выдыхается, евреи становятся такими же варварами, как и те, кого вел Спартак.

В настоящем. Здесь и сейчас

Способность стать выше хаоса случайностей, поставить себе далекую цель и преследовать ее, вопреки внешним и внутренним препятствиям, поминутно возникающим из ничего, есть то единственное качество, которое может обещать человеку свободу. Не в будущем, когда-то и где-то, а всегда — здесь и сейчас. И только тому, кто при достижении далекой цели поминутно готов принять отказ от своей свободы отклониться на цель помельче.

ПО ТУ СТОРОНУ УСПЕХА

Государство Израиль возникло почти 60 лет назад благодаря массовому движению, которое называют сионизмом. Это движение преодолело казавшиеся непреодолимыми трудности и создало процветающее государство на гиблом куске земли, заброшенном когда-то турками за ненадобностью.

Евреи осушили болота, насадили леса, провели дороги, построили электростанции и водопровод. За **50** лет население государства увеличилось в десять раз, а производительность труда достигла уровня Англии. Судебная, образовательная и больничная системы стали работать на уровне европейских стран.

Однако, **уже 20** лет спустя после образования государства, может быть, именно благодаря внешним успехам, возникают серьезные сомнения достиг ли, в действительности, сионизм своей цели.

Старикам-пионерам, основателям этого государства, конечно, приўтно сознавать, что они добились почти невероятного, но все они признают, что добились не совсем того, чего хотели. Наиболее радикально настроенные среди них утверждают, что это совсем не то. Израильская действительность во многих отношениях напоминает романтически настроенному энтузиасту анекдот о ветреной жене. В ответ на замечание мужа, вернувшегося после долгой отлучки, что «что-то в ней теперь не то», она легкомысленно отвечает: «Всему городу — то, а тебе — не то?»

Действительно, объективно (для всего города) Израиль смотритсў очень неплохо. Эффективная экономика в передовых областях. Уровень жизни — где-то между Англией и Италией. Седьмое (или шестое?) место по численности и ударной мощи вооруженных сил... Но все это привычного гражданина уже не вдохновляет. Даже победа на всемирном конкурсе красоты и первый приз на Евровидении не утоляют этой метафизической тоски по выдающемуся. Душа израильтянина и, тем более, репатрианта томится постоянным недовольством.

Ради чего все было? Борьба, алия, героизм, жертвы...

И куда ушло?

Благосостояние убило энтузиазм. Безопасность разрушила национальное согласие. Богатство унесло равенство. За **58** лет Израиль превратился в обыкновенную демократию. Все, как у всех. Здоровым в нем живется

лучше, чем больным. Богатым — лучше, чем бедным. Своя рубашка остается ближе к телу. Даже в сорокаградусную жару... Несопоставимость экстраординарных усилий с заурядностью достижений наполняет израильтянина едким уксусом гражданского скептицизма. За что боролись?

Демократические общества вообще живут, всего лишь чтобы жить. Они развиваются вовсе не потому, что ставят себе такую цель. И жизненный уровень их граждан повышается не в ответ на требования справедливости. Скорее из-за их шкуродерства. Это шкуродерство, быть может и оправданное по временам, поглощает всякую жизнь, если становится общим принципом. Так же и политическая грызнў, по-видимому, необходимая в какой-то степени, становится невыносимой, когда она проникает во все поры...

А на заре государства, говорўт, все было иначе. Все были бедны, но все стремились к справедливости. Была общая цель. Были общие враги. Совсем не было воров. Все любили друг друга. И делились последним...

В Европе тем временем свирепствовал антисемитизм, и евреев нужно было спасать. Отрўды федаинов рассыпались по всей стране, грабили и убивали. Армии арабских соседей продвигались к Тель-Авиву. В жизни было место подвигам...

Сионизм был идеалистическим движением и исходил из утопической веры, что, если евреи станут такими как все и поселятся в своем государстве, антисемитизму придет конец. Как идеология, он возник в девятнадцатом веке, позже других современных идеологий, но его источником (в светском варианте) была та же гуманистически-освободительная тенденция, что провозгласила непоследовательный лозунг «свободы, равенства и братства». Ранний сионизм был построен на рациональных аргументах, «естественных» правах (теперь их зовут просто «правами человека») и вере во всеобщий прогресс.

Рационализм прошлого века оказался удивительно наивным во всем, что касалось человеческой природы, национальной жизни и социального устройства. Все идеологии так или иначе разрушились под напором жизни, не считающейся ни с какими схемами. И победа сионизма также оказалась похожа на его поражение.

Большинство евреев Европы не приняло сионистский путь спасения и погибло в душегубках и лагерях. Образование государства не отменило антисемитизм, а переключило внимание антисемитов со своих биржевиков на «израильских агрессоров». Столица Израиля уже 58 лет находится в Иерусалиме, но все иностранные державы все **58** лет игнорируют этот факт и держат свои посольства в Тель-Авиве. И чем в большей мере израильтяне поступают «как все», тем громче клянут на всех перекрестках мира «ястребов из Тель-Авива». Индия, скажем, находится в таком же безвыходном конфликте с мусульманским Пакистаном из-за Кашмира, как Израиль с палестинцами (и по сходным причинам), но я ни разу не слышал выражения «индийские агрессоры» или «ястребы из Дели».

Оказалось, что для полноценного существования антисемитизма вовсе не обязательно физическое присутствие евреев. Достаточно их присутствия в людском воображении. Так, в Польше антисемитизм продолжает процветать, несмотря на то, что коммунистические власти выгнали оттуда последних евреев еще в 1968 г. Все попытки объяснить антисемитизм какими бы то ни было реальными причинами всегда наталкивались на тот несомненный исторический факт, что исчезновение причины не устраняло следствия. Антисемитизм оставался, стойко переживая смену веков и социальных формаций. Поэтому причину антисемитизма, по-видимому, следует искать не в реальной действительности, а в психологии его носителей.

Узел проблем, завязанных вокруг еврейского вопроса, оказался гораздо значительнее, чем демографическая и

культурная проблема нескольких миллионов людей, составляющих еврейский народ. Сионисты, определявшие свой сионизм всего лишь как форму еврейского национализма, не учли глубины заинтересованности нееврейского мира в судьбе евреев.

Огромную роль в массовой психологии играет религиозная принадлежность. Даже, если общество кажется абсолютно безрелигиозным, оно живет по нормам и принципам, сформировавшимся в предыдущие века, когда религиозное мировоззрение было единственно возможным. Даже «кодекс строителя коммунизма» был всего лишь чуть модифицированным собранием раннехристианских правил. Народы представляют собой то, что делает из них историю. У бывшего советского народа все прежние правила были изломаны дважды на протяжении этого столетия, и неудивительно, что многие в результате готовы отказаться от всяких правил или даже подменить их блатным «законом». Но и остающиеся обломки правил продолжают быть все же наследием религиозной традиции.

Хотим мы этого или не хотим, теперь после образования государства наши успехи и поражения, а также наши грехи и заслуги, имеют всемирно-исторический характер и всемирно-историческое значение. В обеих монотеистических мировых религиях роль евреев непропорционально велика не только в прошлом, т. е. в их происхождении, но и в настоящем, поскольку еврейская судьба в этих вероучениях догматически определена. От адекватности этих определений зависит сохранность их веры и спокойствие прихожан. Поэтому и отношение к Израилю в разных странах определяется нюансами господствовавших в прошлом мировоззрений и мерой сегодняшней влиятельности религиозных институтов.

С христианской точки зрения, евреи своевременно не приняли истинного Мессию, и благодать теперь может вернуться к ним не иначе, как вместе с признанием Иисуса Христа. Такое возвращение, однако, в принци-

пе не исключено, так как оно (вместе с подтверждением догмата об избранности) недвусмысленно предусмотрено апостолом Павлом: «... Весь Израиль спасется, как написано: прийдет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их. Ибо дары и призвание Божие непреложны.» *(Послание к римлянам, //* **)**

Католическая церковь, в которой толкование первоисточников находится в руках иерархии, еще не приняла окончательного решения на этот счет. И Ватикан все еще полностью не признал государство Израиль.

Но в США, где протестанты систематически читают Библию сами, и толклвание остается в руках верующих, миллионы христиан ожидают от Израиля осуществления долгожданных пророчеств и ищут подтверждения этому в ежедневных сообщениях газет. Президент Клинтон в своей речи в Израиле несколько лет назад упомянул характерный эпизод. Обращаясь к своим избирателям, он однажды по памяти процитировал библейскую клятву: «Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет моя правая рука!...». После митинга один священник обратил его внимание на ошибки допущенные им в цитировании: «Однако, — сказал он от имени избирателей — эти ошибки мы вам простим. Но вот, если вы в самом деле забудете о Иерусалиме...»

Православная церковь, пострадавшая от неблагоприятных политических рбстоятельств в течение слишком длительного периода, не имеет пока единой точки зрения, но нужно отметить, что русский религиозный философ Владимир Соловьев еще сто лет назад (в 1899 г., почти одновременно с Теодором Герцлем) предсказывал образование государства Израиль и пророчил ему пионерскую роль во всеобщей войне с мировым злом, которая развернется как раз к 2000 г. Война с мировым терроризмом была осознана миром не намного раньше. Поскольку сегодняшняя черная сотня в России готова даже и христианство считать частью сионистского заговора, она,

по-видимому, готовит себя на роль мирового зла в этом сценарии.

С точки зрения ислама евреи, в свое время не оправдав Божественных ожиданий, упустили свой шанс уже навеки и обречены довольствоваться тем заведомо второразрядным статусом, который готовы им предоставить мусульманские государства. Историческая заносчивость евреев, проявляющаяся, в частности, в основании и процветании государства Израиль, больно ранит самоуважение мусульманина, не соответствует пророчествам Корана и должна быть непременно наказана. Ислам гораздо материалистичнее христианства и не учит смиряться с земным поражением в расчете на духовную победу. Напротив, смерть в бою за веру теоретически представляется мусульманину хорошим завершением праведной жизни, а военная доблесть — специфически мусульманской добродетелью. Поэтому военное превосходство Израиля означает разрушение всего их космоса.

Жизнь евреев, таким образом, отчасти мистифицирована и опосредована пристальным вниманием других народов. Сами проявления этой жизни также служат источником новых идеологических течений в нееврейской среде. Так, возникновение Израиля на наших глазах породило идеологию «палестинского народа», а затем и сам этот народ, который не существовал до государства Израиль и вряд ли сумел бы выжить, если бы это государство прекратило свое существование.

Народы, принадлежащие к двум основным мировым религиям, (т. е. большинство человечества) всегда находят в себе достаточно внимания, чтобы помнить о нашем существовании и иметь мнение по его поводу.

Антисемитизм в мире существует как уродливая проекция этого преувеличенного всеобщего внимания. Гитлер, будучи припадочным визионером, неоднократно подчеркивал, что ведет Мировую войну, собственно, не с Россией или Америкой, а с мировым еврейством. Хотя с точки зрения цивилизованного человечества это утверж-

дение казалось свидетельством искажения адекватной картины мира в его мозгу, именно оно, это искажение, пережило германский нацизм и оказалось вдохновляющей формулой, приемлемой для миллионов людей после того как все остальные его идеи давно забыты. Нацистские преследования своим грандиозным размахом и фундаменталистским характером обнажили истинную меру заинтересованности народов в судьбе евреев и возможный масштаб проблемы. Антигуманистическое и антихристианское настроение нацистов неслучайно избрало евреев своей главной мишенью. Евреи оказались заложниками, а потом и жертвами этого внутриевропейского спора о путях развития их цивилизации.

Также и сейчас, определенное течение в исламе, переживая свой многовековой конфликт с европейской, христианской культурой, пытается сделать евреев заложниками в своей борьбе из-за той фундаментальной роли, которую они играют в обеих религиях. Иногда им это неплохо удается, и мусульмане находят себе множество сторонников внутри самой христианской цивилизации, которая полна противоречий и, похоже, тем и держится.

Однако, вопреки всему вышесказанному кое-что все же достигнуто за эти 58 лет. Даже короткого пребывания в израильском гражданстве оказывается достаточно, чтобы почувствовать, как изменяется в тебе личное отношение к антисемитизму. В Израиле начинаешь чувствовать, что если бы антисемитизм оставался неразделенным чувством, он не смог

бы задеть нас столь основательно, как это случалось в действительности. То есть, без нашего психологического соучастия, готовности «понять», он не казался бы столь оскорбительным. Опасным — конечно, несправедливым — большей частью, но вовсе не унизительным. Никакой логикой не докажешь израильтянину, никогда не жившему в составе национального меньшинства, что антисемитизм может его унизить. Также как англичанина не взволнует сообщение, что, возможно, на свете

существуют англофобы. Конечно, израильтянин может заметить антисемитизм — он не слепой. Но он не может проўвить того «понимания», которое даст возможность еврею страдать, а антисемиту получить свое моральное удовлетворение.

Как-то в приморском кафе в Тель-Авиве, я оказался свидетелем такой сценки. За одним из столиков сидел здоровенный американец, по виду мексиканского происхождения, набравшийся уже настолько, чтобы начать приставать к окружающим. Он спросил израильтянина, сидевшего за соседним столиком: «А ты откуда?» Тот ответил, что родилсў в Израиле. «Но ты совершенно не похож на еврея!» — радостно загоготал американец, воображая, что делает парню роскошный комплимент. — «Надеюсь, ты не хотел меня этим обидеть...» — с угрозой сказал израильтянин, и американец ошеломленно захлопнул рот.

Проблема, которая имеет решение, уже не проблема, так же как трагедия со счастливым концом уже не может считаться трагедией. Жизнь всякого человека на земле трудна, но трагедией ее делают только непреодолимые обстоятельства. Рок и страсти ведут героев к гибели. Погромы и Катастрофа сообщали еврейской судьбе трагический оттенок.

Но если есть выход, в чем трагедия? Если нет неразрешимости, в чем проблема? Еврейское государство было создано, чтобы дать приют беглецам, которым было некуда бежать. Если бы у слова «некуда» был в те времена какой-нибудь переносный смысл, еще неизвестно, как бы обернулось дело...

Почти 60-летнее существование государства Израиль изменило жизнь евреев и в диаспоре. В частности, оно превратило российских евреев из весьма проблематичного национального меньшинства, которое не подходило ни под какие определения, в народ среди других народов. Для каждого еврея в мире возникла альтернативная возможность поселиться в еврейском

государстве. Около миллиона российских евреев живут теперь в Израиле.

Решение одной проблемы всегда ведет к возникновению новых проблем. Освободившись от проблемы антисемитизма пять миллионов израильтян по горло завязли в проблемах, которые наши предки вынуждены были вверять коренному населению стран своего проживания. Если социальная проблема меньшинства состоит только в том, чтобы улучшить свое положение в составе общества, проблемы и ответственность большинства гораздо шире и относятся к устройству и существованию общества в целом. Еврей в Израиле, вместе со всем обществом, остается один в мире, где внешняя среда отделена от него государственной границей (в настоящее время больше похожей на линию фронта).

В известной песенке:

«Вдруг трамвай на рельсах стал,

— Под трамвай еврей попал.

Евреи, евреи — кругом одни евреи...»

смешным в Израиле может показаться только упоминание трамвая, которого здесь никогда не было. И «если в кране нет воды», воду в самом деле «выпили (или испортили?) жиды».

Не только достижениями, но и всеми своими неприятностями мы обязаны исключительно евреям. Человек из диаспоры теперь тысячу раз подумает, прежде чем решится сменить свои знакомые, наболевшие проблемы на свежие проблемы израильтянина.

Кто бы мог подумать о таких необратимых последствиях реализации права на самоопределение? Кто бы предположил. что получив (вдобавок к остальным) право на самоопределение, мы утеряем часть душевного комфорта, связанного с возможностью винить других во всех своих бедах?

Такая же опасность, кстати, таится и в реализации всех остальных «прав человека».

О, если бы все, борющиеся за свободу, это знали!

«БОЖЕСТВО И ВДОХНОВЕНЬЕ»

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись долго дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви...

... Душе настало пробужденье,
И для меня воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь...

А. С. Пушкин

Дожив почти до сорока лет в Советском Союзе и уже не веруя в Запад, иностранные разведки и даже сионистский заговор, я чувствовал себя бессрочно осужденным, приговоренным и покинутым в забытой Богом тюрьме не слишком строгого режима. Но — душе настало пробужденье... Сионистское движение вернуло религиозный элемент в мое сознание, ибо это странное, сюрреалистическое движение в СССР вновь, как и в милом, сказочном детстве, предполагало всамделишное существование (и, возможно, даже вмешательство) чего-то незримого — государства Израиль[1].

И для души воскресло вновь: Свободный Запад, всезнающие разведки, Сионистский заговор! — Увы. Ненадолго.

По прибытии моем в Израиль волшебный Запад распался на множество одержимых национальным эгоизмом стран. Их разведки возмутительно манкировали своими обязанностями, а Сионистский заговор воплощал в себе один Нехемия Леванон[2], с которым крутые российские сионисты пребывали в безвыходном конфликте.

---

[1] Правда, ни одна советская газета в те времена не выходила без «доброго» слова об Израиле. Но кто же верит газетам?

[2] Нехемия Леванон — помощник премьер-министра Израиля по делам русской алии в 70-х и в начале 80-х годов.

Может, сионистского заговора никогда и не было? Нечто отсутствующее в природе, не наблюдаемое в объективной действительности, само собой взвихрилось, поднялось и вынесло тогда триста тысяч евреев из России. И меня, в том числе...

Прошло 20 лет. И вот без Божества, без вдохновенья (однако, и без слез) дожили до следующей волны в миллион людей, уже почти и без сионизма... На этот раз и без Заговора казалось понятным...

Хотя — нет, есть еще одно мистическое понятие, близкое сионистскому заговору по своим импликациям — это еврейская самоидентификация.

Заговор (или сговор) — это когда евреи сговариваются между собой (когда это не евреи, находятся иные названия — соглашение, конвенция, союз или объединение, солидарность, в конце концов).

Самоидентификация (особенно, еврейская) — это признание собственной принадлежности к некой (в еврейском случае — возможно, преступной) группе (группировке). Отсюда уже недалеко и до заговора (а где есть заговор — там маячит и приговор!). Не состоя в группе, ты еще можешь трепыхаться, отговариваясь удаленностью, неосведомленностью и якобы убеждениями. А признав принадлежность к группе (группировке), про убеждения свои или, скажем, отсутствие на месте преступления можешь уже позабыть: «Единожды признавшись, кто тебе поверит?»

Однако, около двенадцати миллионов евреев в мире все еще признают.

Откуда эта добровольная самоидентификация берется?

Хорошо бы русскому выходцу, наконец, понять, что все-таки, если не Заговор и не коварные разведки, привело его (и многих других) в страну со столь взрывоопасной политикой, проблематичной экономикой и совершенно непостижимым менталитетом.

Несколько лет назад в журнале «22» была опубликована стенограмма академической дискуссии на тему «Изменения в еврейской самоидентификации в связи с будущими мирными соглашениями». Академической ее можно было назвать по месту ее проведения, в Университете Бар-Илан. Постановка такой темы и, особенно, радикализм высказанных суждений показывают, что вопрос о мире является для нас не только вопросом безопасности, но и вопросом о смысле и цели национального бытия. Такова, по-видимому, неустранимая особенность еврейского существования, что всякий практический вопрос, неожиданно и непроизвольно, приобретает у нас мировоззренческий характер.

Сионизм как массовое движение возник благодаря случайному (всякое чудо в истории называется случаем) совпадению, счастливой удаче, при которой освободительные лозунги европейского X1X века оказались в какой-то степени созвучны тысячелетней мессианской мечте, одушевлявшей евреев на протяжении всего их существования.

Освободительных идей, самих по себе, хватило бы не более, чем на проект Уганды или Биробиджанскую авантюру. Умозрительно можно было привести множество доводов за и против сионизма, как и всякой иной теории, пока не случилась (опять случай) Катастрофа, отнявшая у многих из оставшихся в живых склонность превращать свое существование в предмет теоретических спекуляций. Этого оказалось достаточно, чтобы основать еврейское государство в той единственной точке земного шара, на которую эти люди тогда претендовали. Так случилось всего лишь через 50 лет после провозглашения цели сионизма Теодором Герцлем...

Но вот прошло еще 50 лет. Напряженная проблематичность еврейского существования остается той же. Даже более того. Пятьдесят лет после Катастрофы так усыпили инстинкт самосохранения нового поколения, что некоторые из них уже не сознают ни возможной опас-

ности своей жизни в Диаспоре, ни актуальной опасности своему образу жизни в Израиле.

Конечно,происходящий в реальности политический процесс переговоров с правительствами окружающих стран никакого отношения к национальной идентификации иметь не может. Ибо суть его сводится к возможной готовности руководства арабских стран перейти от стратегического отрицания существования государства Израиль к принятию его в ближне-восточный клуб, предполагающее всего лишь участие в их тактической силовой игре, в которую они играют между собой. Это, конечно, большой прогресс в политике, но военные усилия, необходимость поддержания превосходства в вооружениях и напряжение на границах (не говоря о терроре) остаются тогда такими же постоянными факторами нашей каждодневной действительности, как и сейчас. Не ожидать же от правительств арабских стран, что они будут верны своим договорам с нами больше, чем они привыкли в отношениях друг с другом!

Поскольку, однако, дискуссия была академической, в ней прозвучала естественно речь писателя А. Б. Иегошуа, который весьма убедительно набросал теоретические перспективы еврейской идентификации в Израиле в гипотетическом случае наступления истинного мира. Вряд ли эти перспективы могли бы вдохновить кого бы то ни было, но они звучали особенно неприятно для выходцев из бывшего Советского Союза.

А. Б. Иегошуа, тонкий писатель и один из лидеров левой интеллигенции Израиля, много лет боровшийся за мир с арабами, через головы своих сторонников внезапно увидел «идеологический вакуум», т. е. попросту идейный крах, ожидающий секулярный лагерь сразу вслед за достижением мира и, как последствие этого, «ассимиляцию элементов окружающего нееврейского мира». Он догадался и не скрыл от своих слушателей, что этот вакуум — опустошение вскоре приведет к фактическому разрушению еврейской идентификации и,

следовательно, к реальным опустошениям в рядах израильтян.

Отомрет поселенческий дух и потребность в алие. Нарушится связь с еврейской диаспорой. «В стране будет много арабов: рынок, культурные связи, открытые границы... Арабам совсем нетрудно будет задушить Израиль в собственных объятиях». «Израильтяне восточного происхождения обретут легитимацию своего влечения к арабской культуре... и израильские арабы, рано или поздно, потребуют своей государственности... И тогда большая часть израильтян западного происхождения побежит на Запад из этой, становящейся все более арабской, страны. ...И может быть определенная регрессия, некое снижение уровня... Тогда встанет вопрос о влиянии на нашу секулярную идентичность американской поп-культуры». В просторечии все это называется левантизацией — и жестко связано с распространением лени, беспечности, технической малограмотности и экономической недобросовестности.

Из материалов дискуссии трудно было уловить какое-нибудь (хотя бы и академическое) взаимоотношение между выступлениями участников и ощущениями русских евреев. Однако, оно, по-видимому, существует — как-никак, мы тоже евреи. Оно должно существовать, так как с идентификацией или без нее каждый пятый израильтянин теперь происходит из бывшего СССР и что-то такое о себе думает.

Тогда, возможно, это со временем отразится и на мирном процессе.

Дискуссия велась таким образом, как будто в нашей стране есть две разные основы для самоидентификации: религиозная и секулярная. Простая мысль, что для существенной части нашего народа вопрос о национальной идентификации не только не решен (ни религиозно, ни как-нибудь еще), но, в сущности,сознательно еще и не поставлен, никому из участников дискуссии как бы не приходила в голову. Между тем, сегодня и ежедневно он

практически решается в каждой семье олим в Израиле и в каждой семье из оставшихся в России.

Поскольку подавляющее большинство русских евреев не знают своей религии, они, наверное, должны быть отнесены скорее к секулярной части населения. Тогда писатель, выступавший от имени секулярного лагеря должен бы отразить и какую-то долю их чувств.

Как ни странно было этого ожидать от сабры в седьмом поколении, он действительно отразил — очень своеобразный комплекс, характерный скорее для диаспоры, т. е. отчасти и для русских евреев, который можно было бы назвать, пожалуй, комплексом неполноценности, если бы он одновременно не сопровождался такими тонкими соображениями о нашей сугубой аномальности и уникальности: «Мы, еврейский народ, в сущности — некий андрогин, в том смысле,что мы, одновременно, нация и религия. ...Нас в какой-то момент сделали такими, изначально и по существу дефективными. Мы не можем не обратить внимания, сколько раз после того, как этот народ был создан, его хотели уничтожить. Потому что видели, что что-то здесь не срабатывает, что есть здесь какое-то противоречие, не данное к разрешению... И потому мы, нечто самопротиворечивое в самом себе, ... дефективный андрогин, никогда не могли создать для себя нормальный дом, были вынуждены бежать в изгнание, потому что только в ненормальном положении изгнания то ненормальное нечто, каковым являемся мы, могло как-то осуществить противоречие своего существования. ...Именно поэтому андрогин, каким мы все являемся, вызывал и вызывает к себе такую ужасающую ненависть. ...Потому что всегда был и остается вопрос — что это такое в действительности? Религия ли это? Или нация?»

Вся эта льстящая интеллекту погромщиков аргументация кажется очень сомнительной с исторической точки зрения — неужто ненависть к евреям действительно происходит от неудовлетворенного любопытства или из

желания восстановить нарушенную существованием евреев логику бытия? Но настоящий интерес вызывает самоуничижительная характеристика автора, которая паче гордыни.

Если бы профессор филологии А. Б. Иегошуа просто захотел назвать евреев уродами, он вряд ли выбрал бы такой причудливый термин — андрогин, — взятый, ни много — ни мало, прямо из «Диалогов» Платона.

Андрогин — мужеженщина — у Платона вообще не означает урода. Он означает высшее существо, природа которого поднимает его над ограниченной односторонностью человеческого существования в виде однополой особи (как бы только получеловека). Андрогин воплощает в себе всю полноту человеческого, включающую мужскую и женскую природу одновременно. Андрогин — это сверхчеловек.

Человеческая неполнота, дробность, проявляется не только в половой сфере, которой греки придавали такое большое значение. Образ человека во всех культурах и во все времена был расщеплен на человека натурального (что включает и племенную идентификацию) и человека духовного (живо ощущающего единство мира и человечества), идентификация которого определяется тем, что он видит для себя как высшую ценность, то есть религией.

Потому что то, что человек признает для себя высшей ценностью, превосходящей его существование, называется его религией, как бы он ни уворачивался от этого слова.

Ненормальность евреев, о которой говорит профессор Хайфского университета А.Б. Иегошуа, обращаясь к другим профессорам (Бар-Илана, единственного религиозного университета в Израиле), оборачивается вполне внятным для них всех превосходством. И они согласно вторят, что евреи, конечно, сумасшедший народ, подразумевая, что это их «сумасшествие» выше практического

разума. Они утверждают, что в XX веке, как и в библейские времена, еврейский народ продолжает свои попытки осуществить в жизни ту высшую полноту, цельность духовной и материальной, природной жизни, которая одушевляла их тысячелетия назад и посейчас остается недостижимым идеалом для всего человечества и для всякой религии. Попытки, о которых остальные современные люди (и остальные религии!), быть может, забыли и думать, безнадежно погрязнув в своем прагматизме.

Соединить религиозную истину с природной жизнью! Эта грандиозная мечта и породила в свое время иудаизм, а затем, в результате горьких исторических разочарований, и две другие мировые религии. Только неверие в само существование религиозной истины отделяет А. Б. Иегошуа от людей Бар-Илана и мешает видеть, что он выступил, в сущности, с провозглашением уникальной мировой миссии религиозного еврейства. Как библейский пророк Валаам, посланный проклясть избранный народ и, вопреки собственной воле, произнесший благословение. Враг религиозного фундаментализма, А. Б. Иошуа, представив себе вживе ситуацию реального мира с арабским окружением, вдруг ощутил и не скрыл от своей аудитории, что вне религии (т. е. без примеси фундаментализма) у нас нет никаких общих опор для еврейской идентификации...

Обычно считается, что секулярная, безрелигиозная идентификация держится на общих культурных ценностях. Можно спорить, достаточно ли у нас существующих (вне религии) еврейских ценностей, чтобы обеспечить идентификацией каждого израильтянина, но бесспорно, что русский еврей всеми этими ценностями не владеет. Его культурные ценности, выделявшие его среди коренного (русского) населения — это превосходящее знание русского языка, свободное владение технической культурой и либеральное направление мыслей. Эти качества в

самом деле отличали евреев в России, делали их полезными для одних и ненавистными для других, высоко конкурентоспособными, но могут ли они составить основу для еврейской самоидентификации в Израиле?

Однако, спросим себя, обязательно ли верить в Бога, чтобы выполнить его волю? Я позволю себе в этом усомниться.

Российские евреи, заполнившие улицы Израиля технически грамотным населением, менее всего на свете помышляли о выполнении роли, на которую профессора Бар-Илана, и сам покойный рав Кук, охотно благословили бы их. Идентификация, на основании которой они покинули Россию и близкие ей страны, не имеет, на первый взгляд, ничего общего с религией. Но еще меньше общего она имеет со светской еврейской культурой.

Еще совсем недавно еврейская идентификация на территории СССР была принудительной и определялась «пятым пунктом». У многих эта принудительность вызывала недоброе, но естественное желание от этого пункта избавиться. Казалось, добровольной самоидентификации евреев в России пришел конец. Однако, открывшаяся благодаря сионистской революции 60-70-х возможность превратить свою безнадежную социальную ущербность в обнадеживающую привилегию легально покидать страну победившего социализма отчасти изменила общее настроение. Наступившая затем Перестройка сильно сдвинула государственное сознание России к Западу и «пятый пункт» в паспорте исчез. Но за прошедшее бурное время столь многим людям в мире он принес реальные преимущества, что существование еврейской идентификации в России задним числом получает, наконец, свой объективный мотив и марксистское объяснение, обещающие ей долгую, счастливую жизнь. Еще много тысяч людей с трепетом будут рыться в старых сундуках в поисках забытых бабушкиных документов. Жаль, что сами бабушки этого уже не узнают, и такое видимое свидетельство Божьего промысла опять, как и всякое чудо, их потомкам покажется лишь случайным стечением обстоятельств...

Основания для национальной идентификации всегда субъективны. Они определяются популярной мифологией, семейным воспитанием, детскими впечатлениями улицы, случайными настроениями, интригами политиков, самолюбием и воображением выдающихся современников и еще тысячью факторов. Однако, сложность жизни в том и состоит, что неконтролируемые субъективные факторы не только существуют, но и фактически определяют объективные события. Например, субъективная оценка русским мужиком намерений своего правительства уже 80 лет определяет сельско-хозяйственный кризис в России, капризные оттенки настроений американца ведут к колебаниям политического курса США, а предрассудки арабов в течение полувека обрекают их на положение отсталых стран.Субъективное состояние русского еврея, которое невозможно ни предопределить, ни измерить, объективно изменяет демографический баланс Израиля, который, напротив, очень точно выражается в цифрах.

Этот странный феномен легко получает свое объяснение, если оставить квазинаучную схоластику, ищущую призрачных «объективных признаков нации» и обратиться к близким человеческой природе определениям: «Этнос — это свойство вида Гомо сапиенс группироваться так, чтобы можно было противопоставить себя и «своих» (иногда близких, а часто довольно далеких) всему остальному миру. Принадлежность к тому или иному этносу воспринимается самим субъектом непосредственно, а окружающими констатируется, как факт, не подлежащий сомнению. Следовательно, в основе этнической диагностики лежит ощущение.»[3]

[3] Хотя Л. Н. Гумилев, которому принадлежит эта фраза, справедливо обвинялся в антисемитизме, он обладал проницательной интуицией националиста во всем, что касалось субъективного фактора в истории. Это его определение относится не к евреям, а к русскому народу, которому тоже не всегда легко дается ощущение своего единства.

Здесь важна не только субъективность чувств самого человека, но также и чувств его окружения. Только согласие, взаимность этих двух субъективностей, осмысленные в их столкновении, в общем культурном контексте, обеспечивают несомненную идентификацию. «Свои» для российских евреев, пока что, только они сами. (В российском окружении у евреев есть общий контекст с окружением, но редко есть согласие. В Израиле есть согласие, но зато отсутствует общий контекст).

Когда ты чувствуешь себя евреем и окружающие именно так тебя и видят, в душе не возникает повода для разлада. Но, если вообразить о себе невесть что (например, со щегольским оттенком: я — гражданин мира, я — русский интеллигент, я — европеец и живу вне наций), а окружающие не смогут при этом избавиться от непосредственного впечатления от моей экзотической внешности или чрезмерной еврейской живости — конфликт неминуем. В империальных государствах всегда есть нужда в трезвом, трудолюбивом, законопослушном элементе, и отношение к меньшинствам оказывается разным со стороны разных кругов и политических партий в связи с разницей их целей и идеалов. Человек, проводящий свои дни в близком социальном кругу, где его ценят за личные достоинства, может и забыть про свою идентификацию, светскую или религиозную. Однако при легчайшем социальном сдвиге в обществе ему могут о ней напомнить. Т.к. согласие со средой не может быть вневременным и универсальным (в одной среде так, а в другой — иначе), в российском воздухе уже более ста лет висит эта проблематичность, отражающаяся в вечных спорах, кто еврей, а кто — нееврей. Сами эти споры есть форма существования еврейской идентификации в России.

Как посмотришь с холодным вниманьем вокруг — сговора нет и внутри еврейского народа. По-видимому, еще долго предстоит нам сохранять нашу специфическую идентификацию — русских евреев. Быть может, до

поры, пока остаются еще евреи в России? Не в том ли сермяжная правда?

Конечно, еврейское самосознание бывших советских граждан кажется построенным на песке. Но, будучи плотно уложен в мешки, песок может служить очень надежным оружием, оборонительным и даже наступательным. А для закладки фундаментов песок (в правильном соотношении с чем-то еще) является стандартным материалом от начала времен.

И недавние перемены в России не дают еврею строгой однозначности. Его настроение все время колеблется между верностью его русской культуре и привычной социальной роли квалифицированного (а, значит, и привилегированного) меньшинства и мятежом против перманентной уязвимости своего положения инородца. Религиозная идентификация значительно облегчила бы для нас этот мучительный выбор. В англо-саксонских странах, где идентификация любой группы традиционно определяется по типу церковной общины, нет подобного раздвоения, несмотря на существование и антисемитизма, и ассимиляции. Возвращающаяся христианизация России все чаще будет ставить еврея в положение, когда и ему придется определять свою принадлежность, по крайней мере, формально, исходя из религии.

То, что русский еврей, в конечном счете, решает проблему своей идентификации не разумом, а сердцем (у кого — какое), означает, в сущности, что в его смысле эта идентификация тоже религиозна. Конфликт, в который он вступает в Израиле, — это конфликт различного понимания религиозных ценностей.

Немногие помнят, что сразу после освобождения из СССР Щаранский не расставался с Библией и во всех интервью называл себя верующим. Я не думаю, что он стал менее верующим с тех пор, но вынужден был привыкнуть

к другому употреблению этого слова в Израиле. Возвышенное настроение узника, своими глазами увидевшего чудо вызволения из страшных рук современного фараона, не переводится сегодня на сухой, повседневный иврит.

Был заговор (Замысел) или его не было, но Израиль заселяется русскими евреями так последовательно, как если бы они исполняли некий Завет. Вряд ли многие задумывались о характере и содержании этого завета, но они ему следуют гораздо вернее, чем можно было бы предположить из любых реалистических посылок. Именно культурная дилемма, возникшая однажды на русской почве и реализованная так ярко Вл. Жаботинским (а также Е. Бен Иегудой, Х. Н. Бяликом, Ахад Гаамом, И. Трумпельдором, П. Рутенбергом — я специально выбираю имена, для которых русская культура не была закрытой книгой), толкает к этой неожиданной верности. Можно подумать, что именно русским евреям было поручено свыше латать сквозные дыры, которые реальная жизнь проделала в алых парусах сионизма, сшитых для нас возвышенными европейскими душами в Х1Х веке. Кажется, что и сейчас именно русским евреям предстоит спасти Израиль от ужасов левантизации, так проникновенно описанных А. Б. Иегошуа.

Российский репатриант в Израиле впервые близко сталкивается с узко ортодоксальным пониманием еврейства и находится под тяжелым впечатлением, что это понимание есть единственно возможное. Между тем, во многих аспектах наша специфическая российско-советская культура сближает нас именно с неформально понятым библейским мировоззрением.

Русская культура, что с ней ни делай, была и осталась культурой христианской. Советская власть в течение жизни трех поколений выкорчевывала христианские корни этой культуры и, в частности, образ самого Христа. Может ли существовать христианская культура без Христа, остается только гадать, но факт, что Десять Заповедей мы знаем не от наших бабушек, не вызывает

сомнений. От христианства до нас, по-видимому, дошло лишь то, что в нем содержалось и до рождества Христова, и что делает его неотличимым от неформального иудаизма. Поистине, непостижимы пути Господни!

Жизнь в России отучила нас от всяких магических символов и знаков, она внушила нам примат дел и поступков перед верой и обрядами и поселила глубокое недоверие к видимым богам. Она научила, что истинный Б-г невидим и невыразим, а потому и имени его не следует упоминать напрасно. К тому же одержимость своей профессией часто сливается у нас с маниакальным стремлением совместить поиски насущного куска хлеба с поиском пищи духовной. Наконец, наш общечеловеческий эгоизм зачастую сдерживается нашей «русской» культурой едва ли не столь же эффективно, как и выполнением полного набора мицвот.

Что ж, кое-какие заповеди мы выполняем! Мы так далеко ушли от ортодоксии, что, быть может, нам даже легче было бы признать нашу преемственность с людьми в черных кафтанах, чем это удается А. Б. Иегошуа. Вот, что он говорит:

«Я общался с французской журналисткой, и она попросила показать что-нибудь, что характеризует традиционный еврейский образ жизни. Я повел ее туда, где родился, в Геулу, которая превратилась в место, где живут «харедим». И вот мы видим, как идут эти люди, эти странные люди в их странных одеждах. Мы смотрим на них, и я говорю себе: что делать — вот эти, они и выражают собою мое прошлое, и с ними, хочу я этого или не хочу, я должен связывать свою идентичность...»

Мне не кажется, что мне это было бы так уж трудно.

Француженка, может быть, была очень довольна. Где еще могла бы она увидеть нечто действительно оригинальное? Кто показал бы ей вживе, как выглядели ее предки-мушкетеры четыре-пять веков назад? У какого народа хватило бы характера пронести свои повседневные

обычаи из средних веков в сегодняшний день со всеми его соблазнами без всяких изменений?

Евреи в черных шляпах и белых чулках, как архитектурный памятник, как зримый символ человеческой преданности невидимому, не хуже (а, может, в чем-то и лучше) египетских пирамид, русских икон или готических соборов. Как сказал участник той же дискуссии, профессор Фридландер:

«Выполнение заповедей нужно мне не от страха перед Богом, а для сохранения символов. Это связывает меня с предыдущими поколениями, это дает мне возможность выстоять в борьбе. Для сохранения символов я вынужден оставаться ортодоксом». Конечно, не символы, бороды и шляпы составляют содержание религии, а отчаянная тяга спасти религию вынуждает людей к сохранению чересчур многих видимых символов.

Хорошо, по крайней мере, что у нас еще есть, что показать. Разве было бы лучше, если от нашего прошлого у нас остались бы только какие-нибудь мертвые камни? Впрочем — есть и Западная стена.

Нет, идентификация русских евреев определенно покоится не на каменном фундаменте. Даже и могильные плиты наших предков давно пошли на строительный материал по всему бывшему Союзу. Однако, когда А. Б. Иегошуа, отчаявшись в будущем еврейской секулярной идентификации без религиозных подпорок, восклицает: «Да, я совершенно секулярный человек, готов принять Десять Заповедей, разумеется, в этическом их коде, в их трактовке в качестве нравственных принципов...И в том отношении, как в них выражена еврейская историческая заповедь согласно Первому изречению. И в том отношении, как в них выражен монотеизм и универсалистский принцип еврейской религии, еврейская экзистенция» — я хочу сказать, что этот его идилличеcкий компромисс, на самом деле, давно уже осуществлен в недрах интеллигентной части русского еврейства.

Двадцать пять лет жизни в израильском обществе убедили меня, что многократно предсказанная левантизация Израиля пока что не только не наступает, но, напротив, откладывается, и, возможно, усиливающееся с годами присутствие русского культурного элемента — одна из серьезных, хотя и невидимых, причин этого. Еврейская секулярная идентификация отталкивается не от религиозной, а от арабской, азиатской, восточной, догматической и застойной нормы. Сам по себе мирный договор или даже миллион арабских туристов ей не повредят. Но потеря чувства общности, непосредственно следующая за религиозным равнодушием, политическое раздражение против других групп своего народа, мешающих достижению ближайших партийных целей, могут ее развеять по ветру, растерять в суете, растворить в американизме.

Будучи невидимой и неопределимой, еврейская идентификация существует, вопреки всему, и действует в истории и в повседневных расчетах, как скрытый параметр, субъективный мотив, заменяющий сотни видимых причин и факторов, практически воздействующих на поведение тысяч людей. Эти люди своим поведением, а не словами и мнениями, создают то необычное шестимиллионное единство, которое уже успешно сопротивляется растворению, ускользает от регламентирования и носит общее название Израиль, но все еще не содержит зримой, объективно существующей общей черты, которую можно было бы обнаружить достоверно, как при химическом анализе.

Здесь нет гарантии для оптимизма, но есть повод для вдохновения.

ГЕНЕРАЛ ШАРОН

Теперь уж мне не вспомнить, почему г-н Александр Бреннер, тогдашний германский культурный атташе в Израиле, пригласил нас с женой на обед вместе с каким-то

немецким генералом. Г-н Бреннер свободно и без акцента говорил по-русски, любил обсуждать российские диссидентские дела и позволял называть себя Шурой. Он жил в очень скромном домике с садом в Рамат Гане и держался совсем запросто, но продуманная его аристократической женой сервировка стола и обед были безукоризненны. Молодой генерал тоже производил впечатление человека, получившего изысканное воспитание, так что нам с Ниной пришлось мобилизовать все свои волевые ресурсы, чтобы держаться на европейском уровне и не переложить вилку в правую руку.

Дело было на исходе Ливанской войны и после нескольких светских любезностей все перешли на обсуждение израильской прессы, которая единодушно осуждала правительство за войну, и, в то же время за то, что правительство ведет ее неэффективно. Тут выяснилось, что, хотя генерал приехал в Израиль в составе дипломатической миссии, его главный интерес как профессионального военного состоит как раз в изучении подробностей операций Шарона в этой войне. Он сообщил нам, что операции Ариэля Шарона изучают во всех военных академиях мира и двух мнений относительно них быть не может. Привыкшие к непрерывной развенчивающей ругани нашей прессы, мы переспросили: «Вы имеете в виду его операцию в войну Судного дня 1973 г.?» «Нет, — сказал он — именно Ливанскую войну, потому что операция войны Судного дня давно уже вошла в учебники.» ... Воистину, нет пророка в своем отечестве!

Оригинальность Шарона много раз служила ему плохую службу. Его нестандартные решения всегда казались рискованными. Его идеи на грани между гениальным и сомнительным пугали заурядных людей. Но те же заурядные люди, напуганные неконтролируемым развитием событий, всегда призывали его в минуту отчаяния.

Ариэль («Арик» — у всех популярных личностей в Израиле есть уменьшительные клички) Шарон родился

в 1928 г. в семье мошавников (фермеров — кооператоров) российского происхождения. Он и сейчас с некоторым напряжением может говорить по-русски. С 14 лет он стал членом (тогда еще подпольной) Хаганы — будущей Армии Обороны Израиля. Участвовал в Войне за независимость, а после нее служил в военной разведке. В 1952 г. оставил армию, чтобы учиться в университете.

Нескончаемые рейды террористов на территорию Израиля заставили правительство срочно искать способы защиты. Шарона, уже как опытного командира, призывают организовать «подразделение 101» (израильский спецназ), функция которого — борьба с палестинским террором. Борьба с террором — это не для слабонервных, и поэтому уже тогда Шарон приобрел паническое уважение арабов и репутацию неисправимого ястреба среди журналистов. К следующей войне (Синайская кампания — 1956 г.) он уже командует бригадой парашютистов и совершает беспримерный (250 км.) прорыв в тыл противника. В 1957 г. он отправляется на учебу в престижную английскую военную академию. В 1966 г. он все-таки заканчивает учебу на юридическом факультете Иерусалимского университета.

В 1967 г. во время Шестидневной войны Шарон командует бронетанковой дивизией, которая прорвала главную египетскую линию обороны и первой пробилась к Суэцкому каналу. В 1971 г. он инициировал и реализовал операцию по уничтожению террористической инфраструктуры в Газе, на добрый десяток лет приостановившую активность ФАТХ»а...

Его выперли в отставку из армии как раз накануне войны Судного дня в 1973. Он успел уже обосноваться и развести дынную плантацию на своей ферме в пустыне Негев.

...И тут его призвали обратно, поскольку обнаружилась катастрофическая ситуация на Египетском фронте. Ему удалось повернуть весь ход событий, форсировав Суэцкий канал, но он тут же получил от командующего

предостерегающий приказ остановиться. На этот приказ он через связного ответил ивритским ругательством, которое в переводе на русский язык звучит: «Пусть он подавится своими собственными яйцами». И продолжал завершать окружение Египетской армии.

Вся страна знала, что именно «Арик» победил в этой войне. Но истеблишмент не прощает строптивых, и его так и не допустили стать главой Генерального Штаба. Одним словом,как пел Высоцкий,он всегда был «самый лучший, но опальный стрелок».

После этой войны (пятой в его жизни) Шарон, вместо того, чтобы «жить в тоске и в гусарстве»,ушел в оппозиционную политику. Именно благодаря ему сложился израильский союз правых сил («Ликуд»), который впервые победил социал-демократическую партию («Авода») на выборах 1977 г. Будучи депутатом кнессета и министром в нескольких правительствах, он разработал и осуществил широкую программу создания новых поселений внутри и снаружи «зеленой черты» (так называется линия границы Израиля до 1967 г.). За семь лет пребывания Шарона в правительстве Ликуда было создано 250 новых населенных пунктов в районах, представляющих стратегическую важность. В июне 1982 г., когда началась Ливанская война Шарон был министром обороны.

Настоящая история этой войны еще не написана, и многое в ней, наверное, надолго останется неизвестным. Война началась в ответ на систематический обстрел из «катюш» северных районов Израиля палестинскими соединениями, угнездившимися в Ливане. Но реальный смысл этой войны не может быть понят без дополнительных сведений о ее участниках. В Ливане уже много лет шла гражданская война между христианами и мусульманами. Палестинские боевики, пришедшие из Иордании, резко нарушили баланс, встав на сторону мусульман. Сирия оккупировала большую часть страны под предлогом защиты ее населения.

В этой войне Израиль впервые приобрел настоящего арабского союзника. Башир Джмайель, возглавлявший христианских фалангистов, решительно предпочел Израиль сирийской оккупации и палестинскому беспределу. Для Израиля вступление в войну и нейтрализация палестинцев означали не только возможность обезопасить свою северную границу, но и долгожданную надежду заключить мир с Ливаном и прорвать кольцо враждебного окружения.

В том и состоял рискованный план Шарона. Харизматический смельчак Башир был ему подстать и они быстро поняли друг друга. Фактически Израилю пришлось воевать с Сирией, покровительствовавшей палестинцам. В ходе боев была выведена из строя приблизительно треть военно-воздушных сил Сирии и половина ее ракетного потенциала. В августе война была почти кончена, христианское население восторженно приветствовало израильских солдат, Башир Джмайель был избран президентом Ливана и подписал мирное соглашение с Израилем. ... Тут-то и произошла катастрофа.

14 сентября Башир Джмайель и десятки его соратников трагически погибли от взрыва громадной бомбы, подложенной террористами в штаб-квартиру Христианской Фаланги в Бейруте. 16 сентября пылающие местью фалангисты ворвались в лагеря палестинских беженцев Сабра и Шатила в Западном Бейруте и перерезали сотни мусульман-палестинцев, включая стариков, женщин и детей.

Хотя израильская армия не была причастна к этому преступлению, договоренность о сотрудничестве между Израилем и Христианской Фалангой бросала свою зловещую тень, и возмущению израильской общественности не было предела. Находящаяся в оппозиции партия Авода требовала отставки премьер-министра и учреждения комиссии по расследованию. Демонстрация протеста в центре Тель-Авива собрала 400 000 человек. Вместо Башира Джмайеля президентом Ливана стал его покладистый

брат Амин, который примирился с сирийской оккупацией и отменил договоренность с Израилем. Ливанская война разом превратилась из военной победы в дипломатическое поражение, а Шарон из блестящего стратега в козла отпущения.

Комиссия по расследованию признала лишь косвенную ответственность Израиля и, в частности, Шарона к трагедии в Бейруте. Но он был смещен с поста министра обороны и его роль в Ливанской войне стала постоянно ассоциироваться с этим эпизодом. Левая печать не забывает напоминать об этом обывателю при каждом случае и сегодня. Но обыватель хорошо помнит также, что почти десять лет после той войны на севере Израиля стало возможно спокойно спать по ночам, не ожидая воя сирен тревоги.

Когда в 90-х началась массовая репатриация евреев из СССР, и правительство потеряло голову, не зная как их разместить, Шарон был назначен министром строительства и сумел за два года вчетверо увеличить объем строительства и решить проблему. Конечно, он при этом основательно ущемил интересы бюрократического истеблишмента и пригретых им строительных подрядчиков, что увеличило число его врагов в обоих политических лагерях. Газеты охотно подхватили идею, что Шарон, «как всегда» построил «не то», «не там» и «не так»,но квартиры подешевели и миллион новых граждан Израиля разместился на нашем пятачке, вопреки мрачным прогнозам и заклинаниям. Одним словом Ариэль Шарон всегда воспринимался избирателем со смесью страха и восхищения.

Неожиданность его прихода к власти в 2001г. и громадный перевес на выборах, который он получил, говорят о чем-то таком, что еще никем внятно не было сформулировано. Я не уверен, что у меня хватит умения и проницательности, охарактеризовать это «что-то» в короткой статье. Как-то в начале 80-х, когда наш

унивеситетский коллега, гениальный физик и будущий министр науки, проф. Юваль Нееман, был увлечен созданием крайне правой партии Тхия («Возрождение»), я откровенно спросил его: «Что тебя (в Израиле все на ты) связывает с этими крайними, нетерпимыми людьми? Ведь ты же совершенный либерал». Он мне ответил: «Во всех странах нормальный политический спектр состоит из центра, а также правого и левого крыла. Левое крыло стремится к изменениям, а правое старается сохранить то, что есть. Евреи, сьехавшиеся в Израиль, почти все происходят из левого крыла своих стран и не представляют себе ничего иного. У нас нет нормального спектра. Весь спектр страшно смещен влево. Наши граждане не привыкли думать о вопросах существования. Для этого в странах Диаспоры всегда хватало консервативных партий». «Но ведь тебя вовсе нельзя назвать консерватором. Ты типичный интеллигент, для которого свобода — главная ценность». «Это правда, но в нашей стране именно свобода нуждается в защите. Евреям из России или США никогда не приходилось задумываться, как сохранить порядок, а только о том, «как его переделать». Однако, вне упорядоченных, демократических правил не может быть свободы. Плюрализм Западного общества возможен лишь потому, что он хорошо уравновешен их устойчивым, консервативным бытом. У нас нет ничего подобного. Сколько ни толкай нашу политику вправо, мы все еще будем далеко влево от нормы. Младшее поколение израильтян уже привыкло, что у нас есть государство, и им невдомек насколько хрупко его существование. А я еще помню время, когда государства не было и существование наше висело на волоске. Я знаю, насколько оно непрочно и как сильно зависит от всякой случайности.»

Спустя десять лет после этого разговора уже ясно обозначилось, что все-таки зачаток правого крыла у нас есть. «Русская» группа со своим специфическим опытом сыграла заметную роль в этом сдвиге.

С тех пор борьба между правыми и левыми достигала порой такого накала, что казалось могла перерасти в гражданскую войну. Идейно мотивированные противники готовы были уничтожить друг друга, и мне часто хотелось спросить: А где же центр? — Ну, т. е. «болото»? Все, вроде, борются за свободу и справедливость, но должен же кто-нибудь представлять обывателя, который хочет жить независимо от того, справедливо это или нет. Ведь устойчивость общества, его существование и благосостояние поддерживается золотой серединой. Как ни ругай середину, а без нее ни вода из крана не потечет, ни хлеб в магазине не появится. Казалось, в нашей стране нет центра. Одни лишь идеологи-правдолюбцы.

В 1999 пришел к власти Эхуд Барак. И начал свои переговоры с Арафатом. Кто был согласен, кто не согласен. Но все-таки была перспектива. Ведь переговоры были о мире! Ну, допустим, не тот будет мир, что мы ожидали, заберут у нас что-нибудь. Перес зато предлагал нам в море строить острова и таким образом расширяться. Тоже ведь блестящая идея. А также в области «компьюта» мы впереди планеты всей... И, главное, мир! ... Потом стали просачиваться слухи, что будто Барак слишком много отдает. Плохо, конечно. Но левые подбадривали — зато мир!

И вдруг выяснилось, что нет и мира. Не просто — сейчас нет, а нет его и в перспективе. Израиль опять вернулся к уровню 1947 года. Арафат еще подумает, посмотрит на наше поведение и решит, признать наше существование или нет!..

— Что же мы тут делали пятьдесят три года?

Ведь нас почти убедили, что мир зависит только от нас. Вот мы еще что-нибудь уступим, и будет мир. Неважно, если границы немного неровные или там дороги простреливаются — мы же к миру готовимся, не к войне. Те из нас, которые передовые, будут палестинцам помогать, а те, что им не доверяют, убедятся со временем...

Но, нет — те взрывают автобусы, не глядя, кто едет, сторонники ли мира или сионистские фанатики. И по обывательским квартирам прямо палят — что же это такое? Сейчас Барак им покажет!

Но он что-то не показывает, а продолжает уступать, все больше и больше. И Арафат больше уже не обещает конца интифады. А доблестные его соратники, один другого круче, прямо с экрана объясняют, что мы для них все на одно лицо, и прогрессивные наши убеждения нас не спасут. Тут уж закрадывается страх и предательская мысль, что, если им и Иерусалим уступить, они, пожалуй, еще быстрее до нас до всех доберутся. Кто же нас спасет? Разве что, Шарон?

Неожиданно в сознании гражданина выплыла из прошлого и захватила воображение фигура Спасителя отечества, человека, который возьмет на себя непосильную для обывателя ответственность. Брал ведь уже много раз. И поведет. И прикажет... И не испугается.

Все благородное негодование, которое годами обрушивала на Шарона израильская журналистика опало как шелуха перед страхом обывателя. Выяснилась поразительная невосприимчивость народа к журналистике и равнодушие к пропаганде. Вдруг открылось, что инстинкт самосохранения не отмер в Израиле. Просто заглушен был до времени вольготной жизнью, умилением перед собственной справедливостью и разнообразием возможностей.

Генерал Де Голль, генерал Жуков, генерал Шарон. Такая роль не случайно выпадает генералам. Часто, именно строптивым генералам.

За пятьдесят лет вырос у нас средний класс. Идеология идеологией, справедливость справедливостью, а «коль дело-то до петли доходит», появился у израильтян и трезвый взгляд, и здоровый консерватизм. Аполитичное «болото» вспучилось и вручило Ариэлю Шарону свою судьбу. Выдержит ли он это в свои 73 года?

ДВА СЦЕНАРИЯ

По странному совпадению книга Александра Солженицына «Двести лет вместе» вышла в Москве почти одновременно с открытием Еврейского музея в Берлине, который был торжественно представлен в печати как «Две тысячи лет еврейской жизни в Германии» и неожиданно оказался самым посещаемым музеем в городе. Я не уверен, что до конца понимаю смысл этого повышенного интереса с немецкой стороны. Возможно, для молодого поколения немцев евреи превратились в экзотический объект, который, по уже неясным для них причинам, так странно повлиял на их собственный образ в глазах других народов. Почти никто из них не видел живых евреев, а если и встречал, не смог бы отличить от других. В чем там было дело?

В какой-то мере музей на такой запрос отвечает. Там представлены факты и сценки из жизни евреев в Германии 111 века, У111 века, Х111 века, ХУ111-го ...

До XX в. мы с женой не добрались не потому, что не хватило времени. Во всех этих веках история еврейского поселения начиналась и кончалась одинаково. Немецкий педантизм не позволяет перекраивать историю, как это общепринято в России, и потому германско-еврейская ситуация выглядит безнадежно мрачной. Конец всей экспозиции кончается сценами Катастрофы, которые мы уже не захотели видеть.

Немецкие государи и епископы регулярно приглашали и поощряли евреев, как только им приходило в голову увеличить свой доход за счет торговли или какого-нибудь нового предприятия. Спустя два-три поколения под давлением народного гнева, они их изгоняли, ограбив и перебив какую-то часть на месте. Причины недовольства населения были не всегда основательны, но всегда непреоборимы. Скажем, при эпидемии чумы евреи, может быть, и не были виноваты, но что-то же делать было надо... В другом случае герцог, не знающий, как подойти к освоению соляного месторождения (или серебряных рудни-

ков), приглашает знающих евреев, — они налаживают ему солеварное дело (или чеканку монеты), герцог сгоняет туда своих крепостных и у него появляются деньги. Евреи, конечно, богатеют, герцог тоже. Он нанимает на эти деньги больше солдат и они гонят туда еще и еще крестьян, сгоняя их с земли. Крестьянам это не нравится. Через некоторое время чаша терпения народа переполняется, и он, вместо того, чтобы обратить внимание на своего герцога, который остается вне поля зрения, сосредоточивается на евреях, которые у всех на виду. Герцог, выбирая из двух зол меньшее, со вздохом предпочитает отыграться на них же. Солеваренное производство, однажды начатое евреями, остается в наследство грядущим немецким поколениям, а евреи (кто остался жив после сопровождающих драматических событий) отправляются искать по свету новую точку приложения.

При сравнении с книгой Солженицына мы видим, что сценарий германо-еврейских отношений всегда отличался от русско-еврейского варианта. Во-первых евреев в Россию никто не приглашал — они были коренным населением Польши, ко времени прихода русских прожившим там уже 300 лет. Российское правительство, захватив Польшу, так или иначе, вынуждено было с этим считаться. Во-вторых, в России, по-видимому, никто (кроме Екатерины 11, чье немецкое происхождение подсказывало ей обрисованную выше схему отношений) не возлагал каких бы то ни было экономических надежд на евреев. Как сказала при случае кроткая Елизавета Петровна: «От врагов Христовых не надобно интересной выгоды.» В течение почти ста лет все российские правительства старались всячески ограничить, если не полностью приостановить, экономическую инициативу евреев, и в этом были солидарны с большинством населения Империи.

Не нужно припутывать к этому антисемитизм. Был он или его не было, российская имперская политика была прежде всего политикой самосохранения. Феодально-бюрократический характер внутреннего устройства России

законно противился чрезмерной коммерческой активности выходцев из Польши, свободно оперировавших рыночными категориями.

Вероятно, нежданный (и судьбоносный для нас всех) взрыв тяги к светскому образованию, который позже обнаружился среди евреев в годы правления Александра 11, как раз, и произошел от того, что в предшествовавшие годы еврейской рыночной стихии был поставлен почти непреодолимый барьер, и светское образование стало тем единственным путем, который мог дать множеству грамотных евреев почтенное (согласное с их глубинными представлениями) занятие, ставившее их в положение конкурентоспособности с остальным населением.

Вообще, российское государство до самого конца X1X в. в евреях не нуждалось еще и потому что для выполнения тех технических функций, на которые германские государи столетиями раньше приглашали евреев, оно щедро набирало, уже далеко продвинутых, европейских (германских же) специалистов. И русский народ согласно отвечал на это утробной ненавистью к немцам («Он в землю немца Фогеля, живого, закопал». Н.Некрасов).

Со второй половины X1X в. Россия осторожно модернизуется и все глубже вовлекается в европейскую рыночную систему. И только тут опять начинает разыгрываться германо-еврейский сценарий: российское феодальное государство заигрывает с еврейским капиталом, а российские феодальные отношения позволяют ему расплачиваться только подневольным трудом своих безгласных подданных:

«Прямо дороженька, насыпи узкие,
Холмики, речки, мосты.
А по краям-то все косточки русские.
Сколько их, Ванечка, знаешь ли ты?»

Ванечка, конечно, не знает, но Некрасов-то знает, что без этих косточек не было бы у него железной дороги, потому что именно так, на костях, а не иначе, построены российские города, российские железные дороги и рос-

сийские атомные электростанции. Так, по крайней мере начиная с Петра 1, движется в России прогресс. И призванные строить железные дороги богатые евреи, с которыми Некрасов в клубе регулярно играл в карты, были тут не более, чем инструментом в руках правительства, проводившего модернизацию страны и государства.

Описывая русскую историю в своем двухтомнике, А. Солженицын избегает вопроса о ее субъекте. До 1917 г. таким субъектом ему виделась, очевидно, Российская империя, в которой живые евреи были достаточно периферийным, часто раздражающим объектом. Именно эта государственническая позиция Солженицына и определяла его симпатии в истории этого периода. Но уже в тексте второго тома он занимает позицию скорее диссидентскую по отношению к новой власти, и тогда русский народ в его трактовке, русская аристократия, русская интеллигенция, а потом уже и крестьянство, оказываются недопустимо пассивными жертвами неназванных демонических безнациональных сил:

«Нет, власть тогда была не еврейская, нет. Власть была интернациональная». При этом, однако, Солженицын старается соблюсти некий баланс именно по отношению к евреям, упоминая еврейское содействие либо противодействие этим мистическим силам. Но у него так ни разу и не всплыла какая-нибудь русская общественная группа (кроме большевиков), которая бы активно действовала в истории и сознательно предложила евреям какую бы то ни было форму сотрудничества. Он признает, что и белое движение оказалось тут не на высоте общей задачи, несмотря на то, что находились евреи, готовые горячо его поддержать.

Странные эти силы, которые Солженицын не называет, действуют на протяжении всей русской истории, присутствуют в России и сегодня, но с трудом поддаются идентификации, особенно в этнических терминах, которые избрал для себя автор. Силы эти происходят от варварского экстремизма, характерного для российской

жизни на протяжении многих столетий («в комиссарах взрыв самодержавья, взрывы революции — в царях» — М.Волошин). Н.Бердяев приписывал такую особенность российской истории неразвитости гражданского сознания в России, которое никогда не было ограничено устоявшимися бытовыми нормами. В сущности, отсутствием признанной, общепринятой процедуры поверять любое решение трезвым рациональным анализом. Недостатком в обществе чувства меры, коротко говоря.

Разумеется ничего мистического в этой особенности нет, но среди сотни миллионов людей разных культурных уровней и стилей, живущих на удалении тысяч километров друг от друга, единого чувства меры и быть не может, так что пока существует жестко связанное целое под названием Россия, будет существовать и дискомфорт от жесткой единой меры, навязанной из центра.

Это целое обладает инерцией несравнимо более весомой, чем все возможные намерения или теоретические построения идеологизированных групп. И мера модернизации, запланированная в центре всегда будет непосильной для одних (для большинства) и смехотворно недостаточной для других (немногих).

Во втором томе своего «200 лет вместе» Солженицын, как будто, готов поставить вопрос и шире: А зачем нужен самый этот прогресс, если он оплачен такой тяжелой ценой? Тем более, что в наше время впору уже усомниться и в пользе прогресса. Особенно, если значительное большинство российского населения к нему не очень-то стремится (и тогда, и сейчас).

На такой вопрос нет однозначного ответа. Мы не вольны выбирать время, в котором нам придется жить и на самом деле не знаем в какой мере устроила бы нас жизнь в прошлые эпохи. Если бы Советская власть не нашла в массе евреев замену своей изгнанной национальной интеллигенции в первые десятилетия после Гражданской войны и еврейская молодежь не откликнулась бы на это с энтузиазмом, разруха бы не кончилась и СССР не стал

бы мировой державой, способной выдержать вторжение Германии.

Однако Солженицын, как патриот-консерватор, старается избежать такой прямой постановки вопроса, потому что это означало бы с его стороны признание ценности многих успехов советской власти. Поэтому, дойдя в своей истории до сегодняшнего дня, Солженицын теряется в подробностях и не может сформулировать, чего же в самом деле он от евреев хочет.

В отличие от Солженицына, царские чиновники, как и большевистские вожди, напротив, хорошо знали, что они хотят плодов прогресса в виде военной и технической мощи без его горьких корней в виде всеобщих прав и демократической неразберихи. Для этого и тем и другим всегда нужны были евреи, как и иностранные спецы. Н. Макиавелли советовал своему государю в таком случае пригласить способного управляющего, наделить его неограниченными полномочиями, поощряя не щадить ни собственности, ни жизни граждан, а по достижении желанной цели демонстративно казнить его за тиранство.

Петр Первый в своей борьбе за российский прогресс такого коварства еще не планировал, хотя его лихие соратники в ходе борьбы за власть после его кончины сами позаботились, чтобы никто из них не остался на поверхности. Сталин же, следуя советам мудрого итальянца, неуклонно и виртуозно использовал для своей и государственной пользы и способных евреев, и всеобщее раздражение против них. Всякий лояльный российский гражданин, что бы он об этом ни думал, уже самой своей лояльностью подтверждает конструктивность такого подхода.

Если бы я жил в России и был лояльным российским гражданином, я безусловно был бы за прогресс, хочет этого большинство населения или не хочет — народ ведь, в сущности, никогда не знает, чего он хочет. И, вот, в этом-то экстремизме (или, как он думает, моральной глухоте) Солженицын евреев и винит, хотя способы достижения прогресса в России всегда определяли, конечно, не

они. Эти способы определяются молчаливым согласием (мерой терпения) того самого большинства населения, которое инстинктивно и сопротивляется прогрессу.

Сегодня можно этот вопрос и иначе поставить: зная свою деятельную натуру, я отказываюсь преодолевать российскую историческую инерцию и выпадаю из русской проблематики, покидая не только самое родину, но и ее альтернативы. К этому, собственно, и сводится сущность сионистского проекта, освобождающего еврея от груза имперских проблем. Проблемы великих империй требуют человека целиком, отнимают индивидуальную совесть и, вмешавшись в судьбы России, человек становится рабом имперской судьбы («На всех стихиях человек — тиран, предатель или узник.» — А. С. Пушкин).

35 лет назад я был в лагере резервной армейской службы в Баку и сдружился там с грузином старшего возраста — специалистом-чаеведом. Во время войны он был разжалован из офицеров в рядовые за избиение солдата-новичка. Глядя на этого мягкого, интеллигентного человека с аристократическими манерами, я никак не мог представить его избивающим несчастного юношу.

Однако, дело было так. Сталин подписал указ по войскам ПВО, запрещавший им под страхом расстрела прятаться в блиндажах при атаках с воздуха. Они были обязаны вести непрерывный огонь по самолетам-бомбардировщикам дальнего следования, не отвечая штурмовикам и, т.о., не считаясь с собственной безопасностью. Новичок струсил во время прямой атаки немецких штурмовиков на батарею и в истерике забился под койку в блиндаже.

Командир должен был расстрелять его на месте или отдать под трибунал. Мой интеллигентный приятель пожалел сопляка и, силой вытащив его из под койки, пинками выгнал на позицию. Доброжелательный политрук написал на него донос, представив инцидент как избиение...

Командир мог застрелить солдата, но не имел права ударить. Поскольку я слышал эту историю от самого командира, я, конечно, не знаю многих подробностей: был ли у солдата расквашен нос, сколько синяков понадобилось, чтобы вернуть его на боевой пост, наслаждался ли политрук возможностью нагадить чистоплюю-аристократу, который не пожелал марать руки убийством мальчишки, или, может быть, хотел подвести под монастырь заносчивого грузина. А, может быть, политрук просто высоко оценивал вероятность доноса со стороны кого-нибудь другого на их батарее, который осветил бы разом и гнилой либерализм командира, и политически близорукое, преступное попустительство политрука.

Но суть имперской морали здесь прозрачна: законы были составлены так, чтобы не оставить места ни милосердию, ни справедливости. На том и строятся великие державы.

Россия нынче опять с успехом возвращается на путь великодержавия, ей снова понадобятся опричники, и перед российскими евреями опять замаячит все тот же призрачный выбор — «тиран, предатель или узник». Но теперь им уже не сослаться на недостаток исторического опыта.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ДЕНЕГ

Меня всегда удивляло единодушие, с которым нееврейский мир, связывал представление о еврейском характере с любовью к деньгам. Ничего подобного я в еврейской среде не наблюдал. Да и в истории еврейское сребролюбие вовсе не превосходит международную норму. Мой (и исторический) опыт скорее подсказывает, что евреи легче других смиряются с потерей и охотней соглашаются рискнуть деньгами (но не здоровьем) ради каких-нибудь, иногда весьма проблематичных, целей. Может быть, потому у них и есть деньги (если верить, что они у них есть).

Вообще, если не говорить о миллионерах, чья жизнь для меня попрежнему остается как бы в тумане, есть у людей деньги или нет определяется не фактическим наличным счетом, а их собственным отношением к своему доходу. Если непосредственный аппетит потребителя требует немедленно все проесть, человек всегда оказывается без денег. Если же он склонен рассчитывать и распределять свои ресурсы, у него в каждый данный момент наличествуют деньги, которые он отложил в момент предшествовавший. Вспомним, как в молодости мы всегда одалживались у бабушек, получавших грошовую пенсию (и не всегда удосуживались отдать!), что ж наши бабушки были богаче нас? Евреи в большинстве склонны именно к рациональному планированию своих затрат, и потому действительно могут производить впечатление людей, у которых всегда есть деньги. Естественно, что в общежитии такой расчетливый индивид («с кубышкой за пазухой») вызывает у окружающих, особенно у беспечных и прожорливых, подозрения и неприязнь.

Деньги — важнейший элемент абстрагирования, отчуждения людей от вещественных, материально-телесных отношений, которые только и поддаются нашему интуитивному, эмоционально окрашенному контролю. В доцивилизованном мире у варварских племен, говорят, мерой ценности служили коровы (скот), осязаемость и ценность которых была очевидна. Если древний охотник вместо того, чтобы просто убить владельца и отобрать корову, вынужден был менять на нее свой каменный топор, значит он был вынужден к этому реальными (назовем их экономическими или социальными) обстоятельствами. Однако дальше простого обмена в доисторические времена это дело не шло.

Античный мир уже развил богато-разветвленную систему торговых взаимоотношений, включавших денежные знаки (монеты), финансовые обменные операции и банковские структуры. Грекам и евреям, а потом уже и римлянам, благодаря их высокой философской культу-

ре сравнительно легко давался нетривиальный скачок от простой арифметики (две и еще две коровы дают четыре) к алгебре (допустим, что сумма А и В равна С, тогда, имея С, я мог бы приобрести …).

После разрушения античной цивилизации, в темные средние века, немногочисленные образованные недобитки развитого античного мира укрылись в монастырях и перестали активно участвовать в жизни. Почти одни евреи только и остались в Европе на экономической поверхности. Международная торговля к тому времени сильно усложнилась из-за разбоя на оставшихся от римлян дорогах: фунт пряностей, допустим, в Аравии стоил А, перевозка из Аравии в Европу В, плюс таможенный сбор на бесчисленных границах, составлявший долю С от общей суммы (А+В) (1+С), охрана караванов Х, да еще и неведомая цена риска У : итого (А+В) (1+С) + Х +У….

Европейские варвары были в шоке от вторжения как религиозных, так и финансовых абстракций в их жизнь и законно подозревали обман. К тому же, хорошо зная себя, они не могли понять природу взаимного доверия, которое позволяло евреям разных стран осуществлять международные торговые сделки. Однако за несколько веков интеллектуальных мучений и повторяющихся безуспешных попыток вернуться на более знакомый путь грабежа, они привыкли.

Со временем их потомки построили и свою, более конкретную, религию и философию, а затем и довольно стройную концепцию денег (сначала только материальных — золото — а со временем и символических — бумажных) и пришли к понятию стоимости, которая, уже на уровне развитой теории, возвращала всю эту мистику опять на ее материальную основу. Хотя достаточно часто находились те, кто покушался отобрать силой, не вникая в детали, все же мало-помалу в Европе освоили (и даже оценили) удобства, которые наличие денег вносит в жизнь обществ.

Не с первого взгляда, но в конечном счете все как бы опять свелось к телам (сырью, запасам, машинам,

работникам) и (теперь уже в символической форме цен) к их вполне осязаемым материальным взаимоотношениям. Правда, к цене материала теперь пришлось добавлять еще и цену рабочей силы (а потом и оценку ее качества) и прибыль (а потом и «сверхприбыль») инициатора-капиталиста, предпринимателя (которого многие, унаследовавшие свои взгляды от варварских предков, не прочь были опять отождествить с евреем или другим, похожим, инфернальным существом). Материализм торжествовал свою победу в рабочих кружках и в интеллигентских тусовках, по своим разным внутренним причинам заинтересованных в такой упрощенной модели действительности.

Однако интенсивная деятельность банков и международная кооперация в сочетании с революцией в средствах связи за последние два века, в которые евреи опять сумели выжить и преуспеть — правда, уже наряду со множеством представителей почти всех других национальностей — понемногу свела к нулю и эту материалистическую иллюзию. Оказалось, что деньги могут сами порождать деньги, как бы минуя промежуточные превращения (формула «деньги-деньги» вместо прежней «деньги-товар-деньги») и, таким образом, обнажая сугубо идеалистическую (т. е. в конечном счете конвенциональную, психологическую) основу человеческого общежития.

Помнится, у С. Маршака были поучительные детские стихи о нерадивом ученике, который на уроке математики никак не мог взять в толк, что из двух решений квадратного уравнения следует выбрать только одно, диктуемое здравым смыслом. Там была такая запоминающаяся строка: «И получается в ответе — два землекопа и две трети...», что рассматривалось как устрашающая бессмыслица. Ученику во сне потом являлся «несчастный землекоп без ног, без головы».

Но бедный ученик не был виноват. Если математический ответ не соответствует реалистически возможному результату, это значит, что с самого начала математическая модель явления неточно отражала фактическое

положение дел. Любой бухгалтер мог бы подсказать, что экономически правильно по отношению к любой работе, даже землекопанию, рассматривать не сомнительное число землекопов, а число их средних зарплат. Тогда, чтобы выполнить заданный объем работы, вполне уместно (и даже гуманно) было бы нанять третьего землекопа на две трети ставки.

Здесь обнаруживается, что деньги позволяют дополнительную свободу маневрирования... Манипулирование деньгами оказывается удобнее и легче, чем манипулирование коровами (тем более, землекопами). Деньги не имеют веса и собственной воли. Их можно пересылать по проводам и электронной почтой. Прораб землеустроительной конторы мог бы вообще на некоторое время забыть о землекопах и оперировать только деньгами-цифрами (даже и без купюр), распределяя их по рабочим участкам согласно общему плану строительства. Конечно, в такой конторе пришлось бы перейти с языка человеко-единиц, который требует различать работящего Петра, туповатого Василия и пьяницу Аркадия, на виртуальный язык денежных ставок, который сделал бы землекопов неразличимыми, взаимозаменяемыми и способными к применению одновременно в нескольких местах. Не понадобилось бы резать их на куски, чтобы обеспечить необходимой рабочей силой сразу несколько участков. Для общего руководства строительства, получившего финансовый отчет о произведенных работах Петр, Василий и Аркадий перестали бы быть физическими телами, имеющими имена, лица и характеры, а стали бы бесплотной информацией о затратах, которая передается по проводам. Рано или поздно перед администрацией вырос бы соблазн вообще забыть об этих беспокойных, вечно недовольных, материальных землекопах и ограничиться лишь формулированием начальных условий, счетом денег и контролем конечных результатов.

В физике отчасти это и делает квантовая механика, вводя некую фиктивную пси-функцию, характеризующую

только виртуальное присутствие материальных частиц, и отказываясь от рассмотрения детальной картины элементарных процессов.

Так же как физика тел, цветов и звуков может быть полностью переведена на обезличенный математический язык, а любое изображение дигитализовано, т. е. представлено в виде последовательности цифр, так и экономика добычи и изобретательности, организационных талантов и самоотверженного труда, риска и доверия, кипения страстей и холодного расчета может быть переведена на сухой язык денег.

Деньги — просто универсальный язык дигитализации экономических взаимоотношений. Тот, кто вслед за Карлом Марксом склонен приписывать экономике приоритет в общественных делах, склоняется и к преувеличению роли денег. Язык этот создан для целей повышения экономической эффективности, а не для установления справедливости.

Дигитализация изображений не имеет никакого отношения к их художественному качеству. Язык денег не полностью адекватен, ибо, как в человеческих взаимоотношениях навсегда останутся непредусмотренные экономикой вариации, так и понимание между обществами разных цивилизаций весьма далеко от идеального, вследствие неадекватности и всех других языков. (Быть может, если это понимание было бы идеальным, стала бы еще яснее их конечная несовместимость? Оптимисты, правда, считают иначе.) Однако дигитализация и в передаче изображений, и в экономической жизни отлично служит своей цели.

В реальном обществе такая ситуация чревата социальным взрывом, ибо работящий Петр не захочет получать те же деньги, что и пьяница Аркадий. Проблема дополнительно обострится, если вместо землекопов мы захотим управлять программистами или (упаси бог!) ху-

дожниками. Люди не хотят терять лицо и законно сопротивляются расчеловечиванию. Множество творческих людей, особенно в мире искусства, где особую роль играет индивидуальность, живо ощущают такую возможность, как недопустимое сужение социального кругозора до уровня всеобщей серости и сообщают этому сопротивлению его гуманистический пафос.

Однако умелый прораб мог бы мигом выправить ситуацию, вычтя треть у Аркадия и добавив четверть зарплаты Петру, используя свое интуитивное знание их слабостей (еще и нагрев руки на разнице). Поэтому в наше время повсюду так ценятся успешные менеджеры, снижающие трение и умеющие повысить эффективность предприятий без заметного увеличения расходов. Именно так Западный мир сумел учесть и отчасти обезвредить и погасить амбиции изобретателей и выдающихся людей искусства. В этой сфере открываются в равной мере как возможности виртуозного успеха, так и злоупотреблений.

Однако общие законы природы действуют и здесь, и бесконечно увеличивать эффективность производства энтропия помешает и самому лихому менеджеру. Пьяница Аркадий, например, подпоит туповатого Василия и они вместе поколотят работящего Петра, чтобы он не зазнавался. После чего они все объявят забастовку. Рабочий ритм бригады будет нарушен, и прорабу нелегко будет объяснить почему снизилась производительность труда на его участке. Непредусмотренные случайности встроены во все человеческие отношения и образуют основу энтропии во всех обществах. Вечный двигатель второго рода (с производительностью 100%) из людей построить не удастся. Это не удастся даже если не учитывать то трение, которое возникнет от перевода экономческих отношений с «теоретического» — дигитального — языка денег на физический язык материальных ценностей (опять, коровы!).

Поэтому противники «бессердечного чистогана» напрасно беспокоятся. Он никогда не восторжествует окончательно. Но и сторонникам полной эффективности

никогда не добиться своего. Всегда останется зазор для свободы и непредсказуемости.

Успехи банковских и биржевых операций открыли путь к тому, что теперь называется информационным обществом и, в конце концов, обесценили всякую деятельность, лишенную интеллектуальной основы.

Теперь это вовлекает и весь неевропейский мир в экономическую игру (под именем глобализации), которая дает некий шанс выигрыша всем, включая и тех, кто вступил в нее с запозданием.

30 лет назад Израиль продавал хлопчатобумажные майки, апельсины и авокадо и не вылезал из долгов, а сегодня выдвинулся на одно из первых мест в ряду стран с развитой информационной и высоко-технологичной промышленностью, так что его экспорт даже перекрыл импорт и погасил былую задолженность.

Южная Корея, Тайвань, а в последнее время Индия и даже Китай вступили на путь, который обещает им процветание, немыслимое для них еще пятьдесят лет назад.

Даже грандиозные финансовые аферы (подобно вирусам в виртуальном мире) сыграли свою положительную роль в этом процессе, обнажив прорехи в законодательстве, позволявшие недобросовестное манипулирование ресурсами. Материальное производство («коровы, апельсины, чугун и сталь») все больше вытесняется в отсталые в прошлом страны, где неквалифицированный труд («землекопы») стоит дешевле. Деньги позволяют такое глобальное перераспределение трудовых усилий, которое повышает общее благосостояние человечества. Конечно, развитые страны на этом выигрывают больше, потому что переход на универсальный язык не обещает справедливости, но зато те народы, что отставали, получают шанс на немыслимые в прошлом прибыли.

Если землекопа не устраивает его заработок, он может попробовать стать прорабом и сколотить рабочую

бригаду по своему разумению. Но, если прораб разорится, никто за него не заступится.

Иностранные рабочие, не имевшие прежде шанса на заработок в своей стране, превратились теперь в обычную часть населения во всех столицах мира. Хорошо это или плохо — задача для моралистов, но теперь и голодающее население Азии и Африки (благодаря предприимчивым и бессердечным прорабам) в какой-то степени получило доступ к пирогу, т. е. к общемировому перераспределению денег.

Такое новое разделение труда, наряду с открытием новых безграничных возможностей для динамичного меньшинства во всем мире, вызывает острое раздражение отставшего большинства человечества, которое все еще не ощутило своего интереса в этом захватывающем процессе. В марксистских учебниках 60-х годов это называлось «законом неравномерного развития капитализма» и, повидимому, правильно отражало неоднородность культурного уровня населения Земного шара. Чтобы участвовать в игре, нужно хотя бы различать фишки.

Здесь мы опять возвращаемся к вопросу о деньгах, точнее к вопросу о том, у кого есть деньги (или, кто и как их тратит). Богатые нефтью страны (за многозначительным исключением протестантской Норвегии) беспечно тратят свои деньги на роскошь и оружие, не отвлекаясь на раздражающие призывы ученых педантов из международных организаций («расчетливых евреев») подумать о будущем и создать основу для современных технологий. Роскошные дворцы, небоскребы и парки в их столицах окружены соломенными хижинами нищего, полудикого населения («землекопов»).

Такие страны превращаются в пороховую бочку под фундаментом глобальной экономической сети, но природный оптимизм европейца позволяет ему надеяться, что это как-нибудь обойдется. Удивительно, что такую надежду разделяют и многие евреи, хотя раздражение против

глобализации и власти денег в согласии со старой европейской традицией часто сопрягается с антисемитизмом.

У народов, не знавших Библии, китайцев или индусов, нет собственной антисемитской традиции. Даже мусульмане заимствуют свои антисемитские стереотипы в основном из сокровищницы европейской культуры. Глобализация, привлекая народы своими экономическими выгодами, прививает им и все яды, накопившиеся за века в цивилизации денег.

Так же, как не может быть построена идеальная землеустроительная контора, никогда не сможет быть до конца реализована и глобализация. Ее политические противники создают социальное трение уже и сейчас, но ясно, что по мере роста глобалистских тенденций энтропийные трудности сами собой вырастут на целые порядки. Энтропия, ограничивавшая эффективность рабочей бригады землекопов, многократно вырастет за счет трения между людьми разных культур (представьте рабочую бригаду, состоящую из Петра, Хаима и Ахмеда!). Пока их отношения ограничиваются денежной, цифровой сферой, они еще могут поладить, но ... не дай Бог! ...

Роль денег в мире продолжает расти и, если гуманисты в самом деле хотят улучшить положение отсталых стран и голодающих народов, они должны всемерно способствовать глобализации, не рассчитывая на справедливость. Справедливости следует требовать от собственного поведения, а не от мирового распределения денежных потоков.

Но никогда глобализация и сопутствующая ей эффективность не исключат фактор непредсказуемой случайности, который в конечном счете означает человеческую свободу от предопределенного поведения.

ГОРЮЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВОЙН И РЕВОЛЮЦИЙ

Мое поколение воспитывалось на героической картине Гражданской войны, которая изображалась чуть ли не

праздником свободы и торжеством справедливости. Сегодня каждый из нас мог по телевизору увидеть сербско-боснийскую резню, гражданскую войну в Руанде или «освободительную» войну в Косово и составить собственное мнение о мере справедливости, сопутствующей такому способу решения конфликтов. Свободная печать, которая появилась, наконец, в России, познакомила читателей и с реальным психологическим обликом «комиссаров в пыльных шлемах», вызывавших когда-то поэтический восторг романтиков.

Практика XX века, вопреки убедительным теориям экономистов и политологов, настойчиво подсказывает весьма скептический взгляд на якобы решающую роль не только «производительных сил и производственных отношений»,но также и «классовых и национальных интересов» в современной истории. Гораздо более значимыми в наше время зачастую выглядят борьба «характеров», спонтанно или целенаправленно сложившихся «клик» и их локальных «культур». Причем эта борьба приобретает все чаще характер настоящей войны (или революции) с кровавыми жертвами и угрозой существованию сложившихся государств. Скажем, даже многие бывшие соратники Арафата (а также и Милошевича) сквозь зубы признают, что его действия не шли на пользу их народу, однако «что ж поделаешь?». А умные политические советники глав правительств признавались, что не могут «разгадать его характер». Но ведь речь, кажется, шла о «справедливых требованиях палестинского народа»? При чем тут его характер?

Бросается в глаза, что правящие элиты всех демократических стран заинтересованы сегодня в сохранении мира (в том числе и гражданского мира) любой ценой и часто готовы на серьезные уступки, а добровольческие, радикальные группы на всех (и, особенно, неблагополучных) территориях, которым нечего терять, кроме пособий по безработице, готовы на смертельный риск и длительное напряжение, чтобы со временем превратиться в

правящие элиты своих простодушных народов. В конце концов, по нашему недавнему российскому прошлому мы знаем, что с помощью террора можно добиться желаемого результата даже и при тайном голосовании.

Британское правительство, например, сбивается с ног в надежде приостановить кровопролитие в Северной Ирландии, а лидеры террористических организаций, напротив, безмятежно спокойны. Им не приходится опасаться, что избиратели за них не проголосуют. Министерские посты в будущем ирландском правительстве им уже обеспечены. Наивный человек может спросить: А если выборы все-таки будут не в их пользу? — Что ж, тем хуже для избирателей. Война ведь будет продолжаться до победного конца. Т. е. она будет продолжаться до такого решения проблемы, которое именно они, террористы, а не кто-нибудь другой (хотя бы и любимец избирателей, он разве неуязвим?) сочтут справедливым. Число же убитых (фактически случайных прохожих) в ходе этого «мирного» процесса (сейчас и в будущем, протестантов или католиков) вряд ли скажется на их политической карьере. Не забудем, что и Ясир Арафат положил начало своему прочному положению лидера, в основном, не убийством злокозненных евреев, а устранением несогласных среди добрых палестинцев.

Во многих странах таких вождей и их клики зовут революционерами. На днях даже и в парламенте нашей страны прозвучал страстный призыв (партии ХАДАШ — коммунистов) не считать террористами людей, которые убивают всего только солдат нашей армии (может быть, еще и министров?).

Нельзя сказать, что всякие там «классовые интересы» вообще никак себя не проявляют. Но по мере роста современных обществ мы ясно видим, как острота классовых, национальных (и всяких иных социальных) противоречий снижается до уровня, на котором личные страсти и преданность своим группам весят куда больше. Тогда

сами эти «классовые» или «национальные» интересы начинают служить страстям и лицам (или группам) только поводом для достижения их собственных целей. В какой-то степени и всегда так было. Ведь революционеры тоже люди, и ничто человеческое...

Правящие элиты почти всех стран «третьего мира» состоят сегодня из «революционеров», т. е. людей, захвативших власть сравнительно недавно разными силовыми методами и склонных к военным действиям по тем или иным поводам. Те из них, что пришли к власти более легитимным путем (например, Марокканский или Иорданский король) более других склонны к мирному разрешению конфликтов.

Собственно, сами народы, как правило, столь смутно сознают свои интересы, что их воля играет глубоко второстепенную роль во всех реальных событиях. Да у них никто и не спрашивает. Народная воля даже в самых демократических странах есть в значительной степени вещь в себе. Но во всех обществах являются представительные группы, которые охотно берут на себя смелость (и ответственность!) выступать от имени народа. Как правило, они берут на себя эту роль самозванно.

Конечно не народные избранники так упорно воюют в Чечне, в Косово, в Конго и в Афганистане. И палестинский народ, конечно, не поручал своим героям под шумок «борьбы с сионистским агрессором» присваивать международные средства, щедро выделяемые на «мирный процесс». Какой процент «палестинских бойцов», прибывших из Туниса на территорию Автономии вместе с Арафатом, имеет хоть какое-нибудь отношение к Палестине, останется навсегда неизвестным. Как и происхождение воинственных боснийских мусульман. Люди, имевшие дело с пленными палестинскими боевиками, захваченными во время Ливанской войны (1982 г.), свидетельствуют, что примерно треть из них были родом из Ирана, Ирака, Пакистана и даже из Греции. Эти примеры позволяют совсем по-новому взглянуть на современную проблему

войны и мира, а может быть и на движущие пружины истории вообще.

Никто не уполномочивал в России Герцена или, еще раньше, декабристов вступаться за народ. Еще меньше полномочий было у известной организации с громким названием «Народная Воля». Как скромно написал в своих воспоминаниях Михаил Гоц, по общему мнению «бывший душою этой организации», а затем и одним из основателей столь же «народной» партии эсеров: «...Мне всегда было неловко с народом, я не умел говорить с ним и приспосабливаться к его взглядам...»

Выступления народолюбцев надоумили и царскую администрацию выступить от имени народа с известной программой «Православия, Самодержавия и Народности» — с равными основаниями, хотя и с далеко превосходящими возможностями. Когда эти их возможности были окончательно подорваны неудачными войнами, бесконтрольностью и коррупцией, очередная самозванная группа «рабочих и солдатских депутатов» захватила государственную власть.

Таких групповых самозванных претендентов на власть в то время в России было несколько. Но другие группы, и в частности эсеры (см. выше признание их основателя), не сумели проявить такой волчьей хватки. Их организации не имели такой армейской структуры. Их сторонники не были в такой степени готовы на все. Их лидеры были слишком разборчивы... Или недостаточно талантливы...

В общем, им не повезло.

Вопрос о власти решался вовсе не поддержкой классов и интересами масс, а самоуверенностью вождей и способностью их сплотить вокруг себя компактную группу безусловных сторонников. Немногие из большевиков, конечно, были рабочими или солдатами, но все они были готовы рисковать головой, своей и чужой, чтобы следовать бредовым директивам своей партии, т. е. перекроить все основы общественной жизни в духе мафиозной групповой культуры, сложившейся среди них за годы под-

польной борьбы. Возможно, Ленин был действительно талантливым вождем.

Здесь кажется весьма уместной идея Льва Гумилева о консорциях — сплоченных группах пассионарных индивидов. Такая группа, утверждающая новый стиль поведения в обществе, порой превращается в потенциальный зародыш нового этноса:

«Формирование нового этноса зачинается непреоборимым внутренним стремлением к целенаправленной деятельности, всегда связанной с изменением окружения, общественного или природного, причем достижение намеченной цели, часто иллюзорной или губительной, представляется самому субъекту ценнее даже собственной жизни... Начав действовать, такие люди вступают в исторический процесс, сцементированные избранной ими целью и исторической судьбой. Такая группа может стать разбойничьей бандой викингов, религиозной сектой мормонов, орденом тамплиеров, буддийской общиной монахов, школой импрессионистов... « (Л. Н. Гумилев «Этногенез и биосфера Земли», Ленинград, 1979.)

Это процесс природный и сам факт возникновения таких пассионариев (и их групп) не зависит от окружающего общества и его культуры, но цели и формы их суперактивности, конечно, определяются культурным и моральным состоянием их окружения и исторически сложившейся обстановкой.

Одних такая суперактивность захватывает, а другим претит. Пассионарии преуспевают, если им удается не только поразить воображение окружающих, но и в чем-то заразить их своей страстью. Народ, конечно, выбирает кем восхищаться и кого презирать. Но его выбор ограничен тем, какие элементы своей культуры он выбирает для ориентации в текущем моменте.

Конечно, группа импрессионистов вряд ли могла быть замечена в стране, где живописи не придавали такого значения, как во Франции. Былая разбойничья доблесть викингов не ценится теперь даже и в Скандинавии.

Много чего и хорошего, и плохого есть в каждой культуре. Но, хотя выбор модуса поведения (в том числе и такого, например, как в пушкинской драме: «...народ безмолвствует...»), характерного для каждого момента истории действительно определен народным вкусом и настроением, само историческое действие целиком лежит на совести отдельных людей.

Трудно утверждать, что это вполне ново для нас.

Вот, что говорит, например, о государствах кочевников историк (Е. Прицак):

«Когда в степи появлялся талантливый организатор, он собирал вокруг себя сильных и преданных людей, чтобы с их помощью подчинить свой род, а потом племя... Потом он предпринимал со своими людьми разбойничьи походы. Если они протекали успешно, то следствием было присоединение соседних племен...»

Т. е. это всегда было делом личной инициативы и удачи, исторической случайности. А где правит удача, там всегда есть место подвигу...

Но все же вера в объективный процесс истории до самой середины этого века не меркла в сердцах историков и могла бы сравниться только с привычным убеждением в конечной победе добра над злом. Эта вера (вместе с упомянутым убеждением) укоренена в основах иудео-христианской цивилизации, в пределах которой мы живем, и ее утрата небезразлична для нашего самочувствия.

Настроение интеллектуальных кругов в девятнадцатом и даже в начале двадцатого века вообще склонялось к поискам объективных закономерностей и основательных причин равно для исторических событий и субатомных движений. Идеи Карла Маркса, что бы теперь про них ни говорили, очень хорошо отвечали этой потребности.

Живя теперь в обществе с кейнсианской экономикой, покупая втридорога какие-нибудь фирменные джинсы, поневоле вздохнешь с ностальгическим чувством по обьективной теории стоимости или представлению об историческом процессе как воплощению прогрессивной

поступи производительных сил. Хорошо было теоретизировать, когда понятие всеобщего прогресса еще не было отменено!

Правда, уже тогда было неясно, какие такие производительные силы открылись у диких орд готов, гуннов и вандалов, затопивших Европу в пору падения Римской империи. Воинственные варвары ведь потому и были воинственны, что не умели толком себя прокормить и профессионально промышляли разбоем (см. выше о степных кочевниках, викингах и прочих героях). Грабеж они понимали как преобладающую форму производственных отношений и буквально во всем зависели от побежденных, поскольку друг у друга им было нечего взять. Но то была древняя история...

Концепция объективной поступи истории («историцизм») была в середине XX века сильно поколеблена возвышением Гитлера. Никакая объективная причина не толкала нацистов к войне и уничтожению евреев. Никакой объективной причины не было и для войны СССР в Афганистане. Также не было объективной причины и у правительства Аргентины затевать войну с Англией из-за пустых Фолклэндских островов. Однако эти войны значительно повлияли на ход исторических событий. К сожалению, они все еще не окончательно убедили жителей демократических стран, что мир на самом деле может быть прочно обеспечен только их постоянной готовностью к войне.

Существует ли в этом безбожном мире реальная причина для вражды католиков и протестантов? Если — да, то почему только в Северной Ирландии? В Германии и Швейцарии они, как будто, мирно сосуществуют. И, если это связано с разницей в уровне жизни, может ли в этом помочь террор? Поднимется ли благосостояние ирландцев, если англичане уйдут и оставят им возможность беспрепятственно убивать друг друга? В странах с неустановившейся демократической традицией и, особенно, в периоды неразберихи, смут и катастроф, чаще

других побеждают самые агрессивные, наиболее беззастенчивые клики.

Если им везет, как повезло в России большевикам, они составляют новую элиту и навязывают свое групповое представление о справедливости всему народу. Как сказал В.Молотов спустя всего несколько лет после революции: «Мы не те русские, что были до 17 года, и Русь у нас не та...» (Но спустя несколько десятилетий она опять оказалась все та же.)

Если их стесняют в их стране, как это случилось с «ФАТХ»-ом в Иордании и Израиле, они зато могут составить новый, «свободолюбивый» (или «прогрессивный»?) народ (например, палестинский или «албанский народ Косова») и претендовать на отдельное существование, в котором их роль будет, наконец, определена в соответствии с их амбицией и наличной культурой.

Но и в первом, и во втором случае интересы соответствующего государства или представляемого ими «народа» играют глубоко второстепенную, подчиненную роль. (Неслучайно и в том, и в другом случае вожди все время сбивалась на «всемирную», одни — «пролетарскую», другие — «антиколониальную», революцию. А вдруг пофартит где-нибудь еще?)

Возникновение таких лихих клик есть процесс естественный, т. е. природно обусловленный, а наличие народа, который якобы ожидает их заступничества, или насущной проблемы, якобы требующей разрешения, напротив, есть дело исторической случайности.

Группа одержимых последоваелей Джозефа Смита в начале Х1Х в. в США вместо того, чтобы начать истребительную религиозную войну, как это обязательно случилось бы двумя веками раньше в Европе, просто отселилась в пустынный штат Юта, положив начало ныне вполне мирной жизни процветающей секты мормонов. Сложившаяся к тому времени в Америке тенденция культуры и наличие незаселенных территорий толкнули их к следованию ветхозаветной парадигме

Исхода, а не недавнему опыту европейских религиозных войн.

Исходным импульсом, однако, всегда служит избыточная человеческая энергия, пассионарность,которую господствующей культуре не удается загнать в приемлемые рамки. Любая культура ограничивает человека, но она же направляет его энергию в допустимое для общество русло.

Спорт — гениальное изобретение демократической культуры античных греков, возрожденное затем демократической культурой англичан — отчасти поглощает поток раскаленной магмы, исходящей из этого постоянно действующего вулкана. Страстная приверженность болельщиков своей команде не подкреплена внятным классовым или однозначно национальным интересом, но способна приводить к кровопролитию.

Всеобщие выборы и партийная борьба со всем сопутствующим им идиотизмом, есть далеко не худший способ утихомирить страсть к самовыявлению и инстинкт власти без убийства. Для этого, впрочем, необходимо, чтобы господствующая традиция все-таки заранее предусматривала недопустимость прямого насилия.

Менахем Бегин, будучи успешным главой вооруженной военной организации «Эцель», демонстративно отказался от сопротивления временному правительству Бен Гуриона во время Войны за независимость, тем самым предопределив демократический стиль политических взаимоотношений внутри Израиля. Ему зато пришлось 30 лет дожидаться своей победы на выборах.

Само наше существование в регионе не только было бы невозможно без начального насилия, которое положило основание государству, но и в дальнейшем сионистская идея взаимовыгодного мирного сосуществования внедряется в сознание окружающих народов только в ходе ежедневной, многолетней войны. Наличие у нас внутренней дискуссии о тактике этого внедрения наши соседи, принадлежащие к совсем другому культурному типу и

чуждые библейским парадигмам, принимают (правильно или неправильно) за обнадеживающие признаки приближающегося развала.

Парадокс Ближнего Востока: чтобы убедить противника в необходимости отказа от насилия,его надо обезоружить. Но, может быть, тогда уже не надо и убеждать?

Существующая в израильском обществе культура открывает для суперактивного индивида множество вдохновляющих возможностей помимо войны — он может посвятить себя науке или заняться спортом. Он может потрясти мир своим искусством, он может разбогатеть, возглавить партию, профсоюз, основать фирму или поселение. Наконец, он может отчаянно (и довольно безопасно) бороться за мир, за права арабов, за справедливый процент восточной музыки в радиопередачах. Сексуальные маньяки, игроки, гомосексуалисты, пьяницы и даже наркоманы в израильском обществе сравнительно безбедно могут предаваться своим страстям без всякой конспирации. Наше общество интегрирует практически всех и оставляет так мало отпетых диссидентов, что они не смогли бы сформировать потребность в чем-то вроде революции. Самые решительные деятели, типа Меира Каханэ или Авигдора Эскина, появились у нас в результате импорта из великих держав. Израильтянин, даже произведенный в генералы за храбрость, не решится сказать, что военная опасность его увлекает. Друзья и недремлющая пресса, не медля его осудят.

Не та ситуация в окружающих нас арабских странах. Там нет сексуальной свободы, осуждается пьянство, слабо развит спорт, нет интереса к искусству, практически нет науки. Уровень светского образования невероятно низок. Профсоюзное движение, как и всякая иная политика, смертельно опасно, бизнес связан со взятками и покровительством кланов. Газеты не имеют голоса, а оппозиция возможна в столь узких пределах, что легче выдвинуться, вступив в террористическую организацию. При таких условиях почетная смерть в бою с сионистски-

ми захватчиками, американскими империалистами или в результате покушения на своего президента представляются неплохим вариантом карьеры для честолюбивого арабского мальчика.

Война — не худшее из человеческих занятий, и имеет позади себя многотысячелетнюю престижную традицию. Культура войны в большом почете у мусульманских народов. Военная профессия — единственная массовая техническая профессия во многих мусульманских странах, обеспечивающая вполне современный уровень специалистов. Народные массы очень ценят своих военных героев. Духовные лидеры Ислама поощряют это настроение. Причины для войны всегда находятся и почетное поражение совсем не позорит погибших. Эта культурная ситуация поощряет все новые и новые темпераментные группы во всех мусульманских странах пытать свое счастье.

Война (и как победа, и как поражение) желательна в недемократических странах скрытым «революционерам» всех уровней, которые надеются сменить сегодняшних правителей и их камарильи. Однако война современными средствами (и особенно, поражение) слишком опасна (и потому нежелательна) для режимов, в которых бюрократические порядки в какой-то степени уже установились. Она угрожает и самим диктаторам, и их недавно сложившимся элитам. Только наличие этой двусторонней опасности, собственно, и обеспечивает то весьма хрупкое взаимопонимание с бюрократическими (или плутократическими?) верхушками окружающих стран, которое может внушить нам надежду на конечный мир в нашем регионе. Участие «народов» почти во всех случаях только осложняет этот, и без того трудный, процесс. В любом случае мир, который возможен в нашем районе, это мир основанный на военном равновесии, а не на отсутствии конфликтных интересов.

Можно ли судить народы за их пристрастия? Ответ на этот вопрос зависит от того, как мы ответим на вопрос о том, КТО будет их судить.

Военных преступников, к сожалению, судят только после их военного поражения. К тому же ничто в подобных ситуациях не заставит верить, что судьи свободны от политической предвзятости.

Это значит, что гуманистическая цивилизация может рассчитывать на торжество своих принципов «доброй воли» только при условии очевидного военного превосходства. Но «принципы доброй воли», навязываемые с помощью силы, это и есть парадокс Западной цивилизации, который ей еще только предстоит разрешить в ее взаимодействии с другими. Нам следует подготовиться к тому, что либо торжества «принципов доброй воли» не произойдет вообще, либо это торжество не станет всеобщим.

Что есть справедливость для бесчисленных народов, «не умеющих отличить правую руку от левой»? Намного ли она отличается от той, что была у готов, гуннов и вандалов всего полторы тысячи лет назад?

4. ИСТОРИЯ В ПОСТМОДЕРНИСТСКОМ ИЗЛОЖЕНИИ

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»

Начнем с цитаты.

«Идеи не являются отражением реальности. Идеи принадлежат миру воображаемого и в этом своем качестве обладают странной способностью изменять реальность. Когда такое вмешательство идей в жизнь приобретает особо крупные размеры, это называют революцией. Революция есть переход Воображаемого в Реальное. Механизмом такого перехода является символизация обоих... В области символического они поначалу и встречаются: в текстах, написанных кабинетными интеллектуалами; в сознании их читателей, будущих лидеров революции; в публичной сфере, в которой обращаются массы. В конце концов дело доходит до реального, той самой истории, в ходе которой изменяется жизнь всех — авторов и читателей, лидеров и масс.»

(Александр Эткинд, «Хлыст», НЛО, М.,1998).

Так, во всяком случае, увидел действительность Российской революции талантливый современный автор, дитя интеллектуальной атмосферы, сложившейся за несколько веков эпохи книгопечатания.

Возможно эта эпоха подошла к концу. Трудно себе представить современную революцию, где бы то ни было, произошедшую из-за «текстов, написанных кабинетными интеллектуалами». Если, конечно, не считать Коран

(книгу, составленную из страстных проповедей неграмотного пророка) текстом, написанным кабинетным интеллектуалом. По правде говоря, с трудом верится и в то, что это когда-то в прошлом было правдой. Так ли уж велика роль теории в общественных движениях?

Утверждение Маркса, что «бытие определяет сознание» не совсем беспочвенно. Не зажигательные тексты обеспечили на наших глазах победу Фиделю Кастро и не интеллектуальная недостаточность марксизма привела к гибели Че Гевару. Те же самые тексты, которые якобы решающим образом повлияли на судьбы России, не произвели сравнимого действия ни в Польше, ни в Финляндии, не говоря уж об остальной Европе. Зря в России винят «кабинетного интеллектуала» Маркса в своих несчастьях столетней давности.

Хотя этот пламенный революционер много лет прожил в Лондоне, он не сумел помешать англичанам спокойно вкушать их ежедневный файв-о-клок. И даже на английских социалистов влияние его идей оказалось более чем ограниченным...

Но был в истории безусловный прецедент, когда революция действительно произошла под влиянием интеллектуалов и действительно первоначально «в области символического». Этот прецедент — сионистская революция. Точнее будет сказать, что эта революция, как и многие другие события истории евреев, являет нам поразительный пример доминирующего влияния сознания на бытие.

Израильский историк, проф. Бенцион Натаниягу — отец двух выдающихся сыновей Йони и Биби Натаниягу — написал (еще в 40-50-ых годах) книгу очерков об идейных основателях сионизма: Льве Пинскере, Теодоре Герцле, Максе Нордау, Израиле Зангвиле и Владимире Жаботинском. Манера, в которой написана книга Б. Натаниягу и его оценки людей и событий резко отличается от всего того, что в течение десятилетий распространя-

лось на русском языке под названием сионистской литературы. Поэтому книга станет неким открытием для русскоязычного читателя. Все эти десятилетия ее автор находился вне допустимого израильским литературным истаблишментом консенсуса по двум коренным вопросам: о социализме и о сосуществовании с арабами.

Т. Герцль, как и его соратник М. Нордау, был очень скептического мнения о социализме и полагал, что социализм не согласуется с человеческой натурой, особенно с еврейской, «индивидуалистичной со времён Моисея до сего дня». Он также предвидел, что евреи очень скоро станут для социалистического движения «мавром, сделавшим своё дело, после завершения которого от них избавятся».

Однако, руководство мировым сионистским движением уже в первые годы своего существования попало в руки выходцев из России. Это было, конечно, естественно для демократической организации, поскольку именно в России жила и страдала основная масса евреев, жаждавшая освобождения. Но предреволюционная российско-еврейская среда была в очень сильной степени захвачена марксистским и общероссийским влиянием и произвела на свет целую серию разнообразных гибридов сионизма с социализмом и толстовством, в течение почти столетия господствовавших во всех еврейских начинаниях. Склонность к социализму и «непротивление злу» автоматически влекло за собой и марксистское пренебрежение к национальности и навязчивую, пацифистскую преданность парадоксальным лозунгам «арабо-еврейской дружбы».

Нельзя сказать, что кто-нибудь из ранних сионистов пренебрежительно относился к арабам, но они уже в достаточной степени понимали неимоверную сложность проблемы сосуществования цивилизаций. Европоцентрическая марксистская теория, поставившая во главу угла экономические отношения, вообще не подразумевала никаких различий между людьми, кроме классовых. Конечно, только европейские евреи, не имевшие никакого понятия

о иных культурах, могли принимать всерьез такое варварское упрощение действительности как марксизм. Евреи-выходцы из арабских стран, не по наслышке знающие мусульманскую культуру, никогда не обманывались на этот счет и в массе своей не следовали за социалистами-миротворцами. Российские выходцы, повидимому, внушали больше надежд израильскому истаблишменту, если перевод этих очерков на русский язык задержался на целых полвека.

Часто именно ложные идеи поддерживают людей, а иной раз и обеспечивают им победу. Если бы руководство Израиля в 1947 г. не было, в основном, просоветским, СССР не позволил бы ООН проголосовать за признание еврейского государства. Если бы политика этого государства (и предшествовавшего ему Ишува) в течение долгих лет не опиралась на вдохновляющие мечты о близком мире с арабскими соседями, Израиль не смог бы вырасти в десять раз за последние 50 лет. Жесткая политическая реальность порой строится на неверных и расплывчатых иллюзиях.

Крушение социализма во всей восточной Европе, нескончаемый вандализм интифады и смерть Арафата сместили общественное мнение и приоритеты издателей таким образом, что мысли основателей сионизма перестали казаться им шокирующими. Я лично помню, сколько сил потребовалось приложить сионистским активистам из России, чтобы заставить (да и то, только через пять лет после победы М. Бегина на выборах) израильских издателей «Биб-ки Алия» включить в свой план труды В. Жаботинского.

Все пятеро выбранных автором основателей сионизма были выдающимися писателями, преуспевшими еще до начала своей сионистской деятельности, владевшими несколькими языками и принадлежавшими к европейской культурной элите. В общепринятом словоупотреблении все пятеро были «ассимилированные евреи».

Что такое «ассимилированный еврей»? Среди кого он ассимилирован? Никто из нас не представляет себе ассимилированного еврея трактористом или шахтером. В простонародной среде евреи неизбежно выделяются. И их ассимилированными не назовешь. Зато легко представить ассимилированного еврея среди физиков, художников или журналистов. (А мне пришлось познакомиться и с евреями-уголовниками.) Одним словом, легко представить себе ассимилированного еврея членом какой-нибудь замкнутой, часто элитарной, группы. В элите и ассимилироваться легче, потому что в элите ведь от всякого можно ожидать какого-то своеобразия. В творческой элите (и, как ни странно, в преступном мире) экзотика, странности и всевозможные чудачества зачастую приветствуются, чтобы не сказать, культивируются. Даже и самая принадлежность к еврейству в элите порой рассматривается как сорт чудачества.

В конце Х1Х века ассимилированные евреи в Европе и в России составляли еще редкое меньшинство. Спустя сто лет в результате гитлеровского Голокоста и сталинского Всеобуча ассимилированные евреи превратились в абсолютное большинство еврейского народа, и они ассимилировались уже не в элите окружающих народов, а в тех средних социальных слоях, в которых чудачества и оригинальность не только не поощряются, но и не прощаются. Т.о. сионистский заговор кучки интеллектуалов позапрошлого века пришелся большинству евреев как раз впору.

Двое из славной пятерки (Л. Пинскер и Вл. Жаботинский) были уроженцами России и писали на русском языке. Двое других (Т. Герцль и М. Нордау) происходили из Австро-Венгерской Империи и писали по-немецки. И.Зангвил родился в Лондоне и был признанно известным английским писателем.

Еврейское национальное движение зародилось именно в России потому, что только там существовало компактное еврейское население (в конце Х1Х в. две трети

мирового еврейства проживали в черте оседлости Российской империи). Среди народов древнего мира евреи выделялись отчетливо выраженным национальным самосознанием. Но, утеряв еще в древности свою территорию и национальный суверенитет, они, чтобы выжить как народ, должны были национальным основам своей жизни придать статус религиозной святости. «Так язык иврит, этническая замкнутость, национальные традиции и законы, а также утраченная Родина, стали осиянными священным нимбом религиозными ценностями».

В середине XVIII в. еврейскому национализму был нанесён суровый удар, ибо впервые перед иудаизмом встала угроза, исходящая не от какой либо иной веры, а от противника всех религий вообще: свободной мысли. Еще Б. Паскаль заметил: «Людскому разуму необходима свобода, но стоит признать это — и уже распахнуты двери для самой гнусной распущенности. — Что ж, может, ограничить свободу? — Однако, в природе разума не существует пределов: как бы закон ни пытался их поставить, разум не пожелает с ними мириться.» Наука объявила войну всем привычным догмам и мистическим теориям и зачастую вместе с водой выплескивала и ребенка. Спустя двести лет Исайя Берлин подытожил: «Эпоха Просвещения сыграла поистине беспримерную роль в борьбе с мракобесием, гнетом, несправедливостью и безрассудством. Но освободительные движения, вынужденые прорываться сквозь заслоны общепринятых догм и традиций, всегда заходят слишком далеко и перестают замечать добродетели, на которые они замахнулись.»

Просвещение, расшатывавшее религиозные основы всех европейских народов, оставляло их, однако, в кровно-родственном окружении на их обжитой территории. Евреи, лишаясь поддержки своей религиозной идеи и оказавшись без защиты конфессиональной общины («кагала»), ощутили себя на краю гибели. Для сохранения своего национального лица, для самоидентификации, необходимой всякому нормальному человеку, евреям был

нужен эмоционально окрашенный мотив, выраженный на европейском философском языке, способном противостоять победному натиску рационализма.

Современный израильский писатель А. Б. Иошуа настаивает, что совмещение в идентификации еврея двух различных концепций, национальной и религиозной, превращает еврейство в загадочный (с европейской точки зрения) объект, раздражающий окружающие народы своей непроницаемостью. Суть дела, однако, не в том, что это смешение раздражало европейских антисемитов (в Азии такое смешение является скорее правилом, чем исключением). Подлинная проблема состояла в том, что это смешение стало неприемлемо для самих европеизированных евреев. На фоне мощного общего взрыва национализма в Европе у евреев возникла психологическая необходимость поставить для себя философски неразрешимый вопрос, что считать нацией, и считать ли им нацией себя.

Лев Семенович (Иегуда-Лейб) Пинскер (он был одним из первых евреев в России, получивших систематическое русское образование) ответил на этот вызов своей книгой «Авто-эмансипация», которая произвела эффект разорвавшейся бомбы в еврейской психологии во всем мире. Здесь уместно упомянуть, что в его пророческой книге заложены мысли, ставшие основой для разработки этой темы западными социологами на сто лет вперед. Как выразил это современный английский социолог: «Идея нации неотделима от политического сознания. Нация рождается в воображении, и, ее образ, однажды возникнув (укоренившись в сознании), приспосабливается к внешним условиям, моделирует себя и преображает.» (Б. Андерсон, «Воображаемые общности. Происхождение и распространение национализма», Лондон, 1983). То есть, по крайней мере в данном случае, идея нации предшествует материальным предпосылкам ее существования, которые так упорно подсовывала нам марксистская идеология.

Субъективный подход Пинскера шел поперек всей европейской тенденции того времени, во всем искавшей (и временами находвшей) объективные (материальные) причины и рациональные объяснения. Грандиозные успехи классической физики (впрочем, всего за 20-30 лет до ее краха) и дарвиновской биологии как бы уже обещали такой же триумф и псевдо-объективному экономическому детерминизму (марксизму). Действительно, популярность среди интеллигенции марксизма, отрицавшего всякое значение национальных чувств (и, вообще чувств), достигла предела, за которым слабо брезжило уже и трудное будущее отрезвление.

Пинскер переместил центр тяжести еврейского вопроса с внешнего окружения на внутреннее состояние самого народа. Он утверждал, что еврейская трагедия — следствие не только отношения к евреям окружающих народов, но, еще в большей степени, следствие отношения евреев к самим себе. Эта трагедия — плод чересчур тесной приверженности (симбиоза) евреев к другим национальным образованиям, что противоречит самостоятельности их национального существования. Решение проблемы, связано в первую очередь со степенью решимости самих евреев взять свою судьбу в собственные руки.

Вся европейская концепция эмансипации до этого основывалась на зависимости от великодушия других народов. От них евреи ожидали своих прав, и они должны были эти права даровать. Пинскер поставил проблему с головы на ноги: не эмансипация, а авто-эмансипация, т. е. еврейский народ должен получить свое избавление не от других народов, а из своих собственных рук, в результате собственной борьбы. Нация и История должны были стать столпами народной жизни в модернизованном мире.

Сохранение национальной чистоты и исторической преемственности были для Пинскера важнейшими факторами сохранения еврейского народа среди других. Утрата этих ценностей была и остается до сих пор причи-

ной отдаления евреев от своего народа. Возможно, в этом вопросе Пинскер испытал влияние славянофилов, с которыми он близко познакомился за время своей учебы в Московском университете. Славянофилы всегда подчёркивали важность этих составляющих для формирования и существования нации.

Семя было брошено во-время и последующий широкий разлив агрессивного антисемитизма в Европе не застал евреев врасплох. Евреи осознали себя нацией среди государственных наций еще за 10-15 лет до того, как их высокопоставленные европейские представители, Герцль, Нордау и Зангвил, решились предъявить Западной цивилизации справедливое требование своей доли в мировом сообществе от имени всего народа.

К замечанию А. Б. Иошуа о смешении религиозной и национальной идетификации, характерной для евреев, можно добавить и еще одно смешение, выделявшее евреев на протяжении многих столетий: во всех странах евреи воспринимаются как народ, нация, и в то же самое время как социальная группа. В разных странах — это разные социальные группы, но практически всегда сравнительно высоко (относительно большинства населения) расположенные. Это «приподнятое» социальное положение евреев с веками превратилось в часть традиции, которая сообщает евреям определенные психологические черты и также вызывает неутихающее раздражение окружающих народов.

В старой России евреи были, в основном, мещанами, а в СССР они стали служилой интеллигенцией. В современной Америке евреи — врачи и адвокаты (впрочем, дети портных и парикмахеров). В арабских странах евреи — лавочники и клерки. Это особое положение установилось еще со времен Римской империи, когда соплеменники выкупали из рабства любого еврея и не давали ему опуститься на социальное дно того времени. В какой-то

степени такое положение продолжается и до сих пор во всех странах. Подобная взаимная поддержка (в которой столь часто винили евреев в России) неизбежно следует из поставленной иудаизмом религиозной задачи («народ священников») обеспечить всякому еврею возможность следовать Завету. Такая особенность придает еврейскому народу большую восприимчивость к социальным изменениям в обществе и повышенное внимание к интеллектуальным политическим конструкциям.

Время политических конструкций наступило уже после смерти Л.Пинскера и связано с именами западных интеллектуалов Теодора Герцля, Макса Нордау и Израиля Зангвила. Даже и тем, кто всей душой принял учение Пинскера о самоосвобождении, нелегко было принять призыв Герцля к разработке и формированию отдельной еврейской политики. Нордау и Зангвил были его первыми истовыми единомышленниками.

Именно от Герцля мир впервые узнал, что такое сионизм, и принял его неизбежность (хотя в отдельных кругах теперь намечается и ревизия этого взгляда). Очень немногие даже среди евреев были действительно полными его единомышленниками. Руководство сионистской организацией он получил не за счёт убедительности своего учения, но за счёт личного обаяния и энтузиазма. Величие Герцля не в учении о создании еврейского государства как о единственном решении еврейского вопроса, а в учении о том, как добиться превращения этой идеи в реальность.

Сионизм стал интегральной частью еврейского мировоззрения во всём мире. Сегодня ясно всем, даже тем, кто находится вне его рамок, что все прочие (якобы «более практичные, реалистические») учения о возможности нормального существования евреев на чужбине обанкротились. Идея Герцля, казавшаяся вначале абсурдной иллюзией, утопия, которую Герцль «вознёс, как знамя» и провозгласил на весь мир, оказалась единственно практичной.

Пользуясь своей громкой известностью журналиста, Герцль лично развернул широкую дипломатическую деятельность, в расчете на опору в правительственных кругах всех европейских стран. Он годами создавал новую, виртуальную реальность, «государство в пути», понимая, что как только такое «государство» появится, оно автоматически вступит во взаимодействие со связанной системой всех других государственных реальностей, находясь в особых отношениях с каждой из них. Он знал: чтобы такая реальность возникла и утвердилась в действительности, чтобы для неё высвободилось место в международной системе национальных организмов, нужно добиться общего согласия наиболее важных участников системы, нужно, чтобы идея «еврейского государства» прочно поселилась в головах политиков. Тогда неизбежным станет и превращение этой идеи в фактор международной игры сил, желательный для одних и пугающий для других. Такой фактор, позволяющий включение в тонкий баланс влияний в общественном мнении, есть единственное средство нанести на виртуальную географическую карту еврейское государство еще до его возникновения.

У Герцля были основания думать, что европейские политики примут его идею, если сочтут ее перспективной для себя. Действительно, еще Наполеон, не колеблясь, пообещал Еврейское государство коменданту турецкой крепости Акко, когда узнал о его еврейском происхождении. Вождь декабристов, российский полковник Пестель, разрабатывал проект формирования армии из русских евреев для завоевания Палестины при осуществлении планируемого захвата Россией Константинополя. Австрия, Германия, Италия, Англия и Франция лелеяли планы раздела Оттоманской империи и прикидывали возможные резоны для своих колониальных претензий: «С беспрецедентной последовательностью, беспримерным упорством и небывалой верой в успех, со свойственной только ему находчивостью, с убедительными аргументами, которые только он мог изобрести, с обаянием,

присущим только его личности, он предпринимал шаг за шагом, чтобы получить у крупных держав согласие со своей идеей «еврейского государства». Если бы не было этого согласия, если бы не внедрил Герцль в круги мировых политиков убеждение, что «еврейское государство — это общемировая необходимость», не было бы никаких оснований для надежды на осуществление национальных чаяний евреев.»

Герцль предвидел неизбежный распад Турции. Ещё в декабре 1896 г. он писал: «Конец Турции — сейчас уже нельзя в этом сомневаться — критический момент для нас». Если бы он не сумел к тому времени сделать сионизм известным и общепризнанным политическим фактором, европейские державы просто игнорировали бы еврейскую проблему. Внедрив в сознание нескольких выдающихся политиков мысль, что сионизм — единственно возможное решение «еврейского вопроса» и вопроса Страны Израиля одновременно, Герцль дал им таким образом возможность придать их имперским стремлениям моральный вес и авторитет, которые наиболее дальновидные из них высоко оценили. После того как он, вместе с Нордау и Зангвилом, сумел убедить ведущих европейских лидеров в своевременности и практичности своей идеи, оказались возможными и действия Ллойд-Джорджа в поддержку сионизма и декларация Бальфура. Герцль, в сущности, добился благоприятного решения о мандате Лиги Наций на Палестину задолго до возникновения самой этой международной организации.

Для постройки национального дома для нации, которая еще не до конца осознала себя самое, оставалось минимальное (сорок библейских лет) время, и дерзость сионистского проекта, как и «царственное мужество» (его собственное выражение) Герцля поражают воображение.

Герцль знал ещё кое-что, что никому, кроме людей с пророческим даром, не приходило в голову. Он знал, что, вопреки всем прогрессивным лозунгам наступающего XX века, новое средневековье надвигается на евре-

ев во всех европейских странах. Это кажется невероятным, но он ясно видел, что «камень уже покатился по склону», и знал, что это предвещает: «Гибель, полную гибель!». «Будет ли это революционная экспроприация?» (как произошло позднее в России), «будет ли это реакционная конфискация?» (как произошло в Германии). «Нас изгонят? Убьют? Я предполагаю всё это и многое другое» («Дневники», т. I). Не менее ясно провидел судьбу Европы и ближайший соратник Герцля, философ и психолог, Макс Нордау: «Нас ждут бедствия и кровопролитие, множество преступлений и актов насилия; народы озлобятся друг на друга, целые расы будут безжалостно сокрушены и перестанут существовать; на подмостках истории будут разыгрываться трагедии величественного героизма наряду с трагедиями человеческой низости; трусливые толпы без всякого сопротивления позволят выхолостить себя; целым армиям храбрых мужчин предстоит погибнуть в бою».

Для современных русских евреев именно с Жаботинского начинается сионизм. Во-первых, из-за литературного обаяния его текстов, которое на русском языке не выветрилось и сегодня. Во-вторых, потому что в мировоззрении Жаботинского нет и следа марксистских и толстовских стереотипов, на которые за последние полвека у российских евреев выработалась стойкая аллергия. Наконец в-третьих, он имел мужество называть вещи своими именами, не боясь, что его могут заподозрить в недостатке гуманизма, во времена, когда декларативный гуманизм деспотически правил общественным мнением. Такое подозрение постоянно витало над ним, потому что еще в России во время погрома он взял на себя организацию самообороны и в дальнейшей своей деятельности всегда поддерживал проекты активного сопротивления евреев насилию.

В тотальном неприятии силовых методов скрыта основная слабость гуманистического мировоззрения. До какой степени, вообще, допустимо себя защищать? До каких пределов можно сохранять гуманность в мире непримиримой вражды?

Европейский гуманизм X1X века оказался удивительно наивным и беспомощным во всем, что касалось человеческой природы, национальной жизни и социального устройства. Противники Жаботинского часто обвиняли его в склонности к милитаризму. Волна насилия, поднявшаяся в Европе в связи с Первой мировой войной отрезвила многих, но она явилась только репетицией настоящей Катастрофы. Жаботинский предвидел, что если еврейский народ хочет выжить в мире торжествующего насилия, он сможет достигнуть этого не кротостью, а лишь упорством в сопротивлении. Происшедшая в Европе Катастрофа самым ужасным образом подтвердила это предвидение.

Жаботинский учил, что основное содержание сионизма — отучить евреев рассматривать себя глазами других народов в свете чужих глобальных интересов. Это и значило перевести их из статуса объекта в субъект истории. Естественно, что евреям в их догосударственном существовании, была присуща компромиссная, оппортунистическая позиция, соответствующая их возможностям. Эта компромиссная, объективистская позиция в значительной мере определяла постоянный легализм и гуманизм еврейского истэблишмента во всех странах. Превращаясь в субъект истории, евреи берут на себя историческую ответственность, которой они не знали прежде. И эта ответственность зачастую требует бескомпромиссных решений и беспрецедентных поступков, которые не предстояли евреям в их прошлой безгосударственной, и потому безответственной, жизни.

Жаботинский призывал евреев учиться воевать и всерьез готовиться к этому. Он перенял эстафету от Нордау, сказавшего: «Будьте сильными! Военные заслуги не являются верным знаком реальных заслуг, но в мире насилия и беспощадной борьбы за власть нужно обладать способностью сражаться, словно волк, если вы не хотите, чтобы вас сожрали, словно овцу». Это и оказалось наиболее гуманистическим («ибо ничто чело-

вческое нам не чуждо») призывом перед предстоящим получением государственной независимости и последовавшей серией войн.

Жаботинский — один из немногих среди основателей сионизма — осознавал до какой степени милитаризм не соответствует еврейской ментальности, и, вместе с тем, понимал, что нация не сможет существовать без признания необходимости создать боеспособную армию. Поэтому он посвятил много сил воспитанию в молодом поколении воинского духа как положительной ценности в жизни нации. Вопреки общепринятым интеллигентским предрассудкам он ясно видел, что в военном воспитании есть свои, именно ему присущие, высокие ценности, и нация накануне своего возникновения (и, еще вернее, среди сегодняшних угроз) не должна пренебрегать ими.

Завершая статью, я хочу сказать несколько слов об одном недостатке этой замечательной книги. Б.Натаниягу, к сожалению, совершенно избегает говорить о религиозном сионизме. Для автора середины XX в. (когда была написана эта книга), всей душой принадлежащего к либеральному политическому лагерю, это только естественно. Но в наше время, перед лицом невиданного расцвета фундаменталистских движений, уместно вспомнить, что религиозный сионизм возник раньше светского, происходил из более глубоких корней еврейского существования и в свое время мог бы быть назван фундаменталистским течением. Этим словом мы называем обычно безоглядную преданность исходным, «фундаментальным», принципам, заложенным в Божественном Откровении. Такая преданность в религиозном сионизме несомненно присутствует.

В соответствии с парадоксальной природой реальности все религии содержат в себе неразрешимые противоречия. Поэтому все они в своей традиционной практике вынуждены к непризнанным, идеологически недопустимым, компромиссам. Именно поэтому различные фундаменталистские течения выигрывают благодаря схематизации

Откровения в соответствии с сегодняшним уровнем постижения своих сторонников.

Религиозный сионизм провозгласил жизнь и труд в земле Израиля более фундаментальным принципом, чем все остальное и, тем самым, подчеркнул свою верность духу иудаизма в условиях, когда это противоречило общепринятой практике и букве учения о Мессии.

Религиозный сионизм в Х1Х в. имел, к счастью, слишком мало сторонников, чтобы всерьез отпугнуть светское общество. Иначе его фундаменталистская основа сделала бы весь сионизм, как политическое движение, неприемлемым для тех самых еврейских (и нееврейских) либеральных кругов, из которых он черпал свою основную поддержку.

Однако, религиозный сионизм имел дерзость найти внутри еврейского вероучения основания для отхода от средневековой позиции пассивного ожидания чудес. Интеллектуальное мужество этой небольшой группы обеспечило сионизму то зерно религиозного смысла, которое и сейчас сохраняет для него возможность укорениться в негуманном мире ХХ1 века. Так что ассимилированные «кабинетные интеллектуалы», о которых рассказал нам Б.Натаниягу, не из головы выдумали свою заветную идею, а в значительной степени опирались на прочную религиозную традицию, по меньшей мере, не менее авторитетную, чем Коран. Более того, они сумели с некоторыми выдающимися представителями этой традиции найти общий язык и объединить свои усилия..

Таким образом сионизм с самого начала оказался движением, которое не полностью укладывалось в рамки своего времени. Оно сложилось как гуманистическое, эмансипационное течение во времена, когда это было актуально, но уже и тогда содержало в себе фундаменталистский элемент, сообщавший ему его неординарный характер. Именно эта неординарность дает теперь современному движению шанс удержаться в реальности, в которой, возможно, не будет места нашим привычным гуманитарным ценностям.

Гитлер, будучи припадочным визионером, неоднократно подчеркивал, что он ведет Мировую войну, собственно, не с Россией или с Америкой, а с мировым еврейством. Хотя с точки зрения большинства людей Западной цивилизации это утверждение казалось свидетельством искажения адекватной картины мира в его мозгу, именно оно, это искажение, оказалось вдохновляющей формулой, приемлемой для многих миллионов людей на земле в дни, когда все остальные его идеи уже забыты. И сейчас определенное течение в Исламе, все еще живо переживая свой многовековой конфликт с христианской культурой, пытается превратить евреев в заложников в своей борьбе из-за той фундаментальной роли, которую судьба евреев играет в обеих религиях.

Вся послевоенная история евреев и государства Израиль ясно показывает, что борьба за будущее евреев есть также и борьба за тот или иной образ всего остального мира, как и предполагали Герцль и Нордау. Потому что реальная судьба сегодняшних евреев и их государства вносит в устоявшиеся представления всех народов (христиан и мусульман, но также и традиционных евреев) такие коррективы, которые требуют готовности к пересмотру их самых фундаментальных посылок. Как бы фантастически антидемократические и антилиберальные силы во всех странах ни искажали для собственных нужд смысл и цели этого движения они, однако, правильно видят сионизм, как потенциально опасного противника. Еврейский народ приговорен к этой идеологии своей религией и судьбой, как члены царствующего дома приговорены к монархизму.

СМЕРДЯКОВ — ФИЛОСОФ СОВРЕМЕННОСТИ

Однажды простодушный президент Рейган, забыв о дипломатическом такте и своих христианских убеждениях, в сердцах назвал СССР «Империей Зла». Таким

образом он невольно согласился с советской концепцией тотальной борьбы миров, и генералиссимус Сталин посмертно мог бы торжествовать: мир-таки раскололся на два лагеря.

Многие бывшие советские люди в эмиграции так и поняли, и действительно радовались в печати — «наконец, мол, бестолковый Запад начал кое-что понимать!». Напротив, Запад — то есть его журналисты — не только не поспешил понять, но и шумно обвинил Рейгана в возврате к средневековой идеологии Крестовых походов. Вернее, пожалуй, было бы говорить о манихействе или даже о дуализме Заратуштры, но Крестовые походы, по-видимому, для газетчиков красивее звучат.

Руководство СССР, со своей стороны, так привыкло во всем противодействовать Американскому Империализму, что тотчас решило сорвать инициативу президента и постановило исправиться в рекордно короткий срок. Так началась Перестройка.

Оговорка бывшего президента Рейгана (ту же, примерно, мысль более осторожно выразил в своих мемуарах и другой бывший американский президент — Р. Никсон) и преувеличенная реакция на нее с обеих сторон обнаруживает, мне кажется, одну из важнейших тенденций нашего времени. В течение веков она была глубоко скрыта под поверхностью господствующих идеологий и, наконец, прорезалась теперь в Свободном мире вследствие роста общей вседозволенности и упадка авторитета традиционных религий.

Я имею в виду возвращение древних мифологических форм сознания. Возвращение верований, предшествовавших возникновению современной цивилизации. В том числе и возвращение древнего дуализма. Возрождение племенных и магических культов. Возрождение веры в то, что добро и зло существуют раздельно. И овладевают людьми настолько, что можно провести различимые границы между предрасположенными к добру сынами Света и приговоренными к злодейству сыновьями Тьмы.

Тысячелетиями эти архаические стереотипы присутствовали в нашей цивилизации, как неформулируемое подспудное течение, как неосознанные особенности профанного сознания, запрещенные к употреблению в культурном обиходе. Пережитки варварства, так сказать, докультурное сознание, научно выражаясь. Хамство — в просторечии...

Но, вот, в нашем веке вместе с повышением роли и значения масс, вместе с упадком господствующих религий, устойчивые докультурные массовые стереотипы — архетипы, как их иногда уважительно называют — вновь обрели живость и исходно присущую им убедительность.

Не то, чтобы бытие определяло наше сознание, но все же, видя кругом неукротимую вражду и предвидя ненависть еще большую, невольно подумаешь: а, может быть, добро и впрямь должно быть с кулаками?

Культура навязывает свои штампы, а архаическое сознание реалистичнее, оно ближе к нашей косной природе и, может быть, поэтому, к природе вещей? Враг-то не дремлет. Так говорил Заратуштра:

«Прислушайтесь ушами своими к наилучшему учению,
Проникнитесь ясным пониманием двух сущностей,
Дабы каждый до Страшного суда сам избрал только одну из них:
Оба Духа, уже изначально, ...были подобны близнецам,
И поныне всегда пребывают во всех мыслях, словах и делах.
Они суть Добро и Зло!
Из них, из обоих, благомыслящие сделали правильный выбор.
Но — не зломыслящие.
До скончания веков уделом лживых будет наихудшее.
А правых — наилучшее.
Из этих двух Духов избрал себе Лживый — злодеяние,
Праведность — избрал для себя Дух священный.»

(Древнеиранская лит., «Худлит», 1973)

Может быть, этот самый Заратустра правильно указывал, что зло существует изначально и вечно противостоит добру? А царство Света вовеки противопоставлено царству Тьмы. И сыны света в чаянии добра обречены вечно сражаться против сыновей тьмы. Может быть, именно это сражение — норма, а покой нам только снится?

Между тем, если верить Библии, в конце каждого дня творения Творец окидывал взглядом содеянное и каждый раз убеждался, что «это хорошо». На языке Библии это означает также и «добро». Где же тогда находилось место злу?

Библейский этот язык и соответствующее умонастроение породили в свое время идею монизма, т. е. такого сущностного единства мира, которое исключает смертельную вражду и фатальную предопределенность.

Пророки потом много столетий склоняли к миру, взаимной любви и предсказывали времена, когда «не будут больше учиться воевать».

Эта именно идея теперь доминирует в признанных идеологиях, господствующих церквах и авторитетных философских концепциях Свободного мира, определяя не только политику, воспитание детей и искусство, но также и основания науки, применение техники и направление экономики.

Как увязать нам эти взаимно враждебные мировосприятия между собой, с истиной и собственной пользой?

«Ф. ДОСТОЕВСКИЙ КАК ЗЕРКАЛО РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

...Конопатый Вася у доски бойко отвечает урок: «Сеньеры строили себе рыцарские замки, чтобы было где стоять на шухере, пока ихние рыцари шарили по амбарам и грабили колхозников...»

Учительница не перебивает, и мне потом нелегко было объяснить, что меня так рассмешило во время урока. Так уж мне повезло, что моя мама изучала историю Средних Веков, еще когда я учился во втором классе.

Но, вот, уже к седьмому, проходя Отечественную Войну 1812 года, я — достойный воспитанник советской школы — сам задаю свой вопрос:

«А почему русские крестьяне шли в партизаны и, вопреки своим классовым интересам, воевали против Наполеона?»

Учительница, хотя и смущена — как-никак дело происходит тоже во время Отечественной Войны — но все же толково объясняет, что стратегическая ошибка Наполеона как раз и состояла в том, что он не отменил крепостного права в России и, упустив возможность превратить империалистическую войну в гражданскую, разочаровал широкие народные массы. Он, таким образом, проявил свою эксплуататорскую сущность.

«Ах, так он не отменил?» — радостно перехожу я с учительницей на общий — васин — язык: «Тогда — понятно!».

Спустя много лет я вспомнил это небольшое недоразумение, найдя в «Братьях Карамазовых» еще более радикальную формулировку этого детского марксизма в устах лакея Смердякова, беседующего с барышней:

«Я всю Россию ненавижу, Марья Кондратьевна.

— Когда бы вы были военным юнкерочком, али гусариком... вы бы не так говорили, а саблю бы вынули и всю Россию стали бы защищать.

— Я не только не желаю быть военным .., Марья Кондратьевна, но желаю, напротив, уничтожения всех солдат-с.

— А когда неприятель придет, кто же нас защищать будет?

— Да и не надо вовсе-с. В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона.., и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с.

— Да будто они там у себя так уж лучше наших?.. ...Все шельмы-с, но с тем, что тамошний в лакированных

сапогах ходит, а наш подлец в своей нищете смердит и ничего в этом дурного не находит...»

Подумать только, что этого идейного основателя движения сторонников мира Достоевский на каждой странице обзывает лакеем и хамом! Возникает даже такое чувство, что Достоевскому и самому, время от времени, приходили в голову такие мысли... Во всяком случае, его герою — Ивану Карамазову — очень уж он от Смердякова открещивается.

Согласимся, однако, что мысль — в самом деле — хамская.

Опускаясь на уровень, где не видна разница между блатным паханом и средневековым сеньером, где национальная независимость не больше, чем пустой звук, она возвращает нас в докультурное состояние, исключающее историческую память. Она просто пренебрегает предшествующей русской историей, сводя все богатство жизни нации в течение столетий к схематически осовремененным социальным конфликтам.

Пренебрежение историей, традицией, уважением к памяти и разуму отцов есть хамство в точном библейском значении этого слова.

Едва научившись сложить простейший силлогизм, Хам начнет логически опровергать Книгу Бытия...

Именно так и поступил Смердяков, когда ему исполнилось двенадцать лет. За это он был нещадно бит своим воспитателем, рыцарски добродетельным, преданным лакеем Григорием, взявшим на себя заботу о культурной преемственности.

И способ переубеждения, избранный Григорием, и обстоятельства рождения, и наследственность создают, по Достоевскому, основания для сугубого хамства Смердякова. Рожденный в грехе (от юродивой нищенки Марии Смердящей), воспитанный в унижении («Ты не человек, ты из банной мокроты завелся...» — любезно сообщает ему Григорий), менее всех имел он оснований уважать своего предполагаемого мерзавца-родителя. И если, не-

многим более уважавшие отца, законные сыновья ожидали от Федора Карамазова хотя бы наследства, в чем выражалась его, Смердякова, доля?

Беря шире, какова была его роль в достославной русской истории? Какая участь ожидала его в пределах этой блистательной традиции? Свои ли были ему русское сословное общество, его история и культура? Какое утешение нашел бы он в сыновнем чувстве?

Ф. Достоевский сумел выкопать из обширного подполья русской жизни и снабдить выразительным языком и смущающей аргументацией этого странного человека, исчадие тьмы, ставшего врагом своему отечеству, хуже иностранца, хуже поляка, хуже еврея, наконец.

Впрочем, за врожденным его уродством маячила как бы и другая правда. Опускаясь вместе со своим героем на философское дно, писатель обнаруживает новые для человека его времени проекции истины.

Когда Смердяков жалуется на законного сына, Дмитрия — «Дмитрий Федорович хуже всякого лакея и поведением, и умом, и нищетой своею-с, и ничего-то он не умеет делать, а напротив от всех почтен.., а чем он лучше меня-с?» — он, конечно, не французских энциклопедистов цитирует, а выражает личное чувство. Зависть и чувство обделенности присущи, повидимому, человеку от природы и повсюду порождаются местной почвой. Чтобы завидовать чужому богатству, бедняк не нуждается ни в одобрении общества, ни в иноземном влиянии.

На философском дне, в докультурном слое, обнаруживается неожиданная свобода от аксиом, навязанных предшествующей традицией. Обнаружить тождество крепостных мужиков средневековья с колхозниками или задать себе вопрос о смысле существования Российской Империи для многих ее угнетенных граждан мог бы не только Смердяков.

Я думаю, непонимание простым русским народом идеи «истории» или «отечества» (так снисходительно ему прощаемое А. Солженицыным в «Августе14-го»: «...недалеко

за волость распространялось их отечество») происходило вовсе не от узости их кругозора, а напротив от широкого обобщения, сделанного Смердяковым относительно первичности бытия по отношению к сознанию: «все шельмыс, но тамошний в лакированных сапогах ходит...».

Идея эта, актуальная для России и сейчас, ненамного отстала от соответствующих западных образцов. Она легко укореняется в сознании самоучек и, повидимому, была распространена в России гораздо шире, чем образованное общество могло подозревать. Конечно в философском ее формулировании должны были соучаствовать и аристократы духа:

«...Иван Федорович принял было в Смердякове какое-то особенное вдруг участие, нашел его даже очень оригинальным... Они говорили и о философских вопросах...»

Из этих ли философских разговоров Смердяков и почерпнул свою уверенность в праве убить отца Карамазова? Или горячая мысль об убийстве предшествовала философской отвлеченности?

Я думаю, в характере, выписанном Достоевским, сознание всецело определило бытие персонажа. Его преступление ни в какой мере не было эмоциональным. Он не ненавидел отца. И не жаждал денег.

Он запланировал убийство, потому что оно представлялось ему удачным шахматным ходом в его жизненной игре, и лишь после того, как мыслимая его допустимость — с помощью Ивана Карамазова — окончательно ясно сложилась в его сознании.

Смердяков обнаружил достаточно проницательности и самоуважения, чтобы усвоить себе взгляд на Ивана, как сообщника:

«...Главное, что раздражило наконец Ивана Федоровича... — была какая-то отвратительная и особая фамильярность, которую сильно стал выказывать к нему Смердяков. ...Смердяков видимо стал считать себя Бог знает почему в чем-то наконец с Иваном Федоровичем

как бы солидарным, ...будто между ними вдвоем было уже что-то условленное и как бы секретное.»

А — ведь было.

Иван, отчасти благодаря Смердякову, обнаружил для себя интеллектуальные преимущества хамства — докультурной философской позиции, свободной от догм — и упивался беспредельными мыслительными возможностями, которые эта позиция ему открывала.

Однако и мысль, что идея, овладевшая массами, становится материальной силой, не была ему незнакома, и в общей форме он предвидел и предсказывал, куда направится этот философски обусловленный выстрел. Его интеллигентский секрет, его алиби, состоял в его позе неучастия, которая якобы равно относилась и к отцовскому преступному образу жизни и к смердяковскому преступлению, положившему этой жизни неожиданный конец. На самом деле Иван давал философскую легитимацию им обоим.

Конечно не Лев Толстой, а Ф. Достоевский был «зеркалом русской революции». Он создал грандиозную аллегорию Российской Империи (не только в «Братьях Карамазовых»), пророчески разделив ответственность за будущую ее гибель между сводными братьями. Каждый из них вложил свою долю.

Все, что принято было в традиционном русском обществе считать добром, славой и честью, Смердяков вполне последовательно почитал глупостью:

«Григорий поутру, в лавке.., услышал об одном русском солдате, что тот, где-то далеко на границе, у азиятов, попав к ним в плен и будучи принуждаем ими... отказаться от христианства и перейти в ислам, не согласился изменить своей веры.., дал содрать с себя кожу и умер, славя и хваля Христа...

...Смердяков, стоявший у двери, усмехнулся...

— А я насчет того-с, что ...никакого не было бы греха и в том, если б и отказаться при этой случайности от Христова примерно имени.., чтобы спасти свою жизнь...

...Врешь, за это тебя прямо в ад.., — подхватил Федор Павлович.

...Подлец он, вот он кто! — вырвалось у Григория: Анафема ты проклят...

— Рассудите сами, Григорий Васильевич, — ровно и степенно, сознавая победу, ...продолжал Смердяков:

...Ведь сказано же в Писании, что коли имеете веру хотя бы на самое малое даже зерно и притом скажете сей горе, чтобы съехала в море, то и съедет, нимало не медля... Попробуйте сами-с сказать... А потому знаю, что Царствия Небесного в полноте не достигну (ибо не двинулась же по моему слову гора, значит не очень-то вере моей там верят, и не очень уж большая награда меня на том свете ждет)... А, стало быть, чем я тут выйду особенно виноват, если, не видя ни там, ни тут своей выгоды, ...хоть кожу-то свою сберегу?»

Достоевский обнаружил непреодолимый разрыв в системе нравственных координат русского общества задолго до революции, когда лопнула уже вся сеть от финских хладных скал до пламенной Колхиды...

«НАМ ВНЯТНО ВСЕ...» — ОТЦЫ И ДЕТИ

Полемически Смердяков гораздо изысканнее своих оппонентов. Однако — он непреодолимо противен. Почему? Почему он должен быть нам противен, если мы чуть не всю жизнь прожили по его правилам? Разве мы больше его верили в Бога и святыни? Разве в нас больше развито чувство чести, и голос долга управляет нашим поведением?

Нет, он потому нам особенно противен, что уверенно и бесстыдно выбалтывает ту самую неудобосказуемую изнанку наших мыслей, на которой все мы были воспитаны, но которая не нашла никакого достойного литературного выражения за прошедшие годы и потому остается как бы не в счет, как наша интимная маленькая причуда.

Культурная атмосфера, которая так решительно отвергала Смердякова (и не менее решительно отвергла

бы нас), теперь, спустя сто лет, кажется нам милее той, в которой сами мы были рождены и вскормлены, а столетний этот перерыв принимается почти как досадное недоразумение.

Мы стосковались по порядочности. И непрочь получить ее дешевой ценой. Одним только напряжением натренированной мысли.

Суть дела однако в том, что, будучи достаточно образованы в смысле знаний и сведений, достаточно развиты в смысле наших мыслительных возможностей, мы остаемся в докультурном состоянии в смысле догм и традиций. Наша жизнь и поступки никак не диктуются нашей слишком книжной культурой. По отношению к аксиомам мы так же свободны, как необразованые дикари. «Мы любим все: и жар холодных числ, и дар божественных видений». — Слишком широко. Хорошо бы сузить...

Выбор аксиоматических принципов для нас настолько же великолепно произволен, насколько был произволен в древности выбор религии для варварских королей. Потому и ощущение несомненной порядочности для нас недостижимо. Это началось не вчера, и не с нас.

Мы стыдимся нашего родства. Но мы произошли скорее от Смердякова, чем от Карамазова. Казалось, тут бы стыдиться нечего. Фактический факт... Смердяков смело выбирает те аксиомы, которые позволят ему сохранить свою шкуру. Мы — тоже. Потому что у нас (как и у него) нет оснований для преданности ни одной из них. Но мы при этом хотели бы другой мотивировки. Нас смущает грубо поставленный вопрос о культурной преемственности.

Уж настолько, с точки зрения окружающих, непорядочен был Смердяков, что его, пожалуй, в каком-то новом смысле можно было бы назвать и «порядочным». «Не украдет он, не сплетник, молчит, из дому сору не вынесет, кулебяки славно печет...» — перечисляет его достоинства старший Карамазов и, в порыве сентиментальности, спрашивает сына Алешу, «заметил ли он типическую

русскую черту в рассуждениях Смердякова». «Нет, у Смердякова совсем не русская вера» — неожиданно серьезно, хотя и не совсем впопад, отвечает Алеша.

Праведному Алеше, значит, принадлежит эта формула отлучения, сыгравшая впоследствии столь драматическую роль в Гражданской войне, и которой обязаны мы таким расширением (или сужением) понятия «русский».

Инквизиционный этот редукционистский дух и посейчас витает над Россией, напоминая, что, как-никак, Алеша со Смердяковым братья по крови. Отрицать свое родство — не род ли хамства и это? И наследники Смердякова со временем освоили эту мысль, в виде хамского лозунга, что у пролетариев нет отечества.

— «Передовое мясо, ...когда срок наступит...» — мрачно, пророчески заключает о Смердякове Иван.

Все же, несмотря на его пророческие видения, даже Достоевскому не приходило в голову, что все наследие Карамазовых может достаться Смердякову, и большие братья станут служить меньшему. Он слишком твердо держался наличной реальности. Он ожидал от Смердякова выдвижения на передовые позиции... Но ведь не на господствующие же!

Почему-то Вл. Ленин, который так высоко оценивал Льва Толстого, совсем обошел своим вниманием Достоевского. И не отметил положительный реалистический образ восставшего пролетария, выписанный его гениальной рукой. То ли просто он его не читал, то ли не захотел увидеть и признать черты своей преемственности.

Я думаю — напрасно.

Если он принимал всерьез свою миссию быть вождем всех униженных и угнетенных, в таком отождествлении не должно было бы быть ничего оскорбительного.

Его «партия нового типа» с удивительной последовательностью приняла для себя — а затем и провела в жизнь — смердяковскую программу, включая и отцеубийство. Она ошеломляющим образом победила всюду, где нарушила общепринятые в русском интеллигентском

обществе стереотипы и нашла несчетное множество слабых мест в русской имперской традиции. На короткое время она воплотила смердяковское понимание жизни и справедливости с такой впечатляющей силой, что добилась искреннего соучастия значительной части побежденных. Тогда это тоже называлось перестройкой, и все возможные смыслы этого лингвистического совпадения еще не оценены современниками.

Конечно, и смердяковское понимание жизни и справедливости, как все другие мировые концепции, не получило полного воплощения в действительности. Но несомненно, что героическая попытка внедрить это понимание в самые наши печенки, была предпринята в тесном, хотя и несколько завуалированном, союзе со многими коренными представителями русской интеллигенции. Понимание это, повидимому, в той же степени было русским (или нерусским), в какой «у Смердякова... не русская вера». Если в течение столетия твердить Смердякову, что у него вера не русская, он при случае отомстит всем тем, у кого она — русская. Он отомстит и вере, как таковой. В конце концов, он найдет себе союзников среди людей нерусской веры.

В своем очерке 1918 г. о Ленине, который был впоследствии до неузнаваемости отредактирован, Максим Горький с сочувствием приводит замечание Владимира Ильича, что «среди русских людей, к сожалению, маловато умников», и он в своем государственном строительстве предпочитает опираться «на лиц с еврейской кровью». (Вот то-то он так ратовал за ассимиляцию евреев. Заботился, значит, о своем хозяйстве.)

Однако, ни у Горького, ни повидимому у тех, на кого он рассчитывал, как на своих читателей, эта фраза возмущения не вызывала.

«Будто между ними вдвоем было уже что-то условленное и как бы секретное.»

Бегая потом заступаться за русских интеллектуалов поодному, Горький наверное и не понял, что сам утвердил

им коллективный смертный приговор, оставив без возражения эту фразу. Несомненно, она звучала как смердяковский полувопрос, обращенный к полусоюзнику:

«А не обойтись ли нам и вовсе без них? Между нами, умными-то?» Ленин нуждался в интеллигентском одобрении.

Так и Смердяков, прежде чем решиться на отцеубийство, полупредупредил своего кумира, Ивана Федоровича, как смог, и дождался от него чего-то, что принял за полуодобрение. Смердяков даже косвенно поблагодарил недоумевающего Ивана за это: «С умным человеком и поговорить приятно!» — он переоценил способность Ивана Карамазова схватывать невысказанное, но подразумеваемое, налету:

— «Так ты бы прямее сказал, дурак! — вспыхнул вдруг Иван Федорович.

— Как же бы я мог тогда прямее сказать-с?.. Вы могли осердиться...»

Кто же здесь дурак-то, в самом деле?!

Ленин тоже в Горьком ошибся, предположив, что тот понимает, в какое дело ввязался. Горький совсем не был умником — «пусть сильнее грянет буря!» — и упустил, что смысл этого неправдоподобного национального великодушия состоял в том, чтобы захватить общее наследие при сомнительных правах. Оттолкнуть многочисленных законных наследников, используя ум и ловкость чужаков.

— Налицо семейная драма.

В исходном сценарии этой драмы, который набрасывал Достоевский, Иван повел себя еще большим простофилей:

«Я полагал, что вы и без лишних слов поймете и прямого разговора не желаете сами, как... умный человек-с.

— С чего именно я мог вселить ... такое низкое подозрение?»

Т.о., Смердяков предполагает, что Иван пользуется речью, в особенности философской речью, в соответствии с ее назначением, для сообщения или для сокрытия

чего-то. А Иван отвечает ему, как человек, у которого речевое поведение представляет собою самоцель и не находится ни в каком соотношении ни с его намерениями, ни с жизненными интересами, т. е. как интеллигент.

«— Чтоб убить — это вы сами ни за что не могли-с,.. а чтобы хотеть, чтобы другой кто убил, это вы хотели.

— Да с чего мне хотеть, на кой ляд мне было хотеть?

— Как это так на кой ляд-с? А наследство-то-с? — ядовито подхватил Смердяков. Ведь вам после родителя по сорока тысяч могло прийтись. Охота же умному человеку этакую комедь из себя представлять!..»

Тут Смердяков высказывает фундаментальное недоверие к полноте нашей интеллигентской свободы в мыслях. Он уверен, что, хотя бы на подсознательном уровне, наша речь, и наша философия, все же отражают наши интересы. Боюсь, что тут он гораздо ближе к реальности, чем мы хотим о себе знать.

«...Неужто вы до сих пор не знали?...

— Нет, не знал ... Ты один убил?

— Всего только вместе с вами-с, ...тогда смелы были-с, «все, дескать, позволено», ...а теперь вот как испугались! Лимонаду не хотите ли?»

Действительно, Иван Федорович здесь выглядит не то, что житейски недалеким, а даже просто жалким. Удивляешься, за что этих людей зовут интеллектуалами. Им внятно все «и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений».., только не обыкновенный здравый смысл.

Собственно, я думаю, что острый галльский смысл, как и сумрачный германский гений, расположены ближе к своим собственным источникам жизни и такой беспредельной самоотверженности, какая процвела на русской интеллигентской почве, не позволяют. Конечное презрение Смердякова к Ивану, как к умствующему дегенерату, не сознающему собственных интересов и неспособному ни на какое дело, кажется едва ли не оправданным.

Разве не таково же и отношение Н. Чернышевского, а впоследствии и В. Ленина к «хлюпикам — интеллигентам»?

Ведь сами «гуннов» приветствовали. Сами кричали, что, мол, «да, скифы мы, да — азиаты мы!» — чего ж вам еще?! Лимонаду, что ли?

Чтобы убить — это они сами ни за что не могли, а чтобы хотеть, чтобы другой кто убил...:

«...Не тронемся, когда свирепый гунн
В карманах трупов будет шарить,
Жечь города и в церковь гнать табун,
И мясо белых братьев жарить...»

Сбылось по-писанному. Только местоимение «мы» было лишним. Их самих в компанию не пригласили.

Конечно, без некоторой доли хамства никакое дело не сдвинется.

С одной только ангельской природой ни дитя не родишь, ни дома не выстроишь. Некая, что ли, душевная грубость требуется даже для писательства. Любование традицией и обилие нюансов обрекают молчанию:

«Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь...
Взрывая, возмутишь ключи...
Любуйся ими — и молчи!»

Тот, кто не молчит, обязательно должен быть несколько хамоват, по определению, стилистически и душевно развязен.

Сегодня, три поколения спустя после Революции, глядясь в нелицеприятное ее зеркало, нам — уже безотцовщине — хочется задать вопрос, который, наверное, равно

неприятен всем участникам дискуссий об историческом наследии:

А кто, собственно, отцы наши, коим обязаны мы сыновним почтением? Неужто те, что были военными юнкерочками али гусариками и, вынув шашки, стали Россию защищать? Или, напротив, те, что не видели греха и отказываясь при случае от Христова (или любого иного) имени?

Такой вопрос сегодня подспудно будоражит воображение молодого русского образованца, который сгоряча готов уже втоптать в землю своего предка-комиссара. Не повторение ли это опять, пройденного однажды, гибельного пути хамского отречения от веры и памяти отцов?

Такой же вопрос маячит и перед сегодняшним евреем, который умирает со стыда, что предок его не дождался погрома в своем местечке, а сам побежал в отряд (в какой уж приняли) помещиков громить. Не досталось ему там доли. Не достанется и сейчас, пока хамство его с ним.

«Отцы наши повыдернули шашки
И вырубили, что ни попадя.
Отбыв срока, теперь играют в шашки...»

Не научиться ли нам, наконец, почитать отцов, каковы они есть?

Не за заслуги, не за правоту. Просто и только за то, что — отцы.

Со всех сторон, со всех стенок, отечески ласково, поощрительно улыбается нам Смердяков, благословляя на новые подвиги.

ЗАГАДОЧНАЯ СЕРИЯ САМОУБИЙСТВ И ЕВРЕЙ-ПОЖАРНИК

Задавался ли кто-нибудь вопросом, почему в конце концов Смердяков покончил самоубийством? Почему не

воспользовался деньгами, как планировал вначале? Почему не осуществил свою мечту, уехать в Москву и открыть ресторан? Зачем отдал Ивану деньги?

Для этого не было никакой видимой причины. Я хочу сказать, не было никакой причины в романе. Достоевский старательно исключил для своего персонажа какую бы то ни было вероятность раскаяния, даже просто шевеления совести. Никакие внешние обстоятельства не толкали его к гибели, и в земном, житейском смысле он восторжествовал. Поэтому причина самоубийства должна бы лежать вне романа, не столько в психологии героя, сколько в психологии автора.

Заинтересовавшись этим вопросом, мы найдем, что и самоубийство Ставрогина в «Бесах» у Достоевского столь же необосновано. Объяснимо, но отнюдь не мотивировано.

Между Ставрогиным и Смердяковым, вопреки их полярным характеристикам у Достоевского, есть нечто общее. Оба они вне общества — один якобы выше, а другой — ниже — и по разно объясняемым причинам оба владеют философской свободой по отношению к общепринятой догматике. Эта их циническая свобода и ошеломляет воспитанного в определенных правилах собеседника. И Ставрогин также неспособен ощутить угрызения совести (хотя и по другим видимым причинам), и также неожиданно не склонен воспользоваться безнаказанностью, обеспеченной ему ничтожеством окружающих, как и Смердяков. Он кончает с собой только после того, как достигает всего, чего хотел. И без малейшей реальной необходимости для этого.

Анализировать истинные обстоятельства и причины этого самоустранения лучше всего на самом первом примере такого рода, описанном Достоевским в «Преступлении и наказании». Писатель тогда был моложе и пытался, если не обосновать, то подробнее детализировать столь же немотивированное самоубийство Свидригайлова. Интересно также обратить внимание на неприятный, но в чем-то схожий по звучанию, характер всех трех фами-

лий, неслучайно, вероятно, перекликающихся со смертью, стервятиной (падалью) и Сатаной.

Свидригайлов в «Преступлении и наказании» не просто преступник. Он — сверхчеловек. Без малейших колебаний осуществляет он тот идеал удачливого, свободного от всякой нервозности, злодея, о котором мозгляк Раскольников может только мечтать.

В каком-то смысле Свидригайлов повторяет историю Раскольникова. Он тоже убивает «старуху» — женщину, с которой живет — чтобы завладеть ее имением, и тратит доставшиеся деньги на щедрые, эстетически продуманные благодеяния. Даже такая мелкая деталь, как ранний роман с девочкой, соответственно у одного в садистском, а у другого в слащаво — сентиментальном ключе, однако в обоих случаях закончившийся ее ранней смертью, повторяется у обоих.

Почти мистически (учитывая, что он ничего не читает, а тратит время на вино и карты) Свидригайлов оказывается не только внимательным читателем теорий Раскольникова, но и героем, способным сильной рукой осуществить их воплощение в жизнь. Он имеет силу «переступить» все то, что Раскольников так бы хотел. И конечно встреча со следователем, которая приобретает такое судьбоносное значение для Раскольникова, просто не оставляет никакого следа в жизни Свидригайлова. Он кажется больше, чем просто человеком, которого Раскольников всердцах характеризует, как «тварь дрожащую». Он кажется даже и больше, чем человеком, который по той же терминологии «право имеет».

Он выглядит самим дьяволом, воплощением зла:

«Это было какое-то странное лицо, похожее как бы на маску: белое, румяное, с румянами, алыми губами, с светлобелокурою бородой и с довольно еще густыми белокурыми волосами. Глаза были как-то слишком голубые, а взгляд их как-то слишком тяжел и неподвижен. Что-то было ужасно неприятное в этом красивом и чрезвычайно моложавом лице. «

— Белокурая бестия.

Свидригайлов представляется настолько проникнутым и управляемым (обладаемым) злом, что у него не возникает ни малейшего желания исправиться. Он даже готов для опыта сотворить и добро, чтобы не стать однообразным, но совершенно неспособен ощутить, что это добро могло бы его возвысить или как-нибудь там «преобразить». Напротив, он делает иногда добро, как и зло, только для собственного удовольствия, т. е., с христианской точки зрения, втуне.

Итак, зло в Свидригайлове вполне торжествует и становится неустранимым. Тогда вдруг он задумывает сам себя устранить... Предварительно всех облагодетельствовав. Он спокойно обдумывает и хладнокровно осуществляет самоубийство на глазах еврея-пожарника, чтобы обеспечить юридическую ясность события, как говорит автор, или.., скорее, чтобы подчеркнуть его нежитейский, метафорический характер.

Я долго не мог понять, с чего вдруг Достоевскому понадобился этот несчастный еврей-пожарник, не сыгравший никакой роли в романе, ни до, ни после... , пока не перечитал снова эти странные строки:

«...Высокая каланча мелькнула ему влево. «Ба! — подумал он, — да вот и место... По крайней мере при официальном свидетеле...»

...У запертых больших ворот... стоял небольшой человечек, закутанный в серое солдатское пальто и в медной ахиллесовой каске... На лице его виднелась та вековечная брюзгливая скорбь, которая так кисло отпечаталась на всех без исключения лицах еврейского племени. Оба они, Свидригайлов и Ахиллес, несколько времени, молча, рассматривали один другого. Ахиллесу наконец показалось непорядком, что человек не пьян, а стоит перед ним в трех шагах, глядит в упор и ничего не говорит.

— А-зе, сто-зе вам и здеся на-а-до? — проговорил он, все еще не шевелясь и не изменяя своего положения.

— Да ничего, брат, здравствуй! — ответил Свидригайлов.

— Здеся не места.

— Я, брат, еду в чужие краи.

— В чужие краи?..

Свидригайлов вынул револьвер и взвел курок. Ахиллес приподнял брови.

— А-зе, сто-зе, эти сутки (шутки) здеся не места!

— Да почему же бы и не место?

— А потому-зе, сто не места.

— Ну, брат, это все равно. Место хорошее, коли тебя станут спрашивать, так и отвечай, что поехал, дескать, в Америку.

Он приставил револьвер к своему правому виску.

— А-зе здеся нельзя, здеся не места! — встрепенулся Ахиллес, расширяя все больше и больше зрачки.

Свидригайлов спустил курок.»

Смысл этой полумаскарадной сцены весьма прозрачен. Покинув около пяти утра захолустную гостиницу с греко-римским названием «Адрианополь», Свидригайлов направляет свои последние шаги к каланче, как бы ко вратам небесным, возле которых его, конечно, встречает нездешний страж в греко-римской каске и намекает, что он направился не к тем воротам: каланча — пожарная, а не церковная, и у тех врат должен бы стоять совсем другой еврей, хотя, может быть, тоже в римской каске — св. Петр — «Здеся не места.» Знает он, что ли, чего барин ищет?

Свидригайлов, однако, неожиданно сердечно его приветствует, называя даже братом. (Я после этого специально просмотрел весь роман, чтобы найти не называл ли он так еще кого-нибудь. — Нет, никого, ни разу.) Он, таким образом, как бы уже в бесшабашном предощущении последней бездны сообщает привратнику, открывающему туда дверь: «мы одной крови — ты и я!». И добавляет, что место это — пародия на церковь — как раз и есть подходящая площадка для аннигиляции

нераскаянного грешника, отпавшего сына церкви, добычи Дьявола.

Хотя пожарник, конечно, одет в обыкновенную шинель, автор пишет, что он был «закутан в серое солдатское пальто», как будто в тогу. Свидригайлов только здоровается с пожарником, а тот немедля отвечает, что «здеся не места», будто ему ведомы невысказанные людские желания. Когда Свидригайлов достает револьвер, неуязвимый — а судя по поведению, и неустрашимый — Ахиллес даже не шевелится, будто он заведомо знает, что опасность грозит не ему. Встрепенулся он лишь после того, как Свидригайлов приставил револьвер к своему виску. Реальный персонаж, пожалуй, только тут бы и успокоился...

Уже две тысячи лет евреи в сознании христианских народов маячат свидетелями неясно чего, неизвестно зачем, так что даже лица их приобрели устойчивый «отпечаток вековечной скорби». Они неотступно присутствуют при всех мало-мальски значительных событиях, и это их провиденциальное присутствие канонически признается христианской (греко-римской) церковью и недвусмысленными высказываниями ее основоположника — св. Павла. Хотя добросовестный христианин ни при каких обстоятельствах не может от этого свидетельства отвертеться, и потому писатель в соответствии с духом учения церкви вынужден впустить еврея на страницы своего романа, ничто зато не мешает ему иронизировать, обыгрывая нелепое сочетание греко-римской каски, символизирующей вечное небесное достоинство его роли, с еврейским акцентом, подчеркивающим его сегодняшнее земное ничтожество, не позволяющее даже правильно понять эту роль.

Таким образом, ключом к сцене является не сам еврей-пожарник — фигура скорее анекдотическая, карнавальная — а его непроизвольная связь с учением Церкви. Самоубийство Свидригайлова, не будучи достаточно мотивировано в романе, серьезно мотивировано этим учением.

БЛАЖЕННЫЙ АВГУСТИН И ЗЕМНОЙ ОПЫТ

Христианская церковь, благодаря бл. Августину, еще с У в. н.э. приняла взгляд, утвердившийся ранее в иудаизме, согласно которому зло не обладает самостоятельным существованием и, следовательно, метафизически восторжествовать не может. Только Бог-Свет-Добро существует в вечности самодостаточно и абсолютно. Соответственно, только доброе начало выступает творчески созидательно и вдохновенно.

Напротив, существование Сатаны-Тьмы-Зла зависимо, локально и временно, а потому творения его мимолетны и неустойчивы:

«...Лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них... Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут... «

« Им — дорога в бездну и к смешению, ибо они склоняются к тому, чего нет, чего и быть не должно. А Богу... принадлежит все сущее и все, что имеет быть. Ему ведомы дела вечности.»

Поэтому Добру и Свету очевидно принадлежит конечная победа: «Воссияет Свет горний, и Тьма не обымет его!»

Как физику, мне бы хотелось сказать: тьма не сможет обнять света, потому что тьма — это просто отсутствие света, а не наоборот. Однако сама эта научная констатация вовсе не является независимой опытной истиной, а представляет собою результат развития системы идей, основанной как раз на предшествующей богословской аксиоме.

Это значит, что вся наша цивилизация, построенная на строго монистическом, августинианском принципе не может признать тьму чем-то, способным активно противостоять свету, а только ничем, пространством куда не попал свет. Понимаем ли мы добро, как некую упорядоченность — гармонию (отсюда и популярное сближение Добра и Красоты) — или даже как кусок хлеба — вещь, добро-богатство, субстанция — протянутый голодному, в обоих случаях это нечто, что мы признаем ценностью.

Зло, в таком рассмотрении, не может быть ни, конечно, материей, ни даже враждебным порядком (ибо всякий истинный порядок — благо), а только лишь случайным, хаотическим нарушением порядка — энтропией — бессмысленным шумом, не имеющим ни материальной, ни информационной ценности. Так как конкретное зло зачастую выглядит все же привлекательно, оно, повидимому, обманывает наши чувства, лжет.

Разрушения, войны, социальные бедствия видятся последовательному монисту не стратегией Зла, а отсутствием стратегии, недостатком нашего предвидения. Рамбам (Маймонид) настаивал, что Дьявол — не более чем метафорическое выражение. Эйнштейн выражал ту же мысль, утверждая, «что природа сложна, но не злонамеренна». Т. е. у человечества в целом нет Врага. Во вражде же людей между собой нет и не может быть абсолютной правоты. Человеческая правота всегда относительна.

Конечно, в пределах такого мировоззрения существование «империй Зла», «царств мрака» и «воинств Сатаны» онтологически иллюзорно и заведомо ограничено лишь местом и временем, которые не пронизывает Божья воля и куда не проник поэтому Божественный свет.

Но разве есть такая область, куда не проникает Божья воля?

Есть, конечно. Такой областью является область свободной воли человека.

Бог дал человеку свободу воли для того, чтобы он самостоятельно выбирал между добром и злом. Для этого Он скрыл также от человека (во времени, не в вечности, но наша земная жизнь ограничена временем) свою волю — затенил от него свой свет — чтобы этот выбор действительно оставался свободным. Если бы Божественный свет пронизывал человека насквозь, негде было бы в нем уместиться злу. И человек тогда был бы не человеком, а ангелом, которые, говорят, состоят из одного света.

Поэтому теоретически понятия добра и зла в нашей цивилизации чисто человеческие. Мы не сердимся на

землетрясения и не осуждаем хищников. В природе зла нет. Потому что у природы нет свободы воли.

В человеке же есть. В отдельном человеке и в обществе.

В истории в каждый данный момент творится человеческий выбор, и потому она полна зла. Однако, так как цель Истории (ибо теоретически наша история имеет цель) — победа вечного над временным, все злое непрочно и недолговечно (правда, относительно сроков есть большие расхождения), по существу призрачно, а доброе, напротив, нетленно и непреходяще, потому что только оно истинно:

«Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и, как злак зеленеющий, увянут. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину... Кроткие наследуют землю, и насладятся многообилием мира.» (Псалмы, 36,1-11).

Иудео-христианская цивилизация, конечно, никогда не достигала такой теоретической высоты в полноте. Сам бл. Августин признавал существование ангелов, а также, кажется, демонов, непоследовательно приписывая и им свободу воли. Люди на всех языках то и дело склоняли слова Дьявол, Сатана, Искуситель, Велиал и т. п., как если бы они на самом деле были манихеями или последователями Заратустры.

Вожди и священники всех народов так энергично проклинали Зло, что впору было в него поверить. Как будто и в самом деле существовал в мире Некто еще, кроме Бога, благого и непорочного, кто злоумышлял, направлял, подсказывал, завлекал, а то и споспешествовал в наших, не всегда благовидных, земных делах. На него, естественно, и обрушивалось все людское негодование:

«Поношение на Сатану в его греховных умыслах, и да будет он проклят ради мерзкой власти его. Поношение на всех духов этого сборища в их умыслах Велиаловых, и да будут они прокляты ради служения нечистоте. Воистину, они — община Тьмы... «

(Кумранские рукописи — «Устав Войны»).

Вопреки всем декларациям идеологов о всесилии любви, зло в жизни формирует действительность с такой впечатляющей силой и живостью, что невольно зароняет в душу сомнение в августинианском монистическом принципе. Люди зачастую творят зло с такой силой убеждения, что возникает сомнение в самой их способности к добру. Злак зеленеющий вянет в свое время, а злому человеку сроки не установлены...

Почему так приятно читать «светлого» Льва Толстого? — Отчасти потому, что он эти сомнения успешно рассеивает ... А «мрачный» Ф. М. Достоевский их до подлинного ужаса сгущает.

Если злой герой Толстого, допустим наглый дуэлянт Долохов из «Войны и мира», в ходе изложения обнаруживает вдруг нежную душу, уязвленную бессердечием общества, и таким образом как бы обращается в потенциально доброго, то злой герой Достоевского, скажем, Федор Карамазов — отец, пребывает в своем злом состоянии, как естественно присущем, и даже бросает тень сомнения на самую возможность доброты в мире вообще и в человеческой натуре в частности:

«Знаете, благословенный отец, вы меня на натуральный-то вид не вызывайте, не рискуйте... Это я, чтобы вас охранить, предупреждаю.»

Самый сильный (едва ли не любимый) герой Достоевского, Ставрогин в «Бесах», признается, что «канонически верует в Дьявола». И вся его «община Тьмы», от профессионального интригана Петра Верховенского до «жидка Лямшина» с «полячишками», «замышляя тщетное», рабски следует за ним «ради служения нечистоте».

Таким образом Достоевский, хотя и был христианином, наряду с признанием, так сказать, теории конечной победы добра в целом, верил также и в возможность полной победы зла в одной, отдельно взятой, душе. Чтобы остаться при этом вполне христианским писателем, как он сам это понимал, ему пришлось приуготовить такой

зачумленной душе, порождению тьмы, неминуемую изоляцию и смерть, неотклонимое земное крушение.

Таков подразумеваемый смысл самоубийства Свидригайлова, а затем Ставрогина и Смердякова. Автор довел Смердякова до самоубийства, чтобы не быть вынужденным признать и описывать его земное торжество. Он следовал за Писанием:

«Делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого, посмотришь на его место, и нет его.» (Псалмы, 36, 9, 10.)

Поскольку его Смердяков был воплощением бездны небытия, наваждением, сыном тьмы, он и растворился в конце романа во тьме, как подобает ночному кошмару. От «банной мокроты» он произошел и в нее вернулся... Это очень последовательно... Но реалистично ли это?

«Еще немного, и не станет нечестивого...»? — Не потомки ли Смердякова расплодились как песок морской и унаследовали землю?

Похоже, писатель был оптимист, лакировщик действительности. Его социальное предвидение оказалось сильнее его убеждений. Оно не истребилось со временем, не рассеялось, а сгустилось, облеклось в плоть — «передовое мясо».

Но ... превратившись в живую плоть, когда наступил срок, приобрело и все сопутствующие свойства сознающей плоти, в том числе и способность к добру. Ибо живая, сознающая плоть, в отличие от литературной фикции, не предопределена своим бытием к чему-то одному, а одарена свободой воли, склоняющей и к злу, и к добру — таково определение жизни человеческой, таково условие существования души. Мы свободны интерпретировать этот опыт, как хотим. В пользу ли теории — против ли...

Настало, однако, время, когда зло, с христианской точки зрения, по видимости восторжествовало уже в целой, отдельно взятой, стране. И наследники Смердякова, будучи передовым мясом, не слишком искушенным в философии, не задумываясь, самозванно приписали себе

свойство добра, как если бы они одни на земле были сынами Света.

С этим и победили. И произвели потомство.

Отцы наши в большинстве своем произошли от победителей. От кого же еще? Конечно, они не были сынами Света. Но они не могли быть и сынами Тьмы. Потому что они жили, они существовали.

Целые поколения были воспитаны в новых правилах, в ожидании скорой победы и в мировом масштабе. Т. е. они «склонялись к тому, чего нет, чего и быть не должно». Будучи в абсолютном неведении относительно остального мира, они еще ощущали себя при этом единственными сынами Света, призванными в беспощадной войне окончательно сокрушить лживых сыновей Тьмы, почему-то избравших злодеяние.

Войны, возможно, бывают справедливыми и несправедливыми, но сами военные действия злых и добрых в принципе должны быть одинаковы. Ибо они направлены на убийство и разушение. Страна жила в состоянии вечной войны со всем миром, и это обстоятельство парадоксальным образом как бы подтверждало ее претензию представлять абсолютное Добро.

Ведь, в самом деле, нет же сомнения, что весь остальной мир по уши погряз в грехе. Этого не отрицала и Церковь.

О самоубийстве Смердякова теперь не могло бы зайти и речи. Понятия, обрекавшие его на самоубийство, выветрились, а он победил, превратился в класс-гегемон и утвердил свои собственные понятия, создал целую свою литературу...

Теперь другой христианский, русский писатель вынужден был эту ситуацию как-то интерпретировать.

Настоящая сущностная новизна Александра Солженицына для русской литературы проявилась в том, что он

впервые признал и художественно документировал зло, которое, по-видимому, было вдохновлено и санкционировано свыше, а не «как трава, скоро подкошено».

Отрицательный герой русской классической литературы, будь это пушкинский Пугачев, толстовский Наполеон или булгаковский Понтий Пилат, всегда оказывается не столько истинным, соприродным носителем зла, сколько невольной жертвой общественного неустройства, злосчастным эпицентром неблагоприятного стечения обстоятельств. И само зло, соответственно, оказывалось ошибочно направленной социальной энергией, умопостигаемой функцией несовершенства межчеловеческих отношений, энтропией, а не имманентно содержащейся в человеке и мире субстанцией.

Только злые герои Достоевского взаправду были злы.

Поэтому, как мы видели, ему и приходилось убивать своих особенно вредных персонажей, чтобы своевременно устранять, возникающее по их вине, преткновение в общей картине мира, назначенного к торжеству добра. Ибо зло в этой картине мира — не элемент мироздания, а ошибка в расположении его элементов.

Пришел, однако, в «святую» русскую литературу Солженицын и пропел, что направленная человеческая воля к злу может быть не помутнением сознания, ошибкой или уступкой, а пророческой молнией, прорывом в будущее:

«У парапета стоял освеженный, возбужденный, в черном котелке, с неподстриженной рыжей бородкой, с бровями, изломанными в наблюдении... Глаза его смотрели колко, то чуть сжимаясь, то разжимаясь, выхватывая из этой сцены все, что имело развитие.

Просветлялась в динамичном уме радостная догадка — из самых сильных, стремительных и безошибочных решений за всю жизнь! Воспаряется типографский запах от газетных страниц, воспаряется кровяной и лекарственный запах от площади — и как с орлиного полета вдруг усле живаешь эту маленькую единственную золотистую ящерку истины, и заколачивается сердце, и орлино рухаешься

за ней, выхватываешь ее за дрожащий хвост у последней каменной щели — и назад, и назад, назад и вверх разворачиваешь ее как ленту, как полотнище с лозунгом: ...ПРЕВРАТИТЬ В ГРАЖДАНСКУЮ!.. — и на этой войне, и на этой войне — погибнут все правительства Европы!!!

«...Это — подарок истории, такая война!» («Ленин в Цюрихе»).

Дело совсем не в том, был ли реальный Ленин похож или непохож на солженицынского героя. Гораздо важнее, что Солженицын приписал возвышенный дар предвидения и свой пророческий пафос именно тому герою, которого он изобразил. Из опыта или по наитию он узнал, что разрушительная страсть, доведенная до экстаза, подобна любви и ниспосылается небесами. И зло, неотличимо от творчества, питается своим вдохновением. К тому же, этот его персонаж — «маленький, с рыжей бородкой», одинокий — в сущности еще только Сальери в своем злом упоении.

А возможен еще и Моцарт — гений злой воли:

«Этот купол — не меньше ленинского, пол-лица — голый лоб... И беспощадный, нечеловеческий ум во взгляде:

— А Я НАЗНАЧАЮ РУССКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ НА 9 ЯНВАРЯ БУДУЩЕГО ГОДА !!!

...И глазами, где ум не потратил себя ни на радугу красок, ни на ресницы, ни на брови, — бесцветным концентрированным умом — проникал...

Он — надеялся, что будет так. Избалованный даром своих далеких пронзительных пророчеств, он, оставаясь человеком Земли, не всегда отделить умел вспышку пророчества от порыва желания. Разрушительной русской революции он жаждал настолько яро, что простительно было ему ошибиться в порыве.»

Это говорится об «отце Первой Русской Революции», Александре Парвусе, опередившем и Ленина, и Троцкого во всех их теориях, во всех их политических прогнозах, во всех их революционных планах. Он, Парвус, ошибся

на один год в сроке второй русской революции, но нисколько не ошибся в характере события и его масштабе.

В отличие от суховатого Ленина, Парвус у Солженицына до такой степени обладает «даром далеких пронзительных пророчеств», что автору кажется даже уместным напомнить о его земном (а не небесном, все же) происхождении. Он живет нестесненно и естественно, наслаждаясь жизнью, политической игрой и собственной одаренностью, не делая ничего, что не приносило бы ему удовольствия или немедленной пользы. Никакие посторонние призраки долга, страха или стыда никогда не отягощают его моцартовскую натуру. Полнота его существования вызывает оторопь у вечно стиснутого своими конспиративными правилами, до предела зажатого, сконцентрированного на своей цели Ленина:

«— Ленин: Ну — зачем вам собственное богатство? Ну, скажите!

— Вопрос ребенка. Из тех «почему», на которые даже отвечать смешно.

Да для того, чтобы всякое «хочу» переходило в «сделано»... Такое же ощущение, как у богатыря — от игры и силы своих мускулов...

Да Парвусу — смешно, сотрясает смех грузное тело, любящее бутылку шампанского натощак и ванну принять и с женщинами поужинать...»

— Ах! Эта именно легкость, полнота жизни, и приводила в отчаяние Сальери: «— Ты, Моцарт, недостоин сам себя. «

В исторической реальности наш Сальери, повидимому, и в самом деле держал своего Моцарта на прицеле. Ленин, возглавив вновь созданное Советское государство, не впустил Парвуса в Россию. Но, по-видимому, пользуясь своими новыми государственными возможностями, чрезвычайно пристально следил за всеми его шагами в Европе.

Оба они прожили полноценную жизнь, полную борьбы и побед. Их планы осуществились. Их враги были

посрамлены. Как говорится, «они жили долго и умерли в один день»: беспутный Парвус скончался от неизвестной причины (от обжорства, говорят), спустя всего несколько месяцев (ровно столько, сколько понадобилось на организацию этого мероприятия) после смерти добродетельного Ленина, не оставив почти ни гроша от своего сказочного богатства, да еще якобы предупредительно уничтожив все архивы, компрометировавшие обоих.

Этот неожиданный финал всем нам близко напоминает почерк третьего гения, который навсегда врезался в память нашего поколения, как лучший друг пионеров и школьников. Вот, он, похоже, совмещал все необходимые качества, ибо с легкостью овладел наследием обоих провидцев и утвердил себя навеки единственным в мире полномочным представителем сил Добра. И правил долго и счастливо...

— Как тут поверить, что «кроткие унаследуют землю»?

Порывая с неписанным правилом, более столетия тяготевшим над русской литературой, обязывавшим считать гений несовместимым со злодейством, Солженицын неожиданно оказывается ближе к Пушкину, поставившему все же вопросительный знак в этом месте. Похоже, что он также гораздо ближе к реальности, как мы ее видим сейчас:

«...Обладал Парвус сейсмическим чувством недр и уже знал, что — поползут пласты!..Наконец-то она пришла, наступила Великая, Мировая! Он давно ее предсказывал, называл, вызывал — самый мощный локомотив истории!.. ...Вся предыдущая жизнь Парвуса была как нарочно состроена для безошибочного создания этого Плана. И оставалось теперь ему — тому счастливому, чем Парвус был, скрещению теоретика, политика и дельца, — сформулировать план по пунктам в декабре Четырнадцатого, ...приоткрыть его германскому послу... (...теперь высшие правительственные глаза предусмотрительно засматри-

вали в его пророческие) ...Все это Парвус решил блистательно — ибо все это было в его природной стихии...»

(« Ленин в Цюрихе «).

Солженицын, признавая за силой зла статус гениальности, невольно подталкивает нас к признанию существования в мире двух сил.

Сравнимых по их онтологическому уровню.

«Проникнитесь ясным пониманием двух сущностей,

Дабы каждый до Страшного суда сам избрал себе только одну из них...»:

«Он назвался Парвус — малый, но был неоспоримо крупен ...И восхищала реальность силы...

Никто... в Европе не мог перескочить и увидеть: что ключ мировой истории лежит сейчас в разгроме России... Никому из них не доставало той захватывающей цельности, которая одна и сотрясает миры и творит их! «

Такое признание в солженицынском контексте означает, что зло способно быть неиллюзорным, творящим фактором. Исторически это очень близко к действительности. Значит ли это, что зло может быть направляемо высшей силой враждебной человечеству?

— Может быть зло не менее субстанционально, чем добро?

Классический русский писатель не принял бы такой мрачной истины.

Ф. Достоевский не пережил бы ощущения правоты Смердякова.

Солженицын при торжестве этой правоты родился. И торжествующее повсеместно зло воспринимал как эмпирический факт.

МИСТЕРИЯ ИМЕН.АХИЛЛЕС И БЕГЕМОТ

В том торжестве зла, которым, по мысли Солженицына, было историческое крушение Российской Империи в начале века, замешаны были многие и разные люди, как

и положено в мировой катастрофе, но еврей, пожалуй, теперь уже никак не мог остаться в той скромной роли незаинтересованного комического свидетеля, пожарника, которую отвел ему Достоевский.

Куда бы ни повернул теперь Свидригайлов свой револьвер, Ахиллес уже встрепенулся и включился в мировое действие. Может быть просто потому, что неуязвимость его оказалась под угрозой, ...а может быть и потому, что взаправду приблизились последние времена.

В любом случае, так как роль еврея для Солженицына, как и для Достоевского, предопределена свыше, повышение его активности резко расширило диапазон добра и зла, сопряженных с этой ролью.

Собственно, Солженицын единственный крупный русский писатель, в произведениях которого евреи встречаются, как живые люди с узнаваемыми еврейскими чертами, а не как этнически обозначенные манекены. Этого вообще говоря, после таких обобщенных комплиментов, как «вековечная брюзгливая скорбь, которая так кисло отпечаталась на всех... лицах еврейского племени» должно было бы быть для еврейских читателей достаточно. Однако, парадоксальным образом, именно это — пристальное внимание писателя — порождает бесчисленные упреки в антисемитизме. Здесь — драма неразделенной любви.

В одной из множества статей, поставивших целью уличить Солженицына, было обращено сугубое внимание на то обстоятельство, что он называет Парвуса не Александром, как называл себя сам Парвус (и, конечно, его товарищи по партии), а Израилем, как был он назван при рождении. Автор статьи видел в этом порочное желание Солженицына подчеркнуть еврейство Парвуса, чуть ли не заклеймить его. Такой мотив особенно понятен интеллигентным обрусевшим евреям, привыкшим стыдиться своего родства и происхождения.

Я думаю, что мотив Солженицына гораздо глубже. И характеризует его, как писателя, гораздо полнее. Кста-

ти, чтобы подчеркнуть еврейство Парвуса, Солженицын мог бы называть его по фамилии — Гельфондом — что он многократно делал по отношению к другим малосимпатичным историческим личностям, вроде Суханова (Гиммера) или Стеклова (Нахамкиса).

Однако, суть в данном случае не в еврействе. Во всяком случае, не только в еврействе. Я думаю, что самая суть — в имени.

Называя, например, другого своего исторического персонажа — Дмитрия Богрова — Мордкой (по паспорту), писатель, разумеется, учитывал отвратительное впечатление, которое производит звучание этого имени на русском языке. Однако для читателя, знакомого с Библией, очевидно, что он имел в виду также и историю Мордехая из Книги Есфирь. Мордехай сберег жизнь недалекого царя Артаксеркса в некотором сотрудничестве с его предательской службой безопасности, но вскоре затем погубил его первого министра.

Солженицын, повидимому, был заворожен этим «совпадением» деталей реальной исторической ситуации с пророческой драмой больше, чем характером и ролью достоверно существовавшего Богрова. Во всяком случае, он приписывает ему (в духе Мордехая) гораздо большую степень заинтересованности в благополучии своей еврейской общины («живое, родственно ощущаемое еврейство Киева!»), чем можно было ожидать от совершенно ассимилированного еврея, каким несомненно был Богров, отказавшийся от крещения только из гордости.

В другой разоблачительной статье категорически утверждается, что «тонкий, уверенный трехтысячелетний зов», который якобы слышал в себе Богров, «чтобы Киев не стал местом массового избиения евреев, ни в этом сентябре, и ни в каком другом!» есть, безусловно, антисемитская выдумка Солженицына. В самом деле, ведь не может же интеллигентный еврей всерьез принимать во внимание такие странные идеи, как «зов предков» или сочувствие соплеменникам!

Однако, оказывается, что русский писатель может. Упущенный критиком, скрытый смысл всего этого пассажа заключается отнюдь не в утверждении, действительно сомнительной, еврейской лояльности Богрова, а скорее в мистическом совпадении дат... Солженицынский Богров думал об этом («чтобы Киев не стал местом массового избиения») на пороге сентября, ровно за тридцать лет до массового расстрела киевских евреев в Бабьем Яру. Как бы, развязанные Богровым, несметные силы зла через тридцать лет фатально обернулись бумерангом Страшной мести. А трехтысячелетний зов (еще древнее Мордехая) негромко напоминал ему о еврейских бедствиях, нависавших или отступавших в меру греха или милосердия избранного народа. Бог наказывает согрешивших, ибо заботится о чистоте своих возлюбленных.

Конечно, автор статьи, спешивший реабилитировать Богрова (и себя) от подозрения в темных племенных инстинктах, ничего этого не заметил. Интеллигентный еврей почему-то не помнит, где и когда совершались драматические события еврейской истории. Но для более внимательного к евреям Солженицына, не боящегося обвинения ни в национализме, ни в мистике, такое совпадение необычайно много значит.

Внимательное чтение Солженицына показывает, что он вообще придает особое, магически предопределяющее, значение фамилии, имени и роду человека:

«Ведь вот бывают фамилии до того оправданные, как прикрепленные: Кисляков. Кисло-затхлым безнадежным запахом так и пахнуло... от этого рыхлого человека.»

«Вертлявый штатский господин... — А как ваша фамилия? — Зензинов. ...И фамилия какая-то шутовская.»

«И откуда этот Хабалов взялся, с фамилией раззявленной, похабной...»

«Сознавал в себе Бубликов какой-то особенный мятежный талант, если не гений, а применить его не мог. ...Да и фамилия у него была юмористическая...»

Десятки подобных замечаний разбросаны не только по всему «Красному Колесу», но и иным его книгам. От писателя, для которого даже фамилии Кисляков и Бубликов нечто означают, невозможно требовать, чтобы он безразлично отнесся к еврейскому происхождению своего героя. Обостренная чувствительность Солженицына к роду и племени, к генетике героя, действительно, сравнима только с его лингвистическим детерминизмом:

«Вот их фамилии...: прокурор Трутнев, нач. следственного отдела майор Шкурин, его заместитель подполковник Баландин, у них следователь Скорохватов. Ведь не придумаешь!.. О Волкопялове и Грабищенке я уж не повторяю. Совсем ли ничего не отражается в людских фамилиях и таком сгущении их?» («Архипелаг ГУЛАГ»).

Да, отражается, конечно. Но, пожалуй, не только та реальность, что содержится в природе вещей. Еще и та, которая есть в природе видения писателя. — Правильно, дескать, народ говорит, что Бог шельму метит. Имя, оно неспроста дается. И неспроста всему семейству присвоено. Яблоко от яблони... Одним словом: «До скончания веков уделом лживых будет наихудшее. А правых — наилучшее.»

Предвидя ли обвинение в антисемитизме или скорее под влиянием своего собственного жизненного опыта, Солженицын ввел в роман и положительный образ еврея — инженера Илью Исаковича Архангородского — с фамилией бархатной, доброй, ласкающей слух, с отчеством фактически совпадающим со своим (т. е. назвал его братом), однозвучным с именем Сани (Исаакия) Лаженицына — любимого автором героя, биографически повторяющего его собственного отца.

Илья Исакович счастливо соединяет в себе все лучшие еврейские качества, как, повидимому, понимает их писатель. Он ярко одарен и, притом, не амбициозен. Он — скромная трудолюбивая пчела, с головой погруженная в конструктивную, созидательную работу. Он — вместе с тем (и это важно для понимания мысли Солженицына) —

плоть от плоти еврейской общины и принимает свою еврейскую принадлежность, в отличие от гордеца Богрова, непреложно и недемонстративно, как природный факт, что позволяет ему сочетать чувство достоинства с политической лояльностью Российской Империи.

Он — кормилец, в прямом (его инженерная профессия — мукомол) и переносном смысле (он плодотворно участвует в российском техническом прогрессе), полный чувства ответственности, чуждый ксенофобии, снобизма и краснобайства. Он добр, терпим и гостеприимен.

Не слишком ли приторно для обыкновенного человека из плоти и крови? Прямо — ангел Божий. А что означает его имя — Илья?

Для русского уха это имя имеет четко положительную коннотацию. Оно означает одновременно и легендарного богатыря, и пророка, приносящего гром и молнию, дождь и, значит, хлеб.

Еврейское имя Элиягу значит «Бог мой — Яхве!» и характеризует личную преданность его носителя еврейскому Богу. Может быть Солженицын это именно и имел в виду?

Здесь и лежит, мне кажется, магический секрет Парвуса: его-то имя — Исраэль — означает «Поборай Бог!» и было, возможно, первоначально боевым кличем. Согласно известной интерпретации, основанной на ключевом эпизоде из жизни родоначальника нашего — Иакова — оно может быть, при известном умонастроении, переведено и как «Богоборец» («Поборай Бога!»). Это самоназвание еврейского народа есть одновременно и таинственное напоминание о его избранности, и дерзкий вызов Богу.

Человеческое имя — Израиль — есть, соответственно, и неотъемлемый знак принадлежности, и клеймо бунтаря:

«...Дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем... ибо они мятежный дом. « (Иезекииль,6,7,9).

Даже, если бы Солженицын и не знал всех этих библейских тонкостей, такая интерпретация должна быть

очень близка его глубинной мысли. А противопоставление доброго Ильи злому Израилю — его дуально-полярному восприятию еврейства и его назначения.

Но я думаю, что он знал.

Израиль Парвус (по-русски звучит, как Первый) — в отличие от средней руки политического дельца Александра Парвуса — дух отрицанья, гениальный разрушитель, Богопротивник.

Посвятив десятки страниц этому ненавистному персонажу, писатель не захотел ни слова упомянуть о его детстве, семье, происхождении, даже о его еврействе, боясь, по-видимому, заземлить героя:

«Он был русский революционер, но ... сразу избрал западный путь... и шутил: «Ищу родину там, где можно приобрести ее за небольшие деньги»... И 25 лет проболтался по Европе Агасфером...»

— Еще одно мистическое имя — сюжет — упомянутый неслучайно.

Дух отрицанья включает отрицание своего родства. Вечный Жид — это не просто жид...

Характеризуя убийцу Столыпина Богрова, Солженицын все же оставляет ему кое-какие человеческие черты: мальчишеское тщеславие, верность своему роду и племени. Он — одержимый честолюбец, усердный и увлеченный исполнитель, но не первоначальный источник злой Воли. Злая воля, в случае убийства Столыпина, исходила от общества, которое по мысли автора не ценило своего спасителя, не понимало своей пользы.

Парвус не знает верности ничему, никому. В том числе и своему еврейству. Он не принадлежит к человеческой семье и не ищет одобрения людей. Его воля, его План, его собственная злая стратегия «сотрясает миры». «Вспышка пророчества» в нем совпадет с «порывом желания», «хочу» обратится в «сделано», и только в этом — его награда.

При солженицынском мистическом отношении к евреям, подтверждаемым церковной догмой об избранничестве,

он видит в еврее — отступнике от еврейства — отступника от определенной ему Богом роли. Безразличие Парвуса к своему еврейству, равнодушие к молве и почестям — тоже гордыня, форма Боговосстания.

Многократно назвав Парвуса в романе бегемотом, Солженицын, в сущности, подтвердил, что именно это и имел в виду. Ибо Бегемот — это тоже одно из многих наименований Сатаны (см., например, у М. Булгакова в «Мастере и Маргарите» — кот Бегемот, а также Библию — «Книгу Иова»).

Назовем ли мы еврея насмешливо пожарником, «Ахиллесом», или потрясенно Агасфером, Бегемотом, гением зла — предписанная ему христианским мировоззрением писателей роль равно сверхъестественна. Это роль свидетеля небес, посланца, то есть ... ангела. Не зовется ли Сатана также падшим ангелом, Люцифером?

Поистине наш пожарник сделал карьеру.

НА ЧЕМ СЕРДЦЕ УСПОКОИТСЯ

Когда началась Перестройка, очень многим из нас, бывших советских граждан живущих на Западе, пришлось преодолевать в себе какое-то странное, неприязненное чувство в отношении к событиям, которые, казалось бы, шли в желательном для нас направлении. Это чувство не сводилось просто к естественному политическому недоверию многократно обманутых граждан. Не сводилось оно и к раздражению против моральной неразборчивости людей, которые, не сморгнув глазом, продолжали приспосабливаться и к бесповоротному осуждению приспособленчества.

Это особенное чувство возникло оттого, что перестройка отнимала у нас нашу уникальность. Вместе с убеждением в уникальности режима, который мы так ненавидели. Перестройка, в сущности, отнимала у этой ненависти моральные основания и тривиализовала наш жизненный опыт. Вместо чувства обладания единствен-

ным в своем роде опытом жизни при безвременном господстве Зла она подсовывала нам мысль об очередной неудаче попытки периферийной группы утопистов организовать тотальный контроль человеческой воли над реальной жизнью...

Мой дед презирал Советскую власть и со дня на день ожидал ее падения. Он считал коммунистов босяками и этого, самого по себе, ему казалось достаточно, чтобы предвидеть их провал. Однако, после тридцати-сорока лет ожидания, такая надежда для молодых выглядела уже смешной. Для него самого она выглядела трагической. Босяки, воодушевляемые мнимыми целями, отняли у него всю его реальную жизнь. Он признался мне, что перестал верить в Бога...

Что же, только времени ему нехватило, чтобы пережить босяков и убедиться в своей правоте? А что потом с этой правотой делать?

Нам повезло. Мы дожили увидеть их крушение еще до нашей старости. Ну, и что? — Из свидетелей невиданной доселе Деспотии мы превращались в обыкновенных эмигрантов из отсталой, политически неблагополучной страны. В мире существует множество таких стран. Громадное количество беженцев из них заполняет нижние этажи Свободного мира.

Если, в результате перестройки, СССР и вправду станет нормальной страной и писатели начнут писать, что думают, а историки и философы начнут думать, что говорят, что останется нам от прошлого для понимания и изучения? Какие характерные признаки наложили прошедшие годы на идеологию и психологию российского гражданина, если отбросить мертвую марксистскую шелуху?

А. Солженицын — писатель, у которого мы можем найти такую характерную мысль, такую сквозную нить, которая свяжет воедино все разные, противоборствующие осколки мировоззрения, извлеченного нами из нашего советского бытия, отчасти определившего наше

сознание. Между нами есть гораздо больше общего, чем мы готовы признать.

Конечно, никакого общего мировоззрения у нас нет... Но у нас есть общие пункты расхождения с цивилизацией, построенной на иудео-христианском, августинианском принципе, в которую волею судеб мы погружены. Порой нам нелегко сохранять лояльность к общепринятым догмам. Особенно, если учесть, что нашему смердяковскому прошлому противопоказана всякая лояльность вообще.

Например, человеку на Западе почти невозможно сознаться, что социальная справедливость его не волнует. Поэтому, хотя многих из нас просто тошнит, когда мы снова слышим слова и идеи, которыми жонглировали «эти босяки», мы вынуждены изобретать приличные мотивировки для своего нежелания углубляться в эту проблему.

Человек на Западе также всегда должен стремиться к миру и, потому, во всех делах ему предназначены поиски всевозможных компромиссов. В самом деле, если Дьявола не существует, никакой, самый бесчестный, компромисс не может погубить нашу бессмертную душу, и вследствие этого становится приемлемым. Мы, впрочем, из своего жизненного опыта знаем, что чем больше мы уступим противнику, тем больше он от нас потребует. Но общественное мнение вынуждает нас основываться не на этом опыте, а на общепринятом моральном оптимизме, включающем признание за противником того же морального уровня, что и у нас.

Однако, если противник действительно морально не ниже нас, почему же он — наш противник?

Наша смердяковская проницательность видит здесь проблему.

Мы живем на Западе, на самой его границе с Востоком, и наш выбор может определить, куда, в конце концов, склонится чаша весов.

Израиль, как государство, построен на монистическом принципе, но слишком большая часть населения у нас верит в нечистую силу.

Человек на Западе часто оказывается в ситуации открытого конфликта. Наша прошлая практика подсказывает нам, что для победы нам необходимо возненавидеть противника, забыв о наличии у него многих человеческих качеств. Но западная практика предлагает нам «войну без ненависти» и судебную процедуру без ожесточения, наводя на мысль, что человеческая правота абсолютной быть не может. Однако, если наша правота относительна, зачем нам сражаться вообще? Если же сражаться необходимо, мы хотели бы видеть абсолютную причину для этого. Иначе наша смердяковская логика не позволит поставить свою жизнь на эту карту. Если нигде нет абсолютной правоты, что может быть дороже жизни?

Как индивидуумы мы можем верить в Дьявола и предопределение, но как сочлены цивилизованного общества мы вынуждены примириться с общепринято-негативным отношением к смертной казни (которое предполагает возможность раскаяния или даже исправления), с запрещением дискриминации (которое предполагает отсутствие предопределенности нравственных качеств), с освобождением на поруки (презумпция невиновности) и с другими необходимыми особенностями сообществ, основанных на принципе абсолютного превосходства добра.

Мы охотно принимаем удобства и, в сущности, живем на содержании науки и технического прогресса, целиком основанных именно на этом принципе. Но мы с трудом осваиваем догму либерализма, которая исходит из посылки, что жить нужно всем — в том числе тупым, злонамеренным и ненормальным, которых наше, более решительное, мировоззрение квалифицировало бы, пожалуй, как сыновей Тьмы.

Августинианский монизм и его сегодняшнее воплощение в либеральных странах не есть единственно возможная земная форма христианства. Существует множество гностических и дуалистических сект, а также промежуточных вероучений, которые умудряются совмещать

свою веру с христианством, иудаизмом и исламом. И я, конечно, значительно упростил свой очерк монистического религиозного принципа, чтобы придать ему больше внутренней последовательности, которой ему немного недостает. Как заметил Бертран Рассел: «Никому еще не удалось создать философию одновременно правдоподобную и внутренне последовательную. Философия, которая внутренне непоследовательна, не может быть абсолютно верной. Однако философия, которая внутренне последовательна, очень легко может оказаться абсолютно ложной.»

Выбор в этом вопросе не связан с истиной, а определяется волей.

Следует помнить, что никакого опытного доказательства в пользу конечной победы добра, мы не наблюдали. Перестройку в СССР вряд ли стоит сейчас рассматривать как победу Добра. Последствия ее предсказуемы не более, чем последствия Февральской революции 1917.

Процветание и либерализм Западных стран также накапливают солидный потенциал зла (в частности, в виде зависти), как внутри, так и вне их самих, и не могут служить надежным свидетельством «правильности» пророческих откровений.

Радикальный смердяковский релятивизм, усвоенный с молоком матери, позволяет нам всерьез рассматривать любую систему аксиом и даже переходить от одной системы к другой в зависимости от сиюминутных интересов. По существу, такая легкость исключает дорогое нам (как память!) понятие порядочности, основанное на принципах, принимаемых за абсолюты.

Большинство жителей стран Запада тоже, конечно, не сознают всех философских тонкостей, на которых построено процветание их обществ. В своей повседневной жизни они сплошь и рядом поддаются своим деструктивным наклонностям и отрицательным чувствам. Осознанный принцип либерализма вынуждает уважительное внимание к интересам всех. Поэтому в свободном мире собира-

ется все большее число людей, абсолютно чуждых этому принципу, которые, однако, догадываются согласно ему требовать себе положенной доли. Конечно, все они видят себя как людей доброй воли, то есть как сынов Света. А всех прочих — как выродков Тьмы. Этих людей доброй воли становится в свободном мире все больше, так что они, нет-нет, да и заявят о своих новых реальных возможностях — показать сыновьям Тьмы кузькину мать — хоть на футбольных матчах, например.

Философский монизм ничуть не более оправдан жизненной практикой, чем наше обоснованное смердяковское сомнение. Однако, в отличие от сомнения, он конструктивен. Вера в добро толкает людей на риск и склоняет к совместным действиям. Либерализм позволяет дискуссию, благодаря которой при нем не исключена и противоположная точка зрения. Доверие к природе и людям порождает развитие науки и техники, отказ от засекречивания знаний, распространение образования.

Сомнение ведет только к ограничениям этих тенденций. Полностью дуалистический взгляд просто полностью уничтожил бы их.

Бытие, конечно, не определяет сознания, но оно определяет настроение. Наше настроение часто склоняется к тому, что зло в мире реально существует и активно действует. Ему может эффективно противостоять только равная по своим возможностям сила. Такая сила, будь это героическая контрразведка или добродетельная полиция, по закону исключения, значит, и есть добро. Тогда врага следует не просто обезвредить, а предпочтительно растерзать. Война же из трудного и грязного дела обращается в дело святое. А наша несомненная, но относительная, правота — в абсолютную. Александр Солженицын — к добру ли, к худу — укрепляет нас в этом настроении.

Мы и так не слишком греха боимся, а тут еще такая поддержка...

Правильность идеи — это то, что все время от нас ускользает, хотя и продолжает манить большим или меньшим соответствием действительности в зависимости от того, как подробно мы ее видим.

Высказывание идей — это такая игра, в которой наилучший ход не тот, что ставит мат и исчерпывает проблему, а тот, что ведет к продолжению игры. А жизнь — это такая игра, в которой твердо обеспечивает продолжение только победа.

Вопреки философской проницательности Смердякова, есть нечто, что он упустил. Этим Смердяков в романе Достоевского отличается от Ивана Карамазова, а реальный последователь Смердякова в жизни отличается от смердяковствующего интеллигента.

Смердяков не знает, что может быть дороже жизни. А Иван Карамазов знает, что дороже жизни ему может быть его образ жизни. Смердяков не знает этого не потому, что он — моральный урод, а потому что образ жизни Ивана (т. е., в сущности, самого писателя) никогда не был ему доступен, а собственный — не дает никакого удовлетворения.

Иван Карамазов, который может сомневаться во всем, предпочитает порядочность, потому что она дает его скептицизму статус мировоззрения, а ему самому — продолжение философской игры. Соблюдение правил игры не предполагает веры в их сверхестественное происхождение.

Традиция обеспечивает своего преданного сына уверенностью в единственной правильности его образа жизни, наряду с некоторой простоватостью, обуславливающей его философское спокойствие. Солдат, попавший в руки мусульман, дал содрать с себя кожу не потому, что он знал, чем Иисус лучше Магомета, а потому что он не мог, и не хотел, жить не по-своему. В сущности, он был лишен выбора и, всегда оставаясь в согласии с собой, наделен абсолютной порядочностью. Это — дар небес, который нам не был сужден.

Наша философская свобода досталась нам не потому, что в жизни мы были обездолены, как Смердяков, или, наоборот, были выше других, как Ставрогин. Мы, «образованцы», получили ее вместе с образованием, как весть издалека о свободе реальной и об образе жизни, связанном с ней. Окружающая нас жизнь скорее препятствовала этому развитию. Поэтому нам, приемышам либеральной традиции, которым довелось — многим не без усилий — всей грудью вдохнуть воздух свободы и причаститься соответствующего образа жизни, естественно помнить о благодарности.

Тут кончается наша философская вольница. Свободный образ жизни дороже нам, чем жизнь... Переплетение и взаимодействие идей ценнее, чем преданность какой-нибудь одной, пусть бы и правильной, идее.

Пожалуй, если быть откровенным, профессионализм в этой области подсказывает, что такой окончательной идеи быть не может...

Однако, верность духу свободы есть уже самоограничение мысли.

ВОПРЕКИ ВСЕМУ

Недавно исполнилось 125 лет со дня рождения Льва Троцкого, одного из десятка людей, во многом определивших облик современного мира. Русскоязычный читатель очень мало знает о Троцком, благодаря ревнивой ненависти его соперника, которая старательно выкорчевывала из памяти современников и потомков все упоминания о нем в русской литературе. Его судьба, его, так сказать, траектория особенно интересна

современным русским евреям, потому что в ней запечатлелись многие наши искушения и соблазны.

Автор книги о Троцком «Вечный комиссар» («Москва — Иерусалим», 1989), израильский профессор И. Недава приводит объяснение псевдонима, данное бывшим соучеником и сверстником Л. Бронштейна, врачом-психиатром

Г. Зивом. Зив утверждает, что молодому Бронштейну исключительно импонировала представительная, авторитарная фигура надзирателя Одесской тюрьмы Троцкого, где оба они, Л. Бронштейн и Г. Зив, провели несколько месяцев за участие в юношеских политических кружках. Я, конечно, не решаюсь категорически оспаривать бывшего близкого друга (со временем ставшего врагом), но не сомневаюсь, что по крайней мере не меньше, чем личность надзирателя, Бронштейну импонировала его фамилия, которую он, конечно, мысленно производил от немецкого (и идишистского) слова «тротц», означающего «вопреки», «наперекор». Насколько такая интерпретация близка к истине видно также из другого его литературного псевдонима, который, в сущности, повторяет первый — Антид Отто,что означает по-итальянски «противоядие» (антидот). Оба эти языка он изучал одновременно в той самой тюрьме, используя многоязычную Библию. Эта книга, разрешенная администрацией тюрьмы, сыграла заметную роль в его жизни.

Однажды меня поразила банальная фраза, прочитанная в посредственной советской книжке: «Веками свершалась на земле несправедливость: богатые угнетали бедных, сильные обижали слабых...» Это верно: сильные действительно то и дело обижают слабых. Хотя бы, своим превосходством. Но откуда мы знаем, что это несправедливо? Откуда мы можем знать, что на земле свершается несправедливость, если само понятие справедливости мы извлекаем из окружающего мира? Иными словами, почему мы знаем, что существующий порядок несправедлив, если никакого другого порядка на земле никогда не было?

Либо все-таки в мире господствует справедливость — и в том и состоит, что сильные обижают слабых, — либо наш идеал справедливости мы заимствовали не из мира сего. Т. е. наше представление о справедливости возникает вопреки природе и почерпнуто из неземного источника. Но если, в самом деле, мы получили его свыше, не

стоит ли нам присмотреться внимательней к самому процессу? От кого и как мы взяли эти бесценные сведения? Правильно ли мы их понимаем? Верно ли передаем?

Первый урок такого рода мы находим в книге Исхода. Высокопоставленный воспитанник царской семьи вышел как-то прогуляться, осмотреть постройки и увидел, как египетский надсмотрщик бьет раба-еврея. Почему это показалось ему несправедливым? Разве в этом было что-то необычное? Да, может, еврей и заслужил? Библейский текст скуп на психологические детали. Но все же там отмечено, что Моше «посмотрел туда и сюда», прежде чем убил египтянина. То есть его поступок был вполне осознанным.

Науке не вполне ясно, кем был исторический Моисей, но всем уже давно ясно, что его одержимость идеей справедливости навеки запечатлелась в характере еврейского народа. Поэтому нет ничего необычного в том, что примерно с такого же эпизода началась и борьба за справедливость в скромной семье еврейского земледельца Давида Бронштейна (преуспевшего вопреки удручающей статистике еврейского землевладения, приведенной в книге А.Солженицына «200 лет вместе»), когда маленький Лев впервые увидел на пороге своего дома босую женщину-батрачку, терпеливо ожидавшую своей платы. Вряд ли Давид Бронштейн обращался со своими батраками хуже, чем это было общепринято в их среде, иначе он не пережил бы двух русских революций, но легко предположить, что он не был ангелом. Как бы то ни было, сам Лев Давидович объяснял потом свой затяжной, пожизненный конфликт с отцом своим врожденным инстинктом справедливости.

Конечно, в такой решительной защите угнетенных, кроме жажды справедливости, содержался и элемент семейного бунта, мальчишеская потребность утвердить свою суверенную волю, вопреки давящей власти отца и традиции — своеволие. Не только чувство справедливости, но также детский негативизм, укрепленный юношеским

упрямством (der Trotz), превращают молодого Льва Бронштейна в Троцкого — человека, чья жизнь целиком посвящена борьбе, противостоянию, революции.

Положительные проекты, вроде сионизма (он, между прочим, присутствовал как журналист на одном из Сионистских конгрессов) или, хотя бы, построения социализма в одной стране не вызывают у него энтузиазма. Все страны, на его взгляд, заслуживают разрушения и (перманентной) революции. Он знает о них, обо всех, достаточно по их собственным газетам, которые бегло читает на многих, освоенных по Библии, языках.

Моисея семейный бунт привел к многолетнему изгнанию в пустыню, где он со временем осознал свою кровную связь с еврейским народом, за который пожелал однажды вступиться, свое призвание спасти его, как если бы он «носил во чреве весь народ сей».

Молодого Бронштейна борьба с семьей привела и к отчуждению от еврейства. Лев Давидович превратился в яркого строптивого отщепенца сначала в семье, потом в своей среде, в своем народе, а затем и в стране. Он не доучился еврейству у меламеда, он не сумел доучиться и до конца курса реального училища. Иностранным языкам он учился, как уже говорилось, по многоязычной Библии, которую сестра передала ему в тюрьму... Он не остался недоучкой в смысле недостатка каких-нибудь сведений, но он не освоил никакой профессии и не имел опыта реальной жизни ни в каком реальном обществе. Обществам предстояло перемениться в соответствии с его представлениями о справедливости. Вскоре он эмигрировал из России под псевдонимом «Троцкий». Он не слишком сближался и с людьми и не учился вербовать и удерживать сторонников. Лишенный семейного тепла,опиравшийся только на интеллектуальную аргументацию и пламенное красноречие, он не мог понять и других нерациональных пружин человеческой лояльности. От сторонников он требовал верности не себе, а идее. Его радикализм был подстать его своеволию: «Все или ничего!» Возможно, он был гением...

Такой путь к революции, довольно характерный для революционеров-евреев, оказывается, был вовсе необязателен для многих известных революционеров других национальностей. Энгельс, Плеханов и Ленин не вступали в такие непримиримые конфликты с семьей, социальной средой и собственным народом, какие характерны для Лассаля, Розы Люксембург и Троцкого.

Проф. Недава приводит множество биографических сведений о евреях-революционерах, современниках Троцкого, которые во многих деталях повторяют черты его биографии, а также их высказывания, характеризующие их среду, образ мысли и склад характера.

Несомненно, что образ поведения Троцкого, форма жизненной карьеры, его отношение к миру* являются типичными для многих ассимилированных евреев и воспроизводят один из специфических вариантов еврейской судьбы. В этом отношении автор книги совершенно беспощаден. Будучи сионистом, то есть безусловным приверженцем другой, как бы противопоставленной ассимиляции, еврейской идеологии, он, в отличие от апологетической еврейской литературы, легко принимает и даже подтверждает фактами многие из обвинений против евреев, которые принято считать главным оружием антисемитов. Его статистика участия евреев в социалистических партиях России подтверждает наблюдения В. Шульгина и других эмоциональных антисемитов, объявлявших организацию революции в России делом еврейских рук. В общем, эта статистика и впечатления многих современных наблюдателей подтверждают, что еврейское участие в революции с начала XX века, если и не было преобладающим, то по крайней мере равным с основным в империи русским народом. Также и многочисленные факты отвратительной маскировки евреев-революционеров под

* Это отношение адекватно выразил другой революционер-еврей, Карл Маркс: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело (справедливости?) заключается в том, чтобы его переделать...»

коренные национальности (русских, поляков и пр.) автор склонен не скрывать, а выпячивать, поддерживая тем самым некоторые из худших враждебных нареканий.

С чисто научной точки зрения автору очень легко возразить. История всех народов изобилует фактами предательства, продажности и всевозможных форм злодейства, так что еврейский народ проявил себя в истории нисколько не хуже всех остальных, включая и драматический эпизод, о котором идет речь в книге. К тому же сионизм, как умственное течение, стремившееся к нормализации еврейского народа, мог бы и более снисходительно судить еврейскую мимикрию, наглость или трусость, как грехи, характеризующие скорее «нормальность» нашего народа. В конце концов, правило «дают — бери, а бьют — беги» придумали не евреи.

Любой непредвзятый социологический анализ обнаружит, что специфический культурный уровень городского еврейского населения любой европейской страны, и уж во всяком случае Российской империи начала века, настолько отличался от окружающего среднего уровня, что общая статистика, сравнивающая относительное число еврейских революционеров с числом русских, просто вводит в заблуждение. Ведь и число миллионеров при такой статистике тоже гораздо больше. И число врачей, и аптекарей, и журналистов...

Евреи-социалисты составляли на пятом Лондонском съезде РСДРП около трети всех делегатов, немного отставая только от количества русских. Однако надо заметить, что относительно численности народа, например, грузин или латышей,они были представлены даже слабее. К тому же все евреи, которые попали в руководство — еврейская рабочая партия (Бунд) была искусно обведена и дискриминирована на этом съезде ассимилянтами (потому что она-то была именно и рабочая, и еврейская) — попали туда не как евреи, а как представители русских рабочих организаций. Таким образом, претензии о засильи евреев в этой ничтожной тогда по численности партии следовало

предъявлять не евреям, а русским. Влияние всех оттенков этой партии внутри самого еврейского народа было очень ограниченным и не превышало 20% населения.

Вообще установить процентную или какую-нибудь еще групповую ответственность за произошедшую революцию невозможно прежде всего потому, что львиная доля такой ответственности вообще падает на сами власти. Революционеры были способны преуспеть лишь в том, в чем эти власти проявили фантастическую недальновидность и неповоротливость. Естественно также, что в разрушении старого порядка наибольшую роль играют прежде всего люди, которым этот порядок не дорог или даже враждебен.

Однако, вопреки этой объективности, сионистская идеология требует от своего народа гораздо большего и открыто осуждает самозванное еврейское участие в чужой истории. Такая высокая требовательность, идущая навстречу пожеланиям Александра Солженицына, не может быть слишком популярна, однако она показывает, что сионизм только формально ограничивается скромной задачей «нормализации». Своей требовательностью и осуждением отступничества сионизм возрождает древнюю традицию пророков, которые жестоко клеймили прежде всего именно свой народ за грехи, столь общие всем окружающим народам.

Для еврейского читателя многозначительным должен стать факт, что подавляющее участие евреев обнаруживается именно в тех партиях и течениях, в которых на первый план выдвигаются требования социальной справедливости и братства людей. Это кажется естественным, ибо те же идеи составляют существенную часть библейской идеологии. Библия, будучи одной из самых правдивых книг на земле, не оставляет никаких иллюзий относительно исходной нравственности избранного народа, как, впрочем, и всех остальных. Но Библия же дает нам и тот эталон, по которому эта безнравственность осуждается. Этот эталон все христианские народы заимствовали

у евреев. Поэтому именно к евреям они особенно строги в своих суждениях.

В книге современного идеолога русского антисемитизма, проф. И. Шафаревича, «Русофобия», наряду с пустым мифотворческим энтузиазмом высказывается очень серьезная мысль: момент распада Российской империи совпал со временем усиленного разложения еврейского патриархального уклада, и это совпадение страшно повлияло на судьбы обеих сторон.

Распад традиционного еврейского быта привел к тому, что появилось множество молодых людей, избравших для себя в жизни наиболее практичный путь освоения светской, христианской культуры и знакомых с еврейской традицией лишь отчасти. Таким образом, если им и были не чужды еврейские побуждения, они проявлялись у них в нееврейской форме. Все, что касалось сферы осуществления, заимствовалось ими из окружающей их среды.

Стремление к социальной справедливости действительно лежит в основе еврейского вероучения, но способы достижения ее внутри еврейства тоже определяются этим вероучением. Что можно совершить для достижения справедливости, а чего нельзя, устанавливает та же традиция, которая внушает исходную мысль. Еврей, вырвавшийся из-под еврейского культурного влияния в среду другого народа, чьи практические нормы иные, опасен, как канистра с бензином в стогу сена. Многое из идеологии христианских народов по содержанию ему хорошо знакомо. И у него (а иногда и у них) возникает естественное чувство солидарности. По форме же большая часть того, что исторически сложилось у них как ограничения их собственного своеволия, кажется ему наивным набором предрассудков. И тогда он совершает подвиги, которые после краткого общего восторга сулят ему крушение. Оперируя со знакомой ему с детства идеей, ассимилированный еврей с трудом постигает, что значение и применение этой идеи в нееврейской среде иное. Он становится равно чужим и там, и тут, и эту свою чуж-

дость часто субъективно ощущает как высшую ступень объективности. Так, Троцкий, будучи на вершине большевистской иерархии, отверг домогательства еврейской делегации, которая явилась к нему, как к еврею. Он заявил им, что он не еврей, а интернационалист. Наверное, он думал, что произвел положительное впечатление своей непреклонностью.

Между тем, он, конечно, вызвал омерзение евреев, как отступник, и, скорее всего, насмешку русских, как сухарь и ханжа. Страшнее выглядит его отношение к отцу, который после революции не смог приехать к сыну из-за отсутствия сапог, а Троцкий «не мог ему помочь», так как «в стране слишком много раздетых и разутых». Старый Бронштейн умер от тифа в 1922 г., и даже его последнюю просьбу, похоронить его на еврейском кладбище, сын отказался выполнить.

В отличие от того, что думают антисемиты, евреи-революционеры большей частью не столько выражают еврейские интересы, сколько нарушают еврейский стереотип, и свою энергию черпают как раз из этого конфликта. Поэтому их амбиция состоит не в том, чтобы принести счастье своему народу, а в том, чтобы как можно категоричнее от него отмежеваться. В разной мере они стыдятся своего происхождения и поэтому не совсем уверенно чувствуют себя в своей роли. Они предпочитают роль возвестителей истины, исходящей от какого-нибудь иного, несомненного авторитета, то есть роль посланца, комиссара. Тут и кроется психологическая ловушка, приводящая таких людей к духовному и человеческому крушению.

Роль посланца по своей структуре действительно воспроизводит рисунок жизни Моисея. Однако, проявив своеволие, убив египтянина, Моисей еще не приобрел авторитета у евреев. Этого оказалось недостаточно, чтобы стать их вождем. Потому ли, что и тогда это не соответствовало их обычаю, или просто потому, что он и сам не знал еще, какого рода справедливости жаждет его душа?

Именно тогда от угнетенных и униженных, за которых он так великодушно вступился, он услышал: «Кто поставил тебя судьей над нами?» Быть может, этот вопрос он задал себе и сам?

После этого он ушел в изгнание на много лет и вернулся лишь тогда, когда был глубоко убежден, что его послал Бог. С тех пор он никогда не колебался и не отклонялся от своего призвания. Его слово превратилось в Закон для его народа. Для комиссара главное — **кто его послал.**

Карлу Марксу было уже труднее, но все же он искренне верил — Бог знает почему — что открыл Законы истории, и его посылает сама Историческая необходимость. Троцкому сначала пришлось ссылаться на Маркса, а когда по ходу событий все законы марксизма были нарушены, и он стал большевиком, его единственной опорой остался В. Ленин.

У Троцкого не хватило цельности опереться на себя самого и ему пришлось в конце концов представлять и осуществлять волю Ленина. Ленин всегда знал, чего хотел, хотя это не всегда было одно и то же.

Ленин задумал насильственный захват власти в Октябре, и Троцкий возглавил заговор и государственный переворот в России. Когда Ленин хотел Брестского мира, он послал Троцкого заключить этот мир. Ленин решил победить в гражданской войне, и он поручил Троцкому создать новую, революционную армию и привести ее к победе. Пока Ленин настаивал на военном коммунизме, Троцкому приходилось разрабатывать организацию принудительного труда, но когда Ленин решил перейти к НЭПу, он воспользовался планом Троцкого о развитии ограниченного свободного рынка. Всегда и всюду его комиссар оказывался на своем посту в качестве той чудесной «золотой рыбки», которая по волшебству исполняет желания. И Троцкий справлялся с этой ролью. Сам Ленин оставался при этом вне критики, отчасти по состоянию здоровья, отчасти благодаря ореолу, созданному

ему Троцким и другими комиссарами в большевистском руководстве. Все претензии, что по поводу «похабного» Брестского мира, что по поводу людоедского военного коммунизма, должны были адресоваться Троцкому и, в конце концов, адресовались ему. Он до сих пор обвиняется во всех «перегибах» Советской власти.

На ущербе революции Троцкий не сумел противостоять Сталину не потому, что он ошибся в том или в этом. Он сплоховал как личность. У него не хватило решимости громко заявить свое «я». Грубо говоря, будучи евреем, он способен был бы победить во внутрипартийной борьбе только, если бы гордился этим, как лорд Дизраэли. А он все пытался выступать от имени Ленина, не будучи в точном смысле слова его верным последователем (ибо был слишком самостоятелен), от имени Партии, в которой он никогда не мог получить большинства (ибо он был слишком требователен для массовой партии), от имени марксизма, который с таким оглушительным треском провалился в России...

А Сталин в это время, хоть и негромко, уже сказал свое «я!», создав у многих членов партии впечатление, что им при нем будет спокойно. Социализм для них вполне может быть построен в их отдельно взятой стране (то есть их руководящее положение сохранится и впредь), а демократизация и «перманентная революция» не повиснут над ними, как дамоклов меч. В двадцатых годах и в руководстве партии, не говоря уж об обывателях, накопилась свинцовая усталость от ленинских грандиозных проектов и революционного горения. С неосознанным облегчением проводив в последний путь своего слишком строгого бога, построив ему египетскую пирамиду посреди Красной площади, его бывшие соратники вовсе не были расположены теперь голосовать за его посланца и творческого продолжателя. Они предпочли спокойного, делового исполнителя (как им казалось) их коллективной воли.

Все они погибли еще раньше Троцкого. На его глазах погибли также и все его сторонники, два его сына и обе

дочери. Лев Троцкий учил языки по Библии, но вряд ли был достаточно внимателен к самому тексту. Поэтому он бы не понял, если бы человек, который приуготовил ему его участь, сказал, что поступит с ним, как Навуходоносор поступил с царем Цидкиягу** (Седекией в русском произношении). Этот человек, бывший студент Тифлисской духовной семинарии, Иосиф Джугашвили, знал, конечно, Книгу Книг и понимал человеческую натуру гораздо лучше Троцкого и опирался только на себя. Заботы о справедливости никогда не отягощали его душу.

В ПОИСКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ

Неправда, что все на свете меняется. И совсем не все течет. Громадная часть нашей реальности, называемая прошлым, никак не может измениться. И она никуда не утечет, если мы не позволим настоящему исказить ее ради какой-нибудь практической выгоды. С годами этот объем накопленного капитала растет у каждого, и если не отдавать его на волю инфляции, не спекулировать на повседневной бирже, можно почувствовать себя богаче. В известных пределах, конечно.

Этот путь открыт не только отдельному человеку, но и целым народам. Можно ли предвидеть, чему научит прошлый опыт наших бывших соотечественников? Конечно, в первую очередь от этого зависят судьбы России. Но поскольку Россия, в обычно употребляемом смысле слова, давно уже превратилась в СССР — сверхдержаву, державшую в напряжении весь мир, — судьба всего мира зависит от того, что извлечет из своего прошлого следующее поколение русских людей. А ведь это определится, главным образом тем, что из их прошлого до них дойдет.

** «И сыновей Седекии закололи перед глазами его». 4-я Книга Царств, 25: 7.

В форме ли непререкаемой научной истины или соблазняющего подпольного мифа...

По-видимому, в обеих формах самые яркие споры в ближайшие десятилетия будут происходить вокруг имени А. Солженицына, взявшего на себя лично задачу вместить историческое сознание своего народа. Для нас, нынешних израильтян и бывших русских евреев, к счастью, нет необходимости принимать взгляды Солженицына или отвергать их. Мы, как и весь остальной мир, кроме России, находимся на периферии его внимания и не составляем существенной части аудитории. Он пишет не для нас. Этот определяющий факт не сразу доходит до русскоязычного читателя на Западе и до потенциального эмигранта в СССР. Однако, в том, что он пишет, содержится много важного и для нас.

Попробуем понять его, не примешивая собственных пристрастий, не сверяясь со своими интересами. Как рекомендуют философы: «Не восторгаться, не негодовать, но — понимать».

«ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ». ЖАНР

В соответствии с русским идеалом писателя, от которого ожидают больше, чем литературы, Солженицын в своих последних книгах строит свою собственную историю, социологию и антропологию России XX века. Погруженный с головой в этот грандиозный замысел, он сплошь и рядом перестает быть писателем, и выяснением для себя увлекается больше, чем изложением для читателя. Человек, взявший почитать его роман перед сном, вскоре отложит книгу.

Вопросы, на которых останавливается его испытующий дух, приличествуют скорее титанам, на чьих плечах держатся небеса, чем простым смертным, ищущим как бы избежать личной ответственности прочтением великого писателя: «Извечная проблема, нигде не решенная и сегодня, вечное качание весов: как взять права, не неся

обременительных и даже опасных обязанностей, или как заковать в обязанности, не давая прав?»

Если в «Архипелаге ГУЛаг» такая особенность была предварена подзаголовком — в «Августе 14-го» приходится объяснять такое отклонение от «нормы» уже в самом тексте: «Автор не разрешил бы себе такого грубого излома романной формы, если бы раньше того не была грубо изломана сама история России, вся память ее, и перебиты историки...»

Конечно, русская история семи последних десятилетий дает достаточно веских поводов оправдать любое жанровое отклонение. Но, еще за сто приблизительно лет до Солженицына, и Лев Толстой то и дело прерывал свое повествование, чтобы на десятках страниц высказывать свои взгляды на историю, социологию и природу человека, несмотря на то, что историки тогда еще наслаждались безопасностью, а история России не была, по-видимому, изломана.

Как и Л. Толстому, А. Солженицыну тесны жанровые рамки, и его роман — не совсем роман, а «повествованье в отмеренных строках», и книги его — не книги, а «узлы». Можно понять тех, кого это раздражает, но суть дела здесь все же, по-видимому, не в тщеславии выдумать новое слово, а действительно в ином принципе, который делает творчество Солженицына в такой же степени «новым», как и «архаическим».

В период, когда становится модным все старомодное, имеет смысл присмотреться внимательнее к писателю, пожелавшему стать старомодным еще в те времена, когда такой моды не было.

Тема художественного исследования «Архипелага ГУЛаг» поддается определению, кажется, легче всего. Исследуется возникновение и развитие величайшей в мире карательной системы, сумевшей за полвека изменить почти до неузнаваемости облик целого народа. Исследуется способность и готовность этого народа, и человека вообще, сопротивляться, терпеть или способствовать собственному угнетению и порабощению.

Почти в начале книги (во всяком случае для меня это было началом) автор задается вопросом, почему советские граждане так рабски спокойно покоряются аресту, почему не кричат, не сопротивляются, не бегут... «Исследование» уже здесь превращается в проповедь, и вопрос обращается в призыв. Я помню, какое впечатление произвел на меня этот отрывок в самиздате. Это было примерно двенадцать лет назад и к тому времени меня уже не раз арестовывали.Однако этот раз я воспринял иначе.

...Нагоняющий шорох шин у обочины, открытые дверцы черного автомобиля, пристойно-свирепые лица, поблескивающие золотыми зубами из мягкой черноты. Неброские костюмы, обязательные галстуки, любезность казенных кабинетов: «Присаживайтесь, Александр Владимирович...» — Никогда больше я не соглашусь поддержать этот гнусный оттенок благопристойности! Ни за что больше не приму этого подмигивающего приглашения на казнь, этого подлого взаимопонимания, связывающего «советских людей со своими органами»...

Одним скачком я оказался позади машины и затесался в очередь, ожидавшую троллейбуса. Мотор взревел, и, въехав на тротуар, машина задним ходом врезалась в толпу. Народ брызнул из-под колес. Трое оперативников вцепились и мигом оторвали меня от земли, так что ноги мои не коснулись ее уже до самого места назначения...

Свободная воля, однако, даже и оторванного от почвы человека способна противостоять насилию, придав его телу твердость и форму, несовместимую с дверным проемом служебного автомобиля. Неравномерно сгибаясь и разгибаясь в воздухе, я успешно продолжал препятствовать работе оперативной группы. Правда, края автомобиля, о который бились мои выступающие части, казались мне все жестче, но уже торжествующим боковым зрением я успевал увидеть, как моему соратнику удалось возбудить возмущение толпы, и вот они ведут сюда слабо упирающегося милиционера, «чтобы разобраться»...

Захваты роботов в неразличимых костюмах стали, как будто, ослабевать, и в этот короткий миг я сумел лягнуть в галстук направлявшего их оператора... Это и было моей роковой ошибкой: отсредоточившись от своей главной задачи, я уже не успел помешать им согнуть мое тело под надлежащим углом. В период зрелого социализма такую работу делают знатоки...

Милиционер после первых же слов выяснения проявил понимание и успокоил возбужденную толпу: «Совсем не безобразие. Берут, кого положено. Те, кому надо!» Это заключение я узнал уже со слов своего друга, так как машина с моим телом в то время уже неслась, нарушая уличное движение, по московским улицам к заветному месту возле Гастронома No18.

Что заставило меня так горячо отозваться на слова Солженицына? Почему я воспринял их как вызов, обращенный лично ко мне?

Как ни странно, ответ на эти вопросы содержится в весьма академической статье С. Аверинцева «Античная литература и ближневосточная словесность»:

«На Ближнем Востоке каждое слово предания говорится всякий раз внутри непосредственно жизненного общения говорящего... с себе подобными. Интеллектуальный фокус внутреннего самодистанцирования, наилучшим образом известный интеллигентному греку со времен Сократа, здесь не в ходу».

Всем своим образованием, кругом знакомств и симпатий сконялся я к иронии и самодистанцированию. Уж мне ли был неизвестен какой-либо из интеллектуальных фокусов, так удобно разделяющих мир на явление и сущность, литературу и жизнь, западников и славянофилов, «мы и они», наконец... В духе всего нашего круга было бы оценить литературные достоинства отрывка и повздыхать о несопоставимости поэтической прозы с прозой жизни. И в КГБ были разочарованы моим поведением. Стыдили: «А еще профессор!» Наводили на мысль о Сократе: «К лицу ли вам...» — и обещали к следующему разу

обязательно руки и ноги переломать. Сократ, как известно, не стал дожидаться, пока тогдашние специалисты начнут выламывать ему руки, и выпил предназначенную чашу с ядом, не пускаясь в авантюры, сохранив достоинство и дистанцию...

Нет, Сократа из меня не вышло, что и говорить. Но зато я получил ключ к пониманию Солженицына. На этот краткий миг я вошел в круг его истинных читателей.

Что помешало мне принять слова писателя с привычной долей иронии? Ведь не на Ближнем же Востоке воспитывались мы оба? И что тут было первопричиной? Мой статус русского интеллигента («образованца» по А. Солженицыну) или еврейская натура, чем-то все же близкая этому самому Востоку?

Внутри русской литературы всегда существовала тенденция выйти за рамки собственно литературной формы и перейти непосредственно к «содержанию», то есть к жизни. Стремление превратиться в учебник жизни всегда толкало русскую литературу прочь от классических образцов в сторону библейской сумятицы. (Аверинцев называет ее «ближневосточной» лишь в ходе своего собственного сократовского самодистанцирования от реальности советской цензуры.) Внутриситуативная заинтересованность всегда порождает жанровую неопределенность.

Многие русские писатели незаметно для себя переходили от изложения к изобличению и от повествования к благовествованию. Кастовое сознание русской интеллигенции включает не только всевозможные интеллектуальные фокусы, но также учительство, следование и жертву.

Соответственно этому и ее литература (а русская культура — литературная по преимуществу) выполняет не только (а иногда и не столько) эстетическую, но, гораздо чаще, этическую задачу. Отделить Солженицына от этой негреческой традиции невозможно. Его воспримет только тот, кто читает его, как будто к нему это обращено лично. Солженицына прочитывает только тот,

кто ждет от него ответа. И сам Солженицын ощущает, верит, что он призван дать ответ.

Продолжим любопытную мысль С. Аверинцева: «Сравнивая греческое и библейское отношение к слову, как образу мира, мы делаем не что иное, как познаем себя. Сравнивать мы должны... памятуя, что мы остаемся европейцами, и следовательно, «греками»... Внутри (греческой) культуры, которая... стала «нормой» для последующих, относительно литературы точно известно, что это есть именно литература (а не, скажем, пророческое вещание) ...и так же обстоит дело с жанровыми разновидностями: при взгляде на любой культурный продукт мы знаем, что он такое и по какой шкале его надлежит оценивать».

Это — декларация западника. Далеко не все представители русской культуры легко согласились бы присоединиться к этому категорическому «мы», что «остаемся европейцами, и следовательно, «греками». А. Солженицын (как и Л. Толстой с Ф. Достоевским) вызывает интерес всего мира именно в том, в чем он от этого определения отступает. Шкала, по которой его надлежит оценивать, не разработана.

Для нас, евреев, еще меньше оснований безоглядно отождествляться с «греками», и мы, быть может, больше других способны понять Солженицына. Однако, то понимание, о котором я говорю сейчас, отличается от бесстрастного «сократовского» понимания, упомянутого мною в самом начале. Такое новое понимание могло бы включить сопереживание и соучастие... Тогда при изменившихся обстоятельствах оно неизбежно включило бы соответственно раздражение и противодействие. Быть может, это есть, по крайней мере, одна из причин, по которой Солженицын такого сочувственного понимания от нас не ждет и не хочет.

Во всяком случае остается верным, что анализируя солженицынское отношение к миру, мы лучше познаем себя. Потому что дорога, по которой он отходит от ев-

ропейского классического наследия, ведет его к Библии, источнику классическому для нас.

«НРАВСТВЕННЫЙ ЗАКОН ВНУТРИ НАС». ПРЕДМЕТ

В «Красном колесе» («Август 14-го», «Октябрь 16-го») тема исследования расширяется. Автор стремится проследить эволюцию всего российского общества (и отдельного человека в нем) от его «нормального», цивилизованного состояния к нынешнему, советскому. Он к тому же уверен, что такое направление эволюции угрожает всем существующим обществам, и убеждает читателя, что его исследование носит общечеловеческий характер.

Автор ищет в документах ушедшей эпохи, в частных письмах, дневниках, газетных рекламах. Он прослеживает истории отдельных семей и мировых событий. Сотни страниц уходят от сюжета, чтобы обнажить работу над источниками, развернутый комментарий, пересказ политических событий и фактов.

В непрерывающемся потоке истории он тщетно ищет тот критический момент, ту роковую, невидимую развилку, начиная с которой дальше все пошло хуже и хуже по естественным законам разложения, но до которой еще не поздно было повернуть, обуздать, разумно направить...

Его выбор Мировой войны в качестве начала отсчета и утомляющий анализ военных действий вызваны, по-видимому, не столько желанием восстановить последовательность реальных событий и тактических ходов (в основном, поражений), сколько попыткой выявить (для себя самого, быть может?) возможную меру коллективного организованного усилия, меру прочности организованной человеческой массы по отношению к неблагоприятному стечению обстоятельств.

Он ловит признаки развала, растворения социальной ответственности, улетучивания порядочности буквально на бегу: «За двое суток, что перемалывали их полк,

состарились уцелевшие: ...никто не тянулся спешить угодить команде, выполнить ее лучше, выкатить грудь. Ни одного беззаботного лица: ...там, где со смертью они соприкоснулись, все обязательства службы стали слупливаться с них. Но не слупились еще настолько, чтоб и всякие команды перестали быть над ними властны. Еще и простого приказа могло достать...»

А вот немного дальше по этому пути: «Взошло солнце. Все так же никто никого не задерживал, не спрашивал. А во всех, кто ехал и шел, было новое, сразу даже не назвать: будто при оружии, при амуниции, по делу или в составе части, будто еще не бегство, еще подчиненная своим командирам армия, а уже не та: не так оборачивались на офицеров и на лицах появилось выражение с в о е й озабоченности, не общего дела».

Еще дальше: «Разве только лошадью и не понимается особенность этого вида боя — бегства. Чтобы слать низших в наступление, приходится высшим искать лозунги, доводы, выдвигать награды и угрозы, а то и самим непременно идти впереди. Задача же бегства понимается мгновенно и непротиворечиво сверху донизу всеми, и нижний чин проникается ею несопротивительней корпусного командира. Всем порывом готовно отзывается на нее разбуженный, три дня не евший, разутый, обезноженный, безоружный, больной, раненный, тупоумный, — и только тот безучастен, кого уже нельзя добудиться. В ночь ли, в ненастье, единая эта идея ухватывается всеми, и все готовы на жертвы, не прося наград».

А вот уже и конец: «К вечеру 16-го уже не существовала Вторая армия, а перемешанная, неуправляемая толпа. Утром 16-го донские казаки были верной частью общероссийского воинства, к вечеру самостийно смекнули они, что своя донская рубашка к телу ближе. Дошла до них та непоправимая сдвижка частей и сдвижка в умах, после которой уже не восстанавливается армия...»

Посреди этого развала Солженицыну удается проследить так же и конструктивную волю одиночек, вождей,

офицеров, силой своей и верностью противостоящих хаосу, разрушению, шкурничеству: «Мы, в повседневной жизни всегда руководствуясь соображениями своей сохранности, оставляем в стороне эту загадку профессиональных военных и других людей долга (как будто не из нас же получаются такие люди при твердом воспитании): как неуклонно они переходят в неестественную готовность умереть и в саму смерть, такую преждевременную и постороннюю им по планам их жизни?.. Всегда во всякой армии есть эти удивительные офицеры, в ком сгущается вся высшая возможная стойкость мужского духа».

Действительно, такие люди есть во всякой армии, и не раз в истории неудачно начатое сражение из поражения обращалось в победу (как недавняя война Судного дня в Израиле, например) благодаря присутствию и самоотверженности таких одиночек.

Однако Солженицын повествует о противоположной ситуации, когда поражение наступило, несмотря на мужество отдельных людей. Его анализ носит общечеловеческий характер, и всякому человеку во всяком обществе должно быть важно знать, а когда же одного героизма не хватит? И до какой степени сам этот героизм есть естественное порождение традиции и образа жизни, предшествовавших войне? Ибо я отнюдь не уверен, что люди долга получаются просто от «твердого воспитания», как мимоходом бросает автор. Похоже, и эти люди, и само воспитание зависят от господствующего настроения в стране. От духа, царившего в обществе, из которого ушли на фронт герои и трусы, будущие георгиевские кавалеры и дезертиры.

Автор верит, что в начале войны 1914 года эта основа в России была еще вполне здоровой, а общие понятия неизвращенными. Вот разговор воспитанника интеллигентской, революционной семьи, сбежавшего с позиций и бросившего свой взвод, прапорщика Саши Ленартовича с человеком долга, кадровым полковником Воротынцевым: «... на главное возвращал его Саша:

— Сейчас вы заставляете нести труп (убитого в бою командира. — А. В.), потом прикажете нести этого поручика, наверняка черносотенца...

Саша рассчитывал — полковник рассердится. Нет. Так же отрывисто, и даже будто думая о другом:

— И прикажу. Партийные разногласия, прапорщик, это рябь на воде.

— Партийные — рябь?? — поразился, споткнулся Саша... — А тогда что ж национальные?.. А мы из-за них воюем? А какие же разногласия существенны тогда?

— Между порядочностью и непорядочностью, прапорщик, — еще отрывистей отдал Воротынцев. И внешней свободной рукой приподнял, расстегнул планшетку, на ходу смотрел то под ноги, то в карту».

Мир, в котором можно так однозначно взывать к порядочности, нам незнаком. Ибо он основан на едином представлении о порядочности, опирающемся на общие неизменные ценности. Нам не посчастливилость застать ничего подобного.

Ответ Воротынцева обладает замечательным свойством быть одновременно банальным и очень глубоким. Банальность ответа в том, что каждая группа людей имеет тенденцию отгораживаться от неприятных им взглядов и вкусов, объявляя их носителей непорядочными и приписывая именно себе желаемую норму — порядочность.

Постаревший Ленартович, прочитав сегодня роман Солженицына, сказал бы: «Да ведь он едва ли не монархист! А я-то считал его порядочным человеком». И в его кругу вопрос на этом будет закрыт. Как-то на московской писательской даче за водкой слышал я и противоположное: «Как можно считать Хемингуэя порядочным человеком? Ведь он чуть ли не республиканцам в Испании сочувствовал!» И тут вопрос сразу закрылся.

Неужели нет никакого пути к пониманию между людьми? Как профессиональный ученый, я знаю, что такой путь есть. Профессия ученого в значительной мере состоит в том, чтобы достигать взаимного понимания

даже в отношении объектов, в принципе, непонятных. Этот путь нелегок.

Во-первых, необходимо хотеть понять своего оппонента. Условие, которое в жизни почти никогда не выполняется. В обычной жизни люди хотят убедить или даже победить, а не понять. В науке это условие тоже дается с трудом. В особенности, если оно сопряжено с ущербом для самолюбия.

Во-вторых, необходимо определить понятия, которыми мы собираемся оперировать, и в дальнейшем не отклоняться от данных вначале определений.

Эта последовательность и составляет главную трудность в обыденной жизни. Ибо в обыденной жизни наши понятия текучи. И неодинаковы для разных людей. Такое «простое» понятие, как порядочность, не только сильно изменило свой смысл с 1914 года, но и перестало быть (а фактически не было и в 1914 году) одним и тем же для различных групп людей.

Если в некие легендарные времена для истинного патриота и монархиста признаком непорядочности могло бы послужить всякое отклонение от формулы «За Бога, Царя и Отечество!», ненамного позже начала складываться и группа, для которой признаком непорядочности стало всякое, хотя бы частичное, признание этой сакраментальной формулы. Не забудем, что всего через три года после описываемых событий все, что назвал бы тогда Воротынцев порядочностью, было открыто провозглашено черным предательством или гнилым либерализмом.

Порядочностью мы называем упорядоченность внешнего поведения, происходящую от стойкой организации внутренней, духовной жизни.В отличие от неупорядоченного, то есть хаотического,энтропийного поведения, которое отражает только хаотичность внешнего мира, не освещенного никаким общим принципом. Такое определение предполагает, что в общественном сознании существуют некие незримые силовые линии, определяющие направления добра и зла (нравственные верх и

низ), а отдельный человек имеет свой внутренний компас, чтобы узнать правильное направление, в какую бы ситуацию он ни попал и как бы сильно от желательного направления ни отклонился.

Действительно, даже вися вниз головой, человек прекрасно знает, где на самом деле верх. Другое дело, если убрать от него силу тяжести...

Таким образом необходимы, по крайней мере, два условия: внешнее — существование в обществе линий направления добра и зла, и внутреннее — душа, умеющая отличать стороны в этом пространстве, наш компас. Иммануил Кант сформулировал когда-то, что есть только два заслуживающих внимания чуда на земле: «Звездный мир над нами и нравственный закон внутри нас». Похоже, он имел ввиду только компас, ибо направление Добра и Зла в окружающем его мире казалось ему столь же универсальным, как и законы мышления.

По мере того, как человечество все глубже проникает в одно из двух чудес, отношение ко второму повсеместно становится все более легкомысленным. Почти уже закономерно возникают сомнения, существует ли оно, это второе чудо. То есть существует ли нравственный закон? Особенно, если мы в него не верим. Или, по крайней мере, очень слабо верим.

Нет, компас работает! И даже чувствительность его, как будто, не ниже, чем раньше... Несомненно также, что какие-то силовые линии все время пересекают наше сердце. То вдруг, ни с того, ни с сего, уступишь оппоненту, подумав некстати: «Кажется, он прав, собака!» То, ни к селу, ни к городу, врага пожалеешь. Взбредет, например, в голову: «А куда ему, болезному, податься?» Или, вопреки житейской мудрости, положишь живот за други своя... Он же сам над тобой и посмеется. Но все же ты будешь знать, что следовал линии добра.

Однако душа устает следить за извивами самопересекающихся, петлистых линий, протянутых из разных бесконечно темных глубин в столь же темные, неведомые

дали. Стрелка компаса пляшет, как бешеная, и поневоле подумаешь: а не бросить ли ее к чертям, в самом деле? — Только сбивает. Не только не успеваешь соответствовать, но и регулярно от своей немедленной пользы отклоняешься. И уж если за одной какой линией и уследишь, другая непременно протянется тебе наперерез, так что ни пройти, ни объехать ее без моральных потерь...

Похоже, тут не в компасе дело. Спутанно, неодносвязно сегодня все наше нравственное пространство. Неясно, где чьи линии. Какой именно, чей нравственный закон имел ввиду кенигсбергский философ?

Какой бы закон он ввиду ни имел, он подразумевал, что этот закон — один для всех. Интересно, смог бы нравственный закон его кенигсбергских сограждан сосуществовать с законом, живущим (или прозябающим) в душах современных жителей Калининграда? А ведь нам — приходилось совмещать.

С другой стороны, наш мир наверняка погибнет без единого нравственного закона. Хоть какого ни на есть.

Существование нравственности, как и определение порядочности возможны только в обществе, в котором есть единая (и, желательно, единственная) сетка нравственных силовых линий, этих незримых координат, по которым могут ориентироваться все. Истинна эта нравственность или ложна, ее главное достоинство совсем в другом — в приемлемости для всех. Ведь земля без людей тоже ни меридианов, ни часовых поясов на себе не несет. Но если мы хотим сговориться и с кем-нибудь встретиться, независимо от того, верим ли мы во вращение земли, нам следует сверить часы и уточнить, по одинаковым ли книгам мы изучали географию. Также и если мы хотим кому-нибудь сделать добро, нам следует предварительно справиться, одинаково ли мы с ним добро и зло понимаем. Или, возможно, творя свое добро, мы разрушаем его систему нравственности. На что он не замедлит ответить, последовательно постаравшись разрушить нашу. Мы останемся оба на разоренной, возвращенной в первобытное,

докоординатное состояние земле, и изо всех законов нам останется только закон джунглей.

Вот почему Библия так настойчиво рекомендует нам возлюбить всего лишь своего ближнего. А о дальнем там нет ни слова. И вправду, дальнего лучше оставить пока в покое.

Таким образом, мир потеряет свои очертания и погибнет, если перестанет существовать то, в объективное существование чего мы с трудом верим.

И наоборот, мир, возможно, устоит и спасется, если мы все поверим в то, что, может быть, само по себе и не существует.

Итак, мы сами, каждый для себя, решаем, стоять ли миру или провалиться.

Конечно, мир стоит на вере.

Для всех исторических обществ спокон веков единой координатной сеткой была религиозная традиция. Никакой иной основы для порядочности в истории еще не было придумано. Эта сетка безнадежно запутывалась всякий раз, как традиция разрушалась или почему-либо видоизменялась. И всегда это приводило к кровопролитию и разорению. Конечно, современный человек может и посмеяться над разницей между крещением двуперстием или щепотью, и другими мелочами, которые раскололи русское общество в XV11 веке, но ведь современный человек еще несколько лет назад и над разницей между шиитами и суннитами смеялся...

Теперь уже не засмеется.

Религиозные войны не бессмысленны. В сущности, это единственные войны, которые имеют какой бы то ни было смысл. Люди не хотят, чтобы ощущаемые ими линии направления добра и зла пересекались и перепутывались какими-то посторонними влияниями, грозящими взорвать и разрушить простоту и ясность их картины мира и единственность нравственных координат.

Тот вакуум, что образуется на месте бывшего религиозного мировоззрения, заполняется различными идеоло-

гиями, и — единое когда-то понятие порядочности грозит расщепиться на столько различных понятий, сколько есть партий в обществе.

Идеология может и воровство оправдать, и убивать заставить. И террористы становятся порядочными в нашем обществе, и воры врастают понемногу, не говоря уж об отставных стукачах.

Общество, в котором одна-единственная порядочность расщепилась на множество разных, недалеко от того, чтобы потерять всякую. И превратиться в общество блатных... Отчасти это уже произошло в СССР.

Ведь вот, поди, угадай, какого типа порядочность есть у соседа... А жена и подскажет; пока ты со своей порядочностью будешь носиться, как дурак с писаной торбой, другие-то все и успеют. Другие-то, ведь они не то, что ты. Они не теряются. Прямо на ходу подошвы рвут.

Ответ Воротынцева прапорщику Ленартовичу означает, как будто, что единая сетка нравственных координат в ядре русского общества к началу нашего века еще существовала. Или что Солженицын очень хотел бы, чтобы она существовала.

Однако, его дальнейший текст убивает эту надежду.

Вот, спустя два года после этой сцены («Октябрь 16-го») судьба сталкивает Воротынцева в вагоне поезда с писателем Федором Дмитриевичем Ковыневым — бывшим членом Государственной Думы: «У н а с воруют и все продают, вот что страшно! На всех станциях воруют. Раньше сахару терялость в пути на вагон пуд, а теперь — тридцать пудов! Тыловое мародерство — вот что самое страшное сейчас... Страсть разбогатеть во время народного бедствия — откуда это? Безгранично бессовестная торговля, психическая эпидемия. Как будто внутренний неприятель нас разоряет. Тьма спекулянтов развелась, достают все исчезающее, особенно заграничное, — и торгуют... Вот что страшней всего: повальное устройство личных благ! Откуда эта всеобщая бессовестность в нашей стране?..

И Воротынцев почувствовал как холодный ветерок по спине: вот — страшно. Разве такая всеобщая порча — у нас была?»

Да они что, Гоголя, что ли, не читали?

По-видимому, при устойчивости сословной жизни все-таки удавалось русскому человеку в прошлом веке прожить жизнь в таком замкнутом кругу, который не давал ему оснований ощутить универсальную силу гоголевских разоблачений. Уж чего там только сатирики не напишут!

Не тем эта война была страшна, что народ потерял совесть (вряд ли потеряет ее тот, у кого она есть), а тем, что впервые перемешала все слои российского общества так, что каждый узнал каждого во всем неприглядном убожестве его. Не в гостях на даче, не за самоваром. Впервые возникла реальная необходимость прямой (не опосредованной через власти) кооперации разных социальных групп и выявилась их полная неготовность к этому и фактическое отсутствие солидарности.

Обывательский этот разговор завершается неожиданным по банальности (учитывая состав участников: бывший член Государственной Думы и боевой полковник) выводом: «А у нас — твердой руки нет, — жаловался Федор Дмитрич, — злодейство ненаказуемо, справедливости не восстанавливают твердо.

— О, да! О, да! Твердой-то честной власти и нужно. Твердая власть, а главное — не бездействующая. Ах, как нужна — для спасения страны!»

Вот и сговорились. Вот и подготовлена почва для пришествия Советской Власти. Уж тверже-то советской власти еще не придумано. И нельзя сказать, чтобы она бездействовала, особенно на первых порах, «для спасения страны», так сказать. Злодейство, отчасти воровство, а особенно торговля и страсть разбогатеть были наказаны с избытком, и справедливость была восстановлена повсеместно. В меру понимания наказующих, разумеется. Ну, не надеялся же писатель Ковынев в свои сорок

пять лет, что наказывать, да еще и твердо, будут по его пониманию...

Таким образом Солженицын обнаружил внутреннюю подготовленность российского гражданина к будущей тирании задолго до того, как политическая свобода 1917 года увенчала собою фактический разгул социальных сил. В конце Узла второго («Октябрь 16-го») набросана также картина беспредельного произвола и безнаказанности рабочей массы, не сдерживаемой никакой дисциплиной, никаким чувством ответственности. В известном смысле революция в русском обществе в 16-м году уже произошла. Только не всеми сразу была осознана.

В необязательном этом разговоре Воротынцева с Ковыневым можно видеть и как поползло, поехало в обществе понятие порядочности, какие разные порядочности оказались у писателя-казака и полковника. Всего два года назад он, не задумываясь, командовал людьми и им в лицо свою порядочность выставлял, а сейчас, бросив свой полк (законный отпуск, конечно, но...), ехал в Петербург с неясным намерением соучаствовать чуть ли не в государственном перевороте.

Да отклоненный от этого намерения бурным романом, всю неделю и провел в будуаре прекрасной Ольды Андозерской, отчасти утешенный за страдания родины.

Оказалось не чуждо и ему «повальное устройство личных благ», хотя еще и не коррупция...

«ЗА БОГА, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО!» ИМПЕРИЯ КАК ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ИДЕЯ

Конечно, для русского патриота и православного человека призыв к порядочности во время войны с Германией много значил. И, разумеется, порядочность, надежность соседа на войне куда важнее, чем партийные и идеологические разногласия. Но вот сам Воротынцев обдумывает, как объяснить солдатам необходимость смертельного риска. Чем задеть их сердца перед боем. Что назвать им

как главную, общую ценность, ради которой, быть может, предстоит и умереть:

«...Уж конечно не «честь» — непонятная, барская. Уж конечно не «союзные обязательства», их не выговоришь. (И сам Воротынцев не слишком к ним расположен.) А призвать на смертную жертву именем батюшки-царя? — это они понимают, на это одно откликнутся. Вообще за Царя — непоименованного, безликого, вечного. Но этого царя, сегодняшнего, Воротынцев стыдился — и фальшиво было бы им заклинать.

Тогда — Богом? Имя Бога — еще бы не тронуло их! Но самому Воротынцеву и кощунственно и фальшиво невыносимо было бы произнести сейчас заклинанием Божье имя — как будто Вседержителю очень было важно отстоять немецкий город Найденбург от немцев же. Да и каждому из солдат доступно догадаться, что не избирательно Бог за нас против немцев, зачем же их такими дураками ожидать?

И оставалась — Россия, Отечество. И это была для Воротынцева — правда, он сам так понимал. Но понимал и то, что они не очень это понимали, недалеко за волость распространялось их отечество, — а потому и его голос надломило бы неуверенностью, неправотой, смешным пафосом — и только бы хуже стало. Итак, Отечества он тоже выговорить не мог».

Здесь больше высказано о причинах гибели Российской империи, чем вместил бы научный трактат.

Полковник Воротынцев, человек долга, благородного происхождения, надежда России, не может выговорить традиционную формулу, с которой жила Россия в течение столетий. «За Бога, Царя и Отечество!» не произнесут его губы перед солдатским строем. Таким образом прежде, чем разрушатся эти понятия в сознании русских солдат, распалось их сложное единство в умах их офицеров.

В конце концов Воротынцев так и не смог найти со своими солдатами никаких общих понятий, кроме обыкновенного фронтового товарищества:

«...Приняв «смирно» и отдав «вольно», стал говорить не звонко, ...не рявкая, а с той же усталостью, ...как они себя чувствовали, как и сам бы еще до конца не решив дела:

— Эстляндцы! Вчера и третьего дня досталось вам. Одни из вас отдохнули, другие и нет. Но так смотрите: а третьи... легли. На войне всегда неравно, на то война... — Братцы!.. — Нам до России недалеко, уйти можно — но соседним полкам тогда сплошь погибать. А после — и нас догонят, не уйдем и мы... — надо загородить! Надо подержать до вечера! Больше некому, только вам».

Ничего не скажешь, идея хороша... Но она способна сплотить и дезертиров. Такая идея не может помешать будущему братанию с немцами. А что, собственно, могло бы еще помочь?

В понимании чести он солдатам отказывает, сам пренебрежительно называя ее «барской» и ставя мысленно в кавычки. Может быть, и — зря?!

Но трудно ожидать серьезного отношения к чести от солдат, если уж офицер заключает это слово в кавычки. И барского своего происхождения как бы стесняется. Это значит, что он своего природного права на лидерство не сознает.

Царя, своего царя он стыдится. По-видимому, потому, что знает о нем нечто, о чем народ его не ведает. Но ведь и это — зря. Как монархист, либо должен он знать также и нечто, что делает несущественными царские грехи и несовершенства (как романтически учит профессор Андозерская в «Октябре 16-го»), либо, не будучи в силах ничего изменить, вверяться судьбе вместе со всем народом (как генерал Нечволодов в «Августе 14-го»). А то ведь народ, рано или поздно, догадается, что у полковника на уме. И уж тогда с ним не сладишь.

«Союзных обязательств» Воротынцев тоже не уважает. Этого почти уже можно было ожидать после того, что говорилось о чести. Но, оказывается, он не верит и в то, что Бог за Россию в той войне. Ведь это, иными словами, значит, он не верит, что их война справедливая...

Возможно ли вести людей на смерть в таком случае? Для профессионала, технаря, хладнокровно делающего свое дело, конечно, возможно. Но Солженицын предварительно убедил нас, что Воротынцев не таков, что у него горячее сердце... Ах, да! Отечество, Россию любит он беспредельно, да — вот беда — они не поймут... «Недалеко за волость распространялось их отечество». То есть Финляндию, Польшу и Среднюю Азию оно не включало.

Где же эти общие для всех координаты? На чем держится его собственная порядочность? Чем так близок он своему народу и отечеству?

Ведь вот и подпевать своим солдатам во время панихиды по любимому командиру и герою, полковнику Кабанову, ему трудновато («Август 14-го»). Забыл полковник церковную службу... Ну, естественно, он ведь вполне современный человек. И совсем нерелигиозный...

Но тогда, в чем же его принципиальное отличие от рационалиста,головастика Ленартовича? Почему он так уверенно о порядочности говорил и даже на ходу смотрел в карту? Что он там такое видел?

Координаты-то все уж давно безнадежно были перепутаны. При перепутанных координатах и вывернутых понятиях уверенная линия Воротынцева становится не лучше приспособительного рыскания Ленартовича... Как только теряет Воротынцев возможность говорить от имени традиции, теряет он и свое моральное первенство.

А следом за ним и авторитет. И внутреннюю уверенность: «Когда все разрушается — как же верно: действовать? не действовать?»

Я не знаю, почему Солженицына обвиняют в монархизме. Никто убедительнее его не показал, как правящая элита в России (и лично Николай 11) последовательно разрушили все основания преданности трону у среднего командного звена, от которого и зависело существование Империи. Как неумело и расточительно растратила правящая династия все народные ресурсы, материальные, ду-

ховные и людские, как неблагодарно обращалась со своими спасителями (вставная новелла о Столыпине — «Август 14-го»). То, что в описании всего этого Солженицын сохраняет за царем и его семьей человеческую симпатию, только подчеркивает беспощадность его анализа и делает ему честь, как писателю. Все-таки он пишет роман...

Однако, как философ истории, Солженицын думает, что монарх был узловой точкой в единой системе нравственных координат, сплачивавших Россию. И если это было действительно так, Николай 11 не выполнил своей миссии. В романе это может быть прочитано как его вина. Вместе с тем не забудем, что автор — верующий христианин и при всем своем активизме, даже некотором материализме видения, не может думать, что судьба великого царства решилась ошибками одного человека, хотя бы и Государя. Его текст допускает, что и сами эти ошибки были предопределены свыше, и царь выступает тогда скорее как жертвенный агнец Божьего промысла, чем как действующий от себя самодержец: «В чем же тогда цель этого несчастного помазания? Чтобы Россия безвыходно погибла? ... — Вот это нам — не дано, — почти шепотом ответила Ольда Орестовна. — Поймется со временем. Уже после нас».

Время понимания, очевидно, не наступило еще и сейчас. Но наступило, по Солженицыну, время опять натянуть общую координатную сеть. Такую, которая сможет объединить весь народ, включая вчерашних смертельных врагов, такую, чтобы партийные разногласия могли снова казаться «рябью на воде». В такой сети нет, конечно, места самодержцу как человеку, но, вероятно, остается место для многих древних символов. Да и как без исторической мифологии покроешь единой сетью всю ту необъятную историческую общность «от молдаванина до финна», которая называлась когда-то Россией и действительно связана до известной степени внутренними силами сцепления? Однако «от края и до края» полную также и скрытым внутренним взаимным отталкиванием.

Никто не заподозрит и меня в монархизме, если я скажу, что триединство «Бога, Царя и Отечества» очень дальновидно было задумано.

По отдельности и Бог, и Царь, и Отечество для множества населявших Россию народов означали совершенно разные вещи. Для татарина, скажем, Бог останется иным, чем для русских, даже если с Царем и Отечеством он смирится. Для поляка проблему составляли уже и Бог, и Царь, потому что польский патриот не может признать раздел Польши законным. Для еврея, не говоря о Боге и Царе, даже и Отечество при определенном толковании становится проблематичным.

Слитная формула железным обручем охватывала их всех.

Практическая лояльность Российской Империи требовала принять всю формулу слитно, так что законопослушный гражданин автоматически, не рассуждая, принимал и пиетет по отношению к общим для всей империи ценностям.

Так было заведено еще в Римской Империи и с тех пор во всех последующих. Эта официальная формула, пока она не подвергалась анализу, и соответствующий ей пиетет в России действительно долгое время служили скрепой, меткой для многих поколений, указывающей направление гражданского мира, гарантирующей общественное спокойствие.

Однако со временем гражданский мир все чаще нарушался. Общественное спокойствие и личная безопасность граждан, принадлежащих к периферийным группам, оказывалась все менее обеспеченной. Во всяком случае несоизмеримой с их возросшими требованиями.

В «Августе 14-го» очень живо рисуется сцена конфликта поколений в еврейской семье Архангородских. Читатель может увидеть, что к началу века не только гражданский мир и общественное спокойствие уже были необратимо нарушены, но даже и примирительная позиция, как таковая, перешла к глухой обороне, похожей больше на безнадежные арьергардные бои:

«— Папа!! — воскликнула дочь с призвоном возмущения. — Ты можешь ничего для революции не делать, ...но так говорить о ней — оскорбительно! недостойно!.. Стыдно! Вся интеллигенция — за революцию!

Илья Исакович стал говорить настойчивее:

— ... Это — безответственно! Я вот поставил на юге России двести мельниц, паровых и электрических, а если «сильнее грянет буря» — сколько из них останется молоть?.. И что жевать будем?

...Соня крикнула с надрывом:

— Оттого ты и манифестировал вместе с раввином свою преданность монархии и градоначальнику, да? Как ты мог? Как тебя хватило?..

Илья Исакович погладил грудь, покрытую салфеткой:

— ... живя в этой стране, надо для себя решить однажды и уже придерживаться:

ты действительно ей принадлежишь душой? Или нет?.. Если нет — можно ее разваливать, можно из нее уехать... Но если да — надо включиться в терпеливый процесс истории: работать, убеждать и понемножечку сдвигать...

... Соня кричала все, что накопилось:

— Живя в этой стране!.. Из той милости, что ты — личный почетный гражданин, а кто к образованию не пробился — пусть гниет в черте оседлости! Назвал дочку Софьей, сына Владимиром, и думаешь, тебя в русские приняли? Смешное, унизительное, рабское положение! — но хотя бы не подчеркивать своего преданного рабства!.. Какую ты Россию поддерживаешь в «беде»? Какую ты Россию собираешься строить? Патриотизм? В этой стране — патриотизм? Он сразу становится погромщиной! ...А вы у царского памятника поете «Боже, царя»?

Илья Исакович даже губы закусил, салфетка вывалилась из-под тугого воротника.

— И все равно... и все равно... Надо возвыситься... И уметь видеть в России не только «Союз Русского Народа», а...

Воздуха не хватало...

— Черная сотня! — кричала Соня... — Черной сотне ты кланяться ходил, а не родине! Мне стыдно!!»

Здесь сложность не в том, что нервной Соне стыдно. Аргументы Ильи Исаковича вполне убедительны. Сложность в том, что несмотря на вескость своих аргументов, стыдится сам Илья Исакович и потому не может сохранить спокойствие в споре. В чем же дело?

Почему сколько-то лет назад так все легко обходилось, а тут вдруг стало — невозможно? Ведь раньше и «Боже, царя» пели, и в армии служили, и даже молебны за царя отстаивали, а тут вдруг — стыд? Отчего бы это?

А — от анализа.

Если вдуматься в формулу «За Бога, Царя и Отечество», обнаружится, что это то же, что «Православие, Самодержавие и Народность», то есть — за православную церковь, русского царя-законодателя и за общее с Россией, имперское культурное отечество, то есть русификацию. При узком понимании этой формулы сюда даже православие старообрядцев не входит, как мы видим из сцены отказа солдата-старовера перед смертью от причастия у полкового священника («Октябрь 16-го»).

Еще менее совместимы с этой формулой различные национализмы. Категорически несовместимы — иные исповедания. Наконец, невозможно представить себе лояльного еврея, который примет для себя эту формулу всерьез.

Вообще, если пытаться понимать эту формулу, неизбежно одни будут понимать ее слишком узко, а другие — слишком широко. Такие формулы создаются не для понимания, а для вдохновения и повиновения. Но если уж кого-то эта формула не вдохновляет, а у государства нет больше силы принуждения, лучше оставить его в покое и предоставить собственной судьбе.

Предки Ильи Исаковича свободно могли подпевать «Боже, царя», не вникая в смысл, полагая, что по темноте их и низкому общественному положению Бог непременно простит. Но самому просвещенному Илье Исако-

вичу, хотя уже и без Бога, невозможно в этот смысл не вникнуть и не поежиться, если не за себя, то за других.

В течение столетий Российская Империя (как и Римская в свое время) включала по мере роста не только наивных варваров, которые легко перенимали господствующие представления или просто мирились с фактом. Все больше твердых культурно нерастворимых групп осложняли единство Империи и создавали психологическую основу для будущего разрушительного плюрализма.

Развесив по пространству свои разноцветные координатные сети, создали они пестрый соблазняющий выбор, уловляющий человека, не целиком поглощенного собственной традицией. Сугубо национальная, православно-русская имперская формула превратилась в первую и наиболее легкую мишень для рационалистической критики. И вскоре оказалось возможным существование обширных кругов, порядочность которых уже не включала имперского патриотизма.

Из переписки А. Пушкина с П. Вяземским, например, мы узнаем, что еще в 1830 году можно было сочувствовать польскому восстанию и оставаться в высшей степени порядочным в глазах русского образованного общества. А в 1863-м в иных кругах уже нельзя было и считаться порядочным, не сочувствуя ему. Многие русские интеллигенты уже тогда оказались в положении Ильи Исаковича.

Представления о порядочности не помешали русским писателям романтизировать образ Шамиля и сопротивление кавказских горцев. А еще через небольшое время порядочность уже почти требовала от них сочувствия евреям в их униженном положении. Еще Николай 1 понимал, какую грозную духовную опасность имперским ценностям представляют евреи, замкнутые в своем последовательном, отличном от всего окружения, мировоззрении, и задумывал широкую программу их «перевоспитания». Вместо этого, однако, напротив, произошло перевоспитание русского образованного общества,

принявшего, к сожалению, еврейскую проблему гораздо ближе к сердцу, чем можно было ожидать (и в положительном, и в отрицательном смыслах). Сочувствие евреям превратилось почти в такую же императивную формулу, как «Бог, Царь и Отечество», разделив общество на враждующие лагеря, взаимно третирующие друг друга за непорядочность. Евреи, как раньше поляки и горцы, имели к этой борьбе лишь косвенное отношение, используя в меру своего цинизма существовавшую в обществе тенденцию.

Со всем этим отягощающим грузом в костях Российская Империя вступила в величайшую в истории человечества войну против двух других империй, не озаботившись предварительно навести порядок в собственном доме. Не потрудившись приискать какой-нибудь другой общий интерес и связав существование Империи с русским государственным патриотизмом и православием, правящая элита закономерно поставила под удар и русскую государственность, и русские национальные интересы, и православие, в конце концов.

«ЛЮБЛЮ ОТЧИЗНУ Я, НО СТРАННОЮ ЛЮБОВЬЮ». НОВАЯ ОБЩАЯ СЕТЬ?

Люблю Отчизну я, но странною любовью! — наивно написал юноша Лермонтов:

« Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья».

Не любил он, одним словом, почему-то, ни Империи, ни военно-патриотической мифологии, неизбежно связанной с ее существованием. И сам считал это странным, ибо еще не было это принято в его кругу. Он, напротив, любил:

«...проселочным путем скакать в телеге,
И взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень.»

Странно ли это? По правде говоря, совсем наоборот. Если в самом деле любить «ее степей холодное молчанье, ее лесов безбрежных колыханье, разливы рек ее, подобные морям», вряд ли потянет в Польшу, в Среднюю Азию, а там и в Китай. Однако, далеко не всем так кажется.

Как-то, отдыхая в Коктебеле, я выслушал лекцию националистически настроенного писателя (Олега Михайлова) о полководце Суворове. Суворов, оказывается, победил турецкого султана, в результате чего Крымское ханство было разгромлено, и победоносные русские войска заняли Крым. «Вот, благодаря этому замечательному полководцу, мы и имеем теперь возможность наслаждаться красотами Крыма», — мягко закончил он свою содержательную лекцию.

Наконец-то я понял, что помешало мне наслаждаться также и красотами Швейцарии. Преданный австрийцами Суворов, хотя и по-прежнему победоносный, вынужден был отступить из Швейцарии и вообще из Европы. Однако замечание Михайлова вовсе не было юмористическим. Он искренне верил в то, что говорил.

Русский национализм, в отличие от других, местных национализмов, содержит в себе непримиримое противоречие, поскольку это национализм имперской нации. Желая непосредственного блага своему народу, он должен был бы стремиться избавиться от непосильного бремени великодержавного участия в мировой политике

и опеки над бесчисленными этническими меньшинствами. Естественнее всего беречь прежде всего своих людей и благоустраивать свою землю.

Однако эстетическая и историческая привлекательность имперского величия толкает писателей и идеологов

на фактическое забвение прямых интересов своего народа ради вне его расположенных, зачастую мнимых, но иногда очень реальных целей. Да и кто определил, что прямые интересы — самые насущные?

Для разных групп населения Империи соотношение прямых и косвенных интересов выглядит по-разному. А какая именно группа вернее всех представляет народ? И в чем именно их польза? Не повторять же вслед за Лениным, что русский народ выигрывает от поражения царизма в войнах?

Мне в Москве один офицер так исповедовался: «Посылают меня в Чехословакию. А, думаю, да зачем это мне нужно! Не подлец же я, в самом деле. С другой стороны — двойной оклад, то, се. Быстрое продвижение. Хочется, понимаешь, за границей пожить. Прибарахлиться. Ну, не дурак же я. Такой шанс упустить! Что, на мне одном это все, что ли, держится? Другого они, что ли, на мое место не найдут?»

И этот приблатненный офицер тоже принадлежит к русскому народу.

Первая мировая война разрушила все три континентальные империи, но если Германия и Австрия остались все же Германией и Австрией, России логикой событий пришлось отчасти перестать быть Россией. СССР в годы своего образования действительно Россией не был. Эта национальная травма не изжита до сих пор. Теперь Россия, как официальная, так и диссидентская, каждая по-своему, берет некий реванш, для будущего страны небезразличный.

Советский Союз в свои первые годы Россией не был, но империей быть не переставал. Логика Империи очень скоро создала и Императора, а за ним и имперский народ, «первый среди равных». Под модифицированным лозунгом — «За Родину, за Сталина!» — наше бывшее отечество было распространено далеко за волость. Завоевана, наконец, и Восточная Пруссия, и подобно Крыму теперь уж сорок лет заселена русскими

людьми. Что же теперь русскому националисту желать их изгнания?

Русский национализм, в высшей степени естественный после десятилетий унижения, тем не менее не имеет сейчас никакого комфортного выхода вне укрепления Империи. Все народные силы уходят на Империю, ее охрану и управление. Но все блага теперь тоже поступают через нее. Даже и хлеб поступает уже не изнутри России, а снаружи.

За прошедшие десятилетия русский народ в своей значительной части (и по человеческим качествам, может быть, нехудшей) превратился в многомиллионное служилое сословие, пронизавшее все поры Советской Империи. Миллионы русских людей живут теперь в Прибалтике, в Крыму, на Украине, на Кавказе и в Казахстане.

Их общая система координат — государственная служба.

Поневоле станешь тут блатным. С волками, как говориться, жить...

«Что такое государственная служба? Это — самая устойчивая из служб и самое выгодное из занятий, если его правильно понимать. Государственная служба это — осыпающее нас расположение высших лиц и постепенное наше к ним возвышение. Это — поток лестных наград и еще более приятных денег, иногда и сверх жалованья» («Август 14-го»).

К этой иронической характеристике государственной службы в царское время следует теперь добавить еще одну немалую деталь: почти никакого больше занятия для советского человека и нету, так что выбор его — между государственной службой выгодной и легкой и государственной службой тяжелой и невыгодной. Завоешь тут по-волчьи.

Отечество их теперь распространяется уже не только на Тамбовскую губернию. Меньше всего, пожалуй, на нее. Ибо в ней почти нет места для службы. А служба идет там, куда пошлют... Что с того, что они заняли

место репрессированных, наполовину истребленных народов? Их дети уже родились на этих землях. Вернуться в прежние пределы без кровавых эксцессов новой революции они не могут. А может быть, уже и не хотят.

«Фотографий — нет, и тем горше жаль, что с тех пор сменился состав нашей нации, сменились лица, и уже тех бород доверчивых, тех дружелюбных глаз, тех неторопливых, несебялюбивых выражений уже никогда не найдет объектив», — ностальгически вздыхает Солженицын. И, хотя бороды в последние годы уже отрастили, доверчивых, дружелюбных и несебялюбивых выражений от новых поколений ожидать не приходится...

Нечто подобное за те же годы произошло и с евреями. Будучи еще радикальнее денационализованы, практически уничтожены как народ, они превратились в социальную группу, расселенную в больших городах, «прослойку, обслуживающую господствующий класс». Уж тут «неторопливых, несебялюбивых выражений» не жди. К счастью для евреев их служба, видно, кончается. Империя может обойтись без них. И уже обходится, в значительной степени.

«Любовь к народу бывает разная и разно нас ведет», — отмечает Солженицын в своем очерке земского движения («Август 14-го»). Должны ли мы, исходя из своей любви к еврейскому народу, печалиться, что им нет больше места в Империи? Должен ли Солженицын радоваться, что для русских молодых людей открываются вакансии? Должен ли он сочувствовать их государственным успехам?

Любовь к своему, родному, побудила когда-то Солженицына написать поэму в прозе «Матренин двор» и повсеместно хвалить писателей-деревенщиков. Однако эта любовь не сделала «деревенщиком» его самого. Деревенский народ в России давно не составляет большинства и уже не может служить твердыней традиции или носителем моральных ценностей, которые когда-то основывались на их прочной связи с почвой, обладании землей.

Отобрали у них землю, вырвали из почвы. Едва ли они не стали более блатными, чем горожане. Свободы-то у них ведь еще меньше, чем в городе.

Притяжение великой универсальной культуры, обаяние исторического величия Империи тянут в сторону от всякого областного патриотизма к общим проблемам. А это значит и к общим бедам: напряженной жизни больших городов, соревнованию честолюбий и коррупции, войне, политике, классовой и этнической розни.

Из двух тысяч опубликованных страниц солженицынского романа ненамного больше сотни посвящены деревенским идиллиям. Не больше, чем доля населения, занятая в сельском хозяйстве в современной развитой стране. И не меньше, чем необходимо для националиста-почвенника в его трудном положении.

Нелегко бы пришлось мне, если бы я поставил себе задачу исчерпывающе охарактеризовать своеобразие новой координатной сети, исходящей от пера Солженицына. Ведь не для того же пишет он свои тысячи страниц, чтобы их легко было подытожить в одном абзаце. Не для того и изощряется в языковых поисках, чтобы позволить свести свой труд к двум-трем банальностям, охватывающим его взгляды рациональной формулой. Он стремится разветвить корни своего повествования так широко, чтобы самые отдаленные ветви сегодняшнего российского дерева ощутили свою сродненнность через это общее прошлое. И путь этот не закрывает ни для раскольника, ни для сектанта, ни для украинца, ни для еврея, если они испытывают тот же почтительный трепет листа к основному стволу, который кажется ему столь естественным в России, единой и неделимой. Неделимой не только в пространстве, но и в истории...

Однако неделимая эта Россия, Родина, Отчизна, Отечество, не только в смысле старой имперской формулы, но и в более широком и благородном смысле, существует сегодня лишь разобщенно и расколото в мыслях разных по характеру и убеждениям людей. Солженицын

пытается связать все эти разные в сущности картины во взаимно-дополняющееся, фантастическое по сложности соборное единство.

Ведь новая координатная сеть, по мысли Солженицына, должна вернуть порядочность его народу. Точнее, ввести такое понятие о порядочности, которое вернет народу самоуважение и объединит не только друзей, но и врагов. В том смысле, что предмет своей вражды они будут рассматривать в пределах той же нравственности, на одной морально-географической карте. Тут без противоречий не обойдешься. Противоречивые сочетания часто живут дольше простых. Парадоксальная реальность достовернее, чем умопостигаемая.

Поэтому Солженицын не боится компромиссов и логических неувязок. Оставаясь политическим агностиком, он верит, что естественное развитие само определит политические формы без всякого предварительного замысла. Основания для своего оптимизма он черпает из исторического прошлого:

«Кто это смеет возомнить, что способен придумать идеальные учреждения? Только кто считает, что до нас... ничего не было важного... Лучший строй не подлежит нашему самовольному изобретению. Ни даже научному... Не заноситесь, что можно придумать — и по придумке самый этот любимый народ коверкать... Связь поколений, учреждений, традиций, обычаев — это и есть связь струи».

Хотя это высказывается в 1914 год персонажем, еще не знавшим, что струя в ближайшем будущем прервется, относится это конечно к сегодняшнему дню и обращено к народу, который коверкали уже не раз. Вероятно, будут и впредь. Писателю, безусловно осуждающему историческую заносчивость революционеров, приходится теперь принимать их наследие как несомненный исторический факт.

Римская Империя достигла величия ценой рассеяния, развращения и гибели своего народа, превращения его

в привилегированное сословие. Советская Империя не прочь повторить этот исторический прецедент. Русское происхождение уже практически превратилось в привилегию во многих отраслях, но у Советской власти нет пока идеологических средств закрепить это положение. Поэтому русский национализм сейчас балансирует на лезвии ножа. Он может превратиться в средство имперской политики, как это ни трудно в многонациональной Империи. Но с равным успехом он может превратиться в средство отступления от этой имперской политики: в оправдание отказа от мировых авантюр и вопиющих захватов. Ибо при настоящих советских условиях такой отказ требует оправдания.

Для службиста русский национализм превращается в оправдание его службы.

Для диссидента он становится стимулом к отказу от этой службы.

И тот, и другой не обойдутся теперь без ссылок на Солженицына. Он один пытается натянуть ту общую сеть координат, в которой те и другие, возможно, сумеют понять друг друга. Служители власти, работающие в цековских кабинетах, штабах и научно-исследовательских институтах, и властители дум, работающие истопниками и дворниками в московских и ленинградских подвалах. Может быть, и наступит час, когда они согласятся считать свои разногласия «ряьбю на воде», и это будет для Солженицына час победы. Но эта победа так смутно еще различима! Национальное согласие так хрупко и зависит от такого множества тонких деталей, вымученных компромиссов и недоговоренностей, что один скептический взгляд может разрушить все здание.

Вот почему Солженицын и не зовет за собою никого из тех, кто может с сомнением отнестись ко всей сети, вывязываемой им из исторического прошлого, видимого под очень определенным прагматическим углом. Это относится к нашему брату-еврею в первую очередь, но, быть может, и не только к нему.

Прошлое, которое воссоздает Солженицын в «Красном колесе», пронизано деталями, выстраивающимися в картину, близкую только сердцу сочувственно настроенного патриота, но способную вызвать открытое возмущение скептика.

«Вышел на трибуну тифлисец Зурабов и хужейшим русским языком стал поносить русскую армию в общем виде, изгаляться над ее военными поражениями — что она всегда была бита, будет бита, а воевать прекрасно будет только против народа».

Грузин Зурабов наверное был бы потрясен, если бы оценил это требование — говорить чистым русским языком. Он жил в пределах Российской Империи не в гостях. Его поношение русской армии могло бы рассматриваться как национальное оскорбление только, если бы грузины не служили в этой армии. Если же они обязаны были служить, его негодование по поводу бесчисленных поражений в малоосмысленных войнах, вроде Русско-Японской, не менее оправдано, чем негодование по тому же поводу, высказанное самим Солженицыным прекрасным русским языком:

«С первого же сражения мелькают русские генеральские знаки как метки непригодности, и чем выше, тем безнадежней, и почти не на ком остановить благодарного взгляда...»

Да Зурабова бы за такую фразу в клочки разорвали! Видно, не в том дело, что сказано, а в том, кто сказал...

Эта картина прошлого призвана донести до современного русского человека благую весть об общей истории, в которой не стыдно ему будет встретиться с бывшим противником. С подлинной симпатией описывает Солженицын рабочего-большевика А. Шляпникова, подчеркивая, что революционерство его связано с его происхождением из раскольников: «А что за вид был у Саньки в семнадцать лет, еще до первой одиночки, ...до Владимирского централа, еще когда совсем не был революционер: в косоворотке провинциальной.., а руки беспокойно просятся в дело... И глаза — к подвигу, к вере.

А вера та была — древле-православная. Она еще гналась тогда, и за нее стеной стояли истинно православные, и, как все, готов и Александр был — умереть.

...Александр пошел в с.-д. Как будто все другое, а гонители, а враги — те же самые...»

Русский, стало быть, наш, и вера его фанатическая и заблуждение, и соблазн («...рад госпоже, что меду на ноже») — все наше.

Но и не наши — тоже люди. И — нет, как будто, правых в ожесточенных людских спорах, а — виноваты все...

«Допустить, что не вся мировая истина захвачена нами одними. Не проклянем никого в «меру его несовершенства»».

И сегодняшний русский человек, который смертельно устал от марксизма, навязанного ему отцами, должен ощутить, что прошлое его не позорно. Что отцы, хотя и ели кислый виноград, но вечного проклятия на них нет. Дорога назад, в общее лоно, для них свободна...

Было! Было затмение: «Это — смертельная болезнь: помутнение национального духа. Если образованный класс восхищался бомбометателями и ликовал от поражений...? Это уже были не мы, нас подменили, какое-то наслание злого воздуха. Как будто в какой бездне кто-то взвился... И закрутился, и спешит столкнуть Россию в пропасть... Тут есть какой-то мировой процесс. Это — не просто политический поворот, это — космическое завихрение. Эта нечисть, может быть, только начинает в России, а наслана — на весь мир».

Так, может быть, все же избрана Россия? Этот взволнованный монолог рыцарственного монархиста, генерала Нечволодова, уравновешивается, однако, спокойной кроткой вдумчивостью Сани Лаженицына («Октябрь 16-го»): «В этом проигранном мировом положении — зачем каждое исповедание настаивает на своей исключительности и единственной правоте? И православные, и католики. И вообще христиане?.. Как же можно предположить,

чтобы Господь оставил на участь неправоверия все дальние раскинутые племена?.. И те народы обречены на вечную тьму лишь потому, что не перенимают превосходную нашу веру? Христианин — разве может так понимать?»

Может, конечно. Вот и еще от Нечволодова: «Вся русская жизнь — в духовном капкане. Три клейма, три заразы подчинили нас всех: спорить с левыми — черносотенство, спорить с молодежью — охранительство, спорить с евреями — антисемитизм...»

Ну, дались им евреи!

Спорить можно только с одним евреем или с еврейской организацией. Спорить с евреями, будто все евреи заодно, — это действительно антисемитизм.

И — с молодежью спорить, конечно, охранительство, хотя и не всегда им во вред. Но, главное, — как же можно спорить с молодежью огулом, со всеми, — ведь им жить после нас.

Наконец, левые, разве все они одинаковы? Разве между эсерами и социал-демократами не было никакой разницы? И так уж мало от них отличались кадеты? Не политический ли это дальтонизм?

Да. Русская жизнь и впрямь была (и есть) в духовном капкане — капкане поспешных радикальных суждений, неудержимых антипатий, философских общих мест

и неоглядной решимости, присущей людям, никогда не изведавшим реального политического опыта жизни среди равных. Этот капкан многие годы и был их теоретической координатной сетью, как проникновенно показано в замечательном сборнике «Вехи», подытожившем целую эпоху русской жизни и сейчас остающемся актуальным.

Трудно предвидеть, привнесет ли одинокий подвиг Солженицына долгожданную зрелость суждений в русские споры или просто добавит еще один радикальный рецепт. Координатная сеть, которую он натягивает, далека от завершения, но и с первых штрихов видно, что она далека от простоты. Однако писатель лишь отчасти может направлять внимание и понимание читателя.

И сеть, которая натянется в умах миллионов его последователей, вряд ли будет той самой, которую лелеял он в своей душе. Мы можем только пожелать, чтобы и она не превратилась в новые силки для русского духа.

Еще труднее предвидеть, приведет ли эта дорога русских людей к лучшему пониманию и сближению с другими цивилизованными народами или станет новым путем к отчуждению от человечества. Литературная манера и подход Солженицына взламывают непроницаемую корку советского изоляционизма и дают путь к общечеловеческим ценностям.Но и изоляционист найдет у него достаточно оснований для национального обособления и гордыни.

Как это ни странно звучит, я думаю, что израильтянин может найти у Солженицына очень много необычайно важного для себя, если он сумеет преодолеть первый барьер непонимания, связанного с различием исторического опыта. Проблема общих ценностей и основанного на них самоуважения — проблема проблем в нашем обществе, составленном из десятков групп разной культурной ориентации. Народ наш велик не числом, но многообразием. Пример аналогичной задачи взятой на себя одним человеком, много дает для понимания наших трудностей. Мне жаль, что нет у нас великого человека, который дерзнул бы взвалить на себя такую ношу. Большинство наших писателей стараются разрушить у нас разные наши предрассудки. Когда выяснится, что общая сумма этих предрассудков составляет почти все, что объединяет нас в народ, может оказаться уже поздно придумывать новые рецепты.

Но вместе с тем я рад, что творческую задачу, порученную нам всем, не понесет на себе одинокий герой.

ЕВРЕЙСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА

«...Увы! Шум народов многих! шумят они, как шумит море.

Рев племен!.. Ревут народы, как ревут сильные воды...»

(Исайя, 17, 12).

Как различить в этом многоголосом реве родной звук? Есть ли он, этот единственный пароль, отзыв на который, хотя бы неосознанно, хранится в нашей душе? Те ли мы, за кого нас принимают? Те ли, за кого себя выдаем?

Положение евреев в России как меньшинства, вкрапленного в «большую систему», представляет характер самоизучения, как перевод наших особенностей на язык этой системы.

«Большой системой» я здесь называю эмпирическую реальность русской культуры, на языке которой мы говорим. В то время, как язык этой культуры большинству из нас понятен, наши собственные особенности до тех пор, пока они не выражены на этом языке, осознаются нами очень смутно или не осознаются вообще.

Мы, собственно, всегда понимаем себя в отличиях. Национальное сознание часто оттачивается на сравнениях. Россия осознала себя только в европейском контексте и по-настоящему лишь после того, как Чаадаев, Хомяков и другие перевели язык русских чувствований на европейский философский язык.

Хотим мы этого или не хотим, мы живем в мире, который в очень сильной мере определяется европейской литературой, европейской философией и европейской религией, то есть христианством. Поэтому субъектом нашего исследования почти всегда невольно оказывается европеец и набор его представлений.

С этой точки зрения исключительный интерес для нас представляет одна из ранних работ Мартина Бубера, посвященная особенностям еврейского национального характера, как он их видел. Эта работа была написана в начале века в немецкой среде, в которую немецкие евреи исключительно глубоко проникли и, подобно советским евреям, на протяжении, по крайней мере, двух поколений ощущали культурно «своей».

Чтобы пойти дальше, мне придется обильно процитировать Бубера, поскольку он у нас не так хорошо известен, чтобы я мог просто на него сослаться:

«Еврейство как духовный процесс выражается в истории, как стремление ко все более совершенной реализации трех взаимно связанных идей: идеи цельности, действия и идеи будущего. Каждый народ имеет присущие ему тенденции и созданный им мир собственных творений и ценностей, так что этот народ живет дважды: один раз мимолетно и относительно в чреде земных дней, а второй раз — в то же самое время — постоянно и абсолютно в мире странствующего и ищущего человеческого духа.

Идея и стремление к цельности в национальном характере основываются на том, что еврей более способен усматривать связь между явлениями, чем отдельные явления. Он видит лес более подлинным, чем деревья, общину более подлинной, чем людей. Поэтому у него больше настроения, чем образов, и он часто склонен создавать понятия о полноте явлений, которые им еще полностью не пережиты.

Впервые, в завершенном виде, у пророков возникает идея трансцендентального единства: творящего мир, царящего над миром, любящего мир Бога...

Вторая идея еврейства — это действие. Еврей более предрасположен к подвижности, чем к восприимчивости. В действии он обладает большей субстанциональностью и более индивидуален, чем в восприятии. Для его жизни важнее то, что он осуществляет, чем то, что ему противостоит. Поэтому, например, все искусство евреев так своеобразно по форме. Поэтому они сильнее в выражении, чем в содержании. И поэтому им, как людям, действие важнее, чем переживание.

Уже в древности в центре еврейского религиозного сознания была не вера, а дело. В книгах Библии о вере говорится мало, но много — о делах... впоследствии из религиозного сознания возник обрядовый закон.

Против окостенения закона восстало стремление к действию. Главной задачей раннего христианства было действие...

Первоначальный хасидизм, который имеет столь же мало общего с современным, что и раннее христианство с церковью, также можно понять только, если убедиться, что он является возрождением идеи действия...

Третья тенденция еврейства — идея будущего. Она основывается на том, что чувство времени у евреев развито намного сильнее, чем чувство пространства: красочные эпитеты Библии говорят, в противоположность, например, гомеровским, не о форме и цвете, а о звуке и движении. Наиболее присущей евреям формой художественного выражения является специфически временное искусство — музыка, и связь поколений для нас более важный жизненный принцип, чем вкус к современности. Еврейское национальное сознание и Богопознание питаются исторической памятью и исторической надеждой.

Мессианизм до самой глубины своей — самобытная идея еврейства. В будущем, в изначально вечно близкой и вечно далекой сфере, текучей и неподвижной, как горизонт, в которую дерзают проникнуть лишь прихотливые, шаткие и непостоянные мечты, еврей задумал построить дом для человечества, дом для истинной жизни. Здесь впервые со всей силой абсолютное было провозглашено целью человечества, реализуемой с его помощью.

Истинная жизнь еврейства, как любого творческого народа, есть то, что я назвал абсолютным. В настоящее время еврейский народ знает только относительную жизнь. Он должен воспрянуть в самой своей глубине, где зародились некогда великие тенденции еврейства, и где из горнила вышли на мировое поприще три гиганта: Ягве — Бог единства, Мессия — выразитель будущего и Израиль — человек, борющийся за свое дело, не жалея сил... Только тогда, когда еврейство расправится как рука и возьмет каждого еврея за волосы, и подхватит его, как буря в Иерусалиме между небом и землей,

как некогда рука Господня схватила и понесла пророка Иезекииля...»

Нужно сказать, что рука Господня действительно схватила и понесла европейского еврея через двадцать лет после того, как были сказаны эти слова, с такой неземной силой, что мощь этого броска до сих пор отзывается в сердцах и сказывается на международной политике.

Но мы, евреи СССР, зададим себе вопросы, соответствующие поставленной здесь задаче: верно ли все это в отношении нас? Не упущено ли что-нибудь существенное? На оба эти вопроса одновременно хочется ответить положительно.

С одной стороны, все это верно. Все три тенденции ярко проявились в характере русских евреев во время революции. Я имею в виду невероятно активное, полное героических и злодейских подвигов поведение евреев во всех трех русских революциях, их громадную роль в Гражданской войне в России и выдающееся участие в послевоенном строительстве.

Их цельность в сочетании с деятельной активностью толкнули их на простор общероссийской (а многих и интернациональной, всемирной) деятельности прежде, чем они успели осознать смысл и характер своей роли. По-видимому, чисто еврейская среда того времени не могла дать им такого ощущения полноты действия, абсолютности его, слитности убеждения и поступка, и даже, казалось, будущее требовало этого отказа от национальной ограниченности.

Впоследствии, в относительно мирное время, те же тенденции приковывали внимание евреев к научному монизму, заставляли их неистово строить, выдумывать, изобретать и, жертвуя собственным благополучием, давать во что бы то ни стало образование своим детям, навязывая окружающим свой идеал справедливости, «правильной жизни» и пренебрежения настоящим ради будущего.

Теперь, составляя значительный слой советской интеллигенции, евреи внесли свое чувство цельности в советские научные школы, своей неформальной деловитостью смертельно надоели администраторам, языковой изощренностью повергли в уныние любителей русского языка и наполнили открытую печать, закрытую отчетность и иностранное радио мрачными социологическими и экономическими прогнозами, отчаянными политическими призывами и другими формами заклинания будущего.

Но есть и другая сторона. Я чувствую, что в характеристике Бубера недостает какого-то очень существенного элемента, достоверного признака, который бы заставил меня воспринять ее как характерологическую реальность, а не просто как романтическую апологию.

Действительно, все три элемента — цельность, деятельность и ориентация на будущее — предопределили участие русских евреев в революции под социалистическими лозунгами. Но те же три элемента мы находим и в таком совершенно внутриеврейском движении, как хасидизм. Это различие проявлений объяснить нелегко. Прямым влиянием окружающей среды оно не исчерпывается, так как остались же, в свое время, евреи совершенно глухи к европейской Реформации, несмотря даже на прямые попытки реформатов к сближению.

Может быть, мы лучше поймем это различие, если заметим, что та «духовная революция», о которой говорит Бубер, имея в виду христианство, сопровождалась длительной социальной революцией, высшая точка которой зафиксирована в истории под названием Иудейской войны, о которой он не упоминает. Между тем, только рассматривая еврейскую историю 1-го в.н.э. как целое, можно понять, краской какого спектра явилось христианство.

Может быть, чувство неполноты характеристики, данной Бубером, возникает от его повышенной духовности, заставляющей относить к так называемой «относитель-

ной жизни» народа всякую реализацию его устремлений. Но только эта реализация и обнажает народные стремления во всей их природной силе без эстетических прикрас и ограниченности временем и местом. Только рассмотрение исторической реальности во всем объеме может дать представление об источнике, порождающем полярные феномены и противоборствующие течения. Нельзя понять ранних христиан или ессеев, если не говорить о современных им фарисеях и зилотах, и нельзя понять ни тех, ни других, если не выделить тот круг вопросов, при разрешении которых они разделились. Подобным же образом я буду исходить из того, что и в наше время источник, порождающий участие русских евреев в революции (безудержно социологическую трактовку ими мессианских идеалов) и, скажем, такое далекое от социальной действительности движение, как хасидизм, один и тот же, и, возможно, тот же самый, что и в 1-м в.н.э. Тогда и сионизм, и интернационализм, и социальный радикализм и мистика, и М. Бубер и даже Л. Шестов также могут оказаться цветами одного спектра.

Рассматривая христианство только в его противостоянии «окостенению закона» и только в его национально-еврейском контексте, мы не сможем увидеть истоков его будущей распространенности и объяснить явление «апостола язычников» Павла. «Окостенению закона» по-своему противостояли и фарисеи, представлявшие патриотическое крыло иудаизма и при этом враждебные христианству. Возможно, еще в большей степени этому окостенению противостояли зилоты, которые во время Иудейской войны зашли в этом противостоянии так далеко, что силой захватили Храм и вынудили к бегству из Иерусалима законоучителя Иоханана Бен Заккая и многих других. Если бы римляне не разрушили Храм, еще неизвестно, что бы с Храмом сделали зилоты. Эти древние радикалы не останавливались ни перед чем, и их по справедливости нужно поставить перед левеллерами и якобинцами в ряду революционных учителей человечества.

В гораздо большей мере, чем окостенению закона, христианство 1-го в. противостояло ограниченному узкому патриотизму фарисеев и социальному реформаторству зилотов. Притчи Евангелий («добрый самаритянин», «динарий кесаря» и т. п.) настойчиво уводят от традиционно узкой постановки вопроса, а формула «царство Мое не от мира сего» прямо направлена против всякого иудейского реализма и закономерно рождает в сознании противопоставление веры делам.

Проследим коротко историю зилотов, поскольку это течение, определяющим образом повлиявшее на историю еврейского народа и явившееся проявлением его страстей, которые, по моему мнению, определили и нашу судьбу, менее всех других у нас известно.

В начале 1-го в. Иегуда Галилеянин из Гамалы выступил с учением, которое вскоре привело его к восстанию и смерти на плахе. Согласно этому учению, признать над собою какого-нибудь господина, помимо Всевышнего, значит для иудея отчасти умалить свое почитание Господа и, таким образом, нарушить Завет. Поэтому абсолютная свобода есть непременное условие благочестия. Нет земных царей для того, кто знает Царя Небесного. Но Бог помогает лишь тому, кто помогает себе сам. К этому времени рабби Гиллель уже произнес свои знаменитые слова: «Если не ты, то кто?» и «Если не сейчас, то когда?» Поэтому каждый немедленно должен был сделать выбор между рабством и свободой и этому выбору подчинить всю свою жизнь.

Таким образом, первый теоретик и практик анархизма родился в Палестине и производил свою идеологию от интерпретации библейского источника. Его последователей называли ревнителями (зилотами) и, наряду с саддукеями, фарисеями и ессеями, считали «четвертой школой». Два сына этого человека были впоследствии распяты римлянами на кресте еще за двадцать лет до начала Иудейской войны, третий его сын был одним из предводителей зилотов, захвативших Иерусалим в 66 г.,

а внук Элеазар Бен-Яир возглавлял гарнизон знаменитой Массады и, может быть, впервые в истории провозгласил альтернативный лозунг: «Свобода или смерть!»...

Так же как и о революции в России нельзя думать, что ее значение сводилось к борьбе с германской оккупацией на том основании, что она возникла во время Русско-германской войны, так и о Иудейской войне нельзя судить, забывая, что это была война гражданская. Уже в 66 году, сразу после начала восстания зилоты сожгли все, хранившиеся в Храме, долговые обязательства и убили корыстолюбивого первосвященника Ананию, а, спустя короткое время, вождь умеренной партии Элеазар расправился с ними и казнил одного из их вождей, Менахема. Однако в 68 году зилоты снова победили, освободили всех рабов в Иерусалиме, стали ставить первосвященников по жребию и выполняли обрядовые предписания по своему разумению (в 1-м веке нашей эры это, наверное, не намного отличалось от разрушения церквей и антирелигиозной борьбы).

Если ортодоксальное иудейство и раннее христианство (в разной степени и, конечно, в разных направлениях) от чего-то отталкивались, то не столько друг от друга, сколько от материалистического воплощения Закона, от социологической вульгаризации идеи Царства Божьего, от хирургической попытки воплотить бесконечное в конечном, веления Духа — в правилах общежития.

Сами эти попытки есть, очевидно, органический результат цельности и действенности натуры, которая не может примириться с частичной реализацией абсолютного в относительной жизни человека и, будучи не в силах реализовать абсолют, склонна абсолютизировать относительную реализацию. Это, конечно, полностью относиться и к жизни, и идеологии ессеев, которые в своем монастырском рвении существенно упростили Учение.

Если мы будем постоянно держать в памяти эти определяющие черты национального облика, неоднократно воспроизводящиеся в истории евреев, нам не покажутся

странными их обычный политический радикализм, современная распространенность среди них марксизма и антирелигиозных предубеждений. Попробуем найти им законное место в более общей схеме.

Если можно определить одним словом, что представляется недостоверным в описании народного характера, данном Бубером, то это слово будет — совместимость. Три тенденции, отмеченные в вышеприведенной цитате, вполне совместимы. Они не противоречат одна другой и могут с успехом сочетаться в одной личности и внутри любого из анализировавшихся исторических течений, не создавая напряжения и внутренней основы для трагедии.

Истинные реальности всегда парадоксальны. Как всякая природа, дух народный состоит из элементов взаимоисключающих, и только эта несовместимость сообщает объекту содержательность, приковывающую внимание, превращает историю в загадку, разгадка которой для каждого поколения своя.

Вернемся опять к цитате. Итак, из еврейства «вышли на мировое поприще три гиганта: Ягве — Бог единства, Мессия — выразитель будущего и Израиль — человек, борющийся за свое дело, не жалея сил». Почему человеком, борющимся за свое дело, не жалея сил, здесь назван Израиль? Разве Библия не полна такого рода людьми? Разве Моисей, Иисус Навин, Гидеон, Давид не боролись за свое дело или жалели силы? — Нет, просто Израиль — это самоназвание еврейского народа, и Бубер должен был его упомянуть. Это имя дано было Богом нашему родоначальнику Иакову в начале времен.

Но почему мы тогда не иаковиты? И с кем, собственно, боролся Иаков, не жалея сил? — Вот тут мы приближаемся к настоящей тайне.

Израиль означает — Борющийся с Богом. Это имя Бог дал Иакову после того, как тот не уступил Ему в борьбе, «длившейся всю ночь». Только после этого Бог продемонстрировал Иакову свое всемогущество и возобновил с ним завет, заключенный впервые еще с Авраамом.

По какой странной прихоти назовет народ себя Богоборцем?

В книге Исхода евреи много раз называются также народом жестоковыйным, то есть непокорным, упрямым, и из контекста видно, что гордиться здесь нечем. Скорее они всегда ощущали это свое качество как тяжкий крест (если здесь можно использовать христианскую терминологию), свою буйную природу — как порок.

«...если бы Я послал тебя к ним (другим народам), то они послушались бы тебя, а дом Израилев не захочет слушать.., потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем... ибо они мятежный дом». (Иез. 3, 6, 7, 9)

Избранничество этого народа возникает в Библии не столько как результат покорности Божьей воле, сколько направленной интенции к абсолютному. Завет с Богом — акт двусторонний, предполагающий субстанциональность и правоспособность обеих сторон. Кто-то еще в самом начале истории понял, что Завет Израиля неразрывно связан с его богоборчеством, что только тот может заключить союз, кто способен бороться и противостоять. Поэтому богоизбранность евреев всегда предстает в Библии как бремя, которое они на себя взвалили сами.

Так Закон всегда предстает нам как презумпция свободы воли.

Если мы с этой точки зрения взглянем на Библию и историю евреев, мы увидим, что каждое действие и каждая мысль там были связаны с идеей свободы воли и самостоятельного выбора между добром и злом.

От грехопадения Адама, которого он перед Богом стыдился (следовательно, сознавал, что сам выбрал грех вместо неведения), через преступление Каина, который нагло пытался отпереться (сознавая, следовательно, преступность своей выходки), к Завету Авраама, готового отдать Богу любимого сына, красной нитью проходит мысль, что человек сам выбирает свою судьбу, что наша свобода есть наша ответственность, и природой мы не

осуждены на покорность высшей воле, но можем принести ее в дар, и этот дар для нас нелегок.

История Иакова полна эпизодов, когда он борется с Предначертанным, будь это первородство Исава или обручение с Лией. Так же упорно борется с роком Фамарь за право произвести великое потомство, и столь же неукротим Иосиф.

В ситуации исхода из Египта евреям множество раз предоставляется возможность принять божественные предначертания или смалодушничать, уверовать либо струсить. В Мидраше по этому поводу приводится притча, которая показывает, что сознание добровольно сделанного выбора, представление о свободе воли человека даже перед лицом Бога, не оставило евреев и в средние века:

«Когда у Предвечного возникла мысль даровать людям Завет Свой, Он предложил Тору сначала потомкам Исава.

— А что написано там? — спросили потомки Исава.

— Не убивай.

— Нет. Вся жизнь людей рода нашего основана на убийстве. Мы не можем принять Твою Тору.

Предлагал Господь Тору потомкам Измаила.

— А о чем заповедано в ней? — спросили потомки Измаила.

— Не кради.

— Только кражею и грабежом мы и существуем. Нет, мы не можем принять Завет Твой.

Обратился Господь к Израилю.

— Будем исполнять и слушать! — был их ответ».

Таким образом, идея свободы воли, проявляющейся как обязанность самому отличать добро от зла и предполагающей вменяемость перед высшей инстанцией, всегда была присуща евреям. В этом смысле и уклонение от правильного действия тоже оказывается грехом и, возможно, идея действия является развитием этой внутренней необходимости реализовать свой выбор наиболее эффективным образом. В религиозном плане такая пот-

ребность порождает примат дела перед верой, а в светском приводит к принципу: «Бог помогает только тому, кто помогает себе сам».

Идея свободы воли и Завета с Богом, так же, как и другие тенденции, происходящие от народных инстинктов и имеющие свою темную сторону, тесно связана с «жестоковыйностью» и «мятежностью» евреев. Возможно, и сейчас общеизвестное еврейское упрямство, гордыня и склонность к самоутверждению остаются признаками той же душевной структуры, которая породила идею свободы и личной ответственности. Насколько, на самом деле, эта идея нетривиальна, видно из того, что вся античность построена на противоположной идее судьбы и предопределения. Нечто от этого эллинского взгляда проникло и в христианство.

От библейских и до нынешних времен иудеи не любили и всячески охаивали разного рода гадателей и предсказателей судьбы, ощущая в них моральных антиподов. Пророков можно скорее понять как полярную противоположность гадателей, чем как их коллег. В то время как пророк провозглашает некую моральную необходимость, с которой люди не обязаны, но должны считаться, преступление которой возможно, но гибельно, гадатель предсказывает необходимость фактическую, так что человеческая судьба разворачивается независимо от его воли, как явление природы. То есть пророк предупреждает (и, значит, признает, что спасение в руках человека), а гадатель предсказывает (следовательно, сообщает ему приговор, вынесенный без его участия и обжалованию не подлежащий). Так же и мессианская идея абсолютного будущего скорее противоположна предопределенным античным циклам, чем похожа на них.

Почему такой глубокий писатель, как Бубер, мог упустить столь существенную особенность еврейства, как одержимость идеей свободы воли?

Бесчисленными проявлениями этого комплекса переполнены исторические явления, анализировавшиеся им, и

поэтому нельзя предположить, что он не видел этого элемента в еврейской жизни. Одним из основных моментов, по отношению к которым, еще до новой эры, расходились школы саддукеев, ессеев и фарисеев, была свобода воли. Саддукеи предполагали неограниченную свободу воли, даже по отношению к Богу, подобно тому как сказано у Иеремии: «Я положил песок границею моря, вечным пределом, которого не перейдет, и хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут. А у народа сего (Израиль и Иудея) сердце буйное, мятежное: они отступили и пошли...» Напротив, ессеи вовсе отрицали свободу воли человека, полагая все помыслы его и поступки предопределенными от начала времен (см. «Кумранские рукописи», АН СССР,1971. Напр.: «Еще до рождения их, Я знал все их деяния».) Фарисеи высказывали по этому вопросу взгляды, близкие к христианству и равноудаленные от вышеупомянутых крайностей.

Бубер, конечно, не мог не знать или не помнить этого. В своей книге о хасидизме он достаточно много говорит об идее свободы, о чувстве индивидуальной призванности, присущих этому учению, но не отмечает их специфически еврейского характера и происхождения.

Я думаю, что идея свободы и добровольной избранности казалась Буберу не специфически еврейской, и даже ее несомненное библейское происхождение не наводило его на эту мысль не случайно. Воспитанный в европейском мире, построенном на Библии и свободе воли, он должен был ощущать эту идею в основе взглядов всей своей среды. Эта идея вошла в христианство и, во всяком случае, в протестантском варианте так же присуща сейчас европейцу, как и традиционному еврею. Европеец, привыкший к Библии с пеленок, не может ощущать своего отличия от еврея в коренном вопросе Ветхого Завета.

Субъект исследования оказался в данном случае неотличим от объекта и, по закону Архимеда, выталкивающая сила в точности уравновесила силу тяжести.

Аналогичный казус проявился в анализе еврейского народного характера, произведенном русским христианским философом В. Соловьевым в конце Х1Х века. Содержание анализа Соловьева не только остается актуальным и сейчас, но, как мне кажется, обнаруживает глубину проникновения, которая недостижима для многих русских евреев-интеллигентов по сию пору. Значительную роль в этом проникновении играет четкость осознания субъекта исследования и его взаимоотношений с объектом. Действительно, будучи представителем русской культуры по духу и крови, В. Соловьев, несмотря на глубокую симпатию к евреям, ощущал их как противостоящий его мысленному взору объект и не мог миновать тех коренных особенностей этого противостояния, которые определяют его драматизм: ощущения глубинного сходства, совмещающегося с психологическим и даже как бы физиологическим различием. Благодаря этому, его характеристика еврейского народного типа выглядит более полной, чем у М. Бубера. Наряду со свободой воли, он включает также повышенный реализм евреев, который, конечно, вместе с этой свободой обладает приоритетом перед принципом действия, вводимым как характеристика народа, Бубером. Зато в отличие от М. Бубера, Соловьев вообще не упоминает о еврейском мессианизме и эсхатологическом сознании, подчиненном идее абсолютного Будущего. Это упущение очень характерно.

В. Соловьев принадлежит к той ветви русской культуры, которая мессианизм положила в основу своего существования и, впоследствии, под пером Н. Бердяева превратила эсхатологическую идею в основную черту русского сознания. В какой мере это действительно верно, мы здесь обсуждать не станем, но несомненно, что значительный интеллигентский круг в России думал и чувствовал именно так и потому еврейского приоритета и даже отличия в этом не видел.

Настаивая на том, что свобода воли есть один из основных исторических элементов еврейской жизни присутствующих в ней и сейчас, я, чтобы не быть неправильно

понятым, должен подчеркнуть, что это вовсе не значит, что евреи всегда и всюду стремятся к свободе. Наоборот, большинство из них только и смотрят, куда им свою внутреннюю свободу девать и как бы превратить ее во внешнюю связанность. Но суть дела в том, что, независимо от того, хотят ли они ее реализовать или стремятся от нее избавиться, эта свобода выбора ими осознается и соседствует с понятием совести.

Сознание проданного первородства и вкус чечевичной похлебки на губах, вопреки любому ультрасовременному мировоззрению, остается даже у самых бессовестных, самых бесстыжих. Когда еврей пасует перед трудностями, он всем надоедает своими рассказами о том, что у него не было выхода. Конечно, иначе бы он не уступил! Когда еврей сделает вам подлость, он еще дополнительно будет мучить вас объяснениями, что он поступил единственно правильным образом, что по-иному поступить было нельзя. Конечно, иначе он так и поступил бы! Он не отпустит душу на покаяние, пока не добьется от вас согласия, что он прав.

Это происходит именно потому, что в глубине души он знает неприятный для себя выход, знает, что он неправ, и ищет оправдания перед невидимым судом.

Он поступает, как согрешивший Адам, спрятавшийся среди деревьев, когда Бог вопросил: «Адам, где ты?» Он поступает, как Каин, который на вопрос Бога об Авеле отвечает с полемическим задором: «Разве сторож я брату моему?» Он поступает, как человек, знающий добро и зло, свободный принимать решения и ответственный за них перед судом совести.

Человек, действительно покорный судьбе, вверяющийся необходимости, не рефлектирует по этом поводу. У того, кто не ощущает свободы и ответственности, совесть спокойна. Угрызения совести посещают лишь того, кто знает выбор и может себе позволить этим выбором злоупотребить.

Хотя, разумеется, выбор между добром и злом (как идея) хорошо известен русскому человеку, и имеется

множество черт сходства русского характера с еврейским (определяющих неотразимую привлекательность для евреев русской культуры), все же изо всех европейских народов, по-видимому, русский в наибольшей степени усвоил эллинскую идею судьбы, которая в реальной обстановке предстает как идея Необходимости («Надо, Федя!»).

Под разными личинами религиозной, национальной, государственной и общественной необходимости нечто, не зависящее от воли отдельного человека, управляло русской историей в течение веков и создавало невыгодную альтернативу свободе, пока, наконец, не была открыто принята формула: «свобода есть осознанная необходимость». Эта формула с ударением на последнем слове правильно выразила то, что русский народ сознавал. Не всегда охотно, но от души искренне.

Иное дело — евреи. Произнося эту формулу, каждый из них знает, что смысл, который он вкладывает в эти слова, отличается от общепринятого ударением на предпоследнем слове. Он знает, что, несмотря ни на какие слова, ему самому придется в ответственную минуту решать, как поступить. И потом всю жизнь нести за этот поступок всю полноту ответственности.

Быть может, в пределах западной цивилизации, которая взросла на индивидуализме и представлении о свободе воли, это незаметно, но в русском окружении бросается в глаза повышенное чувство «Я» евреев, проявляющееся и в крайних формах эгоцентризма, и в гипертрофированных формах всеответственности. Грубо говоря, евреям «до всего есть дело» и «им больше всех надо». Так как этот инстинкт действует в сочетании с противоречащим ему инстинктом единства, цельности, требующим обобщения и отождествления с другими людьми, еврей в реализации своих стремлений мечется между индивидуалистическими и коллективистскими доктринами, оставаясь общественником среди индивидуалистов и индивидуалистом в коллективе.

И вот бесчисленное количество русских евреев, исповедующих, что свобода есть осознанная необходимость, переполняет все коммунистические оппозиции от 1918 до самого 1948 года, когда, наконец, это надоело Сталину, и он их всех как народ поставил под подозрение.

Едва миновали страшные годы, как реабилитированные евреи опять со всех ног кинулись улучшать, протестовать и выступать с предложениями, так что даже возникло ощущение широкого демократического движения в России.

Конечно, объяснение всего этого состоит не только в том, что евреи слишком деятельны, а скорее в том, что их чувство свободы-ответственности принуждает их действовать даже тогда, когда действие практически бессмысленно.

В большинстве случаев такие действия и не направлены на практические цели, а служат удовлетворению какого-то внутреннего чувства, верность которому важнее безопасности.

Можно было бы, в определенном смысле, сказать, что отказавшись от обрядности и традиций, русские евреи сохранили, тем не менее, религиозное сознание, в котором дело по-прежнему выше веры. Тем более, когда веры — теоретически нет. Поступок в этом комплексе идей важнее мотива. Высказывание ценнее мнения.

Вернемся теперь, на новом уровне, к элементам народного характера: идея единства-цельности, идея свободы-ответственности, приводящая к идее действия, и идея времени, устанавливающая примат будущего перед прошедшим.

Теперь мы имеем единство, взрывчатая парадоксальность которого создает ощущение жизнеподобия. Действительно, одновременное реалистическое восприятие всех этих трех или четырех элементов так же невозможно, как и всякое рациональное восприятие полноты жизни, и так же возникает у рационального сознания потребность соподчинить элементы для облегчения схе-

матизации и упростить то, что живет только сложностью и в сложном.

Разве может цельность мира, единство Бога удовлетворительным для сознания образом совмещаться с потусторонней суверенной волей — человеческой? Да еще не одного, а множества? Разве совмещается в сознании эта свобода воли с верой в известное будущее, с царством Мессии?

А разве необходимо совмещать все эти противоречивые тенденции в рациональном сознании?

Может быть, сама эта потребность и соответствующая ей гипертрофия сознания у евреев вызываются тем же психологическим механизмом, который предопределяет и идею свободы воли? Когда человек предоставлен самому себе в выборе добра и зла, он должен напрягать все свои силы, чтобы не ошибиться и не дать увлечь себя на ложный путь. Может быть, талмудисты сознавали, что рациональные построения надежней страхуют от ошибок, чем неосознанные влечения? Но, может быть, и наоборот — в еврействе имеется неосознанное влечение, вопреки темпераменту, положиться на сознательный элемент, связывающий страсти, неудержимо овладевающие буйной душой («Стройте ограду вокруг Закона!»). Страсти, конечно, могут принимать и обличие рационально выстроенных систем, а страсть к схематизации — одна из самых захватывающих среди искушений еврейства.

И вот возникает то, что можно было бы в истории назвать «частными реализациями» библейских идеалов. Столь любимые Бубером ессеи осуществили свою попытку «жизни в абсолютном» за счет фактического и теоретического отказа от свободы воли и раздвоения целостного мира. Они облегчили реализацию неисполнимой в конечные времена программы за счет приспособления самой программы к земным условиям. Не удивительно, что это не вызвало восторга ортодоксального иудейства, для которого целостность мира важнее любой реализации.

Христианство возвращается к некоторой свободе воли за счет усложнения (чтобы не сказать — снижения) единства Бога.

Появление Бога-Сына должно было очень болезненно отозваться на еврейском чувстве цельности, что бы ни говорил Бубер о близости этих учений. Но зато идея Завета с Богом в христианстве существенно выигрывает, приобретая трогательный личный оттенок, возвращающий верующего к самым начальным представлениям Книги Бытия. Также и перенос Царства Божия из реального мира в духовный защитил учение от воплощения в конечных формах и, таким образом, оградил его от вульгаризаторов всех направлений.

Возможно, что и апостол Павел, открыто противопоставивший веру делам, был вынужден к тому необходимостью еще больше смягчить парадоксальность учения, которое в руках реалистов быстро превращалось в сектанство ессейского толка. Сама эта необходимость — противопоставлять веру делам — рождается из той же потребности осуществить свой выбор в реальном мире, который настоящего выбора человеку не дает. Принуждаемый, вопреки своему чувству свободы, к жизни без выбора между добром и злом, человек само это безличное принуждение и весь связанный с ним реальный мир ощущает как зло. И вот, вместо выбора между добром и злом, возникает выбор между верой и делом.

Зилоты, опираясь на единство Бога и свободу воли, как отправные моменты принимали мессианизм и самое будущее как непосредственную функцию своей волевой деятельности и социальных преобразований в духе уравнительности. Возможно, близким упрощением общей концепции вдохновлялись и повстанцы Бар-Кохбы.

Можно только поражаться стойкости ортодоксов, донесших идеи еврейства во всей их полноте до наших дней вопреки столь мощному напору равно героических вульгаризаторов: детерминистов-ессеев и волюнтаристов-ревнителей. Если к этому еще добавить эллинизацию и

христианство, которые с идейной точки зрения совсем не являются вульгаризациями, то само сохранение еврейства, как религии, кажется чудом.

Нам, наблюдавшим и пережившим, казалось, полное исчезновение и растворение еврейства и, затем, его неожиданное возрождение, это чудо представляется следствием того, что идеи, заложенные в еврействе как идеологии, суть характерологические особенности еврейства как народа или точнее как типа личности.

Эти идеи и особенности сохраняются не только вследствие целенаправленных усилий мудрецов и законоучителей, но, еще в большей степени, вследствие биологической и культурной жизни людей с такими особенностями (независимо от происхождения), передающимися от отцов к их детям.

На современном языке это означает, что библейская идеология экзистенциально близка определенному типу человека, часто реализующемуся в еврейском народе (хотя, быть может, не только в нем...)

XIX и XX века дали людям много новых возможностей для упрощения и вульгаризации первоначального библейского единства, но отнюдь не угасили страсти, из которых это первоначальное единство складывалось. И нимало не смягчили их безысходной несовместимости. Напротив, повысив роль сознания в жизни человека, наше время еще туже завязало узел.

Научный монизм, эволюционизм, удовлетворяя чувству цельности и однонаправленности времени, одновременно жертвует свободой настолько радикально, что его не устраивает и Бог как альтернатива детерминизму. Гнет научного детерминизма был так велик, что весь мир с восторгом ухватился за квантовую механику, как будто индетерминистский принцип родился в ней изнутри, а не был внесен тем же человеческим попечением. Эйнштейн потому и не мог примириться с квантовой механикой, что, сосредоточившись на идее цельности, не мог допустить случайности событий в микромире, нарушавшей его представление о гармонии.

Точно так же закономерно фанатик индетерминизма Лев Шестов вынужден был отказаться от науки и всякой надежды на благотворность действия вообще, разделить мир на видимый и потусторонний, жертвуя цельностью, чтобы утвердить безграничную свободу души и веру в будущее как в чудо.

Экзистенциалист Бубер создает концепцию «Я и Ты», направленную на совмещение свободы с единством и смягчающую волюнтаристские установки экзистенциальной философии, а З. Фрейд строит фантастическую цельную систему идей, детерминистски определяющую и религию, и науку, и всякую деятельность вообще как прямую функцию физиологического фактора — подсознания.

Я не собираюсь называть все эти феномены проявлениями чисто еврейского духа, но несомненно, что все они коренятся в библейской идеологии.

Революция и Гражданская война в России дали возможность всем этим страстям выплеснуться в действительность в необычайно действенной, напоминающей эпизоды Иудейской войны, форме. Снова возникли широкие возможности для творческих вульгаризаций и еврейского социального экспериментаторства. Но теперь эти жуткие и грандиозные эксперименты проводились на расширенной основе вместе с русскими революционерами и контрреволюционерами.

Экономический детерминизм, анархизм, коммунизм, с одной стороны, и толстовство, веховство, богоискательство, с другой, рожденные и реализованные русской интеллигенцией, захватили массы евреев как решение их собственных внутренних вопросов. Такими они на самом деле и были, но на другом материале и уровне. Содержание вопроса зависит от того, кто его задает.

Понадобилось полвека, чтобы понять, что никто не решит наших проблем за нас, что решение, которое устраивает другого, может не быть решением для тебя, и что сходство людей не отменяет различия между ними.

Так вот для чего понадобилось нам прожить жизнь в России! Вот зачем нужно нам было подвергаться стольким превращениям и, в конце концов, остаться самими собой! Осознанием своей нерастворимости, своего коренного неустранимого свойства мы обязаны особенностям русского национального характера, которые так отличают его от типа европейца. Нужно было сначала, с младенчества, привыкнуть к тому особому типу сознания, которое свободу отождествляет со своеволием, чтобы, наконец, понять себя как человека, для которого свобода есть главное условие жизни.

ТОЛСТОЙ, СОЛЖЕНИЦЫН И БИБЛЕЙСКИЕ ПРОРОКИ

Воспитанные на греческих мифах и христианской литературе, мы привыкли думать, что альтернативой монотеизму может быть только поли- либо а-теизм. Между тем, миллионы людей в течение многих сотен лет находились под сильным влиянием философски совсем иного образа мыслей — дуализма, который может вполне мирно ужиться и с атеизмом и с политеизмом. Категорически несовместим он только с единобожием.

Действительно, поверить в основанное на противоречии, биполярное строение Вселенной можно и без Бога — плюс, там, и минус, протон и электрон... Бог тут ни при чем.

И при вере в целый сонм гомеровских богов тоже, вполне возможно допустить, что боги разделились на партии: в «Иллиаде», скажем, Афродита и Арес стоят за Трою, а Гера и Аполлон — за ахейцев.

И — ничего.

Но невозможно без натяжки ощутить, что Бог один и одновременно, что их два — здесь наступает предел нашей интеллектуальной гибкости.

Кстати, в ивритской Торе так и написано, что Он один... Но уже в русском синодальном переводе сказано «един»,

что в отрицательной форме предполагает возможность дальнейшего расщепления, которое было весьма актуально в греческой литературе раннего времени. Христианство не случайно добавило сюда догмат троицы. Искушенный греческий разум очень рано ощутил необходимость смягчить противопоставленность Отца и Сына, которая больно ранила религиозное сознание первых христиан и соблазняла гностиков. Наличие двух Богоподобных персонажей слишком очевидно подсказывает мысль о их возможном противопоставлении (борьбе), которое было присуще одной из наиболее популярных, и по-видимому влиятельных, религий древности — зороастризму. Как ересь, эта мысль (о борьбе начал), проникла во все варианты монотеистической религии — ессеи в иудаизме, множество сект гностиков, манихеи, богумилы, катары (альбигойцы) в христианстве, исмаилиты (в исламе) — и определяла мысли людей и судьбы народов в течение многих веков.

Ведь и впрямь кажется естественным предположить некую бинарность в основании вселенной: день и ночь, земля и небо, юг и север, мужчина и женщина, наконец. Конечно, юг никогда не станет севером, а женщина — мужчиной. Однако это не означает, что сосуществование этих элементов предполагает борьбу. Разве в реальности они несовместимы?

Главная особенность религиозного дуализма, однако, состояла именно в том, что он представлял эту бинарность, как форму противостояния, основание для борьбы, и тогда выплывали в сознании: друзья и враги, свет и тьма, жизнь и смерть, добро и зло. Вселенная наполнялась непримиримой враждой:

«Проникнитесь ясным пониманием двух сущностей,
Дабы каждый до Страшного суда сам избрал лишь одну из них: Они суть Добро и Зло!
До скончания веков уделом лживых будет наихудшее.
А правых — наилучшее».

(Древнеиранск. лит., «Худлит», 1973)

В очень древние времена подданным Персидского Царства, населенного преимущественно добродетельными сынами Света, было совершенно очевидно, что кочевники Востока и Запада нападают и грабят их исключительно в силу своей природной склонности ко злу, ибо они суть «лживые сыны Тьмы». «Сынам Тьмы» это было невдомек, и они даже похвалялись своими грабежами как подвигами Добра и доблести во впечатляющих стихах, воспевавших их правдивость и клеймящих позором скупых и трусливых, «лживых» оседлых жителей.

С распространением этих идей по лицу земли и смешением народов весь мир для дуалистов стал полем ожесточенной борьбы и отчасти даже утратил свою положительную ценность. Примерно наказать сыновей Тьмы (для общего дела добра, конечно!) зачастую кажется людям даже важнее, чем просто эгоистически мирно наслаждаться светом (для себя!).

В течение веков эта древняя концепция была глубоко скрыта под поверхностью господствующих идеологий и, наконец, прорезалась в модернизованном мире вследствие упадка авторитета традиционных религий:

«Вихри враждебные веют над нами,
темные силы нас злобно гнетут.
В бой роковой мы вступили с врагами...»

Русские марксисты, полюбившие эту песню, не знали, что они следуют одной из древнейших религиозных традиций. Они думали, что свободны от всяких религиозных предрассудков вообще.

Возвращение верований, предшествовавших возникновению современной цивилизации, в том числе и возвращение древнего дуализма, есть прямая функция ослабления влияния культурных религий. Люди, доросшие до религиозных сомнений, часто думают, что именно религия мешает дальнейшему развитию их культурного творчества. И если бы это связывающее влияние религии устранить...

Однако, оказывается, что человек — не чистый лист, с которого можно безнаказанно стереть предшествующее. Под стертым просвечивает забытый подтекст, который небезразличен для современности. Возрождение племенных и магических культов в наше время, возрождение веры в то, что добро и зло существуют в людях раздельно и овладевают настолько, что можно провести различимые границы между сынами Тьмы и сынами Света мощно заявило о себе в нашем столетии. Тысячелетиями эти архетипы присутствовали в нашей цивилизации, как неформулируемые подспудные течения, как неосознанные особенности профанного сознания, запрещенные к употреблению в культурном обиходе. Но, вот, в нашем веке вместе с повышением роли и значения масс, древние устойчивые массовые стереотипы вновь обрели живость и исходно присущую им убедительность. Может, и в самом деле, цивилизованные группы слишком далеко забежали вперед в своем либерализме? Может, ненависть к чужому защищала нас от опасностей?

Культура навязывает свои штампы, рационализирует и заглушает инстинкт. Быть может, архаическое сознание было реалистичнее — оно ближе к нашей косной природе. Может быть, поэтому оно ближе и к природе вещей? И лучше защитит нас в наше трудное время?

Может быть, Заратустра правильно указывал, что зло существует изначально и вечно противостоит добру? А чаемое нами царство Света однозначно и вовеки враждебно царству Тьмы. И сыны Света в этом мире вечно обречены сражаться против сыновей тьмы. Быть может, именно это сражение — норма, а покой нам только снится?

Поэт все-таки, наверное, знал, что говорил...

Между тем, если верить Библии, в конце каждого дня творения Творец окидывал взглядом содеянное и каждый раз убеждался, что «это хорошо». На языке Библии это означало также и «добро». Где же тогда находилось место злу?

Библейский этот язык и соответствующее умонастроение породили в свое время идею монизма, т. е. такого

сущностного единства пространственно-временного мира, которое исключает смертельную вражду и фатальную предопределенность разделения. Пророки потом много столетий склоняли к миру, взаимной любви и предсказывали времена, когда «не будут больше учиться воевать». Эта именно идея теперь доминирует в признанных идеологиях, господствующих церквах и авторитетных философских концепциях Свободного мира, определяя не только политику, воспитание детей и искусство, но также и основания науки, применение техники и направление экономики. Не потребуются ли в наше время какие-нибудь поправки?

Как увязать между собой два эти взаимно враждебные мировосприятия? Как соотносятся они с истиной и опытом нашей собственной жизни?

ДОБРО. КАК ЕГО ПОНИМАТЬ?

В разных языках добро и зло противостоят друг другу по-разному.

Характер этого противопоставления отчасти предопределяет возможные формы и пределы распространения монистической религии, унаследованной от древнего источника, либо последующие гностические, дуалистические ее толкования в духе иных верований.

В еврейском языке добро и зло весьма однозначно совпадают с менее нагруженными терминами «хорошо» (тов) и «плохо» (ра) и первоначально не склоняют ни к какой персонификации этих простых оценок.

Между тем, в индо-европейских языках, и в русском, в частности, оба основных понятия содержат много дополнительных смыслов. В то время как добро (Good) означает также ценную вещь, субстанцию, и ассоциируется с Богом (God), зло (Evil) содержит в себе дополнительный оттенок намерения и последовательно наводит на мысль о соответствующей воле (Will). Это несоответствие несомненно сыграло свою роль в гностицизме и других ересях

первых веков христианской эры и в какой-то мере было преодолено всеми существующими сегодня церквами.

Русская философская и художественная мысль исходно питалась православной религиозной традицией, происходящей прямо от греческой ортодоксии и догматически противопоставленной всякому гностицизму и дуализму по определению. Поэтому классическая русская литература, которая много лет была и русской философией, унаследовала, в основном, монистическую сосредоточенность на добре.

Однако, русская народная мысль столетиями была оторвана от письменного, культурного существования и еще с языческих времен формировалась в изоляции, или даже в некоторой оппозиции, ко всем литературно выраженным идеям. Централизованно-полицейский способ насаждения добра и порядка, издавна практиковавшийся в России, естественно подтверждал жившую в народном сознании (или подсознании) зачаточную мысль о соответственно сообразованной стратегии Зла.

Изоляция России от остальных христианских стран, вследствие ее греко-православия, приучила российского гражданина к дуализму «мы и они» задолго до того, как Советская власть подвела под это безотчетное чувство свою теоретическую базу.

Революция 1917 года, отняв много сил и эмоций, оставила массы в недоумении почти по всем основным мировоззренческим вопросам, которые народ вынужден был для себя решать в духе своих, прежде укоренившихся, архаических представлений. Советский марксизм, конечно, очень ограниченная теория и на большую часть жизненных вопросов вообще не отвечает. Однако, практика изолированного государства, находящегося в безвыходной конфронтации со всем остальным миром, внушает некоторые идеи. Особенно убедительно для российских граждан некоторое время звучали гипотезы, представляющие весь внешний мир в виде управляемого из Центра, враждебного Единства, систематически действующего против интересов

всего человечества, и особенно лучшей его части, поместившейся в России. Кое в чем это, и в самом деле, напоминало древне-персидскую империю. Совершенно очевиден гностически-манихейский характер такого мирочувствования, хорошо сочетающийся с «капиталистическим окружением», «американским империализмом», «жидо-масонским заговором», «мировым сионизмом» и «русофобией».

Действительно, большая часть советской литературы превратилась, по существу, в манихейскую письменность и сосредоточилась на нетривиальной задаче построения новой, внехристианской этики. Эта прометеевская попытка со временем надорвала культурные силы нации и вернула многих русских писателей к христианству. Внимательный анализ, однако, обнаруживает, что это вновьобретенное христианство отличается от того, что исповедовали их отцы и деды.

Разрыв этот особенно ясно виден в серъезной, глубокой литературе, например, в романах А. Солженицына, полных язвительных полемических выпадов в адрес Льва Толстого. Суть несогласия выражена в одной из первых, открывающих «Август 14-го», сцен — визит провинциального гимназиста Сани Лаженицына в Ясную Поляну:

«Скажите, ... — какая жизненная цель человека на земле?

— Губы Толстого, не вовсе утонувшие в бороде, ...сдвинулись в произнесенное тысячу раз: Служить добру. И через это создавать Царство Божие на земле.

— Так, я понимаю! — волновался Саня. — Но скажите — служить чем? Любовью? Непременно — любовью?

— Конечно. Только любовью.

— Только? — Вот за этим Саня и ехал... — ...А вы уверены, что вы не преувеличиваете силу любви, заложенную в человеке? Или, во всяком случае, оставшуюся в современном человеке? А что, если любовь не так сильна, не так обязательна во всех, и не возьмет верха — ведь тогда ваше учение окажется... без..., — не мог договорить...

— Потому что, как я наблюдаю, вот на нашем юге, — всеобщего взаимного доброжелательства нет!..

...Из под бровей мохнатых твердо посмотрев, бесколебно ответил старец:

— Только любовью! Только. Никто не придумает ничего верней.

...Саня опять заторопился:

— Что до меня — я так и хочу, через любовь! Я так — и буду. Я так и постараюсь жить — для добра. Но вот еще, Лев Николаич! Само-то добро! Как его понять? Вы пишете, что разумное и нравственное всегда совпадают...

Приостановился пророк, мол — да. И острием палки чуть посверливал в твердой земле.

— Вы пишете, что добро и разум — это одно, или от одного? А зло — не от злой натуры, не от природы такие люди, а только от незнания? Но, Лев Николаич, — духа лишался Саня от своей дерзости, но и своими же глазами он кое-что повидал, — никак! Вот уж никак! Зло — и не хочет истины знать. И клыками ее рвет! Большинство злых людей как раз лучше всех и понимают. А — делают. И — что же с ними? ...»

Обаяние этой сцены так велико, достоверность характеров настолько убедительна, что соблазняет проглотить без возражения заключенный в ней крючок, скрытую подсказку.

Семнадцатилетний гимназист Саня своими глазами кое-что повидал. Вот, заметил, например, что на юге нет всеобщего доброжелательства ... И мы с ним, конечно, согласны: Нет его и на севере! Зло одной любовью не переломишь. На самотек такое дело пускать нельзя. А то еще может, не дай Бог, случиться, что любовь не возьмет верха...

А восьмидесятилетний, гениальный Лев Николаич недоглядел. Может, он на юге не побывал, жизни не знает. Повторяет одно и то же по тысяче раз и в ослеплении своем высокомерно упорствует. Еще и палкой посверливает от нетерпения ... Одним словом, бесколебно утонул в бороде, среди мохнатых бровей...

Вот и Библия уже три тысячи лет то же самое твердит: «...кроткие, мол, наследуют землю, и насладятся...» — Как же, держи карман, дождешься у них ...

Жизненный опыт и теоретический багаж большинства из нас, бывших и настоящих соотечественников Солженицына, с юга ли, с севера, подсказывает, что Толстой несомненно преувеличивает силу любви, заложенную в современном человеке. Наша циническая трезвость подсказывает, что «большинство злых людей как раз лучше всех и понимают...»

И любовь мы готовы высказать или обнаружить, только, если мы гарантированы, что она «возьмет верх».

И вот еще. Само-то добро! Как его понять?

Не следует ли его понимать, как абсолютную монополию, снабженную исполнительным механизмом, который беспощадно карал бы всякое злое дело? Или, еще лучше, всякое злое намерение... А добрые намерения, наоборот, всемерно бы поощрялись!

В самом деле, если зло в мире реально существует и активно действует, эффективно противостоять ему может только равная по своим земным возможностям сила. Такая сила, будь это героическая контрразведка или добродетельная полиция, вдохновенно воспетые по обе стороны Железного занавеса, по закону исключения, значит, и есть добро ...

Так от иудео-христианской этики любви мы близко подходим к проекту новой, советской этики, афористически прекрасно выраженному словами поэта Станислава Куняева: «Добро должно быть с кулаками...»

Эта тенденция набирает силу не только в бывшем СССР.

Наша израильская ситуация также чревата дуалистическими осложнениями в политике, идеологии и общественной жизни.

ПРАВЕДНИК И ЯДОВИТАЯ ЗМЕЯ

Нужно сказать, что исходный принцип иудео-христианской этики, приведший к евангельским максималистским формулам «не противься злому» и «если ударят тебя по правой щеке...», очень далек от обыденного сознания и не может быть понят без погружения в тот первоначальный контекст, в котором он возник. Этот принцип ярко выражен в дохристианской, талмудической притче о праведнике Хони и змее.

В одной деревне завелась ядовитая змея, от укуса которой погибали люди. На место явился, приглашенный жителями, праведник и бестрепетно сунул руку прямо в змеиную нору. Змея, однако, не сумела причинить ему никакого вреда и с тех пор бесследно сгинула. Праведник объяснил это чудо так, что «убивает не яд, который внутри змеи, а грех, что находится внутри самого человека».

Зло, т.о., может оказать свое вредное действие только, если оно встречает одноименный потенциал зла в человеке. Тот, кто внутренне свободен от зла в себе, неуязвим для всего зла мира по самому своему строению. Как благородный металл сохраняет свой блеск, проходя сквозь кислоты, которые растворяют только грязь и чуждые примеси, так истинный праведник (в более реалистической трактовке, только его душа) остается невредим и безмятежно спокоен, проходя через испытания. При таком взгляде непротивление злу, пожалуй, действительно есть наилучшая линия поведения мудреца, не возмущающая его блаженного состояния согласия с высшим Замыслом.

Демократизация этого принципа в христианстве, попытка, следуя за Евангелиями, распространить его на всех людей без различения уровней праведности привела в первые века к многосотлетней этической неразберихе, которая позволяла, с одной стороны, прощать даже разбой и убийство, а с другой, побуждала слишком добросовестных христиан к мученичеству и постоянной игре в поддавки со смертью.

В еврейском вероучении обыкновенный человек, не достигший святости, может, и даже обязан, себя защищать, ибо только сохранение его жизни обеспечивает ему возможность совершенствования, одновременно составляющую его религиозный долг. В христианской культуре вся эта срединная область долгое время оставалась частично неупорядоченной, так что не только семнадцатилетним мальчикам и темпераментным поэтам приходило в голову помочь Добру кулаком.

Вековой опыт неурядиц, кровавых войн с еретиками, сочетание Реформации и Гуманизма и, связанная с ними, глубокая ревизия исходных принципов обеспечили Западный мир более или менее устойчивыми рецептами этического поведения. На сегодняшней российской почве это все еще область домыслов, поле для вольных творческих интерпретаций.

Андрей Синявский как-то сочувственно мне цитировал некоего православного старца, говорившего, что «по-христиански жить нельзя, по-христиански можно только умереть». И от себя добавлял: «Как же вы хотите... торговать по-христиански? И воевать по-христиански? И совокупляться...?!»

Вот, спустя восемь лет («Октябрь 16-го»), тот же герой, Саня Лаженицын, уже двадцатипятилетний артиллерийский офицер, в блиндаже обсуждает те же вопросы с интеллигентным священником о. Северьяном.

Теперь он повзрослел и увидел кое-что еще, в том числе и в Толстом:

«...Отец Северьян... ласково блестящими глазами...

— А вам не приходило в голову, что Толстой — и вовсе не христианин?..

Саня — пятью пальцами за лоб:

— Я — так не думал, ...Разве его толкование не евангельское? ...Мы, по сути, сдались, что заповеди Христа к жизни неприложимы. А Толстой говорит: нет, приложимы!

Оправился отец Северьян...:

— Как же должно упасть понимание веры, чтобы Толстой мог показаться ведущим христианином! ...Просто его критика Церкви пришлась как раз по общественному ветру...

— Н-ну, не знаю... — ошеломлен был Саня. — Если чистое евангельское учение — и не христианство?

— Да Толстой из Евангелия выбросил две трети! ... Он просто новую религию создает... Повторяет самый примитивный протестантизм ...»

Вот — слово произнесено. В России происходила (и продолжается) религиозная Реформация, то есть обновление и религиозный разброд, которые заново ставят все коренные вопросы бытия и переформулируют по-своему Священное предание. На это, конечно, и семидесяти лет господства одного из крайних течений недостаточно.

Конечно, Толстой — протестант и реформатор христианства в его православном варианте. Но ведь и Мартина Лютера католический священник в его время не назвал бы «ведущим христианином»: просто его критика католической церкви пришлась по тогдашнему общественному ветру...

Основной мотив реформации Толстого — анархический, радикальный отказ от зла, от сопротивления злу и от веры в Зло — глубоко укоренен в историческом христианстве и близок к духу Евангелий. Как бы далеко в своем доктринальном радикализме ни зашел сам Лев Толстой, невозможно отрицать, что пафос доброты, любовью превозмогающей зло, свойствен всей русской классической литературе и нашел свое последнее воплощение в евангельских главах «Мастера и Маргариты» М. Булгакова.

Отрицательный герой русской классической литературы, будь это пушкинский Пугачев, толстовский Наполеон или булгаковский Понтий Пилат, всегда оказывается не столько истинным, соприродным носителем зла, сколько невольной жертвой общественного неустройства, злосчастным эпицентром неблагоприятного стечения обстоятельств.

И само зло, соответственно, оказывалось ошибочно направленной социальной энергией, умопостигаемой функцией несовершенства меж-человеческих отношений, энтропией, а не имманентно содержащейся в человеке и мире субстанцией. **Ибо зло в их картине мира — не элемент миропорядка, а нарушение порядка в расположении его элементов.**

Такой преизбыток добра в русской литературе умиляет очень многих и законно наводит на мысль о пророчески-реформистском вульгаризаторстве. Русская литература прошлого игнорировала исторический реализм основного текста Библии (Тора) и решительно предпочитала пророческие увещевания: «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и, как злак зеленеющий, увянут. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину... Кроткие наследуют землю, и насладятся... многообилием мира.» (Псалмы, 36,1-11.)

Однако, вопреки всем декларациям идеологов о всесилии любви, зло в жизни формирует действительность с такой впечатляющей силой и живостью, что невольно зароняет в душу сомнение в добротолюбивом монистическом принципе. Люди зачастую творят зло с такой силой убеждения, что возникает сомнение в самой их способности к добру. Злак зеленеющий вянет в свое время, а злому человеку сроки не установлены...

«Делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого, посмотришь на его место, и нет его.» (Псалмы, 36,9,10.) Неужели библейский псалмопевец был просто оптимист, лакировщик действительности?

ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО — ДВЕ ВЕЩИ НЕСОВМЕСТНЫЕ?

Уже после смерти Толстого настали времена, когда зло, и с этой протестантской, и с ортодоксально христианской

точки зрения, открыто восторжествовало, по меньшей мере, на одной шестой части света. И не кроткие и «уповающие на Господа» унаследовали землю, а лихие и нечестивые. И произвели потомство, «как песок морской».

Целые поколения были воспитаны в новых правилах, в ожидании скорой победы в мировом масштабе. Будучи в абсолютном неведении относительно остального мира, они еще ощущали себя при этом единственными сынами Света, призванными в беспощадной войне окончательно сокрушить лживых сынов Тьмы, зачем-то избравших злодеяние.

Говорят, войны бывают справедливыми и несправедливыми. Но, во всяком случае, военные действия злых и добрых в принципе одинаковы. Ибо они одинаково направлены на убийство и разушение.

Страна жила в состоянии вечной войны со всем миром, и это обстоятельство парадоксальным образом как бы подтверждало ее претензию представлять абсолютное Добро. А как же! Они были призваны наказать Зло и его приспешников. Ведь нет же сомнения, в самом деле, что весь остальной мир по уши погряз в грехе! Этого не отрицала и Церковь.

Во главе этой уникальной страны почти тридцать лет стоял человек, которого все (некоторые даже искренне) называли гением.Что-то загадочно-магнетическое действительно было в нем — может быть,как раз, злодейство. Именно в сверхчеловеческом его злодействе и проявлялся его гений. Все остальное сомнительно. Но в злодействе он был действительно своеобразен и именно этим утвердил себя и увековечил.

Теперь другой современный русский, христианский писатель оказался вынужден как-то интерпретировать историю своей страны.

Настоящая сущностная новизна Александра Солженицына для русской литературы проявилась в том, что он впервые признал и художественно документировал, что направленная человеческая воля к злу может быть

не помутнением сознания, ошибкой или уступкой, а просветлением, пророческой молнией, прорывом в будущее:

«У парапета стоял освеженный, возбужденный, в черном котелке, с неподстриженной рыжей бородкой, с бровями, изломанными в наблюдении... Глаза его смотрели колко, то чуть сжимаясь, то разжимаясь, выхватывая из этой сцены все, что имело развитие.

Просветлялась в динамичном уме радостная догадка — из самых сильных, стремительных и безошибочных решений за всю жизнь!

Воспаряется типографский запах от газетных страниц, воспаряется кровяной и лекарственный запах от площади — и как с орлиного полета вдруг услеживаешь эту маленькую единственную золотистую ящерку истины, и заколачивается сердце, и орлино рухаешься за ней, выхватываешь ее за дрожащий хвост у последней каменной щели — и назад, и назад, назад и вверх разворачиваешь ее как ленту, как полотнище с лозунгом: ...ПРЕВРАТИТЬ В ГРАЖДАНСКУЮ!... — и на этой войне, и на этой войне — погибнут все правительства Европы!!! ... Это — подарок истории, такая война!» («Ленин в Цюрихе»).

Кажется удивительным, что Солженицын — писатель, знающий вдохновение, верящий, что он призван сообщить благую весть своему народу — готов бестрепетно поделиться своим даром с собственным малосимпатичным персонажем, гомункулюсом, вынашивающим планы всемирной резни. Писатель знает по опыту безошибочно радостное чувство единственно верного слова, этот знак небес... И он без сожаления приписывает его своему герою — несчастному, одержимому партийному склочнику, самоотверженному революционному крохобору!

Дело вовсе не в том, был ли реальный Ленин в чем-то похож или непохож на солженицынского персонажа. Гораздо важнее то, что Солженицын приписал возвышенный дар предвидения и свой пророческий пафос тому именно герою, которого он изобразил. Из опыта или по наитию он узнал, что разрушительная страсть, доведенная до

экстаза, подобна любви и ниспосылается небесами. И зло, неотличимо от творчества, питается своим вдохновением. К тому же, этот его персонаж — «маленький, с рыжей бородкой», одинокий — в сущности еще только Сальери в своем злом упоении.

А возможен еще и Моцарт — гений злой воли:

«Этот купол — не меньше ленинского, пол-лица — голый лоб... И беспощадный, нечеловеческий ум во взгляде: — А Я НАЗНАЧАЮ РУССКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ НА 9 ЯНВАРЯ БУДУЩЕГО ГОДА!!!

...И глазами, где ум не потратил себя ни на радугу красок, ни на ресницы, ни на брови, — бесцветным концентрированным умом — проникал...

Он — надеялся, что будет так. Избалованный даром своих далеких пронзительных пророчеств, он, оставаясь человеком Земли, не всегда отделить умел вспышку пророчества от порыва желания. Разрушительной русской революции он жаждал настолько яро, что простительно было ему ошибиться в порыве.»

Это говорится об «отце Первой Русской Революции», Александре Парвусе, опередившем и Ленина, и Троцкого во всех их теориях, во всех их политических прогнозах, во всех их революционных планах. Он, Парвус, ошибся на один год в сроке второй русской революции, но нисколько не ошибся в характере события и его масштабе.

В отличие от суховатого Ленина, от карикатурного Сталина (в «Круге Первом»), Парвус у Солженицына до такой степени обладает «даром далеких пронзительных пророчеств», что автору кажется даже уместным напомнить о его земном (а не небесном, все же) происхождении. Он живет нестесненно

и естественно, наслаждаясь жизнью, политической игрой и собственной одаренностью, не делая ничего, что не приносило бы ему удовольствия или немедленной пользы. Никакие посторонние призраки долга, страха или стыда никогда не отягощают его моцартовскую натуру. Полнота его существования вызывает оторопь у вечно стиснутого

своими ритуально-конспиративными догмами, зажатого, зацикленного на своей маниакальной идее Ленина:

« — Ленин: Ну — зачем вам собственное богатство? Ну, скажите!

— Вопрос ребенка. Из тех «почему», на которые даже отвечать смешно.

Да для того, чтобы всякое «хочу» переходило в «сделано»... Такое же ощущение, как у богатыря — от игры и силы своих мускулов...

Помягче ему:

— Ну, как вам сказать... Как приятно иметь полное зрение, ...полный слух...

Да разве Парвус из головы придумал, да разве это было его теоретическое убеждение? Это была — врожденная потребность... не упустить возникающую в поле зрения прибыль, ...почти бессознательно — и безошибочно!..

Да Парвусу — смешно, сотрясает смех грузное тело, любящее бутылку шампанского натощак и ванну принять, и с женщинами поужинать...»

— Как тут поверить, что «кроткие унаследуют землю»? Особенно тому, кто сроду ванны не принимал, на женщин не тратился, а о шампанском только понаслышке осведомлен, так что способен поверить, будто можно выпить его натощак, целую бутылку...

Порывая с неписанным правилом, более столетия тяготевшим над русской литературой, обязывавшим считать гений несовместимым со злодейством, Солженицын неожиданно оказался ближе к Пушкину, запросто пившему шампанское и поставившему все же вопросительный знак в этом месте. Похоже, что он также гораздо ближе к реальности, как мы ее видим сейчас:

«...Обладал Парвус сейсмическим чувством недр и уже знал, что — поползут пласты!.. Наконец-то она пришла, наступила Великая, Мировая! Он давно ее предсказывал, называл, вызывал — самый мощный локомотив истории!

...Вся предыдущая жизнь Парвуса была как нарочно состроена для безошибочного создания этого Плана.

И оставалось теперь ему — тому счастливому, чем Парвус был, скрещению теоретика, политика и дельца, — сформулировать план по пунктам в декабре Четырнадцатого, ...приоткрыть его германскому послу... (...теперь высшие правительственные глаза предусмотрительно засматривали в его пророческие).

... Все это Парвус решил блистательно — ибо все это было в его природной стихии... Гениальность соединения торговли и революции в том и состояла, что революционные агенты под видом торговых... ездили от Парвуса совершенно легально и в Россию, и назад. Но высшая гениальность была в отправлении денег. ...Вот был гений Парвуса: импорт товаров, таких нужных для России, чтоб вести войну, давал деньги выбить ее из этой войны!» («Ленин в Цюрихе»)

В этом наполовину ленинском ревнивом восхищении — потому что в «Красном Колесе» десятки страниц написаны, как внутренний монолог одного из персонажей и автору нельзя вменять всякую строчку — наполовину солженицынском признании злого, ненавистного «блистательным», беспечно естественным, гениальным, скрыто больше, чем только обыгрывание гротескного словоупотребления партийных манипуляторов, больше чем писательская способность к перевоплощению.

В этом содержится также и искреннее признание высокого онтологического статуса враждебной силы, которое столь внятно отличает Солженицына от всей предшествующей русской литературы. Может быть, Достоевский и хотел бы приписать такой титул своему герою — Ставрогину — в «Бесах», но остановился перед мировоззренческими последствиями такого шага и обрек его на самоубийство.

Пророком назвал Солженицын Льва Толстого в несколько ироническом контексте «Августа 14-го». Пророком можно было бы назвать и самого Александра Солже-

ницына. Но пророчествуют они разное и, может быть, в самом деле несовместимое в пределах одного вероисповедания.

Солженицын, признавая за силой зла статус гениальности, невольно подталкивает нас к признанию существования в мире двух сил.

Сравнимых по их онтологическому уровню:

«Проникнитесь ясным пониманием двух сущностей,
Дабы каждый... сам избрал себе только одну из них...»

«Он назвался Парвус — малый, но был неоспоримо крупен... И восхищала реальность силы... Никто... в Европе не мог перескочить и увидеть: что ключ мировой истории лежит сейчас в разгроме России... Никому из них не доставало той захватывающей цельности, которая одна и сотрясает миры и творит их!» («Ленин в Цюрихе»)

Такое признание в солженицынском контексте означает, что зло способно быть неиллюзорным, творящим фактором. Исторически мы знаем, что это очень близко к действительности. Значит ли это, что зло может быть направляемо отдельной силой враждебной человечеству?

— Может быть зло не менее субстанционально, чем добро?

Лев Толстой не принял бы такой постановки вопроса.

Классический русский писатель не принял бы такой мрачной истины.

Солженицын при торжестве этой истины родился. И торжествующее повсеместно зло воспринимал как эмпирический факт. Как одну из имманентных характеристик бытия.

«ВСЕ ГОВОРЯТ НЕТ ПРАВДЫ НА ЗЕМЛЕ... НО ПРАВДЫ НЕТ И ВЫШЕ!»

Нет слов, изобретенная Лениным «партия нового типа», и весь его заговорщический стиль наводят на

мысль о стратегическом сражении сил зла против всего мира, и против России в частности. И план Парвуса несомненно существовал. И даже, наверное, существовала у тех, кто в этом плане участвовал, уверенность, что «это будет последний и решительный бой». Расхождение с миром было у них только в том незначительном пункте, что они себя считали единственными представителями сил Добра («Лишь мы ... владеть землей имеем право»). И в этом качестве были готовы на все. В том числе и на зло.

Солженицын не волен переписать историю и устранить зло. Также трудно ему изобразить Русскую революцию иначе, чем торжеством зла. Однако, это торжество не обязательно было видеть результатом определенной стратегии. Быть может, оно наступило вовсе не как увенчание Плана, а вне всякой связи с ним? Внутренняя работа разрушения совершалась в России десятилетиями, а ведь ломать — не строить.

Плана не надо.

Кто только ни пророчил, кто ни приложился к пророчествам о русской революции! Маяковский еще за год до Мировой войны объявил:

«В терновом венке революций грядет Шестнадцатый год!»

— Неужто гениальный Парвус и ему умудрился подсказать свой план?

Нет, полторы тысячи страниц «Марта 17-го» Солженицын посвятил описанию хаоса, который воцарился в Петрограде в результате беспричинного раздражения Тимофея Кирпичникова, фельдфебеля учебной команды Волынского полка, поднявшего бесцельный и бессмысленный мятеж, перекинувшийся затем на весь гарнизон и рабочие районы. Из описаний явствует, что крушение произошло не столько в результате действий самих восставших, сколько вследствие халатности и неправдоподобного идиотизма всех управляющих звеньев, включая самого царя. Никто из реальных участников событий, начиная с Кирпичникова и кончая царем, в План Парвуса,

конечно, посвящен не был. Но, может быть, гений Парвуса, вдохновленный злым умыслом, предвидел и это?

Следует помнить, что никакого опытного доказательства в пользу конечной победы добра мы в жизни не наблюдали. Даже Перестройку в СССР вряд ли стоит сейчас рассматривать как победу Добра. Последствия ее предсказуемы не более, чем последствия Февральской революции 1917 года. Но, если победа добра автоматически не обеспечена, скажем, несуществованием Зла, то ведь и добру нужен план, какая-то стратегия битвы! Где тогда может найтись место такому плану?

Плану, как продукту творческого сознания, и место может найтись только в сознании, привыкшем властно упорядочивать хаос реальной жизни. Вот, в сознании, арестованного восставшими, председателя Государственного Совета Ивана Щегловитова: «Два десятка лет наблюдая размыв и разрушение при апатии всех, — мог он ожидать плохого. По пути Щегловитов повидал взбудораженные улицы и тут... роящийся дворец — и объем происходящего выступил перед ним. Это — не эпизод с растерянной петроградской администрацией, но — крушение, которого и следовало ждать в непрерывно раскачиваемой, подрываемой стране.» («Март 17-го»)

И он, между прочим, сыграл свою, назначенную не Парвусом, роль в роковом Плане, в общем «размыве и разрушении», поглотившем страну. Не затушив в свое время дела Бейлиса, очевидного для всякого грамотного русского юриста (в Российской истории были прецеденты), он сам добавил к позору и разрушению Империи больше, чем мог бы скомпенсировать монархический энтузиазм, пробужденный этим делом в сердцах сынов Света из Черной сотни.

В План верится тому, кто и сам составляет планы. Только людям, которые действительно управляли и верили, что можно управлять обществом, как кораблем, может прийти в голову, что кто-то этот корабль злонамеренно раскачивает (и даже подрывает). В свободных

странах нет никакого, отдельного от граждан, корабля. И те, что гребут, и те, что раскачивают, по определению, участвуют в общем движении. Направление движения у них очень редко соответствует задуманному. Поэтому-то им так трудно поверить в План. И даже трудно выносить более или менее масштабный замысел. Героическая натура Солженицына не может смириться с таким отклонением от целесообразности: «Тут бы и утешиться нам толстовским убеждением, что не генералы ведут войска, не капитаны ведут корабли и роты, не президенты и лидеры правят государствами и партиями, — да слишком много раз показал нам XX век, что именно они.» («Август 14-го»)

Конечно, нам показал это XX век, прежде всего потому, что мы других веков не видели. И Солженицын, дитя нашего века, держит в уме то же, что и мы: «Сталин, Гитлер...» Но не забудем, что и Толстой своим мысленным взором видел Наполеона, Николая 1, Александра 11, Бисмарка, а не одного лишь Платона Каратаева.

Не факты формируют идеологию писателя — его идеология диктует ему отношение к увиденным фактам. Оба, Л. Толстой и А. Солженицын, прежде всего идеологи, и различие их идеологий не сводится к разнице между X1X и XX веками. Их спор так же актуален сегодня, как мог бы быть и сто лет назад, хотя технические средства тогда еще не позволяли миллионы людей разом заморить в лагерях, сжечь в печах, разорвать бомбами.

Конечно президенты и лидеры правят государствами и партиями, — «да слишком много раз показал нам XX век», что правят они из рук вон плохо. Непоследовательно и нелогично. Совершая бесчисленные непоправимые ошибки и безвольно поддаваясь настроению толпы. Ради сиюминутной пользы нанося долговременный вред себе и своим странам.

И происходит это не только от их глупости. Это происходит от настоятельной и постоянной необходимости учитывать одновременно множество факторов, часть из

которых еще не определилась, а часть заведомо носит коллективно-статистический характер, не поддающийся количественному учету.

Лев Толстой был одним из первых, кто уловил и сформулировал эту многопараметричность исторического процесса и парадоксальный характер воздействия на него индивидуальной воли лидера, которая в одно и то же время упорядочивает коллективное поведение (т. е. творит добро) и задерживает свободное волеизъявление каждого, т. е. накапливает зло.

Однако, те, кому действительно случалось в жизни управлять, ...а также те, которыми слишком долго управляли, имеют другой жизненный опыт. Они знают, что иногда при известных, неконвенциональных, средствах и безмерной настойчивости планы осуществляются. Благодаря или вопреки действительности. И жестко сконцентрированная воля одного человека способна, как игла, проколоть ветхую оболочку реальности, непроницаемую с точки зрения ординарного здравого смысла. Это побуждает людей изобретать все новые планы. Одних — чтобы сохранить, других — чтобы разрушить ...

Такая борьба Добра и Зла, сынов Света против сыновей Тьмы выковывает характеры: плодит героев и гениев.

«ЛЮБОВЬ МОЖЕТ И НЕ ВЗЯТЬ ВЕРХА»

Хотя вопрос о добре и зле не нов и обсуждается столько лет, сколько существует человечество, в периоды кризисов и катастроф Зло слишком зримо обнаруживает признаки реального существования. В такие периоды монистическое добротолюбие стоит перед опасностью обратиться в либеральную слепоту.

В годы массового террора многие люди в СССР, не говоря уже о западных гуманистах, выражая свое естественное неверие в организованное Зло, ссылались на судебные ошибки и недоразумения: «лес рубят — щепки летят». Именно этого проницательные советские власти

от людей и добивались — непризнания их систематического, массового, безразборного террора сознательным политическим преступлением. Это естественно парализовало саму мысль о возможности сопротивления.

Процветание и либерализм западных стран также накапливают солидный потенциал зла (в частности, в виде зависти), как внутри, так и вне их самих, и не могут служить реальным свидетельством «правильности» пророческих откровений и надежности следования по этому пути. Риск для нашей жизни и благополучия на свободе возрастает, «любовь может и не взять верха». Змея может и укусить — возможно, мы недостаточно праведны.

Зато отпадает риск идеологический — что наша праведность обратится в иллюзию, а наше добро невзначай обратится во зло. Таков наш выбор. Либо стремиться к высшему, рискуя всем. Как поступил праведник со змеей. Либо не рисковать ничем и ни к чему не стремиться.

Выбор в этом вопросе не связан с опытным знанием, а определяется «общественным ветром» и индивидуальной волей. В России начала века общественная доминанта, казалось, была в пользу Толстого. А сейчас?

Писатель лишь в небольшой степени способен направлять внимание и понимание своего читателя. Там, где Солженицын прямо формулирует свои христианские убеждения, он остается вполне ортодоксален. Однако в атмосфере Реформации, в неразберихе ересей, нюансы взглядов влияют на людей сильнее сбалансированных формул. Гностический акцент Солженицына, отличающий его от Л. Толстого и приближающий к народной массе, отталкивает его в сторону дуализма гораздо дальше от середины, чем классическая русская литература могла бы себе позволить.

Философский монизм ничуть не более оправдан нашей жизненной практикой, чем обоснованное сомнение. Однако, в отличие от сомнения, он конструктивен. Вера в добро толкает людей на риск и склоняет к совместным действиям. Либерализм позволяет дискуссию, благодаря

которой при нем не исключена и противоположная точка зрения.

Доверие к природе и людям порождает развитие науки и техники, отказ от засекречивания знаний, распространение образования, склонность к путешествиям, культурный обмен.

Сомнение ведет только к ограничениям этих тенденций. Полностью дуалистический взгляд просто полностью бы их уничтожил.

В «Архипелаге ГУЛАГ» есть эпизод, связанный с исповедью и последующим ночным убийством молодого врача, полного безысходного отчаяния по поводу своей вины за неизвестное автору страшное преступление. Описывая это таинственное убийство, Солженицын делает поразительное предположение, что Бог в этом мире наказывает только тех, кто способен и расположен это понять. Тех, кто еще не безнадежен, кому еще внятно различие добра и зла, то есть, возлюбленных, «своих».

Значит, утверждение Библии, что «убьет грешника зло», может быть, относится только к совестливому грешнику? — Лишь хорошему человеку открыта возможность совершенствования, предполагающая применимость наказаний. Сочувственно-требовательное внимание свыше.

Грешник, перешедший за черту, поступает в ведение Дьявола, становится сыном Тьмы, и, возможно, в этой жизни уже ненаказуем. Или, вступая в подданство Тьмы, он отныне будет защищен уже и до самого Страшного суда?

Поражает симметрический параллелизм этого эпизода талмудической притче о ядовитой змее, пересказанной в начале этой статьи.

Праведник неуязвим для поползновений Зла вследствие своей цельно-добротной природы, не оставляющей злу никакой лазейки для проникновения. Закоренелый грешник, покрытый коростой своих грехов, очевидно, напротив, оказывается в конце концов совершенно недоступен для доброго побуждения, через которое Бог, хотя бы и с помощью

страшного наказания, быть может, еще мог бы протянуть ему паутинку спасения: «До скончания веков уделом лживых будет наихудшее. А правых — наилучшее.»

Толстой, конечно, ересиарх, вульгаризатор христианства, пытавшийся преодолеть его парадоксальность, разрушая выработанные веками культуры защитные механизмы и институции, основанные на представлении о грешной, злой природе человека. Его цельное монистическое мировоззрение, не признающее реального существования зла (он искренне верит, что змея не укусит праведного), возвращает сознание его последователей к первым векам новой эры, хотя уже и без тогдашних чудес. Он закономерно рассматривается как один из идеологов, вдохновлявших пионеров светского сионизма в период зарождения Израиля.

Солженицын (знающий змеиный нрав не понаслышке) верит только в добролюбивый кулак, облаченный в бронированную перчатку, который схватит и задушит змею. Такая, более реалистическая, точка зрения укоренена скорее в европейском средневековьи, предшествовавшем Реформации. Под знаменем защиты добра крестоносные рыцари могучим кулаком действительно распространили католичество на Испанию, Южную Францию и Восточную Европу. Было ли это победой Добра, остается и сейчас сомнительным для историков, но несомненно, что судьбы этих стран, в результате, оказались навеки связаны с Европой.

Добро не нуждается в нашей защите. В защите нуждаемся мы сами и те, кого мы любим. Иногда этого вполне достаточно для действия кулаком. Но совершенно недостаточно, чтобы считать себя праведниками, сынами Света. В нас есть и добро, и зло. И потому такая защита часто бывает успешна. Навряд ли это бывает благодаря нашему добру. Скорее благодаря тому, что в нас еще достаточно зла. Такова полнота жизни.

Совершенно незачем приписывать себе исключительные добродетели, чтобы оправдать свое существование.

Право на жизнь предшествует всем остальным правам в этом мире. И право вступить в борьбу за свою жизнь непреложно. Но, вступая в борьбу, мы по собственной воле выбираем стратегию и способ этой борьбы. Чем меньше мы при этом отклоняемся от пути чистой добродетели, тем больше риска мы навлекаем на себя и своих близких. Мы не обязаны подвергать себя риску. И тогда мы пропорционально теряем в доброте. Если мы хотим остаться в пределах чистого добра, мы полностью вручаем себя Божьей воле и милосердию противника. Для этого мы недостаточно религиозны...

Если бы праведник, увидев змею, надел защитную перчатку, он не был бы праведником, а только ловцом змей. Но, если ловец змей и снимет перчатку, он увеличит свой риск, нисколько не продвинувшись в праведности.

Господствующий с X1X в. в России фундаментальный разброд в мыслях (постоянно провоцирующий интеллигента «поговорить о Боге») означает религиозную, идеологическую революцию, Реформацию, которую переживает и сейчас российский народ и результаты которой остаются непредсказуемы. Одно из практических последствий этой длительной, неокончательно ясной и для всех ее участников, тектонической смуты свелось к образованию и заселению Израиля: и в X1X, и в XX веке.

Строго монистическое мировоззрение (в христианском, еврейском или атеистическом варианте), благодаря демократизации мысли, размывается повсюду, и опыт русских ересей многозначителен для всего мира. Наблюдая новые вариации постановки вечных вопросов, старые народы, уже пережившие свои смутные времена и взрывы идеологической одержимости, могут найти для себя новые пути компромиссов. Собственно, падение тираническ ой власти в России уже выпустило воздух из мыльных пузырей «коммунистических» движений, но «борьба за мир» и «против неоколониализма» все еще процветают.

Опыт новых творческих сочетаний особенно актуален для государственных образований, у которых еще есть

шанс сложиться нетривиальным образом. Мы живем в стране, где пока нет установившегося отношения к свободе, к религии, к соотношению между централизованной властью и местной инициативой. Израиль — единственная страна в мире, имеющая Высший Суд Справедливости, т. е. суд, способный руководствоваться в своей практике не только законом. Одним словом, наше настоящее определяется тем отрадным фактом, что у нас все еще нет конституции. Но у нас есть Завет, который властно диктует свободу воли, и европейское образование, которое позволяет каждому толковать эту свободу на свой манер. При такой анархии все наше будущее также определится народным настроением. Дуализм имеет богатую почву в Израиле, даже если забыть, что значительная доля израильтян — выходцы из России.

Несерьезно, однако, примешивать к этой конфронтации вопрос об истине. Действительно ли добро побеждает со временем с неизбежностью Божественного закона или победа добра лишь открывает для зла новые возможности, неведомые прежде?

Духовный облик, психология народа, конечно, зависят от того, кто побеждает в этой борьбе. Будущее страны зависит от того, какая ориентация в обществе торжествует. Благополучие или трагедия людей еще будут поставлены на карту. Нескончаемая серия социальных и военных конфликтов еще предстоит, «если любовь не возьмет верха».

Но истина попрежнему останется в стороне, как и в других человеческих спорах, ибо фундаментальные, религиозные вопросы не решаются экспериментом и земная победа не всегда дается правому. Еще надолго сохранится у «русских мальчиков» вкус спорить об истине, нескоро еще они научатся ценить жизнь, как таковую, со всей несправедливостью, которая неизбежно ей присуща, и грязью, которая, в сущности, является ее проявлением.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. КОНФЛИКТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 3
Сто лет непризнанию 3
Неожиданность, которую следовало ожидать 17
Маленький великий человек 26
В преддверии очередной войны 36
Люди на войне 44
Оружие асассинов 61
Конфликт цивилизаций 72
О национальной независимости тлинкитов 84
Свобода с человеческим лицом 93
В ожидании вождя 100
Покой нам только снится 108
Сандро из Чегема и палестинский вопрос 116

2. ЛИЧНЫЙ ОПЫТ СОУЧАСТИЯ В ИСТОРИИ 129
Не весь народ безмолвствовал 129
Люди или не'люди? 140
Большой беспорядок в гуманном мире 148
В борьбе за мир 148
«Мир — театр, люди — актеры.» 151
А кто зрители? 151
Вавилонское столпотворение 153
Гуманизм по-советски и по-английски 158
До прихода мессии 159
Западники и «библиофилы» 164
Качающийся мост 175

Андрей Сахаров, человек и ученый (Речь на собрании Национальной АН Израиля, посвященном присуждению А. Д. Сахарову Нобелевской премии Мира в 1976.) 186
P.S. (1993) 191
Печальный демон и российскаў судьба 193
Эдвард теллер и мирскаў слава 199
Шестидневнаў война — причина или предлог? 209
«Мы» и «они». (Феноменологические заметки) 217
Ура-идеология 219
«Собачье сердце» 224
«Малый народ» 227
«Понедельник начинается в субботу...» 231
Еврейская революция 236
На Обетованной Земле 240

3. ЗАПАД ИЗНУТРИ 245
Свобода, равенство и братство 245
А и В сидели на трубе 245
А упало В пропало... 247
Что осталось на трубе? 253
Незакрытый счет 255
Дорога из А в Б 279
В поезде 279
В автомобиле 280
В политике 281
В науке 283
В русской литературе 284
В мысли и деятельности 287
В самолете 290
В моей голове 291
В прошлом и в будущем 292
В настоящем. Здесь и сейчас 294
По ту сторону успеха 294
«Божество и вдохновенье» 304
Генерал Шарон 319
Два сценариў 328

Краткаў историў денег 335
Горючий материал длў войн и революций 344

4. ИСТОРИЯ В ПОСТМОДЕРНИСТСКОМ ИЗЛОЖЕНИИ 357
Великолепная пятерка» ..... 357»
Смердяков — философ современности 373
«Ф. Достоевский как зеркало русской революции» 376
Нам внятно все...» — Отцы и дети ..... 382»
Загадочная серия самоубийств и еврей-пожарник 389
Блаженный Августин и земной опыт 395
На чем сердце успокоится 412
Вопреки всему 419
В поисках всероссийской системы координат 430
«Литература и жизнь». Жанр 431
«Нравственный закон внутри нас». Предмет 437
За бога, царя и отечество!» Империя» как объединўющая идея 447
«Люблю отчизну я, но странною любовью» Новая общая сеть? 456
Еврейская ретроспектива 467
Толстой, Солженицын и библейские пророки 489
Добро. Как его понимать? 493
Праведник и ядовитаў змеў 498
Гений и злодейство — две вещи несовместные? 501
«Все говорўт нет правды на земле... но правды нет и выше!» 507
«Любовь может и не взўть верха» 511

Литературно-художественное произведение

Воронель Александр

ТАЙНА АСАССИНОВ

Директор издательства *Евгений Порогер*
Ответственный редактор *Оксана Кох-Коханенко*
Компьютерная верстка *Ольги Севрюгиной*
Корректор *Игорь Радковский-Гадеев*

ООО «Неоглори»
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 160, тел.: (8612) 51-66-90
e-mail: info@kwonmaster.ru

ООО «Феникс», 344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 80
Тел.: (863) 261-89-50, e-mail: office@phoenixrostov.ru
www.phoenixrostov.ru

Подписано в печать с готовых диапозитивов 09.06.2008 г.
Формат 60x90/16. Бумага офсетная.
Гарнитура «Respect». Печать офсетная. Усл. печ. л. 20.
Тираж 3 000 экз. Заказ №

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕНИКС»

По вопросам оптовых продаж:
г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 80
Тел: 8 (863) 261-89-53
e-mail: torg@phoenixrostov.ru
Региональные представительства:
Москва
Москва, ул. Космонавта Волкова, 25/2, 1-й этаж, метро «Войковская»
Тел.: (095) 156-05-68, (095) 450-08-35, 8-916-523-43-76
e-mail: fenix-m@yandex.ru
Контактное лицо: Моисеенко Сергей Николаевич
Москва, Шоссе Фрезер, 17, район метро «Авиамоторная»
Тел.: (095) 517-32-95, 107-44-98, 711-79-81
Тел/факс: 8-501-413-75-78
e-mail: mosfen@pochta.ru mosfen@bk.ru
Директор: Мячин Виталий Васильевич
Торговый Дом «КноРус»
Москва, ул. Б. Переяславская, 46, метро «Рижская», «Проспект мира»
Тел.: (095) 680-02-07, 680-72-54, 680-91-06, 680-92-13
e-mail: phoenix@knorus.ru
Лебедев Андрей
Санкт-Петербург
Региональное представительство
198096, г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадская, 11, офис 17
Тел.: (812) 335-34-84
e-mail: fnx.spb@mail.ru
Директор: Стрельникова Оксана Борисовна
Новосибирск
ООО «ТОП-Книга»
г. Новосибирск, ул. Арбузова, 1/1
Тел.: (3832) 36-10-28, доб. 165
e-mail: phoenix@top-kniga.ru
Украина
ООО ИКЦ «Кредо»
г. Донецк, ул. Университетская, 96
Тел.: +38 (062) 345-63-08, 339-60-85
e-mail: moiseenko@skif.net
Самара и Тольятти
«Чакона» — книготорговая фирма
г. Самара, ул. Чкалова, д. 100
(846) 242-96-30
г. Тольятти, 15-й квартал, ул. Автостроителей, 56а, 2-й этаж
Тел.: (8482) 30-84-17, 76-29-05.
Интернет-магазин: www.chaconne.ru

По вопросам издания книг: e-mail: info@kwonmaster.ru, office@phoenixrostov.ru

Вы можете получить книги издательства «Феникс» по почте, сделав заказ:
344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 80,
издательство «Феникс», «Книга—почтой»,
Лозе Игорю Викторовичу, тел.: 8-909-4406421;
эл. адрес: tvoyakniga@mail.ru